

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ  
Центр интеллектуальной истории



RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES  
INSTITUTE OF UNIVERSAL HISTORY  
Centre for Intellectual History



# DIALOGUE WITH TIME

## Intellectual History Review

12



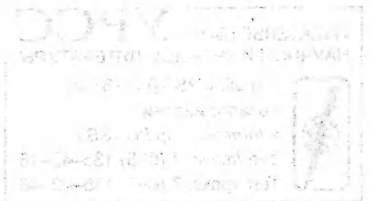
URSS  
Moscow • 2004

**Будем же измерять время  
мерой духовной!  
(Р.Эмерсон)**

# ДИАЛОГ СО ВРЕМЕНЕМ

## Альманах интеллектуальной истории

12



URCC  
Москва • 2004

**Главный редактор**  
Л.П.РЕПИНА

**Рецензенты:**

доктор исторических наук М.Р.Зезина  
кандидат исторических наук А.Г.Суприянович

**Редакционная коллегия:**

М.С.БОБКОВА, П.П.ГАЙДЕНКО, И.Н.ДАНИЛЕВСКИЙ, Г.И.ЗВЕРЕВА,  
С.Я.КАРП, М.С.ПЕТРОВА (ответственный секретарь), Е.И.ПИВОВАР,  
В.И.УКОЛОВА, С.А.ЭКШТУТ, А.Л.ЯСТРЕБИЦКАЯ


**ДИАЛОГ СО ВРЕМЕНЕМ.** Альманах интеллектуальной истории. 12.  
М.: Едиториал УРСС, 2004. — 400 с.

Альманах «Диалог со временем» — научное периодическое издание, специально посвященное проблемам интеллектуальной истории, которая изучает исторические аспекты всех видов творческой деятельности человека, включая ее условия, формы и результаты.

**DIALOGUE WITH TIME.** Intellectual History Review. 12.  
Moscow: Editorial URSS, 2004. — 400 p.

*Dialogue with Time* is the first Russian periodical specially intended for consideration of the problems of intellectual history understood as a study of historical aspects of all kinds of human creative activity, including its conditions, forms and products.

Издательство «Едиториал УРСС». 117312, г. Москва, пр-т 60-летия Октября, 9.  
Лицензия ИД № 05175 от 25.06.2001 г. Подписано к печати 25.03.2004 г.  
Формат 60×84/16. Тираж 350 экз. Печ. л. 25. Зак. № 2-1325/513.  
Отпечатано в типографии ООО «Рохос». 117312, г. Москва, пр-т 60-летия Октября, 9.

	<b>ИЗДАТЕЛЬСТВО</b>	<b>УРСС</b>
	НАУЧНОЙ И УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	
	E-mail: URSS@URSS.ru	
	Каталог изданий	
	в Internet: <a href="http://URSS.ru">http://URSS.ru</a>	
	Тел./факс: 7 (095) 135-42-16	
	Тел./факс: 7 (095) 135-42-46	

**ISBN 5-354-00738-0**

- © Коллектив авторов, 2004
- © Институт всеобщей истории РАН,  
1999 (год основания), 2004
- © Едиториал УРСС, 2004

## ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

---

### СОЦИАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ И ИСТОРИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ (к итогам работы над проектом)

Завершена трехлетняя работа над масштабным коллективным научно-исследовательским проектом, посвященным исторической культуре средневековой Европы<sup>1</sup>.

Коллектив исследователей обратился к изучению исторической памяти и исторической культуры, опираясь на теоретические положения, концептуальный аппарат и методологический инструментарий, которые были разработаны в социогуманитарном знании на протяжении XX столетия. Еще Морис Хальбвакс, подчеркивая социальную природу памяти, обусловленность того, что запоминается и забывается, «социальными рамками» настоящего, ввел понятие «коллективной памяти» как социального конструкта: именно коллективы и группы, задавая и воспроизводя образцы толкования событий, выполняют, в его концепции, функцию поддержания конституирующей их коллективной памяти.

Проблема исторической памяти и исторической культуры была впервые поставлена в западной историографии в 1980-е гг. В русле изучения истории ментальностей французский историк Бернар Гене наметил оригинальные пути исследования сложного феномена средневековой исторической культуры. В 1990-е гг. наиболее интересные теоретические разработки с применением культурно-антропологического подхода были сделаны двумя известными немецкими историками – Йорном Рюзенем, который стал рассматривать процесс изменения коллективного самосознания как результат «кризиса исторической памяти», и Яном Ассманном, разработавшим теорию культурной памяти как особой сохраняемой традицией символической формы передачи и актуализации культурных смыслов, выходящей за рамки опыта отдель-

---

<sup>1</sup> Исследование выполнено в 2001–2003 гг. на базе Центра интеллектуальной истории Института всеобщей истории РАН при финансовой поддержке РГНФ (проект № 01–01–00382а). Руководитель – д.и.н. Л.П. Репина, основные исполнители – к.и.н. Ю.Е. Арнаутова, к.и.н. М.С. Бобкова, И.В. Ведюшкина, к.и.н. М.М. Горелов, к.и.н. К.Ю. Ерусалимский, к.и.н. В.В. Зверева, к.ф.н. Ю.В. Иванова, к.и.н. Е.В. Калмыкова, к.и.н. М.С. Петрова, к.и.н. А.Ю. Серегина, к.и.н. А.В. Стогова, к.и.н. А.Г. Суприянович.

ных людей или групп. Сам предмет исследования был переосмыслен с позиций «новой культурно-интеллектуальной истории», которая проявляет особый интерес к изучению динамики взаимодействия представлений о прошлом, зафиксированных в коллективной памяти различных этнических и социальных групп, с одной стороны, и исторической мысли той или иной эпохи – с другой. Результаты бурных международных методологических дискуссий 1990-х гг. и новейших исследований экспериментального характера вплотную подвели к постановке вопроса о практическом включении социокультурного измерения в историю интеллектуальных традиций разных исторических эпох и народов. Одновременно на передний план в современной историографии (вслед за социологией и антропологией) вышла проблема роли памяти в историческом конструировании коллективной идентичности. Не менее активно обсуждается роль истории как фактора «социальной терапии», позволяющего нации или социальной группе справиться с переживанием «травматического исторического опыта», и вопрос о том, превращается ли со временем память в историю «автоматически», или историки все же активно участвуют в процессе ее формирования, функционирования и преобразования, отвечая общественным потребностям. Столь же остро стоит вопрос об использовании историко-политических мифов для решения актуальных проблем и об исторической легитимации как источнике власти: известно, что борьба за политическое лидерство и идеологическое доминирование нередко проявляется как соперничество разных версий исторической памяти.

Конкретной задачей, на решение которой был нацелен исследовательский проект, является разработка ключевых аспектов указанной проблемы на историческом материале разных стран и регионов средневековой Западной Европы и Руси. Хронологические рамки проекта охватывают Средневековье и самое начало Нового времени (до середины XVII в.). Проект имеет комплексный и компаративный характер: в нем впервые была предпринята попытка проследить сложные процессы функционирования, трансляции и трансформации коллективной памяти в столь широких временном и пространственном диапазонах. Особое внимание обращалось на место исторических представлений и концепций в идейной полемике и политической практике, на взаимодействие социальной памяти и исторической мысли в разные периоды Средневековья и на переходном этапе к Новому времени. Был собран и обработан обширный и разнородный источниковый материал (анналы, хроники, летописи, «церковные истории», «истории народов», «естественные истории», трактаты и памфлеты и др.), отражающий социальное бытование представлений о прошлом, их роль в общественной жизни и в политической ориентации индивидов и групп, а также

особенности средневековой исторической культуры. Комплексное исследование целостного феномена исторической культуры и ее трансформаций опиралось на новый подход, в основу которого положен синтез социокультурной и интеллектуальной истории, что предполагает анализ явлений интеллектуальной сферы в широком контексте социального опыта, исторической ментальности и общих процессов духовной жизни общества, включающем и теоретическое, и идеологическое, и обыденное сознание.

Социальная память оказывается подверженной закону спроса и предложения: чтобы сохраниться за пределами сиюминутного настоящего и, особенно, в процессе передачи и обмена, память о событии должна быть востребована. Здесь вступают в силу социальные, культурные, идеологические или исторические факторы. Системы коллективной памяти различаются не только интерпретацией данных исторических событий, но и тем, какие именно события они рассматривают как исторически значимые. Особенно ярко интерес к событиям определенного плана проявляется в сравнительном анализе средневековой исторической литературы разных стран и регионов Европы. Так, если интерес английской историографии X–XIII вв. сосредоточен на событиях в масштабе страны и на тех, что связаны с короной, то в Италии – он, напротив, был направлен на события, касающиеся местных группировок аристократических элит, и по вектору исторической памяти эти элиты распадаются на составные части, для которых референтными являются разные события. При этом даже универсальные истории отбирали факты по определенным критериям, обусловленным современным положением дел.

Не менее ярко та же проблема высвечивается в анализе особенностей репрезентации древнейшего периода русской истории в Степенной книге: исследование связи известий Степенной книги с данными ее источников, ответы на вопросы о том, какая информация и как подавалась, какие события опускались, а какие составитель счел нужным добавить, раскрывают механизмы оформления образа языческого прошлого Руси как неотъемлемой части социальной памяти, определяемой двуединой задачей прославления представителей возводимой к Рюрику династии и роста могущества Русской земли. Изучение различий в трактовке событий в источниках рассматриваемого памятника и в самом сочинении дает возможность выявить основные идеи, которыми руководствовался составитель, конструируя историю Древней Руси.

История играет решающую роль в формировании и поддержании коллективной идентичности. Историческая память – не только один из главных каналов передачи сведений о прошлом, но и важнейшая составляющая самоидентификации индивида, социальной группы и общества, осознающих себя в терминах историче-

ского опыта, уходящего корнями в прошлое. Поскольку вся традиция *тетойа*, объединяющая прошлое и настоящее, нацелена на сохранение памяти в будущих поколениях, именно *тетойа* как феномен коллективный становилась консолидирующим моментом для образования этих групп и условием последующей самоидентификации их членов. Средневековые источники дают прекрасную возможность проследить, как живая (коммуникативная) память поколений в определенных группах или аристократических родах трансформируется через биографические или историографические сочинения, мемориальные изображения и монументальные памятники в культурную память, с одной стороны, связанную с создавшей ее группой, но в то же время выходящую за ее пределы.

Поиск ответа на вопрос «Кто мы?» неизбежно заставляет искать ответ на вопрос «Какими мы были?». Особое значение данные вопросы приобретают в переломные эпохи. О чувстве «мы» (*nos, poster*) у средневековых историографов современные историки говорили прежде всего применительно к их национальному самосознанию. В средневековой историографии национальная идентичность дает знать о себе уже с того момента, когда на развалинах империи Каролингов начинается образование национальных государств, и усиливается к XII в. в ориентированных на династическую историю хрониках, которые открыли новый этап в развитии этого рода историографии. Перед авторами стояла задача не только восполнить информационный вакуум X – начала XI в. и написать (или дописать) историю за прошедшие столетия, соотнося свою страну (или регион) с другими мировыми империями прошлого, но и определить ее место в современном мире – через отношение к другим государствам-соседям. Этнополитический аспект социальной памяти нашел, в частности, яркое отражение в англосаксонской и англо-нормандской исторической культуре, а также на другом краю Европы – в Древней Руси. Особый интерес представляет проведенный анализ форм проявления коллективной идентичности в самом раннем памятнике русской исторической мысли – Повести временных лет. Оказалось, что по характеру употреблений местоимений первого лица множественного числа и семантике самоназвания ПВЛ резко отличается как от предшествующих, так и от последующих древнерусских письменных источников и отражает совершенно особый этап развития самосознания. Анализ продолжающих ПВЛ летописных сводов позволяет говорить о кризисе древнерусской идентичности примерно в середине XII в.

Историческая память сохранялась не только в хрониках, летописях и мемуарах, но и в огромной массе законодательных и документальных источников, авторы которых активно использовали существующие в обществе представления о прошлом – об обычаях, существовавших издавна, о памятных событиях, положивших



начало «хорошим» традициям и т.д. Нормы и обычаи на протяжении большей части человеческой истории передавались из уст в уста, что требовало запоминания и повторения, активного использования памяти. Частое обращение к традиции, подкрепленное острыми, конфликтными ситуациями, обеспечивало ей долгую жизнь, хотя нередко и модифицировало ее; менее востребованные нормы забывались и исчезали. Письменная фиксация позволила не просто продлить память о событиях и явлениях, имевших место в прошлом. Она изменила механизм передачи норм и обычаев.

Средневековая историческая память формировалась специфическим образом. Система запоминания и воспроизводства информации была связана, в первую очередь, с особенностями аудитории, к которой она была обращена. Поскольку существовала необходимость формирования коллективных воспоминаний не только образованных клириков, но и весьма значительного числа безграмотных или малограмотных людей, основным и самым мощным способом влияния стали проповеди, в которых образы прошлого занимали немаловажное место. Но одно дело донести и объяснить, другое – заставить запомнить малообразованных людей, не обладающих тренированной памятью. Недаром средневековые проповедники особенно заботились об эмоциональном воздействии. Формирование коллективной исторической памяти автоматически сопровождалось и формированием ценностных установок. Наряду с проповедью активно использовались и другие формы воздействия на память верующих: разнообразные празднования предполагали проведение крестных ходов. Не менее впечатляли торжественные службы, кроме того, регулярно устраивались драматические постановки, напоминавшие о важнейших событиях церковной истории и т.д. Активно применялись визуальные средства воздействия на массы.

Конституирующим элементом в структуре исторической памяти является потребность в самоидентификации индивида или социума, благодаря чему в различные периоды времени актуализируются лишь те или иные грани прошлого опыта, а не весь он в совокупности. Зафиксированные коллективной памятью образы событий в форме различных культурных стереотипов, символов, мифов выступают как интерпретационные модели, позволяющие индивиду и социальной группе ориентироваться в мире и в конкретных ситуациях. Социальная память идентифицирует группу, дает ей чувство прошлого и определяет ее устремления на будущее. Но социальная память – это еще и источник знания, она не только обеспечивает набор категорий, посредством которых некая группа неосознанно ориентируется в своем окружении, она дает также этой группе материал для сознательной рефлексии. Это значит, что определить отношение групп к своим традициям, мож-

но задавая вопросы: как они интерпретируют и используют их в качестве источника знания. И здесь мы вплотную подходим к проблеме соотношения истории и памяти. Нельзя забывать ни о живучести не до конца отрефлектированных ментальных стереотипов у самих историков и о социально-политических стимулах их деятельности, с одной стороны, ни о неоднозначных процессах интеллектуализации обыденного исторического сознания – с другой. Даже профессиональные историки, претендующие на строгую научность и объективность, сопричастны «повседневному знанию», вовлечены в современную им культуру, а есть еще и иные «производители» исторического знания – писатели, деятели искусства, служители культа и др. История историографии демонстрирует двойственную роль историков в формировании, трансляции и трансформации коллективной памяти о прошлом, которое постоянно интерпретируется и переосмысливается: деконструкция морально устаревших исторических мифов влечет за собой создание новых версий, предназначенных прийти им на смену.

На рубеже Раннего и Высокого Средневековья в западноевропейском обществе начали интенсивно размышлять об истории и о ее понимании, новое историческое сознание проявляло себя в разных формах, но в наиболее «чистом» виде – в историографии, в осознанном и целенаправленном обращении к прошлому. В произведении средневекового историографа отражалось не только историческое сознание автора, но также исторические представления того круга, которому оно было адресовано. Кроме того, иногда тот или иной труд оказывался востребованным много лет спустя после его создания, поскольку в какой-то момент времени стал отвечать таким общественным интересам, о которых его автор в свое время и не подозревал, и тем более не мог ориентироваться на них сознательно. Итак, применительно к изучению средневекового исторического сознания можно выделить по меньшей мере три уровня исследования. Во-первых, это индивидуальное историческое сознание автора, для выявления которого в ход идут отдельные примеры из его текста. Однако его индивидуальное историческое сознание есть вариация коллективного, которое соотносится с определенной группой, члены которой имеют общие интересы, традиции, стиль жизни и мировоззрение. Для Раннего и Высокого Средневековья, например, важными оказываются принадлежность к определенному народу или социальному институту. До XIII в. мы имеем дело главным образом с сочинениями духовных лиц, поэтому речь идет, как правило, о монашеско-клерикальном историческом сознании с элементами имперского, аристократического или родового сознания. Прочие слои населения оставляют свой след в исторической литературе гораздо позже.

Важным направлением изучения исторической культуры является классификация жанров историографических сочинений, за основу которой берутся разные критерии. Даже обозначения самими авторами названий своих сочинений – *chronicon*, *chronographia*, *historia*, *gesta* – не могут служить основанием для соотнесения их с названными жанрами, так как названия часто употребляются довольно произвольно. Если опираться на принцип строгой организации текста по хронологии, то существенным будет отличие между анналами и хрониками (всемирными). Если взять за основу предмет исторического описания или пространство, то можно различать между универсальными (мировыми), региональными и локальными хрониками или между историей государства и историей Церкви. В зависимости от институциональной принадлежности предмета описания выделяют историю королевского дома, епархии, монастыря, города. Русские книжники Позднего Средневековья придерживались условной схемы, различая летописание, хронографические сочинения и истории. Однако данных для того, чтобы обнаружить в древнерусской литературе определенный канон, позволяющий отличать историю от других видов историописания, недостаточно. Общими идеалами для всех трех исторических жанров являлись: рассказ о событиях, соотносимых во времени; нравоучительность, преемственность с библейской историей; стремление опираться на достоверные источники; компилирование устных сведений и письменных текстов; польза, злободневность, актуальность памятных событий. Постепенное стирание грани между хронографом и летописью происходило во многом благодаря тому, что книжники со второй половины XV в. разрабатывали представление о преемственности между всемирной и русской историей. Летопись вбирает в себя как элементы хроники, так и задачи истории: воспоминание одинаково присуще и той, и другой. В любой момент история может стать частью хроники или летописи, но она является целостной, внутренне завершенной повестью и без них; она пространна, включает в себе особый смысл, мудрый, поучительный или даже священный. «Историческое учение» с наставлениями писать «почину историческому» и «по обычаю историков» появляется в России во второй половине XVII века, а применительно к XVI можно говорить лишь об отрывочных суждениях книжников той эпохи о способах писать исторические сочинения и различать их виды.

Образ истории в Средние века был включен в систему религиозных смыслов, а дохристианские представления об истории, соответственно, историческими не считались. Историческое мышление было весьма дифференцированным. Признавался ряд общих положений или правил историописания, в эксплицитном виде проявлявшихся в текстах лишь отчасти. Единые теологические и историографические подходы образовывали каркас текста,

что позволяет говорить о существовании длинной традиции историописания, уходящей корнями в библейскую традицию, которая в свою очередь дополняется новозаветной идеей о грядущем суде над человечеством в конце времен. Канон форм и жанровых традиций сложился уже в раннее Средневековье, и сам стиль сохранялся на протяжении последующего тысячелетия. Средневековая историография выросла на почве позднеантичной языческой традиции, переосмыслив и развив ее в соответствии с христианской системой представлений.

Раннесредневековые христианские истории создавались, прежде всего, как тексты одного института, церкви, и уже затем как нарративы других общностей и групп – локальных общин, народов, королевств. История выстраивалась как событийная. Больше внимания авторы уделяли не тому, «что произошло», а «тому, что было сделано» правителями, служителями церкви, праведниками, а также целыми «народами». В этом историки следовали за Библией как образцом; такая история давала простор для рассказов о добродетели и пороке, моральных истинах, Спасении. В текстах о прошлом сочетались политическая и церковная истории; нарратив мог выстраиваться вокруг становления государства или вокруг обращения народа в христианство и достижения церковного единства. История разворачивалась через отношения Бога и народа, принимающего или отвергающего веру. История как рассказ – с сюжетом, развитием действия, кульминацией – представлялась читателю как последовательная борьба Добра со Злом, выбор между которыми осуществляют люди. Прошлое у раннесредневековых авторов репрезентировалось в контексте чудесного: видений, явлений ангелов и демонов, знаков Божественной заботы, благодати или гнева.

В Средневековье история понималась как часть божественного замысла спасения человечества от сотворения мира (и это есть абсолютное начало истории) и была отмечена основными вехами: грехопадение, лишившее человечество гарантии спасения, далее – пришествие Христа, давшее надежду обрести это спасение вновь, затем грядет Страшный суд, после которого наступит вечное блаженство для одних и вечные муки для других (это и есть конец времен и конец истории). История, касающаяся отпущенного человечеству земного времени, заключена, таким образом, в ограниченном временном пространстве между сотворением мира и Страшным судом. Будучи историей спасения, христианская история целенаправлена: до известной степени цель истории – влиться в вечность. Прошлое открывается только вследствие знания будущего и оснащенности историописателя соответствующим учением. Образ истории в Средние века был немислим без теологического обоснования исторического процесса. Современному историку по-

стоянно встречающиеся в средневековых текстах выражения *Deo donante, divina providentia, Dei voluntate* могут показаться «общими местами», тогда как для авторов этих текстов они являлись вполне серьезными аргументами и отражали их взгляд на содержание и движущие силы истории: статусом движущей силы истории наделялось прежде всего божественное Провидение. Содержание истории составляли дела Господа и дела человеческие – *gesta Dei et hominum*. Однако собственно предмет сообщения историографа – все же мирские события. Даже если взять историю Церкви (*historia ecclesiastica*) – историографический жанр, распространившийся с Поздней Античности, вся она оказывается вписанной в рамки политических событий, как это можно видеть на примере «Церковной истории» Беда Достопочтенного.

Историография отмеченного общим культурным подъемом Высокого Средневековья внешне отличается от историографии предшествующих столетий главным образом лишь ростом числа исторических сочинений, их большей распространенностью, многообразием форм и высказываемых в них воззрений. Все это, впрочем, были свидетельства возросшего интереса к истории и признаки изменения исторического сознания. Большую роль сыграл здесь «ренессанс» XII столетия, схоластическая философия и экзегетика, с одной стороны, и изменение общественно-политической ситуации, новая расстановка политических сил. Априорная убежденность в непостоянстве и преходящести всего земного, изменчивости людей и их истории легла в основу идеи прогрессивного исторического развития в ее средневековом понимании. Средневековый историзм характеризуется представлением о поступательном движении времени. Однако изменчивость и поступательное развитие истории не исключали континуитета, выразившегося в идее *translatio*.

Цель всемирной хроники состояла в объединении библейской, церковной традиции историографии с языческой античной в единых хронологических рамках, дабы вместить собственную эпоху в мировую историю спасения. Эта потребность была в высшей степени свойственна позднекаролингским авторам. Однако в X в. историописание почти замирает. В литературе преобладает жанр агиографии, в которой, впрочем, набирают силу элементы историографии, особенно осязтимые в «деяниях» (*gesta*) – распространившемся с эпохи Каролингов и особенно в эпоху Оттонов жанре биографий персон, облеченных властью и занимающих высокие общественные посты – королей, епископов, аббатов. Хронистика начинает возрождаться только с середины X в. в крупных монастырях, которые перенимают (и продолжают иногда вплоть до XII в.) традицию, существовавшую прежде при императорском дворе. Однако предметы их интереса заметно мельчают: монастырские анналы концентрируются на локальных или региональных событиях.

В этот период восприятие истории явно «сужается». На историческое сознание X – начала XI в. повлияла общая ситуация в Европе: угасание центральной власти и тот «властный вакуум», который не смогли заполнить возникшие на обломках империи государства.

К XII веку ситуация изменяется: перемены в жизни общества пробудили особенный интерес к истории, к историческому осмыслению событий. Возникают специфические, «авторские», соотношенные с настоящими временем и местом, вариации всемирной истории спасения. Традиционный средневековый образ истории был не только теологическим, но еще и политическим, так как всегда соотносился с учением о мировых империях в целом и – все чаще – с господством конкретной династии. Действующий фактор истории – не только силы божественного Провидения, но и конкретные люди, с деятельностью которых как земной проекцией воли Провидения соотносился весь ход событий. История народа, аббатства или епископства – это история королей, аббатов или епископов. Историографы предлагали судить о людях по их деяниям – *gesta*, концентрируя внимание не на личных качествах исторических деятелей, а на том, как они исполняли свою должность.

Сочиняя свой труд, автор пользовался «источниками» – более древними записями историографической традиции, которые он перерабатывал соответственно актуальным потребностям момента. При этом собственный вклад историографа заключался прежде всего в том, чтобы из фактов предшествующей историографии, составить новый исторический труд, отвечающий интересам времени и группы. Ставя перед собой задачу рассказывать правду о прошлом, средневековые историки сталкивались с проблемой отделения истинного (вернее, правдоподобного) от ложного. Для определения истинности той или иной информации было необходимо, чтобы она отвечала одному из трех критериев: была личным свидетельством автора текста, исходила от какого-либо авторитета или же содержала в себе «мораль». Лишь заявив о том, что нечто он «видел своими собственными глазами», историограф мог считать, что сделал все возможное, дабы уверить читателя в несомненности своего сообщения и в том, что оно достойно внимания.

В России также все жанры претендовали на доверие читателя и завоевывали это доверие доказательствами достоверности повествования. Отсылки к источникам появляются уже в древнерусских летописях, Киево-Печерском патерике и житиях, где описания земных событий, знамений и чудес иногда сопровождаются упоминанием летописей, хронографов, житий, палей, грамот или очевидцев, как правило, людей набожных и достойных доверия и уважения. В историях, летописях и хронографах XVI века ссылки на источники становятся частыми, иногда дополняются специальными размышлениями. Реконструкция подходов русских истори-

ков к предметам их описания показала глубинное стадияльное сходство исторической культуры Московского периода с европейским классическим средневековьем. Историки этой эпохи задумывались, как нужно работать с источниками, как проводить их исследование, как составлять достоверный рассказ. Приходилось сверять сведения разных источников об одном и том же событии и отбирать наиболее надежные. Составитель проводил сложное исследование, расспрашивая прямых и косвенных свидетелей событий, разыскивая рукописи, вчитываясь в ветхие книги и разбираясь в переводах, неполных и поврежденных чтениях.

В основе критического подхода к источникам информации, в том числе трудам предшественников, находилось доверие авторитету. Хронисты оценивали не саму информацию, а того, от кого она исходила. Компилируя труды предшественников, они копировали приводимые в них ссылки для указания на первоисточники. Зачастую историографы не только не имели возможность проверить точность цитат (не имея нужных книг или не зная языка, на котором они были написаны), но и не стремились к этому, полностью доверяя авторитетным предшественникам, а в результате неточности, ошибки, описки, допущенные одним автором, неизбежно переключивались в сочинения его читателей.

Кроме личного опыта и одобрения авторитетом существовал еще один, третий, критерий определения правдивой информации. Для средневекового историографа служение истине было синонимично служению Богу. Историк должен отражать в своем труде Божественную истину, а не вереницу случайных фактов. Поэтому все, что служит прославлению Бога и свидетельствует о его могуществе не может считаться ложью и заслуживает включения в исторический текст, напротив, все, что может посеять сомнение в душах верующих, следует из него исключить. Идея всеоправдывающей морали прочно укоренилась в сознании историографов, причем довольно часто «моральный» аспект оказывается более весомым критерием, чем доверие авторитету или даже самостоятельно увиденному факту. Наиболее «моральными» историческими жанрами были агиографии и биографии. Подчиняясь законам жанра, авторы житийной литературы не считали себя грешащими против истины, когда свободно досочиняли эпизоды из жизни святых или других великих мужей: детство, отрочество, испытания, подвиги и назидательные речи героев писались по одной и той же схеме. События излагались в соответствии с принципом долженствования, который в данном случае являлся синонимом правдоподобности. Наконец, третьим видом проявления этого фактора можно считать подмену одних фактов другими, нарушение хронологии и т.д.

В функциональном отношении образ истории был прежде всего дидактическим: история давала урок. Поэтому историогра-

фы не только сообщали о событиях, но сами же их и толковали. Толкование велось в рамках христианских этических норм, но могло быть и вполне прагматическим, обусловленным конкретными интересами. За этой особенностью труда историографов стоит еще одна важная характеристика исторического сознания: поскольку земная история – часть божественного плана спасения, она, как все деяния Господа, поддается и даже нуждается в интерпретации. В отличие от современной историографии, историческая интерпретация понималась в Средние века не как интерпретация текста адекватно конкретным историческим условиям, а как постижение его «высшего» смысла (через интерпретацию аллегорий и тропов) в замысле Творца, который в зависимости от ситуации мог быть различным.

Хронологическая и генетическая однородность образа истории позволяла хронистам связывать или уподоблять между собой события из разных эпох, ставя их таким образом над временем. Категории прошлого, настоящего и надвременного состояли в довольно сложной взаимосвязи, характеризующей ряд специфических признаков исторического сознания Высокого Средневековья. Во-первых, концепции средневековых историков были глубоко укоренены в их настоящем. Историография выполняла практические функции, она не только описывала, но и использовала прошлое как аргумент для решения текущих проблем, доказывающий легитимность чьего-то статуса или подтверждающий чьи-то притязания, оставшееся же не востребуемым «неактуальное» знание просто исчезало из культурной памяти эпохи. Речь шла не о познании, а о хронологическом и фактическом упорядочении истории. Во-вторых, при всей своей обусловленности настоящим, образ истории в Высокое Средневековье был однозначно ориентирован на прошлое: из описываемого линейного развития прошлого и вытекало объяснение настоящего, его оправдание или обоснование. В-третьих, взгляд на прошлое предлагал идеал, на который нужно ориентироваться настоящему, чтобы достичь его в будущем. Историю писали для современников и потомков, поэтому идеал, эксплицируемый историографом из прошлого, обретал черты вневременности, универсальности.

Итак, в основе образа истории в историографических сочинениях Раннего и Высокого Средневековья – христианско-теологическое мировоззрение и индивидуальное историческое сознание автора, в свою очередь являющееся разновидностью соотношенного с социальной группой (институтом) коллективного исторического сознания эпохи. Историография опосредует не «историю», а различные варианты селективного, упорядоченного и подвергнутого оценке образа истории, т.е. то, что современная наука называет исторической памятью. Разумеется, эти образы



истории включены в многовековую традицию, но всякий раз в определенной степени переосмыслены в соответствии с авторскими интенциями и функциональной направленностью исторических сочинений. В этом смысле средневековая историография является собой форму сознательного обращения к тому прошлому, в котором нуждается историческая память настоящего. Поэтому историографические сочинения отражают не только заключенную в них версию минувшего, но и лежащее в основе свойственного им образа истории историческое сознание – определенную установку в отношении к истории и определенную интерпретацию функции истории применительно к современности.

В России расцвет историописания обнаруживается в период ускоренной централизации летописного дела в руках московских государей. Притязания государей на украинские, западнорусские, прусские, ливонские, поволжские земли, на царский титул и, следовательно, равенство с императорами Священной Римской империи опирались на толкования «старины», почерпнутой из летописей и хронографов. Ссылки на прецеденты прошлого учащаются как раз тогда, когда возникает множество проблем, связанных с легитимностью утверждения самодержавной власти вне пределов Московского княжества. Изучение исторической памяти посольского приказа выявляет регулярность обращений в посольской документации к «историческим» преданиям, напоминаний наряду с общепризнанными тогда «фактами» из Библии и о событиях древнеримской, византийской, древнерусской истории. Именно в посольском деле образовался и был испытан комплекс преданий, подкрепляющих права московских государей на римское и общерусское наследие.

Возможности манипулирования исторической памятью ярко демонстрирует анализ использования исторической аргументации в полемических произведениях эпохи Реформации, строившихся по разработанному схоластами принципу: доводы автора должны были подкрепляться ссылками на божественный закон, естественное право и человеческие законы, которые представляли не только в виде казусов канонического и гражданского права, но и как исторические примеры. Отбор последних не был случайным, напротив, для каждой проблемы существовал свой перечень примеров, которые могли быть привлечены авторами. Использование того или иного исторического примера выполняло отнюдь не только иллюстративную функцию – подобная «иллюстрация» зачастую сообщала читателям то, что автор не желал говорить открытым текстом, но, тем не менее, стремился до них донести: исторические примеры многое говорили образованному читателю.

В сложный переходный период от Позднего Средневековья к Раннему Новому времени в самом отношении к прошлому и к способам его познания происходили радикальные трансформации. В

XV в. внимание гуманистов все чаще направляется на теоретическое осмысление «искусства истории», а в первых же специальных трактатах по теоретическим вопросам намечается четкое разграничение образа события, воспоминания о событии и истории. В поле внимания ранних гуманистов попадают не просто все письменные памятники, но и все материальные свидетельства, сохранившиеся от античности, – возникают эпиграфика и археология. Одновременно появляется множество компендиумов, составленных из сочинений классических авторов, переложений античных сочинений и прочих произведений. И позже избирательное переписывание трудов древнеримских историков остается одной из основных форм историографической деятельности. Это был поиск способов, позволяющих как бы незаметно присвоить прошлое – эксплицитно представив его предметом поклонения, по умолчанию превратить в достояние современной культуры. Вообще, гуманистическая историография знала три основных пути экспансии настоящего в прошлое (или экспроприации прошлого). Первый из них – дидактический. Здесь память рассматривается как добродетель: история призвана «поучать, развлекая». Этот способ смотреть на прошлое находит свое воплощение прежде всего в жанрах зеркала и биографии, но также и в исторических анекдотах, исполняющих функции примеров в трактатах и диалогах на нравственные темы. Второй путь – эрудитский, реализуемый преимущественно в реферативной деятельности. Наконец, был еще и эстетический путь – раннегуманистический культ языка и формы.

Историческое событие в гуманистической литературе оказывается в прямой зависимости от жанрового целого, в рамках которого оно излагается: оно меняет свой облик в зависимости от того, вписано ли оно в контекст «целой» истории города-государства, сжатого исторического комментария или панегирика. Основные требования к историческому труду – *maiestas* (величие), *dignitas* (достоинство), *decorum* (речь, украшенная подобающим достоинству произведением образом). Существеннейший из стилистических канонов – *brevitas* (краткость). Исторический процесс (по умолчанию) ни в каких теориях не нуждается: утрачивая собственную реальность и оказываясь исключительно результатом репрезентации, он целиком укладывается в систему предписаний риторики. Такая «история» предполагает выведение всякой детали исторического нарратива из единого замысла и вымысла, лишь опосредованно соотносимого с историческим опытом.

В XVI в. в среде гуманистов, занимающихся изучением истории, возникает своеобразное «разделение труда»: одни из них посвящают себя собиранию, комментированию и публикации первоисточников (антиквары); для других история существовала главным образом в виде описания конкретных событий или в виде

жизнеописаний; наконец, третьи не обладали ни знаниями антикваров, ни их техникой и навыками, зато создавали исторические повествования, следуя, в лучшем случае, за «наиболее достоверным» нарративным построением предшественников (продолжение средневековой традиции историописания) – это были «историки». Термин «историописание», как правило, относили к летописям, хроникам, анналам, т.е. к сочинениям, фиксировавшим те или иные события прошлого и деяния правителей в определенной хронологической системе. «Искусство истории» предполагало не просто фиксацию явлений, но и захватывающую фабулу повествования, хороший литературный стиль.

Событийная история приобретает качественно новое наполнение на основе гуманистического наследия благодаря появлению мыслителей, которые смогли объединить в своих работах понимание специфики источников, навыки антикваров и использование первоисточников как основы исторического сочинения; умение использовать и выстраивать фактологическую цепочку, определяя историческое пространство (приемы хронистов); а также литературные навыки «историков». Для наиболее значительных мыслителей XVI века заниматься историей означало освобождаться от образов прошлого, приводить в порядок свои воспоминания, находить им новое место в рамках объективного и закономерного, объяснять и понимать их. Жан Боден, Франческо Патрици, Луи Леруа отделяют историю от риторики, литературы, философии и правоведения, демонстрируя качественно новый уровень отношения к прошлому, глубокое интеллектуальное осмысление исторического события. История к рубежу позднего Средневековья и раннего Нового времени становится менее персонафицированной и превращается в «теоретическую». Средневековые хронисты повествовали о событиях в исключительной связи с человеком и через человека, что предопределялось дидактическими функциями истории, в конце XVI века предмет истории, хотя и по-прежнему определяется как деяния, но уже, как деяния, детерминированные социумом, внутренней природой человека, окружающей средой и другими факторами. Уроки истории сменяются требованием предвидеть будущее.

*Руководитель проекта – д.и.н., проф. Л.П. Репина*

## К ЮБИЛЕЮ ПЕТРАРКИ

---

*Мирелла Феррари (Милан)*

2004 ГОД,  
700 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКИ

Инициативы по празднованию юбилея Петрарки прежде всего реализовались в появлении некоторых книг, часть из которых уже вышла в свет, а другие ещё находятся в типографиях. Эти книги проливают новый свет на произведения юбиляра.

Монументальный каталог, только что появившийся на свет, стал исчерпывающим и учитывающим самые последние данные справочником по хронологии создания Петраркой всех его произведений, по истории рукописных и печатных изданий Петрарки, а также сведений о переделках и подражаниях, переводах современных и поэтических<sup>1</sup>. Он даёт полную панораму его судьбы. Каталог имеет более трёхсот иллюстраций, в основном репродукции страниц из различных рукописей. Тщательное рассмотрение этих иллюстраций позволяет воочию увидеть различия в типологии рукописей, которые сохранили произведения Петрарки.

Уже при жизни Петрарки его автографы стали предметом культового поклонения, вследствие чего многие копии старательно воспроизводят не только сам текст, но и внешний вид авторских рукописей, сохраняя также и авторскую пагинацию. *Канцоньере* и в ещё большей степени поэма на итальянском *Триумфы* имели хождение в виде роскошных и богато разрисованных миниатюрами изданий. Чем-то из ряда вон выходящим можно назвать активную деятельность флорентийских мастерских по изготовлению иллюстрированных изданий *Триумфов*. Некоторые миниатюристы создали свой иконографический стиль и воспроизводили его из издания в издание с почти типографической точностью. Так, Франческо д'Антонио дель Кьерико сделал 13, а копиист Антонио Синибальди – как

---

<sup>1</sup> *Petrarca nel tempo. Tradizioni, lettori e immagini delle opere, Catalogo* / A cura di M. Feo, [Roma], Comitato nazionale VII centenario della nascita di Francesco Petrarca, 2003. См. также: Feo M. *Francesco Petrarca // Storia della letteratura italiana* / Dir. E. Malato, X. Roma: Salerno, 2001. P. 271–329.

минимум восемь копий<sup>2</sup>. Между 1450 и 1480 гг. примерно одна треть всех рукописей *Триумфов* была изготовлена флорентийскими мастерами. Приблизительно в 1500 г. необыкновенный успех имел французский перевод с новым иллюстративным «видеорядом», изготовленный в Руане, в мастерской Жана Пишора и по инициативе кардинала Жоржа д'Амбуаза<sup>3</sup>. Латинская поэма Петрарки *Африка* была распространена в основном среди образованных читателей и с экзегетическими толкованиями, как обычно при издании эпических поэм для «учёного» чтения. Сборник латинских «*Буколических песен*» также издавался для учебного использования, но в большем числе экземпляров: их зарегистрировано 104<sup>4</sup>.

При общем подсчёте, возможность которого облегчена указанным каталогом, легко видеть, насколько была счастливой (по сравнению с другими странами) судьба петрарковских изданий в Германии. Гуманизм, дружественный религии, который, как известно, был особенно распространён в странах немецкого языка и в Нидерландах, высоко ценил моральные трактаты Петрарки. Экземпляры трактата «*О средствах против всякой судьбы*», изготовленные в немецкоязычной зоне, по численности вдесятеро превосходят итальянские: в основном это рукописи на бумаге (не на пергаменте), небогатые, предназначенные для персонального чтения и изучения. Среди типологически сходных изданий следует упомянуть копию трактата «*Моя тайна*», которую правил Сигизмунд Госсемброт совместно с Сигизмундом Майстерлином в 1459 г. (Базель, университетская библиотека, О.I. 10)<sup>5</sup>. Кроме того, в заслугу Альбрехту фон Эйбу следует поставить сохранение в его коллекции единственной сохранившейся копии письма Петрарки в стихах, адресованного Ринальдо Кавалькини да Виллифранка (кодекс Гота, Научная библиотека, хартия В 1047)<sup>6</sup>.

Последний раздел каталога содержит синтетический указатель рукописей, принадлежавших Петрарке и сохраняющих его собственноручные маргиналии и приписки либо сноски; в тех случаях, когда оригиналы утрачены, указаны сохранившиеся их копии. Среди кодексов, которые принадлежали Петрарке и не имеют его пометок, но которые, безусловно, много раз перечитывались им, отмечен его *Молитвослов*: будучи клириком, он был обязан ежедневно читать эту литургическую книгу для священнослужителей с

<sup>2</sup> *Petrarca nel tempo*. P. 207, 213.

<sup>3</sup> *Petrarca nel tempo*. P. 225–37.

<sup>4</sup> *Petrarca nel tempo*. P. 288–90.

<sup>5</sup> *Petrarca nel tempo*. Илл. 381.

<sup>6</sup> *Petrarca nel tempo*. Илл. 307.

обязательными молитвами на каждый день. Из письма Петрарки к Франческо Нелли, приору церкви Святых Апостолов во Флоренции, можно узнать, что Нелли, увидев в руках друга неудобное и громоздкое издание *Молитвослова*, подарил ему в 1351 г. более компактное издание. Рукопись, подаренная Нелли, идентифицируется с хранящимся в Ватикане экземпляром Боргезиано 364 А, который имеет размеры 216x160 мм. Она карманного формата, обычного для той эпохи, когда издавались breviарии для нищенствующих и проповедующих монахов. Вполне возможно, что Петрарка, пользуясь этим breviарием, пришёл к мысли о том, чтобы подготовить рукописи карманного формата некоторых собственных произведений, не слишком больших по объёму. Меньший формат мог бы облегчить их чтение и перечитывание. Мы имеем в виду автографы *Буколической песни*, выполненные в 1357 г., размерами 152x112 мм, на 53 листах (Ватикан, лат., 3358) и инвективы «О невежестве своем собственном и многих других». Один из автографов выполнен в 1368 г., размерами 163x110 мм, на 42 листах (Берлин, Германская Государственная Библиотека, Гамильтон 493), а второй – в 1370 г., размерами 203x136 мм, на 38 листах (Ватикан, лат., 3359)<sup>7</sup>. Для наибольшего удобства чтения Петрарка переписывал эти рукописи более крупными буквами, нежели обычно. Это отличает их от breviариев, так как последние велики по объёму, и поэтому их приходилось переписывать очень маленькими буквами.

Петрарка уделял особое внимание внешнему оформлению принадлежащих ему либо прошедших через его руки изданий, о чём свидетельствует экземпляр его *Покаянных псалмов*, подаренный им Джану Галеаццо Висконти (Люцерн, Центральная библиотека, S 20. 4°). Эти молитвы были составлены самим Петраркой в подражание библейским Псалмам. Они получили столь же широкое распространение, как и библейские священные «первоисточники». Трудно сказать, почему он заказал переписать их на свитке. В то время на свитках писали придворные поэты, и лишь стихи, предназначенные для публичного чтения вслух. Впрочем, свитки применялись и для практических, обыденных записей, которые делались скромной скорописью<sup>7</sup>. Напротив, петрарковский экземпляр *Покаянных псалмов* изобилует миниатюрами<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> in quarto – прим. пер.

<sup>7</sup> Эта тема освещена в статье: Frasso G. *Un rotolo dei "Rerum vulgarum fragmenta" // Studi petrarcheschi*, n.s. 16 (2003). P. 131–48.

<sup>8</sup> Besomi O. *Codici petrarcheschi nelle biblioteche svizzere // Italia medioevale e umanistica*, 8 (1965). P. 417–19; Coppini D. *I "Psalmi penitentiali" in un rotolo visconteo pieno d'oro // Petrarca nel tempo*. P. 452–53 и илл. на с. 448.

Так как весь текст составляют молитвы и сам свиток был изготовлен в Милане, нельзя не вспомнить, что в Милане существовал ритуальный обряд Трёхдневных литаний, типичный для амброзианской литургики. Это были пешие шествия по улицам от одной церкви до другой в течение трёх дней. Молитвы творились как на улицах, так и внутри храмов. Тексты молитв для совместного пения на улицах были, согласно традиции, оформлены в виде рукописного свитка<sup>9</sup>. Петрарка мог такие свитки видеть. Но, конечно, это всего лишь основанная на общих соображениях гипотеза.

При чтении обширнейшего каталога рождаются, конечно, и иные мысли. Задачей Национального Комитета по празднованию 700-летия со дня рождения Франческо Петрарки является прежде всего подготовка полного собрания его сочинений с переводом латинских текстов на итальянский язык. Такой перевод представляется единственной возможностью приблизить современного читателя к Петрарке. Поэтому данное начинание Комитета представляется необходимым этапом в решении этой задачи. Она нелегка для исполнения, учитывая громадный объём некоторых текстов, скажем, писем Петрарки, особенно сборника его «Старческих посланий», *Seniles*. Тексты, написанные семь веков тому назад, требуют объяснений и комментариев. А каждый перевод есть одновременно и интерпретация оригинала, и в некотором смысле интерпретация более точная и скрупулёзная, чем многие комментарии.

Специально хотелось бы сказать еще об одной рукописи и каталоге. Маленькая выставка рукописей и печатных изданий, организованная Амброзианской Библиотекой, открывается в Милане в марте 2004 года, и к ней издаётся печатный каталог. Её «центром тяжести» и главным объектом рассмотрения во вводных главах каталога являются прежде всего две рукописи – Гомер и Вергилий, которые были в библиотеке Петрарки и сейчас сохра-

---

<sup>9</sup> Об этом говорилось в древнем *распорядке (ordo)* Миланской церкви, составленном Бертольдом в XII в. См. Magistretti M. *Beroldus sive ecclesiae mediolanensis kalendarius et ordines*. Milano, 1894. P. 55, 57, 91, 110. Есть указание на два сохранившихся экземпляра этого издания. Самое древнее, относящееся приблизительно к 1300 г., хранится в Йельском университете, Нью Хэвен, США (Библиотека Бейнеке, MS 810, описано Томасом Форрестом Келли в статье: *A Milanese processional roll at the Beinecke library // The Yale University Library Gazette*. Vol. 73, № 1–2 (October 1998), P. 14–31. Свиток имеет в ширину 150–160 мм и в длину 6 м 76 см. Другой свиток, предположительно датируемый серединой или второй половиной XV в., находится в Милане, в Амброзианской Библиотеке, Z 256. О нём см.: Michel Hulgo *Fonti e paleografia del canto ambrosiano*. Milano 1956 (Archivio Ambrosiano, 7). Он состоит из двух фрагментов, которые имеют оба в ширину 210 мм, а в длину первый – 2 м 80 см и второй – 4 м 20 см. Петрарковский свиток имеет в ширину 120–123 мм и в длину 2 м 26 см.

няются в Амброзианской Библиотеке (Ambr. I 98 in folio – Гомер на греческом языке, Ambr. A 79 in folio – Вергилий с миниатюрами и глоссами). Эти две рукописи свидетельствуют о том, что Петрарка считал двух великих поэтов древности не чуждыми себе. Личность Гомера мифична, и он был бесспорным «Царём поэтов» (Данте, *Ад*, IV, 88). По-гречески Петрарка читать так и не научился, хотя, как известно, предпринимал несколько раз попытки изучить древнегреческий язык. Действительно, Амброзианский кодекс I 98 in folio не имеет каких-либо помет, свидетельствующих о том, что Петрарка читал его. Он был подарен поэту византийским послом Николой Сигеросом, и поэт бережно сохранял его, но не мог в нём прочесть буквально ни одной буквы по незнанию алфавита.

Однако о его попытках познакомиться с гомеровским текстом свидетельствуют многочисленные пометки, имеющиеся в Парижской рукописи lat. 7880 I-II с *Илиадой и Одиссеей* в переводе на латинский язык, сделанном калабрийцем Леонтием Пилатом. Этот кодекс был переписан для Петрарки его верным копиистом Джованни Мальпагини. Леонтий, для которого греческий язык был родным, хорошо знал греческие тексты, но латинский, к сожалению, он знал плохо. Выполненные им переводы были, как правило, странными и просто непонятными<sup>10</sup>. Петрарка долго трудился над переводом Леонтия, пытаясь уяснить для себя его смысл, но ему пришлось отступить, не извлёкши почти ничего.

Сведения о Гомере у Петрарки сводились к цитатам и толкованиям, которые он мог найти в текстах латинских классиков, и прежде всего у Макробия, указавшего в *Сатурналиях* на Гомера как на основу для некоторых стихов Вергилия. Но с Вергилием у Петрарки были совсем иные отношения: Петрарка мог установить с этим поэтом, который для Данте был «учителем, вождем и господином» (Данте, *Ад*, II, 140) постоянный контакт в ходе ежедневного скрупулёзного чтения и перечитывания. Вергилий был для Петрарки как бы отправной точкой для вступления в мир античного Рима, с его религиозными и гражданскими установлениями и обычаями, а также для изучения классической латыни со всеми её грамматическими, метрическими и риторическими особенностями. Петрарка

<sup>10</sup> «poeta sovrano» «Гомер, превысивший из певцов всех стран» (пер. М. Лозинского) – прим. пер.

<sup>10</sup> Pertusi A., *Leonzio Pilato fra Petrarca e Boccaccio*. Venezia-Roma, 1964; Di Benedetto F. *Leonzio, Omero e le "Pandette"* // *Italia medioevale e umanistica*, 12 (1969). P. 53–112. В каталоге Амброзианской выставки статья о Гомере и Петрарке написана Карло Мария Мадзуки и Стефано Сервенти.



читал и анализировал Вергилия в целях собственного словотворчества и разработки поэтических приёмов в своих произведениях.

Именно с этой точки зрения должен изучаться монументальный кодекс «Амброзианский Вергилий» (Амбр. А 79 in folio) – книга, которая в течение десятилетий всегда была вместе с поэтом. Этой книгой Петрарка пользовался не только как источником цитат из авторов, чьи тексты содержатся в ней, но и как собственной «записной книжкой писателя»: своими пометками он заполнял поля на её страницах. Петрарка сделал этот кодекс ещё более ценным, подшив в качестве титульного листа большую страницу с миниатюрой работы Симоне Мартини, в которой преобладает изображение Вергилия. Вслед за ней вшита другая страница, на которой он записал даты смерти самых дорогих своих друзей и знаменитый отрывок стихотворения на смерть Лауры<sup>12</sup>.

Хотя вышеуказанный кодекс уже многократно рассматривался при изучении наследия Петрарки, до сих пор остаются неизданными сотни разнообразных пометок, которые Петрарка в него вписал на протяжении нескольких десятилетий. Они различны и по размерам, и по содержанию: следует указать, что кодекс включает в себя не только тексты Вергилия (*Буколики*, *Георгики*, *Энеиду*), но и (в полном объёме) комментарии Сервия к Вергилию, помещённые в маргиналиях, т.е. так, как в ту эпоху было принято воспроизводить толкования текста («гlossы»). Он также содержит *Ахиллеиду* Стация, некоторые оды Горация, два комментария к *Варваризму* (то есть часть грамматики Доната, именуемая *Ars maior*).

Пометы Петрарки можно разделить на несколько групп по типологическим характеристикам. Многие составляют «параллельные места» из классических авторов, более всего из Макробия, как энциклопедического источника, и из Сенеки. Следующая группа посвящена разъяснениям языковых и грамматических затруднений. Здесь имеются ссылки на некоторых авторитетных средневековых учёных, среди которых наиболее известен Угуччоне да Пиза (ум. в 1210 г.), знаменитый лексикограф, грамматик и юрист, который был

<sup>11</sup> Ради библиографической точности переводчик сохранил эту форму написания имени римского поэта, фактически некорректную, но весьма распространённую в Средние Века – *прим. пер.*

<sup>12</sup> «Амброзианский Вергилий» переиздан факсимильно Джованни Гальбиати, *Francisci Petrarcae "Vergilianus codex"*. Milano, 1930. Библиография работ, посвящённых ему необозрима. Приведу (как дань уважения) по памяти лишь заглавие произведения одного из мастеров петраркистской филологии XX века: Billanovich G., *L'alba del Petrarca filologo. Virgilio Ambrosian // Billanovich G., Petrarca e il primo umanesimo*. Padova, 1996 (Studi sul Petrarca, 25). P. 3–40. В каталоге Амброзианской выставки статья о Вергилии написана Марко Бальо и Марко Петолетти.

маэстро права в Болонье до того, как стать епископом Феррары в 1190 г. Ещё одна группа помет имеет чисто личный характер.

Трудная и кропотливая работа подготовки всех помет к изданию в удобочитаемом виде ныне завершена и вскоре это издание должно выйти в свет<sup>13</sup>. Помимо расшифровки рукописного текста, Марко Петолетти и Марко Бальо выявили все источники цитирования и определили хронологию помет. В целом предстаёт весьма интересная картина. Можно хронологически проследить за поисками филологом Петраркой интересующих его текстов, а также за сменой вектора его интересов; можно продokumentировать связь между кругом чтения Петрарки (определяемым по содержанию помет) и составом его собственных произведений.

Самое важное открытие, которое содержится в этом издании «Амброзианского Вергилия», это именно идентификация вербальных соответствий между пометами и латинскими произведениями Петрарки. Мы видим, как он переписывает, просто копируя, цитаты из классических авторов, черпая в них некие идеи либо просто отдельные слова. В пометках к Вергилию мы читаем мысли Петрарки с тщательно отделанными образами и фразами, вполне готовыми для включения в дефинитивный текст его произведений. Длительная работа по прочтению текстов Петрарки и сопоставлению параллельных мест, найденных при помощи ЭВМ, дала кураторам издания возможность найти точную «привязку» очень большого числа помет к дефинитивным текстам. Приходится сделать вывод, что большой кодекс с Вергилием был почти постоянно на рабочем столе Петрарки в наиболее продуктивные в его жизни 50-е годы, когда он составлял большую часть своих трактатов. В качестве примера приведу «Мою тайну», *Secretum*.

Прекрасный воображаемый диалог между Петраркой и Св. Августином происходит в течение трёх дней, в 1342 или 1343 г. Эта датировка, по-видимому, относится к первому варианту произведения, которое потом перерабатывалось в 1347 и далее вплоть до 1353 г.<sup>14</sup> Во вступлении рассказывается о явлении Петрарке Истины, которая затем вводит (взамен себя) в качестве собеседника Св. Августина. Первоначальное появление видения

---

<sup>13</sup> Два тома под редакцией Марко Бальо, Антоньетты Небулони Теста и Марко Петолетти, в серии «Studi sul Petrarca», Roma-Padova, Editrice Antenore, выход в свет предусмотрен в 2004 г. Приношу благодарность авторам, которые предоставили мне возможность ознакомиться с рукописью до её передачи в типографию.

<sup>14</sup> О хронологии создания *Secretum* см.: Rico F. *Vida u obra de Petrarca*, Padova 1974 1996 (Studi sul Petrarca, 4); Idem: *Secretum meum // Petrarca nel tempo*. P. 378.

Истины вызывает в памяти Философию, которая предстаёт перед Бозэцием в начале его трактата «Утешение философией»: сходство между этими двумя аллегориями является очевидным, о чём свидетельствуют и многочисленные детали, использованные при описании этих двух женских фигур. Так, Истина (как и Философия) — это женщина, не имеющая возраста и со сверкающими глазами: «она в таком возрасте, который невозможен для человеческого существа». Это — формулировка Бозэция<sup>15</sup>. Петрарка же пишет о «возрасте, невыразимом словами»<sup>16</sup>. Далее у Бозэция: «с глазами сверкающими и пронизательными более, нежели у обычных людей»; у Петрарки: «лучи, испускаемые солнцем ее глаз». Текст *Утешения философией* был одним из самых изучаемых в средневековых школах, так что каждый читатель Петрарки не мог не уловить этой аллюзии сразу же, без долгих размышлений. Подобным же образом то «укромное и секретное место», куда Истина отводит Петрарку и Августина, чтобы они могли спокойно поговорить, наводит на мысль о «секретном месте» в начале «Диалогов» Григория Великого<sup>17</sup>. Григорий Великий не входил в школьный *curriculum*, однако читался практически всеми грамотными людьми того времени в целях религиозного и нравственного самовоспитания. Поэтому можно быть уверенным, что всякий, кто брал в руки *Secretum*, чувствовал в диалоге между Августином и Франческо отклик другого диалога, в котором Григорий наставлял диакона Петра, рассказывая ему поучительные биографии святых, потому что моральное устройство начинается с воспоминаний о добродетелях и доблестях, принадлежащих прошлому. *Утешение* и *Диалоги* несомненно представляли собой два текста, которые, в силу принадлежности их к этому вполне определённом жанру, были как бы ориентирами для каждого читателя, которые он находил почти инстинктивно и запоминал на всю жизнь.

Название, которое Петрарка избрал для своей «книжечки» (*libellus*) несёт отпечаток стиля Библии: «*Secretum meum es et dicebis*» («Ибо ты есть мой Секрет, долженствующий быть высказанным»).

<sup>15</sup> Boethius, *Consolatio Philosophiae* (Corpus Christianorum, Series Latina, 94), Turnhout 1957, lib. I, pr. 1.

<sup>16</sup> Petrarca Fr. *Secretum* / Ed. E. Carrara // Francesco Petrarca. *Prose* / A cura di G. Martellotti et altri. Milano-Napoli, Ricciardi, 1955.

<sup>17</sup> Gregoire le Grand. *Dialogue* / Texte critique par Adalbert de Vogüé, Paris, 1979 (Sources Chretiennes, 260).

Библейскую краткость и энергию латинской фразы Петрарки невозможно сохранить в точно передающем её смысл переводе из-за несходства грамматических систем классической латыни и современного русского языка — прим. пер.

С учётом контекста здесь мы имеем переключку с текстом пророка Исаии: «*Secretum meum mihi, secretum meum mihi*» (Исаия, глава 24, стих 16)\*\*. Данный небольшой стих присутствует в аскетическо-мистической традиции Средневековья вплоть до *Часов мудрости* (*Horologium sapientiae*) доминиканца Хайнриха Зузо, поразительной книге медитации, имеющей траекторию от Аристотеля до мистики, составленной в 1333-34 гг. и сразу получившей весьма широкое распространение<sup>18</sup>: эту литературную новинку того времени Петрарка знал (во всяком случае, это весьма вероятно).

Первые слова, которые Петрарка произносит во вступлении, обращаясь к Истине, явно заимствованы им из Вергилия (*Энеида*, I, 327-28): возможно, это означает, что Петрарка желает себя сразу идентифицировать как поэта-пророка, каким был Вергилий. Вступление заканчивается цитатами из двух античных классиков, с указанием их имён: это Цицерон и Платон, которые тоже писали диалоги. Возможно, Петрарка больше хотел сравнить себя с этими авторами, в которых он видел самых великих философов античности, нежели с Отцами Церкви: такова была форма уважения к масштабам мудрости, искущённости и человеческой значимости этих философов дохристианской эры. Цицерон упомянут в конце пролога, но автор обращается к его наследию (без упоминания его имени) уже в первых словах *Secretum*'а, которые звучат так: «Мне, погружённому столь часто в размышления о том, каким я пришёл в этот мир...». Трактат Цицерона *Об ораторе* имеет следующий зачин: «Мне, который часто размышлял и вспоминал о прошлом...»<sup>19</sup>.

---

\*\* В русском синодальном переводе указанного стиха читаем: «беда мне, беда мне! Увы мне!». В итальянском (исполненном не с латинского перевода, а с языка оригинала и одобренном Римской Церковью) переводе того же места Библии читаем: «Sono annientato, sono annientato, guai a me!», то есть: «Я уничтожен, я уничтожен, беда мне!». Латинское же слово «*secretum*» имеет по словарю И.Х. Дворецкого два варианта перевода: «секрет» и «уединённое место». Как видим, мы имеем переводы слова «*Secretum*» с совершенно различным смыслом в контексте как минимум двух канонических переводов Библии, с одной стороны, и текста Петрарки, с другой. Таким образом, вопрос о точности перевода библейского текста, а также о семантике слова «*Secretum*» в разных контекстах остаётся открытым, как и вопрос о фундированности чисто внешнего сопоставления данного слова в различных текстах автором статьи – прим. пер.

<sup>18</sup> О книге Зузо и цитате из Исаии см.: Künzle P. *Heinrich Seuses Horologium sapientiae*, Freiburg (Schw.) 1977 (Spicilegium Friburgense, 23). P. 481.

<sup>19</sup> О риторическом значении отсылки к образцу посредством первых слов произведения см.: Conte G.B. *Memoria dei poeti e sistema letterario*. Torino: Einaudi, 1974.

В то время как Петрарка мог рассчитывать, что его читатели знали и чтли Бозэция и Григория Великого, скрытая отсылка к Цицерону является более утончённой, но она становится несколько более явной из-за открытого упоминания о нём же на следующей странице. Остаётся слово в самом начале – *attonito* – как самое первое и важное. Пометка в «Амброзианском Виргилии» позволяет уяснить его источник. В первой книге *Энеиды* Венера предстаёт перед Энеем, который ей отвечает, не узнав её. На листе 62v кодекса, на полях текста *Энеиды*, I, 327 Петрарка переписал цитату из *Письма Сенеки*<sup>20</sup>, где языческий философ говорит о человеке, которому является Добродетель (*Virtù*) в облике богини и с таким сверканием в глазах, что он становится «изумлённым, поражённым, испуганным, потрясённым» и не могущим найти адекватных слов иначе как прибегнув к цитате из Вергилия. Мы снова встречаемся с первым словом *Secretum'a*, в окружении цитаты из Вергилия и в контексте обдумывания сопоставляемых Петраркой текстов Вергилия и Сенеки<sup>21</sup>. Античные поэт и философ являются как бы ориентирами при чтении *Secretum'a*. Поля огромного кодекса служили Петрарке большой записной книжкой для отыскания в ней, если понадобится, своих заметок, накопленных за годы и годы тщательного изучения классических авторов. Сегодня, благодаря изданию этих заметок, мы имеем возможность следить за нитью этих размышлений и медитаций Петрарки как от зарождения мысли к дефинитивному тексту, так и в обратном направлении.

Перевод В. Беляева

<sup>20</sup> Seneca. *Ad Lucillium epistulae morales*? / Ed. L.D. Reynolds, Oxford, 1965. *Epistola* 115, 4–5. См. русский перевод: Сенека. Нравственные письма к Луцилию / Пер. С. Ошерова. Кемерово, 1986. Даём его перевод с латинского оригинала тех мест у Сенеки, которые приводит в итальянском переводе с латинского оригинала автор статьи: «Если бы кто увидел её лик, возвышенной и блистательней всех лиц, какие он привык видеть у людей – разве он не остановился бы, не оцепенел, словно встретив божество? ... глядя... в её пылающие кротким, но ясным огнём очи? Не повторил бы наконец изумлённо и благоговейно (*verens atque attonitus*), [*attonito по-итальянски*] строки нашего Вергилия: Как мне тебя называть? Ты лицом непохожа на смертных, / Голос не так звучит, как у нас... / Счастлива будь, кто бы ты ни была! Облегчи нам заботу! (*Энеида*, с. 327–330. – Указ. соч. С. 353.) / О богиня, ты, конечно, должна быть благосклонна к нам... Строчка, выделенная жирным шрифтом, есть мой перевод последней (330-ой) строки цитируемого автором статьи итальянского перевода, который именно в данном месте слишком уж далеко отходит от латинского оригинала: «*Sis felix nostrumque leveꝝ quaecumque laboreꝝ*». – прим. пер.

<sup>21</sup> Rico F. *Vida*. P. 22–23.

**Н.И. Девятайкина (Саратов)**

**ДОМ–МУЗЕЙ ПЕТРАРКИ В АРКВА:  
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ПОЭТА И ГУМАНИСТА**

Время рождения и время смерти Петрарки (1304–1374) сходятся между собою так, что тот, кто начал им заниматься в 1970-е гг., имел в руках материалы конференций, связанных с 600-летием его памяти. Ныне, через 30 лет, пришел следующий значимый юбилей – 700 лет со дня рождения великого поэта и гуманиста, бесспорно признанного зачинателя гуманистического ренессансного движения в Италии. И молодые ученые 1970-х ныне составят, очевидно, значительную часть докладчиков на многочисленных европейских, американских и отечественных симпозиумах, которые с мая 2003 года идут в Италии, где начало было дано чтением в Милане в Католическом университете.

Уже и до публикации их материалов ясно, что за прошедшие тридцать лет мировой наукой было сделано очень много, и что изучение Петрарки вполне подчинялось лингвистическим, культурно-антропологическим, биографическим и иным поворотам в методологии, высветившим многие тексты со стороны необычной и яркой, особенно его биографические сочинения и письма. Как и следовало ожидать, масса публикаций связана по-прежнему с поэтическим творчеством Петрарки, над которым продолжает идти тончайшая текстологическая работа, раскрытие лингвистических и стилистических проблем, выявление истоков и аллюзий, степени и характера влияния античных авторов и предшественников, исторических и культурных реалий. Однако историки литературы, которые по традиции больше всего занимаются на Западе наследием Петрарки, за эти тридцать лет принципиально много уделяли внимания и его латинскому творчеству, в результате чего исследователи получили в руки современные научные издания большей части его ученого наследия.

Значительным вниманием к Петрарке отмечено это тридцатилетие и в отечественной науке, причем одновременно – со стороны филологов (М.Л. Гаспаров, Р.И. Хлодовский, Н. Томашевский, В.Б. Микушевич, Е.Г. Рабинович, Л.М. Лукьянова и др.), философов (А.Х. Горфункель, В.В. Биbihин), культурологов (Л.М. Баткин), историков (Н.В. Ревякина, Л.М. Брагина, Н.И. Девятайкина и др.) В Рос-

сии появилось много новых переводов латинских сочинений и писем Петрарки, составивших весомое прибавление к знаменитому *Secretum* («Моей тайне»), переведенной и опубликованной еще М.О. Гершензоном (1915). Кроме того, наконец-то дождалась выхода в свет весь сборник «Канцониере» и «Триумфы»<sup>1</sup>. Правда, как показывает время, трудов на этом поприще, несомненно, хватит и до следующего памятного события, на многие десятилетия.

Напомним, что Петрарка оставил обширное творческое наследие, тщательно им подготовленное для потомков. По славе на первом месте стоит сборник итальянских стихов «Канцониере», большая часть сонетов которого посвящена красавице Лауре, с молодости ставшей его музой и остававшейся таковой не только при жизни, но и после смерти, последовавшей в чуму 1348 года. На итальянском написана и поэма «Триумфы». На латинском – 6 трактатов, 4 инвективы, несколько больших сборников писем, в том числе – в стихах, поэма «Африка», посвященная геройским подвигам Сципиона Африканского Старшего, и около десяти небольших по размерам произведений в разных жанрах. Изданы они, конечно, все. Начало было положено инкунабулами, и всеохватывающими изданиями XVI века. Но полного академического научного собрания сочинений Петрарки пока нет. В Италии еще не состоялось издания знаменитых «Старческих писем» Петрарки, хотя оно, судя по публикациям, активно готовится У. Дотти и другими учеными. Очевидно, еще немало дел с подготовкой научной публикации трактата «О средствах против превратностей судьбы» (1354–1366), 253 диалога которого содержат богатейший материал, но пока далеко не во всем поддаются расшифровке и прочтению. Есть и другие задачи в этой области.

Прошедшие тридцать лет отмечены возрождением интереса к иконографии Петрарки и его произведений<sup>2</sup>. Но и поныне не на-

---

<sup>1</sup> См.: *Петрарка Фр.* Эстетические фрагменты / Пер. вступ. ст., примеч. В.В. Библихина. М.: Искусство, 1982; *Петрарка Фр.* Африка / Изд. подг. Е.Г. Рабинович, М.Л. Гаспаров. М.: Наука, 1992; *Петрарка Фр.* Стихи. Сонеты. Размышления. М.: РОСАД, 1997; *Петрарка Фр.* Сочинения философские и полемические / Сост., пер. с лат., коммент., указат. Н.И. Девятайкиной, Л.М. Лукьяновой. М.: РОССПЭН, 1998; *Петрарка Фр.* Триумфы / Пер. В. Микушевича. М.: Время, 2000.

<sup>2</sup> Обозначим наиболее содержательные работы последних лет: *Fasso G., Canova Giordana M., Ennio S.* Illustrazione libraria, filologia e esegesi petrarchesca tra Quattro e Cinquecento. Padova, 1990; *Ariani M.* Petrarca Francesco // *Enciclopedia dell' arte medievale.* Roma, 1998. Vol. IX. P. 335–343; *Ortner A.* I "Trionfi" del Petrarca: origine e sviluppo del tema nell' arte fiorentina // *Rivista di*

писано обобщающего исследования на данную тему. В частности, еще нет сравнительного анализа его портретов-миниатюр, украшающих инициалы или иные части текста его сочинений, в том числе – ни одной специальной статьи по поводу изображений в кодексе трактата «О средствах против превратностей судьбы», хранящегося в Санкт-Петербурге (Lat.F. v. XV № 1) и очень интересного тем, что он создан в конце XIV в., всего через 10–15 лет после смерти поэта. Он точно датирован (1388, Милан) и при этом имеет 6 портретов гуманиста. И кодекс, и портреты в прекрасной сохранности<sup>3</sup>. Кодекс, судя по листу записей, видели П. Кристеллер (1958), и некоторые итальянские ученые (Mario Rossi, Stefano Roglieroli), с него делались микрофильмы.

Пожалуй, уникальным комплексом для иконографических и биографических штудий, позволяющих судить, с одной стороны, об обстоятельствах личной жизни поэта последних лет, а с другой – о восприятии его наследия в эпоху зрелого Ренессанса может служить дом-музей поэта в Арква в совокупности с его фресковыми росписями, скульптурами и иными экспонатами.

В данной статье предпринимается скромная попытка интерпретировать некоторые факты, связанные с последним этапом творческого и жизненного пути Петрарки, его домом в Арква и судьбой этого дома в рамках ренессансной эпохи.

Возможности поставить названные выше вопросы представляются благодаря тому, что дом сохранился в том виде, в котором он был во времена Петрарки<sup>4</sup>. Этот дом имеет интересную историю и судьбу. Чтобы ее понять, напомним, что Петрарка половину своей жизни провел за пределами Италии, поскольку его отец оказался вместе с Данте изгнанным из Флоренции по политическим мотивам. Петрарка родился уже собственно за пределами Флоренции, в имении деда. Но отец, нотариус по профессии, должен был искать приличного жалования и, в его поиске, перебрался, как и многие итальянцы, в Авиньон, ставший в тот момент временной столицей римского папства. Детство, юность и значи-

---

storia della Miniatura. Firenze, 1999. 4. P. 81–96; *Paolino L.* Il codice degli abbozzi. Edizione e storia del manoscritto Vaticano latino 3196. Milano, 2000.

<sup>3</sup>См. краткое описание в кн.: *Итальянские гуманисты в собрании рукописей Государственной Публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. Каталог / Сост. Е.В. Бернадская. Л., 1981. С. 2–4.*

<sup>4</sup>Хотелось бы выразить искреннюю благодарность моему замечательному Вергилию – доктору Бруне Озимо, которая во время моей стажировки в Милане прошлой весной организовала поездку в Арква. Целый день мы вдвоем осматривали музей Петрарки и городок, консультировались с хранителем, получили много материалов самого разного рода.



тельная часть зрелой жизни Петрарки оказались связанными с Авиньоном. Учился он в Монпелье, потом в Болонье на факультете права, но после ранней смерти матери, а затем отца вернулся в Авиньон и определился по духовной карьере, приняв постриг.

Он, конечно, многократно бывал в Италии, гостевал у многих коронованных и знатных особ от Неаполя до Падуи, короновался лавровым венком в Риме (1341). Его сонеты, куски латинской поэмы «Африка», письма, и все, что выходило из-под пера, быстро распространялось по Италии усилиями друзей и поклонников.

В начале 1350-х гг. Петрарка решил вернуться в родные места. Встал вопрос о том, где же поселиться. Слава его была столь велика, что Флоренция, Венеция, Милан, Падуя и другие города считали честью для себя видеть поэта и гуманиста своим гражданином. Для начала он выбрал Милан, где в старой части города сохранился двухэтажный дом, часть которого он занимал. Потом перебрался в Венецию. Самым верным его покровителем и поклонником его таланта оставался Франческо Каррара, правитель Падуи (со второй половины века и до смерти Петрарки). Гуманист был дружен с его отцом, когда-то приглашался и им, и сын не оставил этих попыток. Наконец, побывав у Каррара в гостях, Петрарка решил принять приглашение. Но при этом он отказался от жизни в самой Падуе, потому что хотел природы и уединения. Синьор Каррара нашел выход: он купил и подарил Петрарке дом, точнее два небольших дома, стоявших в трех метрах друг от друга, в местечке Арква в 20 милях от Падуи. Кроме того, сумел договориться с падуанскими епископами по поводу канониката, который приносил 200 золотых дукатов в год и позволял поэту и его семье прилично существовать<sup>5</sup>.

Поскольку городок и дом мало изменились со времен Петрарки, есть смысл пристальней присмотреться к тому и другому, чтобы составить представление о житейских и творческих предпочтениях Петрарки.

Первое, что становится ясно: он действительно эстетически чутко воспринимал природу. Холмы, виноградники, ряды оливковых деревьев, спускающиеся к долине в форме арки, дали название местечку. Вид на эту арку открывается прямо из окна второго этажа петрарковского дома и совершенно зачаровывает. Строений не видно, перед глазами – небеса, холмы, простор, веселые полосы виноградников, небольшие пасущиеся стада. Зелено с марта и до

---

<sup>5</sup> Основные сведения, касающиеся покупки дома и его обустройства Петраркой, взяты в основном из книги: *Montobbio L. Arquà Petrarca. Storia e Arte. Padova, 1998. P. 3–63.*

декабря. Становятся понятными многочисленные пассажи «Старческих писем» Петрарки с описанием окрестностей, которые то и дело вплетаются в основные темы рассуждений. Ясно, что он нашел то, о чём мечтал. И что исходил не раз все окрестности, размышляя о высоком, додумывая начатое, замышляя новое.

Спокойно-радостен и умеренно-бодр сам городок. Он лежит в двух уровнях, дом Петрарки – в верхнем. Петрарка рачительно воспользовался дарением Каррара. Он соединил два дома в один. Поскольку весь Арква расположен на холмах, дома стояли на разных уровнях. Тот, что был пониже, но побольше, Петрарка определил для себя, тот, что повыше и поменьше – для прислуги. Но даже после небольшой перестройки дом не сильно увеличился в размерах. В нем обитали сам поэт, его любимая дочь с мужем и тремя детьми, старшей из которых, названной в честь деда Франческой, было около 10 лет, друг и духовник Ломбардо делла Сета, помощник-переписчик, повар, прислуга, словом, более десяти человек. Дом стал при новом хозяине светлым и уютным. Петрарка прорезал новые окна, как раз и открывшие чудный вид на Евангельские холмы и долину, немного изменил фасад. Перед домом и за ним развел два сада, терпеливо и с умением выращивая много цветов и деревьев, среди которых, судя по упоминаниям в письмах, были лавр, олеандр, сосна, вишня, розмарин и пр.

В доме часто и подолгу гостевали Франческо Каррара и иные друзья. Сам дом может добавить несколько штрихов к портрету Петрарки. На втором этаже у него был кабинет (*studio*). Ныне там осталось только две вещи, знавшие поэта: кресло и книжный шкаф. Вместимость и добротность букового шкафа с решетчатыми дверцами зримо показывает, что значили для Петрарки книги. Скорее всего, не все они умещались в этом шкафу: в стенах кабинета есть два углубления, тоже использовавшиеся под книги. Кресло строгое, украшенное резьбой в мавританском стиле, но, судя по всему, очень удобное для длительной работы за столом, с подлокотниками, хорошей спинкой. Почти монашеская строгость кабинета сразу заставляет вспомнить рассуждения Петрарки об ученом досуге в трактате «Об уединенной жизни» (1346)<sup>6</sup>. Кабинет вполне соответствует тому, о чем там пишет гуманист.

К сожалению, ныне дом-музей не имеет рукописей или иных автографов Петрарки хотя бы последнего периода его жизни, только разрозненные копии некоторых его трудов. Подлинники находятся в других, знаменитых хранилищах – библиотеках: Вати-

---

<sup>6</sup> См.: *Петрарка Фр.* Об уединенной жизни. Кн.1. // Франческо Петрарка. Сочинения философские и полемические. С. 66-127.

канской, Амброзианской, Флорентийской, Венецианской, Французской национальной и других, куда их разбросало время и судьба. Рукописи могли бы рассказать, чем были заполнены те последние годы жизни, которые он провел в Арква. Э.Х. Уилкинс, лучший биограф и летописец Петрарки середины XX века, У. Дотти, один из самых известных современных его исследователей, а также другие авторы достаточно точно установили, что именно было сделано гуманистом в этот период<sup>7</sup>.

Как кажется, это помогает прояснить и все то, что происходило позже с домом. Вкратце напомним, что в те годы Петрарка предпринял последнюю, девятую редакцию своих «Канцоньере». Значит, итальянские «безделки», как он называл свои сонеты, обозначая тем самым особую важность латинских трудов, продолжали его занимать, он не жалел последнего отпущенного судьбой срока на их шлифовку. Кроме того, он не забрасывает латинскую поэму «Африка», принесшую ему лавровый венец, но так и не завершённую. Он дошлифовывает трактат «О знаменитых мужах», поэму «Триумфы», сборник «Старческих писем», тоже не завершённый. Именно в это время он пополняет данный сборник одним из самых знаменитых писем, которое часто называют трактатом, политическим завещанием гуманиста. Оно адресовано как раз падуанскому синьору Каррара, посвящено ему и называется «О наилучшем управлении государством» (1373).

В послании Петрарка реализовал одну свою заветную мечту – высказать наставления гуманиста и философа государю. Там он больше всего настаивает на «долге» справедливости, любви к народу, деятельности, просвещенности, покровительстве ученым и творческим лицам – как основных качествах государя. За несколько месяцев до ухода из жизни он пишет «Инвективу против того, кто хулит Италию», где в споре с авиньонским кардиналом «французской партии» отстаивает исторический, культурный и моральный приоритет Рима как места папского престола. Сочинение показывает, как заботила его судьба страны, Рима, церкви, итальянского народа, судьба итальянской нации.

Об этом же говорит один из фактов его биографии этого периода: в 1373 г., когда его жизни оставались считанные месяцы, будучи уже совсем не крепкого здоровья, Петрарка отправляется в утомительную, хотя и не очень далекую, поездку в Венецию в качестве посла для заключения мира между ней и Падуей после

---

<sup>7</sup> Wilkins E.H. Petrarch's later Years. Cambridge, 1959; *Idem*. Life of Petrarch. Chicago–L., 1963; *Dotti U.* Vita di Petrarca. Roma–Bari, 1987; *Idem*. Petrarca civile. Alle origini dell' intellettuale moderno. Roma, 2001.

очередной войны. Он сопровождает сына синьора Падуи, молодого Каррара, произносит во Дворце дождей речь в защиту падуанской синьории. Это был последний выезд из Арква.

О личных качествах, по крайней мере, благочестии, Петрарки могут рассказать две церкви, которые уже существовали в его время и действуют до сих пор. В обеих есть памятные доски, указывающие место, где он, молясь, чаще всего стоял на коленях (скамей еще не было). Одна из них – Церковь Святой Троицы (L'Oratorio della SS. Trinita), построенная в XII в., если не раньше. Она находится рядом с домом Петрарки, в верхней части Арква. Во времена поэта она была расписана фресками. Они сохранились фрагментарно и выказывают византийскую манеру.

На больших богослужениях Петрарка бывал в главной, кафедральной, церкви города, посвященной Деве Марии (Santa Maria Assunta), построенной в начале XI в. в романском стиле. На правой стене церкви буквально в год приезда Петрарки в Арква появился триптих «Святой Августин и другие святые». Не исключено, что какие-то советы Джанобелло ди Бономо, с именем которого связывается триптих, мог дать Петрарка. Как известно, он знал и любил Августина, этого великого отца западной церкви, имел в библиотеке почти все его произведения, а «Исповедь» не выпускал из рук. Участвовал ли Петрарка в обсуждении темы, или нет, он, скорее всего, был доволен тем, каким предстал перед прихожанами отец церкви, столь им любимый. Августин изображен в зените христианской славы и чести – в епископском облачении, сидящим и прямо смотрящим на зрителя. В его левой руке книга, скорее всего евангелие. Мудрый и немолодой человек ученого вида предстал перед Петраркой. Может быть, таким гуманист представлял автора «Исповеди» и «Града Божьего», когда писал свой знаменитый трактат – «Моя тайна», где два участника – Франциск и Августин горячо полемизируют о сути мира земного и человеческих устремлений. Горячо, но стороны Франциска – подчеркнута почитательно.

С книгами в руках и все святые, как в нижнем, так и в верхнем ряду боковых частей триптиха. С книгой и макетом церкви донатор. Это тоже должно было нравиться великому книголюбу и почитателю учености Петрарке. На левой стене Петрарка видел триптих с тремя святыми заступницами (Св. Мартой, Св. Марией Магдалиной, Св. Лючией) более раннего и архаического изображения с привычными атрибутами.

Петрарка вспоминает об этой церкви в письмах. Кстати, Церковь владела некоторыми землями в Арква, часть прав на которые была передана Петрарке его другом, епископом Альдебрандино Конти. Он и похоронен был в этой церкви, а через несколько

лет его зять возвел специальную арку рядом, и прах поэта был перенесен туда. Там он покоится до сих пор.

Известно, что у Петрарки были поклонники не менее горячие, чем он сам в отношении к Августину. Его портрет писали при жизни несколько раз, друзья заказывали его миниатюрные изображения и не расставались с ними. Очевидно, такие попытки делали и скульпторы. В любом случае, ныне в его доме-музее находится одна статуя, изваянная каким-то неведомым современником или близким к его эпохе мастером. С точки зрения художественной она не представляет интереса: ныне хранитель дома машет на нее рукой и снисходительно улыбается по поводу ее несовершенства, но внимание историка она не может не привлечь. Петрарка изображен в римских одеждах (правда, в непонятном головном уборе, напоминающем средневековую крестьянскую шапку типа русской «ушанки»), толстой книгой, перетянутой застегками, в правой руке и с пером в левой. На обложке книги стоит надпись – «Африка». Значит, для скульптора самым важным в характеристике Петрарки оставалось именно это сочинение. И роль Петрарки как национального мыслителя (поэма – о героических и победных страницах римской истории), почитателя античности. Он изображен не как средневековый отшельник или монах, а как мудрый гражданский муж, в энергичной позе. В выражении лица читается готовность и дальше действовать во имя Италии и восстановления забытых страниц ее прошлого. Ныне эта скульптура, 90 см в высоту, стоит на втором этаже музея.

Опустим историю дома Петрарка первых полутора столетий после его смерти: он просто переходил от одних владельцев к другим. Основные изменения с ним произошли в середине XVI в., когда знатный падуанец и поклонник творчества Петрарки Пьетро Паоло Вальдедзокко становится собственником. Он остается им около 12 лет. Этого времени ему хватило, чтобы возвести красивую наружную лестницу и лоджию с возрожденческими линиями, выложить камин и расписать их и все стены фресками на темы произведений поэта. Среди фресок и портрет самого поэта. Одновременно Вальдедзокко заказывает неизвестному скульптору бронзовое изображение его головы и устанавливает его на гробнице. Ныне оно хранится также в доме-музее.

Если взглядеться вначале в скульптурный портрет, то он чем-то перекликается с портретом скульптора XVI века, хотя сделан гораздо более талантливой рукой. Петрарка представлен анфас, но уже в более привычном монашеском капюшоне, в котором его чаще всего изображали и современные ему художники, и более поздние. Но его взор, выражение лица в целом – и здесь не аскетические,

отрешенно-монашеские, они передают ту внутреннюю энергию человека светского умственного труда, которую пытался запечатлеть скромный современник. Взгляд устремлен куда-то вдаль, скульптурный герой явно смотрит на потомков, в уверенности, что он сумел сказать им много важного и интересного. Замысел видится созвучным знаменитому «Письму к потомкам» (1358) Петрарки, где он как раз высказывает надежды на то, что его труды прочтут в будущем и что он как личность будет также интересен<sup>8</sup>.

Что касается живописного портрета, которым украшен один из залов, называемый теперь «Stanza delle Visioni» («Комната Видений»), то он, со своей стороны, по изображению портретных черт близок к скульптурному. Очевидно, перед глазами авторов был общий ранее исполненный оригинал. Неизвестный художник-падуанец представляет поэта в возрасте лет 45–50, скорее круглолицего, со спокойным выражением лица и устремленным вдаль задумчивым взглядом. Художник пишет портрет в теплой коричневато-желтой гамме, поэтому привычное монашеское одеяние на Петрарке оказывается двухцветным: капюшон и рукава плаща терракотового оттенка, основная часть – черно-терракотового. За спиной стоящего поэта – два мощных лавровых дерева: быть может, знак его двойной славы – прижизненной и посмертной? А сама их мощь передает уверенность художника в незыблемости этой славы еще на долгие века. Конечно, он не забывает о том, что Петрарка был коронован лавровым венком на Капитолии: по верх капюшона голову обвивает венок, который одновременно выглядит как ветка стоящего за спиной лавра. Дальше на горизонте – любимые Петраркой Евангельские холмы, какие-то строения, возможно, нижняя часть Арква. Петрарка возвышается над местечком, холмами, его голова словно бы упирается в небеса.

Петрарка фигурирует как персонаж на семи из восьми панелей, расписанных по заказу Вальдодзоккио (одна целиком посвящена Лауре). Его одежды написаны в той же гамме, что и портрет, сам он стоит везде боком или развернутым на три четверти, на двух панелях – с лавром. Никаких деталей к основному портрету эти фигуры не добавляют. Они интересны тематически, поскольку включены в сцены, написанные по мотивам первой канцоны «Книги песен» – «Nel dolce tempo de la prima etade». В этой большой канцоне Петрарка рассказывает о том, как долго он был недося-

---

<sup>8</sup> Петрарка Фр. Письмо к потомкам // Франческо Петрарка. Избранное. М., 1974. С. 5–17. Письмо со времен М.О. Гершензона, переведшего его на русский язык, постоянно публикуется в избранных сочинениях Петрарки и остается объектом пристального внимания.

гаем для Амура, как тот взял в союзницы даму Лауру, и они вдвоем превратили его в лавр, как потом он пытался признаться Лауре в любви, и она выражением лица осудила это признание, какие он дальше испытывал превращения под влиянием страсти. То летал, не чуя под собою земли, и превращался в лебедя, то пылал и превращался в огонь, то леденел и оборачивался под сенью бука прозрачным ключом, то застывал, словно камень. Однажды он застал Лауру нагой, плещущейся в ручье, и она, студенной водой обдав его, превратила в оленя, как любовь превращала его потом то в птицу, то в огонь. Канцона заканчивается привычным:

От лавра не уйти мне никуда.

Мой первый лавр – досель моя отрада,

И сердцу меньших радостей не надо.

Все перечисленные моменты и попытался изобразить художник. На четырех панелях представлена в образе молодой красивой женщины в светлом расшитом платье и красивом головном уборе героиня канцоны, мановением руки или взглядом превращающая влюбленного поэта то в лавр, то в скалу, то в оленя.

И вновь холмы, деревья, городок у подошвы холмов, река. Все напоминает холмы и горы вокруг Арква: очевидно, они и для художника были источником вдохновения. Он уловил настроение «Книги песен»: там Лаура изображается постоянно среди прекрасной природы, рисуется как лучшее ее создание, ее украшение. Панели-иллюстрации не передают всего возвышенного смысла канцоны, но ухватывают ее аллегории и метафоры, по своему воспевают красоту Лауры, пытаются передать разные душевные состояния поэта.

В картинах можно найти влияние ренессансных художественных приемов и идей. В первую очередь – в изображении Лауры. Она напоминает ренессансных мадонн благородством осанки, позы, выражением лица, утонченной красотой. Картины полны воздуха и не перегружены деталями. Единственное, что их роднит со старыми приемами – повествовательность и изображение двух-трех сцен в рамках одной панели.

Тему любви продолжают росписи еще двух панелей по мотивам канцоны 323 “*Standomi un giorno solo a la fenestra*”. Там представлена Лаура, босая в зелени лугов, опять на фоне знакомого пейзажа, и сам поэт, зачарованный любовной музыкой и песнями о любви.

---

<sup>9</sup> Пер. Е. Солоновича. Петрарка играет здесь, как во многих других сонетах и канцонах, созвучием слов Лаура – лавр.

Для Валлодокии казалось существенным отразить в панелях и какие-то сюжеты «Африки». Ими расписана Зала «Африки» (Stanza dell'Africa). Но сцены изображены тоже любовные, правда, драматические и трагические. На верхней части камина представлены Сафо и Клеопатра и скульптурное изображение умирающей Лукреции. С Сафо связаны два сюжета: в первом она написана сидящей за пюпитром и пишущей стихи. Ее комната – типичный средневековый ученый кабинет, только одежда и прическа выдают античность. Бурное движение складок платья чем-то напоминает одежду героинь Боттичелли. Во втором сюжете поэтесса изображена бросающейся в море с высокой отвесной скалы. И опять очень живо передано движение падающего тела, складок платья.

Очень выразительно, в виде полнотелой и красивой молодой дамы, изображенной в «позе Данаи», выглядит Клеопатра, к груди которой тянутся змеи. И вновь простор, большое озеро, на противоположном берегу которого холмы, городок, замки.

Выразителен и портрет умирающей Лукреции: она представлена в римских одеждах, с откинутой слегка головой, закрытыми глазами, спокойным, но поражающим внутренней силой и достоинством выражением лица.

Итак, для века Вальдокии Петрарка стал важен прежде всего как певец любви. Героические темы «Африки» отступают в тень, на их место приходят сюжеты неразделенной, но возвышенной и страстной любви, или драматические моменты, с нею связанные. Вальдокии как бы «примиряет» двух Петрарок – латинского и итальянского, обозначив одну из важных общих тем.

Следующие века их снова «разведут». Один век будет восхищаться его поэзией, другой – его античностью, третий – христианством. Ныне, на новом уровне, исследователи пытаются показать эту фигуру во всей ее масштабности, многогранности, противоречивости. Насколько мировая наука продвинулась на этом поприще – покажут материалы конференций юбилейного года, которые также хотелось бы сделать объектом специального анализа.



## ТЕОРИЯ. МЕТОДОЛОГИЯ. ИСТОРИОГРАФИЯ

---

В.В. Носков (Санкт-Петербург)

### «МЕТАИСТОРИЯ» ХЕЙДЕНА УАЙТА (к переводу книги на русский язык)

*В различении между философией и литературой по-настоящему нуждаются только библиотекари да чиновники от образования. Только они.*

Ричард Рорти

Переводом основного произведения современного американского философа Хейдена Уайта екатеринбургские коллеги сделали великолепный подарок российским историкам<sup>1</sup>. Х. Уайт по праву занял место среди выдающихся исторических мыслителей второй половины XX века. Публикация его книги в 1973 г. положила начало движению, породившему одно из наиболее перспективных направлений современной интеллектуальной истории, в процессе оформления которого произошло также самоопределение «новой философии истории – философии исторического нарратива»<sup>2</sup>. В момент наибольшей популярности *«Метаистории»*, пишет современный российский исследователь, «интеллектуалам казалось, что благодаря Уайту критическая рефлексия навсегда изжила свое “наивно-реалистическое” отношение к языку, окончательно осознав, что он не является прозрачным и пассивным медиумом, сквозь который мы видим реальность прошлого». Появление вслед за тем других ярких исследований «позволяет говорить о возникновении нового направления, за которым в литературе закрепились такие названия, как “новая интеллектуальная история” или “новая философия истории”»<sup>3</sup>. Книгу Х. Уайта называют «символом и знаменем новой

---

<sup>1</sup> Уайт Х. *Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века*. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2002. Оригинальное издание: White H.V. *Metahistory: Historical Imagination in Nineteenth Century Europe*. Baltimore: Johns Hopkins UP, 1973.

<sup>2</sup> См.: Репина Л.П. «Новая историческая наука» и социальная история. М., 1998. С. 228; Репина Л.П. Интеллектуальная история сегодня // *Диалог со временем*. Вып. 2. М., 2000. С. 9; Зверева Г.И. Понятие новизны в «новой интеллектуальной истории» // *Диалог со временем*. Вып. 4. М., 2001. С. 50.

<sup>3</sup> Олейников А.А. Временной опыт и повествовательный сюжет в феноменологической и в «новой» философии истории // *Диалог со временем*. Вып. 6. М., 2001. С. 248-249.

философии истории США», с момента выхода которой «начинает отсчет своего существования "новая" философия истории» на Западе в целом. Эта «новая» философия истории рассматривает проблемы исторического познания как «проблемы в первую очередь текстуальные и лингвистические». Она стремится преодолеть разграничение между языком и реальностью, ориентируясь не на науку, а прежде всего на искусство и литературу<sup>4</sup>.

О значении книги Уайта наглядно свидетельствует тот факт, что ее обсуждению был посвящен специальный выпуск международного журнала *«History and Theory»*. В ходе дискуссии отмечалось, что «Метаисторию» трудно отнести к трудам по философии истории, поскольку ее автором по существу отвергается все то, что составляло прежде ее содержание. Тактика Уайта, указывал Х. Келлнер, заключалась в том, что он игнорировал как всю принципиальную проблематику современной философии истории, так и огромную литературу об интересующих его мыслителях. «Метаистория» начинается с «отрицания убедительности почти всех базовых отличительных особенностей, понятий и проблем "философии истории" со времен Второй мировой войны»<sup>5</sup>. Под «современной» подразумевается «аналитическая» философия история, с которой концепция Уайта действительно не имеет ничего общего. Келлнер отмечал также, что Уайт подвел историописание как жанр под широко признанное понимание «нарративности», отвергая при этом «исторический реализм» в общепринятом понимании этого терми-

<sup>4</sup> Кукарцева М.А. Современная философия истории США. Иваново, 1998. С. 146–147, 149, 174, 199, 210; Кукарцева М.А., Коломовец Е.Н. Некоторые идеи постструктурализма и деконструктивизма в философско-историческом знании США // Философия и общество. 1999. № 1. С. 121, 134. См. также: Toews J.E. A New Philosophy of History? Reflections on Postmodern Histori-cizing // History and Theory. V. 36. № 2. В связи с этим, представляется курьезом заявление именитого германского историка, сделанное после ознакомления с немецким переводом *«Метаистории»* 1991 г.: «Уайтовская "литерализация истории"... обоснована его видением физики, которое срочно нуждается в историзации». – Эксле О.Г. Факты и фикции: о текущем кризисе исторической науки // Диалог со временем. Вып. 7. М., 2001. С. 59–60. Другой его коллега пишет: «Уайт утверждает, что между текстами писателей и текстами историков нет существенной разницы. "Клио тоже сочиняет" – так озаглавлено немецкое издание его работ. Это пост-модернистская позиция, которую я не считаю убедительной». – Кока Ю. Современные тенденции и актуальные проблемы исторической науки в мире // Новая и новейшая история. 2003. № 3. С. 19. Складывается впечатление, что в Германии не очень внимательно прочитали книгу американского философа.

<sup>5</sup> Kellner H. A bedrock of order. Hayden White's linguistic humanism // History and Theory. 1980. V. XIX. № 4. Beiheft 19. *Metahistory. Six Critiques*. P. 9–12, 28.

на<sup>6</sup>. Исследователь русской общественной мысли Ф. Помпер охарактеризовал «Метаисторию» как «необычайно стимулирующее исследование по интеллектуальной истории»<sup>7</sup>. Другой участник дискуссии считал нужным уточнить жанровую принадлежность книги, отметив, что она стимулирует поиски такой «философии истории, которая раскрывает некоторые из глубочайших корней человеческого самопонимания»<sup>8</sup>. С резкой критикой концепции Уайта выступил патриарх американской философии истории М. Мандельбаум, который обвинил автора в неспособности определить, что он понимает под этим термином. Мандельбаум указал на то, что Уайт совершенно не учитывает влияние национализма на развитие историографии, не придает значения истории культуры, игнорирует учение о социальной эволюции и многие другие факторы, воздействовавшие на историческую мысль, а предложенный автором «тропологический подход в основе своей аисторичен»<sup>9</sup>.

Уайта нередко обвиняли также в «безграничном релятивизме». В свое время хороший ответ на претензии такого рода дал американский историк Ч.О. Бирд, именем которого как классического «релятивиста» до сих пор пугают студентов авторы учебников по историографии:

Опасения «исторической относительности», порожденные признанием субъективного характера всех исторических конструкций, писал он, уравновешиваются осознанием того факта, что не может существовать столь же много объяснительных моделей, сколько существует историков. В действительности может быть только «ограниченная относительность», поскольку возможности выбора тем исторических исследований или фактов, относящихся к теме, до известной степени ограничены. На самом деле имеется не так уж много объяснительных моделей, подчеркивал Бирд, причем они не являются абсолютно противоположными по отношению друг к другу, а, наоборот, обладают некоторыми сходными чертами<sup>10</sup>. Отвечая на критику того же Мандельбаума, он заявил: «Я утверждаю не то, что историческая "истина" является относительной, а то, что относительны отбираемые факты, дух и замысел каждого исторического сочинения»<sup>11</sup>.

<sup>6</sup> Kellner H. Narrativity in History: Post-Structuralism and Since // History and Theory. Beiheft 26. The Representation of Historical Event. 1987. P. 14, 25.

<sup>7</sup> Pomper Ph. Typologies and cycles in intellectual history // History and Theory. Beiheft 19. 1980. P. 30.

<sup>8</sup> Nelson J.S. Tropical history and the social sciences // Ibid. P. 96.

<sup>9</sup> Mandelbaum M. The presuppositions of *Metahistory* // Ibid. P. 39, 49.

<sup>10</sup> Beard Ch. A., Vagts A. Current of Thought in Historiography // American Historical Review. V. XLII. № 3. P. 480-481.

<sup>11</sup> Beard Ch.A. (Review of:) The Problem of Historical Knowledge: An Answer to Relativism. By Maurice Mandelbaum // American Historical Review. 1939. V. XLIV. № 3. P. 572. См. также: Meiland J.W. The historical relativism

Автор нашумевшей книги по проблемам исторической «объективности» считает «релятивизм» лишь ярлыком, который ее сторонники навешивают на своих противников<sup>12</sup>.

Нидерландский философ Ф. Анкерсмит характеризует «Метаисторию» как в высшей степени «революционную работу», в которой был произведен решительный поворот от эпистемологической к нарративистской философии истории:

Именно здесь философия истории однозначно «отказалась от эпистемологического подхода и превратилась в философию языка», а «лингвистическая, нарративистская философия истории» явилась в своем истинном свете. Благодаря Уайту, полагает Анкерсмит, философия истории окончательно завершила «лингвистический поворот» и пришла в соответствие с современной интеллектуальной атмосферой; в ней произошел отказ от позитивистского наследия – упора на объяснение и описание – в пользу концентрации внимания на «исторической интерпретации»; сосредоточенность на частных деталях исторических исследований уступила место интересу к «тотальности» исторического действия; «традиционная дихотомия ортодоксального эпистемологического подхода», в которой прошлое противопоставлялось языку историка, потеряла смысл; и, наконец, произошел отказ от «антиисторизма эпистемологической традиции»<sup>13</sup>.

Английский историк К. Дженкинс убежден, что взгляды Уайта на то, как историческое прошлое преобразуется в нарративную историографию, заслуживают пристального внимания:

В наши «постмодернистские дни», писал он, во времена «нарративных», «лингвистических», «дискурсивных» и прочих «поворотов», исследователи должны обращаться к идеям Уайта как к отправному пункту в своих размышлениях о том, как пишется история и как это должно делаться. В своей книге, посвященной поискам ответа на вопрос «Что такое история?», Дженкинс многократно возвращается к центральному тезису Уайта о том, что воплощенная в тексте история представляет собой «нарративный дискурс, содержание которого настолько же воображается/изобретается, насколько обнаруживается»<sup>14</sup>.

---

of Charles A. Beard // *History and Theory*. 1973. V. XII. № 4; Nore E. Charles A. Beard's *Act of Faith: Context and Content* // *Journal of American History*. 1980. V. 66. № 4 (March 1980).

<sup>12</sup> Novick P. *That Noble Dream. The "Objectivity Question" and the American Historical Profession*. N.Y. & Cambridge: CUP, 1991. P. 3. См. также: Попму Р. Релятивизм: найденное и сделанное // *Философский прагматизм Ричарда Рорти и российский контекст*. М., 1997. С. 11–44.

<sup>13</sup> Ankersmit F.R. *The Dilemma of Contemporary Anglo-Saxon Philosophy of History* // *History and Theory*. Beiheft 25. *Knowing and Telling History: The Anglo-Saxon Debate*. 1986. P. 18–19, 21; Ankersmit F.R. *Historiography and Postmodernism* // *History and Theory*. 1989. V. XXVIII. № 2. P. 143.

<sup>14</sup> Jenkins K. *On "What is History?" From Carr and Elton to Rorty and White*. London & N.Y.: Routledge, 1996. P. 134, 144, 146, 151, 173, 178.

Развернутую характеристику труда Уайта дал один из крупнейших знатоков современной историографии Г.Г. Иггерс:

Предпринятый «в "Метаистории" опыт отыскания "глубинного структурного содержания", – писал он, – весьма способствует выработке более критического и аналитического, нежели прежде, подхода к истории историографии». Иггерс «вполне солидарен с Уайтом, усматривающим наличие идеологического влияния на историческое знание». Он признает, «что прямо или косвенно идеологические моменты входят во всякий строй исторического изложения, а кроме того, в каждом историческом изложении имплицитно присутствует некая философия истории». Он готов также «разделить мнение Уайта, что между фактом и вымыслом нет ясной границы», и соглашается, что Уайт внес «ощутимый вклад в углубление нашего понимания литературных аспектов исторического изложения»<sup>15</sup>. Однако, по мнению критика, «Уайт минимизирует различия между историческим знанием, спекулятивной философией историей и художественной литературой», полагая, что «историография, философия истории и историческая беллетристика равной мерой наделены интерпретативной состоятельностью». Уайт без должных оснований «утверждает, что, сделав однажды свой выбор, историк оказывается в плену избранной им стратегии». Он ошибочно «исходит из того, что тексты самодостаточны и могут быть подвергнуты анализу вне контекста». Но главное затруднение заключается в том, что «Уайт не сделал того, что собирался». Его очерки «являют собой не столько текстуальный, сколько контекстуальный анализ». А «прочтение Уайтом текстов интересующих его историков и философов с целью отыскания сокрытого в них понимания истории не слишком успешно. В основном он ограничивается тем, что реконструирует эксплицитные теоретические позиции и исследует влияние одних мыслителей на других». Поэтому «я за более строгое прочтение текстов, нежели предпринятое Уайтом», заключал Иггерс, а мой «критический настрой в отношении "Метаистории" продиктован не тем, что Уайт слишком полагается на тексты. С позиций текстуализма, отстаиваемых им, он полагается на них недостаточно». Уайт ошибается также, когда делает вывод, что «всякое историческое повествование есть по сути литературная фикция». Предпринятый же им разбор творчества восьми выдающихся мыслителей «непомерно избирателен», – полагает Иггерс<sup>16</sup>.

Столь же критически воспринял концепцию Уайта другой крупнейший специалист в области современной историографии П. Берк<sup>17</sup>. По-иному подошел к оценке трудов американского коллеги французский философ П. Рикёр, который писал в связи с этим:

«настоящие сложности начинаются, когда в дело вступает риториче-

<sup>15</sup> Иггерс Г.Г. История между наукой и литературой: размышления по поводу историографического подхода Хейдена Уайта // Одиссей – 2001. М., 2001. С. 141–142, 148–149.

<sup>16</sup> Там же. С. 143–145, 147, 149, 152. См. также: Iggers G.G. *Historiography in the Twentieth Century*. Hanover & London: Wesleyan UP – UP of New England; 1997. P. 2, 9–10, 13, 117–119, 121–122, 139–140.

<sup>17</sup> Burke P. *History of Events and the Revival of Narrative* // *New Perspectives on Historical Writing*. University Park: Pennsylvania State UP; 2001. P. 288–289.

ский анализ исторического дискурса». На этом уровне «собственно нарративные конфигурации, соответствующие той или иной позиции в типологии интриг, встраиваются в сложную архитектуру кодов наряду с тропами и другими фигурами дискурса и мысли; все вместе фигуры эти образуют тайные структуры воображения, которые Хайден Уайт называет «вербальными вымыслами». Труды этого теоретика, исследовавшего «историческое воображаемое», в этом отношении можно назвать поистине образцовыми»<sup>18</sup>.

Приведенных высказываний, как представляется, достаточно, чтобы оценить, каким значительным событием в области исторической мысли стала публикация книги Уайта и какое разнообразие мнений она породила. Обращаясь непосредственно к ее тексту, необходимо подчеркнуть, что «Метаистория» гораздо богаче по содержанию, чем это можно себе представить на основании имеющихся отзывов. На самом деле Уайт не ограничивается обзором вклада только четырех историков и четырех философов. Уже в параграфе, посвященном эпохе Просвещения, дается характеристика взглядов широкого круга исторических мыслителей всего XVIII в. Особого внимания здесь заслужено удостоены Г. Лейбниц (с. 82–84) и, особенно, «восстание Гердера против историографии Просвещения» (с. 93–104)<sup>19</sup>. В параграфе о Ж. Мишле представлены взгляды Новалиса (с. 176–177) и Т. Карлейля (с. 177–180); о Л. Ранке – В. Гумбольдта (с. 212–222); о А. Токвиле – Ж.А. Гобино (с. 259–261); о Я. Буркхарде – А. Шопенгауэра (с. 277–284). Труды историков постоянно сопоставляются с теми или иными философскими сочинениями, в третьей, «философской» части, наоборот, слово предоставляется историку И.Г. Дройзену (с. 312–316), а взгляды Б. Кроче раскрываются в сопоставлении с идеями не только К. Маркса и Г.В.Ф. Гегеля, но и Дж. Вико (с. 479–487). На страницах книги упоминаются также многие другие мыслители.

Хотя и этот, расширенный по сравнению с первоначальным замыслом, подбор персонажей можно без труда дополнить немалым числом равнозначных фигур, он наглядно свидетельствует о том, что в реальности выбор моделей исторического объяснения был намного шире, чем тот, к которому пытается свести дело Уайт. Особенно примечательно, что американский философ по существу отказывается от анализа романтизма, т.е. того направления исторической мысли, которое наиболее показательно для рассматриваемой им проблематики, поскольку именно философия истории

<sup>18</sup> Рикёр П. Историописание и репрезентация прошлого // *Анналы на рубеже веков*. М., 2002. С. 37–38.

<sup>19</sup> Ср.: Whitton B.J. Herder's Critique of the Enlightenment: Cultural Community versus Cosmopolitan Rationalism // *History and Theory*. 1988. V. XXVII. No 2.

романтизма была ближе всего к поэзии. Тем не менее, не анализируя специально историческую мысль романтиков, Уайт вынужден постоянно, хотя и вскользь обращаться к ней, сопоставляя взгляды интересующих его мыслителей с их творческим наследием.

Как исследователь, ориентированный на историческое изучение поднятых им проблем, Уайт не может игнорировать многие значимые имена. Но свойственное философу неистребимое стремление к изобретению абстрактных схем побуждает его втискивать бесконечное богатство исторического материала в прокрустово ложе априорных конструкций. С самого начала Уайт связал себя необходимостью показать сходство поэтического и исторического способов постижения мира. Автор отбирает четыре поэтических тропа (хотя как само это понятие, так и число тропов остаются предметом дискуссии), он подгоняет к нему число типов построения сюжета, типов доказательства и типов идеологического подтекста (с. 50). А значит, историков или философов, избранных для иллюстрации выстроенной таким образом схемы, тоже не может быть более четырех. Судьба каждого из них была предreshена заранее и каждому была определена своя роль: Мишле представляет Роман, Ранке – Комедию, Токвиль – Трагедию, Буркхардт – Сатиру. Маркс предстает как мастер Метонимии, Ницше – Метафоры, а Гегель и Кроче заключают всю эту компанию в кольцо Иронии. Таким образом, Уайт изначально отказывается от непредвзятого исследования реального процесса развития исторической мысли в пользу стремления во что бы то ни стало найти доказательства для подтверждения заранее заданной схемы. Жребий был брошен и Рубикон априоризма преодолен еще до начала написания текста<sup>20</sup>.

Уайт избирает для рассмотрения XIX век. Известно, однако, что календарные века не совпадают с историческими. Автор не дает четкого определения того, что он понимает под историческим XIX веком, поэтому особое значение приобретают отдельные его

<sup>20</sup> В связи с этим российский исследователь справедливо отметил, что «тропология» Уайта остается уязвимой для критики. Дело в том, что «его сложная категориальная система, основанная на повторе магического числа "4", составлена из разнородных по происхождению терминов» и «вряд ли является исчерпывающей». Она «слабо формализована и волей-неволей побуждает к упрощению и рационализации». Уайт дает «довольно причудливые характеристики "историографических стилей"», которые, «сформулированные в "самодельных", слабо структурированных категориях», «порой печально напоминают попытки советских литературоведов» оценивать изучаемый материал в соответствии с заданной идеологической моделью. – *Зенкин С.* Критика нарративного разума // Новое литературное обозрение. № 59 (2003). С. 529–530.

замечания на эту тему. Во введении к 1-й части дается указание на то, что исследование охватывает период «между Великой французской революцией и Первой мировой войной» (с. 66). В других местах Уайт отмечает, что предметом его интереса является «классическая эпоха европейской исторической мысли, от Гегеля до Кроче» (с. 321, 498), совмещающая таким образом периодизацию интеллектуальной истории с общеисторической. В целом этот подход представляется обоснованным. Говоря об определенном таким образом периоде, мы подразумеваем, что в интеллектуальном смысле он имел предисторию в форме Просвещения, а также продолжение в виде небывалого расцвета философско-исторической мысли после Первой мировой войны. И в самом деле, исследование Уайта покрывает весь этот широкий период, охватывая фактически не одно, а более двух столетий, если считать от «Монадологии» Лейбница (1714) или от публикации «Новой науки» Вико (1725) до последней из цитируемых им работ Кроче (1943).

Но при этом все равно остается без ответа принципиальный вопрос: почему последней из заинтересовавших автора фигур становится Кроче? «Классическую эпоху европейской исторической мысли» завершал не один он, а целая плеяда как минимум равноценных мыслителей. Да и с началом эпохи не все так просто, поскольку Гегель тоже творил отнюдь не в гордом одиночестве. В одной из своих ранних работ в числе «великих метаисториков» сам Уайт называл И. Канта и И.Г. Фихте.<sup>21</sup> В соответствии с его логикой к «метаисторикам» следовало отнести также Ф. Шеллинга, оказавшего огромное влияние на развитие исторической мысли. Однако эта великая троица не вписывается в схему, поэтому и на страницах книги места ей не находится (не считая отдельных упоминаний о Канте). Видеть внутри рассматриваемого периода только фигуры Маркса и Ницше тоже довольно странно. Ницше, кстати, стоит не в середине века, а в его конце, являясь классическим олицетворением духа *fin de siècle*, чего не скажешь о Кроче. Что же касается четырех «избранных» историков, то даже самое приблизительное знакомство с развитием историографии в рассматриваемый период позволяет вспомнить несколько большее число не менее значительных мастеров своего дела.

В число избранных Уайта попали мыслители разных стран – Германии, Франции, Италии, однако он вырывает их творчество из национальной интеллектуальной традиции, которая повсюду имела свою специфику. Американский философ не учитывает также осо-

---

<sup>21</sup> White H.V. (Review of:) *Idealism, Politics, and History: Sources of Hegelian Thought*. By G.A. Kelly // *History and Theory*. 1970. V. IX. № 3. P. 363.



бенности тематики их исследований, различия в которой делают взгляды историков трудно сопоставимыми между собой. Более сопоставимы философы, хотя и тут есть свои проблемы. Примечательно, что Ранке, Буркхардт, Ницше, Кроче декларативно отрицали философию истории как таковую, Мишле сознательно не углублялся в ее проблемы, Токвиль просто игнорировал ее, а Маркс изобрел взамен «материалистическое понимание истории». Уайт же, исходя из не определенных им представлений о философии истории, приводит всех своих персонажей к общему знаменателю именно на этой основе. В связи с этим встает важнейший вопрос о содержании используемых автором терминов. Как представляется, Уайт изначально впадает в ересь модернизации, пытаясь анализировать мышление представителей иной эпохи не в адекватной ему, а в современной терминологии.

Слабым местом в концепции Уайта является и игнорирование исторического контекста, в котором создавались конкретные произведения конкретных мыслителей. Автор мельком упоминает об отдельных «исторических ситуациях», но не более того. Он практически игнорирует воздействие событий реальной истории на развитие исторической мысли, хотя невозможно отрицать то колоссальное влияние, которое оказали на нее Великая Французская революция или Первая мировая война. Французская революция открыла тот условный XIX век, который Уайт сделал предметом своего исследования, а мировая война завершила его, перевернув все прежние представления об истории. Несомненно существующей корреляции между событиями эпохи и содержанием исторических концепций автор не хочет видеть, тем самым обедняя свой анализ и до предела формализуя его. Здесь мы сталкиваемся с очередным свидетельством неисторического подхода к решению задачи, которая является исторической по определению.

Тем не менее, книга содержит показательные примеры противоположного характера. Именно эти проблески стихийного историзма придают особую ценность сочинению Уайта. Уже в разделе, посвященном исторической мысли Просвещения, содержится принципиально важное наблюдение:

«Один Вико в то время чувствовал, что проблема истории состояла именно в определении степени, в которой чисто «мифическое» или «фантастическое» восприятие мира могло... быть адекватной основой понимания специфического типа исторических жизни и действия» (с. 73).

Сравним это с заключением одного из главных героев «Метаистории», Мишле:

«В то время, как толпа следовала картезианской реформе или вела

борьбу с нею, уединенный гений основывал философию историю»<sup>22</sup>.

В том же духе высказывался и Р.Дж. Коллингвуд, о котором нам неоднократно еще придется вспомнить:

«Здесь мы в первый раз сталкиваемся с абсолютно современной идеей предмета истории». Вместе с концепцией истории Вико, продолжал британский мыслитель, «рассматривающей последнюю как философски оправданную форму знания, родилась и концепция исторического познания, способного охватить гораздо более широкие области, чем до сих пор считалось возможным». Помимо того, уже Вико показал, «как лингвистические исследования могут пролить свет на историю»<sup>23</sup>.

В связи с этим представляется полезным сравнить раздел в сочинении Вико, озаглавленный «О Тропах, Чудовищах и Поэтических Превращениях», с «Теорией тропов», изложенной в книге Уайта (с. 52–58). Вико выделял четыре основных тропа – Метафора, Метонимия, Синекдоха, Ирония, при этом, подчеркивал он, все эти тропы, «считавшиеся до сих пор хитроумными изобретениями писателей, были необходимыми способами выражения всех первых Поэтических Наций»<sup>24</sup>. Уайт стремится подчеркнуть отличие своей концепции от теории Вико, указывая на то, что он опирался на «четверичное представление о тропах, общепринятое со времен Ренессанса». Однако несомненно, что «тропология» Вико, как и вся его «новая наука», стали важнейшим источником вдохновения американского философа. Просто то, что у Вико выражено языком классической прозы, Уайт воспроизводит на модном ныне жаргоне «парадигм» и «дискурсов». Но эта маскируемая зависимость от Вико – скорее плюс, чем минус книги Уайта, поскольку «тропология» итальянского мыслителя менее искусственна и менее оторвана от реальной нарративной практики, чем изощренные построения современных специалистов. Остается добавить, что интерес Уайта к Вико имеет давнюю историю и постоянный характер. Американский философ посвятил ему специальное исследование и не раз обращался к авторитету знаменитого итальянца как в «Метаистории», так в других своих сочинениях.

В параграфе о Гердере автор делает не менее важное наблюдение о том, что именно в его время зародились «страсть к новой парадигме рассмотрения исторического поля» и стремление «переосмыслить феномен исторического изменения вообще» (с. 97). Проще было бы сказать, что речь идет о моменте рождения философии истории как особой формы познания – отправной

<sup>22</sup> Мишле Ж. О системе и жизни Вико. Харьков, 1896. С. 7.

<sup>23</sup> Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография. М., 1980. С. 64–65, 68.

<sup>24</sup> Вико Дж. Основания Новой Науки об общей природе наций. М. – Киев, 1994. С. 146–149.

точке в развитии всех тех процессов в сфере исторического знания, которые стали предметом рассмотрения в книге Уайта<sup>25</sup>.

Первым, на чьем творчестве подробно останавливается Уайт, становится Гегель, философия которого, по выражению основоположника неокантианства, «имеет, по существу, *исторический характер* и представляет *систематическую разработку всего идейного содержания истории*»<sup>26</sup>. Как полагает автор, «Гегель не только историзировал поэзию и драму, он поэтизировал и драматизировал саму историю» (с. 113–114). С таким выводом вполне можно согласиться, если иметь в виду, что одним этим вклад Гегеля в историческое познание не ограничивается. С другой стороны, явным преувеличением выглядит здесь утверждение о том, что Гегель более полно «сосредоточился на историографии и проблеме историографии в целом (в отличие от философии истории) в "Энциклопедии философских наук" и в "Лекциях по эстетике", чем в "Лекциях по философии истории»» (с. 110). Точнее было бы сказать, что Гегель уделял большое внимание исторической проблематике во всех своих зрелых трудах – не только в «Энциклопедии» или в трудах по эстетике, но и в «Феноменологии духа», «Науке логики», «Философии права», которые Уайт тоже вынужден упомянуть, а также в трудах по вопросам политики, религии, истории философии и на другие темы. Например, «четыре всемирных царства», соответствующие «четырем началам» образования самосознания мирового духа, впервые появляются на страницах «Философии права»<sup>27</sup>. А «Философия истории» становится завершением этого процесса познания тайны исторического и, одновременно, венцом всей философии Гегеля – как и всей германской классической философии в целом. Очевидной натяжкой представляется и утверждение Уайта, что разделение Гегелем мировой истории на четыре основных периода «соответствует четырем типам сознания, представленным в модальностях самой тропологической проекции» (с. 154). Помимо того, остается неясным, почему Уайт противопоставляет интерес Гегеля к «историографии» его же инте-

<sup>25</sup> Наследие века Просвещения «вместе с пробуждением сознания об исторической особенности и высоте собственной эпохи является одновременно и началом философии истории». Именно тогда «философия истории так или иначе вышла в центр мировоззрения, оказывая сильнейшее воздействие. От Вольтера и Гердера до Гегеля и Конта идет непрерывное, все более богатое развитие», – писал в связи с этим авторитетный германский мыслитель. – Трёлч Э. Историзм и его проблемы. Логическая проблема философии истории. М., 1994. С. 21–24.

<sup>26</sup> Виндельбанд В. История философии. Киев, 1997. С. 515.

<sup>27</sup> Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., 1990. С. 374.

рису к философии истории. В самих гегелевских текстах легче обнаружить единое стремление найти способы познания истории, чем такое противопоставление. Достаточно прочитать введение к «Философии истории». По всей видимости, искусственное раздвоение мысли Гегеля потребовалось автору для обоснования той дихотомии историографии и философии истории, которая определяет логическую структуру его книги, но с успехом преодолевается в ее конце. По сути, путем ряда чисто логических операций Уайт в итоге приходит к тому же, в чем он поначалу безосновательно отказывает Гегелю, – к целостному видению процесса исторического познания.

Анализом гегелевского наследия завершается своеобразная философская экспозиция, и Уайт приступает к представлению взглядов историков. Во введении к «исторической» части делается достаточно неожиданный вывод о том, что «только эти четверо – Мишле, Ранке, Токвиль и Буркхардт – до сих пор служат образцами собственно современного исторического сознания», и что именно они олицетворяют «альтернативные модели того, какой может быть “реалистическая” историография» (с. 170–171). Даже если согласиться с таким выбором, трудно понять, почему автор рассматривает их вперемешку в то время, как два француза и два немца образуют вполне гармоничные пары, и их сравнительный анализ в таком ракурсе был бы гораздо плодотворнее. В целом, «историческая» часть книги по объему более чем в два раза уступает «философским», что очень показательно. Уайт чаще всего ограничивается пересказом случайного набора мыслей избранных им историков, сопровождая его простеньким комментарием на своем «тропологическом» жаргоне. При этом он постоянно отвлекается от изучаемой им реальности – реальности конкретного текста. Привычные автору методы философского анализа здесь зачастую не срабатывают, поэтому произведения историков рассматриваются очень формально, а при малейшей возможности Уайт стремится вернуться в более знакомую ему сферу, обращаясь к творчеству тех философов, которых ему не удалось втиснуть в заветную четверку. В результате, например, рассмотрению собственных взглядов Мишле уделена ровно половина посвященного ему раздела, при этом сам он характеризуется не только как историк, но и как философ (с. 180). Эта философская «контрабанда» очень наглядно свидетельствует о несостоятельности заданной схемы, удержаться в рамках которой автор оказывается не в состоянии.

Прежде чем приступить к разбору взглядов Мишле, Уайт оттаивается на эссе Новалиса «Христианский мир, или Евро-

па», представленном как образец романтической историографии<sup>28</sup>. Однако автор упускает из виду гораздо более важные для него сочинения германского романтика и изложенные в них представления о способах познания истории. Эти произведения Новалиса, казалось бы, должны быть вдвойне интересны для Уайта, поскольку представляют собой яркий образец именно поэтического постижения истории. Герой романа Новалиса, его главного «нарратива», говорил, в частности:

«я вижу два пути, ведущие к пониманию истории человечества. Один путь, трудный и необозримо-далекий, с бесчисленными изгибами – путь опыта; другой, совершаемый как бы одним прыжком – путь внутреннего созерцания. Тот, кто идет по первому пути, должен выводить одно из другого, делая длинный подсчет, а кто идет по другому – постигает непосредственно сущность каждого события, каждого явления, созерцает его во всех его живых разнообразных соотношениях и может легко сравнить его со всеми другими, как фигуры, начертанные на доске»<sup>29</sup>. По убеждению Новалиса, «Поэзия есть воистину абсолютно Реальное. Это ядро моей философии. Чем поэтичней, тем истинней». В его представлении «вся поэзия покоится на действительной сопряженности идей»<sup>30</sup>.

При характеристике Карлейля Уайт также игнорирует как его основной «нарратив» – «Французскую революцию», хорошо сопоставимую с анализируемыми далее сочинениями Мишле и Токвиля, так и другие важные произведения британского мыслителя. С другой стороны, принципиально важным является указание автора на взаимосвязь идей Вико и Мишле (с. 181, 191–192). Не случайно французский историк начинал свою карьеру с перевода труда итальянского мыслителя.

В разделе о Ранке ощущается определенная зависимость Уайта от известной книги Т. фон Лауэ, посвященной годам становления германского историка. Сам Уайт связывает формирование исторической концепции Ранке с «отказом от априорного философствования Гегеля» (с. 195). Между тем, автор другого известного труда о развитии философско-исторической мысли подчеркивал:

«Особенно не следует забывать и нужно знать, что величайший гений специфически исторического мышления Леопольд фон Ранке находился под сильным влиянием идей Гегеля». Поэтому предпочтительнее поставить Ранке «скорее рядом с Гегелем, как своеобразного и

<sup>28</sup> Русский текст см.: *Новалис. Христианский мир, или Европа // Arbor Mundi / Мировое дерево*. Вып. 3. М., 1994.

<sup>29</sup> *Новалис. Гейнрих фон Офтердинген*. М., 1914. С. 24. См. также: *Новалис. "Когда б не числа и фигуры..." // Немецкая поэзия XIX века*. М., 1984. С. 149, 472.

<sup>30</sup> *Новалис. Гейнрих фон Офтердинген. Фрагменты. Ученики в Саисе*. СПб., 1995. С. 145, 155.

самостоятельного историко-философского мыслителя». А поскольку «дух Ранке еще и до сих пор царит в немецкой историографии, последняя исполнена духом Гегеля, становящимся, однако, менее философским и содержательным»<sup>31</sup>.

Вряд ли стоило игнорировать столь авторитетное мнение, тем более, что Трельч не был в нем одинок. Предвосхищая выводы Уайта, германский философ отмечал также:

«если чистые историки обращаются только к созерцанию и рассматривают великую связь просто как сущую и становящуюся, как это делал такой великий исторический гений, как Ранке, то они не выходят за рамки чистой эмпирии и создают не философию истории, а ее предпосылку и основу». Правда, Ранке «часто оказывается близок к созерцательной философии истории, но всегда отличался от нее тем, что постоянно вновь и вновь подчеркивал чисто эмпирический связующий и утверждающий смысл исследования»<sup>32</sup>.

Много места в этом разделе уделено пересказу статьи В. Гумбольдта «О задаче историка», которая преподносится «как формальная защита объяснительных принципов», исповедуемых Ранке (с. 212–222)<sup>33</sup>. В данном случае дается довольно односторонняя трактовка как конкретного сочинения Гумбольдта, так и проблемы его влияния на формирование взглядов германского историка. Более убедительной представляется другая характеристика:

«Цель этого трактата заключалась ни в чем ином, как в изображении идеального метода, в сущности одного и того же для всех наук, но в особенности общего для филолога и историографа, ибо и филолог есть историк, а язык в его фактическом явлении – живой кусок истории»<sup>34</sup>.

Можно также напомнить, что по интересующим автора вопросам Гумбольдт высказывался и в других своих сочинениях, отметив, например, еще в 1798 г., что «историография (разрабатывающая свой материал как целое) отличается от простого рассказа об исторических событиях»<sup>35</sup>.

В параграфе, посвященном Токвилю, производится интересное сопоставление «Демократии в Америке» и «Старого порядка» в Европе. Особое внимание Уайта закономерно привлекают рассуждения французского историка о специфических особенностях поэзии и историографии в обществе победившей демократии. Серьезному анализу подвергается также переписка Токвиля с

<sup>31</sup> Трельч Э. Историзм и его проблемы. С. 231–232, 238.

<sup>32</sup> Там же. С. 103.

<sup>33</sup> Русский текст см.: Гумбольдт В. О задаче историка // Гумбольдт В. Язык и философия культуры. М. 1985

<sup>34</sup> Гайм Р. Вильгельм фон Гумбольдт. М., 1898. С. 383.

<sup>35</sup> Гумбольдт В. Эстетические опыты // Гумбольдт В. Язык и философия культуры. С. 217.

автором теории неравенства человеческих рас Гобино<sup>36</sup>.

Раздел о Буркхардте автор начинает с заявления:

«Немецкий философ и историк Карл Лёвит доказывал, что с Буркхардтом "идея истории" была окончательно освобождена от мифа и от гнусной "философии истории", порожденной тем смешением мифа с историческим знанием, которое преобладало в исторической мысли со времён раннего Средневековья» (с. 272), а затем подвергает это утверждение критике.

Исходная посылка сомнительная, поскольку Лёвит в своем исследовании философской мысли XIX в. писал и несколько иное:

«Даже Буркхардт мыслил, все еще оставаясь в круге гегелевской картины истории». Несмотря на «свою оппозицию "разумной" конструкции мира Гегеля, он, в конечном счете, также подтверждает его конечно-историческую концепцию»<sup>37</sup>.

Со своей стороны, Трёльч предупреждал против другой крайности, в которую действительно впадает Уайт:

«сами историки тем меньше занимались философскими элементами и значением своей науки, чем больше они укрепляли на базе этого реализма самостоятельность своих методов». Поэтому такие крупные историки, как Буркхардт в своих *«Размышлениях о всемирной истории»*, были так «сдержанны во всех философских вопросах»<sup>38</sup>.

Значительное место в этом разделе отведено Шопенгауэру, которого Уайт оценивает вполне традиционно и упрощенно как не имеющего собственной философии истории (с. 277–284). На самом же деле германский мыслитель отвергал не философско-историческое познание вообще, а его конкретные, сложившиеся к началу XIX в. формы. Однако, выступая против «оглуляющей гегелевской псевдофилософии» и гегельянцев, «которые видят в философии истории едва ли не главную цель философии вообще», сам Шопенгауэр предлагал взамен свою собственную, «подлинную», или «истинную философию истории»<sup>39</sup>. Точнее было бы назвать ее «философией антиисторизма», но это явления одного

<sup>36</sup> В связи с этим хотелось бы обратить внимание на раздел «О терминологии Токвиля» и итоговую характеристику его взглядов в монографии С.А. Исаева, отмечавшего принадлежность Токвиля к «культурно-исторической школе историософии», к которой он относит, между прочим, и Вико. – Исаев С.А. Алексис Токвиль и Америка его времени. СПб., 1993. С. 33–44; 114–117.

<sup>37</sup> Лёвит К. От Гегеля к Ницше. Революционный перелом в мышлении XIX века. СПб., 2002. С. 133–134, 387.

<sup>38</sup> Трёльч Э. Историзм и его проблемы. С. 503–504.

<sup>39</sup> Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. М., 1993. Т. II. С. 460–466. См. также: Визгин В.П. Эстетизм против историзма: случай Шопенгауэра // Историко-философский ежегодник '92. М., 1994. С. 66–74.

порядка. По-своему это признает и автор, отметив, что Шопенгауэр «задал альтернативу любой форме историцизма».

Третья, «философская» часть книги Уайта представляется на порядок более разработанной и продуманной, чем «историческая». Открывающий ее раздел, посвященный «возрождению философии истории», начинается с методологически важного напоминания: «Девятнадцатый век стремился подчеркнуть различия между “истинной” историографией, с одной стороны, и “философией истории” – с другой» (с. 309). Двумя «наиболее глубокими представителями философии истории» в этот период автор считает К. Маркса и Ф. Ницше (с. 320–321), хотя никаких убедительных аргументов в пользу такого выбора он опять не представляет. Чем не устраивают его, например, лишь мельком упомянутые О. Конт или В. Дильтей, остается необъясненным. Вряд ли стоило игнорировать такое авторитетное мнение: «Современная философия истории обязана своим импульсом и побуждениями Дильтею»<sup>40</sup>. Вместо важных для раскрытия заявленной темы мыслителей Уайт обращается здесь к более удобному для него историку Дройзену.

Под предлогом раскрытия «идеи истории» основоположника марксизма Уайт преподносит читателю азы его политэкономии (с. 330–342), объясняя столь оригинальный прием тем, что для него является «очевидным структурное сходство между методом анализа истории Марксом и его методом анализа товара» (с. 363, 370). Пообещав обратиться к философии истории Маркса он вместо этого рассуждает о его «теории истории». При этом Уайт объявляет различие между ранними и поздними работами Маркса «псевдопроблемой» и конструирует его «теорию истории» с помощью набора цитат из разновременных работ, пытаясь доказать, что «представляющая особый стиль исторического философствования мысль Маркса демонстрирует последовательное обращение к ряду тропологических структур, которые придают его мысли уникальность – от “Немецкой идеологии” (1845) до “Капитала” (1867)» (с. 329–330). Игнорируя историческое развитие мысли Маркса, автор уделяет много внимания его сочинениям о конкретных событиях истории (с. 365–376), принимая, по всей видимости, их агитационный пафос за адекватное выражение взглядов избретателя истмата. Избранный способ репрезентации текстов Маркса доказывает, что Уайтом руководил не интерес к ним са-

---

<sup>40</sup> Хайдеггер М. Исследовательская работа Вильгельма Дильтея и борьба за историческое мировоззрение в наши дни // Вопросы философии. 1995. № 11. С. 121. См. также: Плотников Н.С. Жизнь и история. Философская программа Вильгельма Дильтея. М., 2000. С. 7.



мим, а стремление любой ценой доказать «тропологическую природу того, о чем обычно думают как о его "диалектическом" методе». Похоже, автор действительно убежден в том, что Маркс «был склонен разводить феномены на четыре категории, или класса, соответствующие тропам» (с. 365), и что именно «тропы обеспечивают основу четырехчленного анализа Марксом... наборов исторически значимых явлений» (с. 377). Наибольший интерес в данном разделе представляет сформулированный Уайтом теоретический постулат: «Исторический документ разделен на явный и скрытый смысловые уровни, которые относятся друг к другу как феноменальная форма к истинному содержанию» (с. 363). Сформулированный здесь подход способствует лучшему пониманию и такого документа, каким является сама «Метаистория».

Раздел о Ницше насыщен суждениями, которые не вызывают возражений, но вряд ли могут считаться оригинальными.

«Фридрих Ницше знаменует собой поворотный момент в исторической мысли», — пишет, в частности, Уайт, а «большинство его философских работ основаны на рассмотрении исторических проблем». При этом, констатирует он, «идея истории Ницше была мало оценена профессиональными историками» (с. 380). «Ницше видит европейскую культуру доросшей до границ своего собственного отчуждения», — заключает автор (с. 426).

Уайт убедительно показывает связь между работами Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» и «О пользе и вреде истории для жизни», немало места отводит разбору «Генеалогии морали», но, верный своему методу, оставляет вне сферы внимания другие, не менее важные сочинения Ницше. Игнорируется, как и во всех остальных случаях, огромная литература о Ницше, в том числе напоминание Трельча о том, что на Ницше «повлиял исторический и философско-исторический воздух немецкого идеализма и немецкой романтики», и это «ставит его в самую тесную связь с немецкой классической философией истории»<sup>41</sup>. Не внял Уайт и предупреждению Ясперса: «Между подлинной мыслью Ницше и ницшеанством, превратившимся в разговорный язык эпохи, огромная разница». И еще: «Ницше не поддается классификации»<sup>42</sup>.

Наиболее важным во всей книге Уайта представляется завершающий ее раздел о философии истории Б. Кроче, в котором наилучшим образом проявляется авторская позиция. Следует иметь в виду, что в своем обращении к идеям Кроче Уайт далеко не оригинален, поскольку опора на его авторитет является давней

<sup>41</sup> Трельч Э. Историзм и его проблемы. С. 391–392.

<sup>42</sup> Ясперс К. Ницше и христианство. М., 1994. С. 84–85; 89.

традицией американской исторической мысли. Достаточно вспомнить в связи с этим одного из первых теоретиков исторического познания в США К. Беккера<sup>43</sup>. Правда, сам Уайт пытался преуменьшить степень влияния Кроче на Беккера, стремясь подчеркнуть самобытность американской философско-исторической мысли<sup>44</sup>. Еще более значительный интерес к наследию итальянского мыслителя проявлял Ч.О. Бирд<sup>45</sup>.

Прежде всего, Уайт справедливо подчеркивает «абсолютную адекватность» «Философии духа» Кроче «духовным потребностям своего века» (с. 437). И хотя в параграфе «Эстетика исторического сознания» (с. 448-454) он представляет взгляды, которые сам Кроче впоследствии существенно пересмотрел, Уайт все же видит, что «самый значительный вклад Кроче в историческую мысль» представляет его книга «Теория и история историографии» (с. 456). Тем не менее, концепция итальянского мыслителя рассматривается как практически неизменная, без учета исторической эволюции его взглядов и заметной разницы между этапами творческого становления Кроче. Та первоначальная концепция, которая больше всего привлекает автора, получила завершение уже в «Эстетике» (1902). В том же году, излагая программу основанного им журнала «*La Critica*», Кроче выступил с декларацией несколько иных принципов, предусматривавших «разумное возвращение к традициям мысли..., в которых сияла идея духовного синтеза, идея *humanitas*»<sup>46</sup>. Первый набросок своей новой философии истории он представил в «Логике» (1909), в которой Кроче преобразовал философские проблемы в исторические, отождествив философию с историей:

«Философия и история – не две, а одна форма; не взаимообусловленность, а тождество характеризуют в динамике и то, и другое. Априорный синтез, т.е. конкретность индивидуального суждения и определения, есть вместе с тем конкретность философии и истории». Таким

<sup>43</sup> См.: *Becker C.L. Everyman his own Historian // American Historical Review. 1932. V. XXXVII. № 2. P. 227. См. также: Destler Ch. The Crocean Origin of Becker's Historical Relativism // History and Theory. 1970. V. IX. № 3.*

<sup>44</sup> *White H.V. Croce and Becker: A Note on the Evidence of Influence // History and Theory. 1971. V. X. № 2.*

<sup>45</sup> См.: *Beard Ch.A. Written History as an Act of Faith // American Historical Review. 1934. V. XXXIX. № 2. P. 219–221, 227, 229–231; Beard Ch.A. That Noble Dream // American Historical Review. 1935. V. XLI. № 1. P. 77, 82; Beard Ch.A., Vagts A. Current of Thought in Historiography. P. 462–463, 479; Beard Ch.A. (Review of:) The Idea of History. By R.G. Collingwood // American Historical Review. 1947. V. LII. № 4. P. 704. См. также: *Norø E. Charles A. Beard's Act of Faith. P. 852, 855–862.**

<sup>46</sup> См.: *Гарин Э. Хроника итальянской философии XX века. М., 1965. С. 277.*

образом, история «не предшествует философии, а философия не предшествует истории – обе появляются в одном акте рождения»<sup>47</sup>.

Эта концепция получила завершение в серии работ, объединенных в книгу «Теория и история историографии» (1915)<sup>48</sup>. Впоследствии «теория историографии» Кроче продолжала развиваться с учетом меняющейся исторической реальности кризисного века. Уайт проводит традиционное сопоставление исторической концепции Кроче с марксистской теорией, а также с философией истории Гегеля и Вико, которым итальянский мыслитель посвятил специальные исследования. Вместе с тем, автор продолжает игнорировать исторический контекст, в котором происходило формирование взглядов его героя. Наиболее наглядным примером может служить совершенно не соответствующее действительности заявление Уайта о том, что Первая мировая война не воспринималась Кроче как «эпохальное» событие (с. 466)<sup>49</sup>.

Американский философ, тем не менее, немало позаимствовал у знаменитого итальянца. Он приводит, в частности, мнение Кроче о том, что историки писали свои «истории», форма которых была производной от философии истории, глубоко упрятанной в их сознании. Уайт придает большое значение его выводу о том, что «научное познание» не пригодно в сфере исторического знания (с. 438–439, 454). Он разделяет также убеждение Кроче в том, что историографии не может быть там, где отсутствует повествование (с. 444, 474). А один из наиболее важных выводов автора вполне созвучен заключению Кроче о том, что не следует «исключать философию истории из истории историографии». «Философии истории единосущны, более того, тождественны с историей», писал итальянский мыслитель, поэтому истории, например, французской исторической мысли в равной степени принадлежат как Боссюэ, Кондорсе, Вольтер, Конт, так и Мишле и Токвиль<sup>50</sup>. Однако Уайт упускает из виду предупреждение Кроче:

«Выводить пустые сопоставления есть нечто совершенно бесполезное в рамках нашей жизненной актуальности. Жизнь всегда есть нечто настоящее, пустой исторический рассказ – это безвозвратное прошлое, лишенное определенности настоящего момента. Остаются пустые слова, звуки, графические знаки; их поддерживают не для акта мышления,

<sup>47</sup> См.: Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 4. СПб., 1997. С. 342.

<sup>48</sup> См. предисловие к 1-му итальянскому изданию (1916) // *Crosce B. Theory and History of Historiography*. L., 1921. P. 5–6.

<sup>49</sup> См.: *Аббате М. Философия Бенедетто Кроче и кризис итальянского общества*. М., 1959.

<sup>50</sup> *Кроче Б. Теория и история историографии*. М., 1998. С. 106.

а ради волевого действия, именно воля хранит эти пустые или полупустые слова для своих целей. Чисто нарративный акт есть, следовательно, комплекс слов или формул, вызываемых волевым действием»<sup>51</sup>.

В представлении автора, основная мысль Кроче сводится к тому, что невозможно «писать историю чего-либо без написания нарративного сообщения об этом»<sup>52</sup>. Разбирая содержание очерка Кроче «История, подведенная под общее понятие искусства» (1893), Уайт опирается на Коллингвуда, посвятившего этому сочинению один из разделов своей знаменитой книги (с. 440-442)<sup>53</sup>. Уайт пытается полемизировать здесь с английским мыслителем, однако сам факт обращения к этому, не самому значительному произведению Кроче, как и демонстрация, вслед за Коллингвудом, его связи с полемикой между Дильтеем и Виндельбаном, очень показательны. Примечательно также, что Коллингвуд разбором исторической концепции Кроче завершает свой очерк развития «идеи истории». То же мы видим и в «Метаистории». Содержание книги позволяет говорить о гораздо более значительной зависимости взглядов Уайта от идей английского предшественника. Прежде всего, от Коллингвуда идет то понятие «идеи истории», которым автор обозначает совокупность взглядов того или иного мыслителя на историю. Именно он впервые подробно разработал центральную для Уайта категорию «исторического воображения»<sup>54</sup>.

Словно предугадывая ход мысли Уайта, Коллингвуд однажды заметил, что противопоставление истории и философии не сможет получить подтверждения в исследовании исторической мысли<sup>55</sup>. Вводя понятие «сконструированной истории», Коллингвуд пояснял, что при ее написании исторический нарратив не сводится к простому воспроизведению утверждений, непосредственно заимствованных из источника. «Сконструированная история» представляет собой продукт размышлений историка над подтекстом, над скрытым смыслом источника: «Это не то, что ему было сообщено, это нечто, что он сформулировал для себя в процессе размышления»<sup>56</sup>. Историческое воображение, согласно Коллингвуду, всегда априорно. Более того, «картина, нарисованная историком, подобно изображению романиста, являет собой картину, пред-

<sup>51</sup> Кроче Б. История, хроника и ложные истории // Кроче Б. Антология сочинений по философии. СПб., 1999. С. 178.

<sup>52</sup> White H.V. (Review of.) F.R. Ankersmit. Narrative Logic: A Semantic Analysis of the Historian's Language. Boston, 1983 // American Historical Review. 1984. Vol. 89. № 4. P. 1037.

<sup>53</sup> Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. С. 182-185.

<sup>54</sup> Там же. С. 220-237.

<sup>55</sup> Collingwood R.G. History and Philosophy // Collingwood R.G. The Principles of History and Other Writings in Philosophy of History. N.Y.: Oxford UP, 2001. P. 114.

<sup>56</sup> Collingwood R.G. The Principles of History. P. 150, 164-166.

ставленную воображением воображения»<sup>57</sup>.

В теоретическом введении «Поэтика истории» Уайт определяет задачу своего сочинения как «анализ глубинной структуры исторического воображения» (с. 23). Здесь же дается довольно смутная периодизация «фаз исторического сознания XIX века»:

- 1) «кризис исторического мышления позднего Просвещения», выразителями которого у него становятся, помимо самих просветителей, и германские классики, и романтики, и позитивисты;
- 2) «зрелая» или «классическая» фаза, продолжавшаяся с 1830-х до примерно 1870-х годов, когда творили все заинтересовавшие Уайта историки, а также Маркс;
- 3) «кризисная фаза», когда выступил Ницше, а «Бенедетто Кроче предпринял свое грандиозное исследование глубинных структур исторического сознания».

Как полагает автор, прослеженная им «эволюция философии истории – от Гегеля через Маркса и Ницше к Кроче – представляет собой то же самое развитие, которое может быть усмотрено в эволюции историографии от Мишле через Ранке и Токвиля к Буркхардту» (с. 57–61). Аналогия более чем спорная, во всяком случае, не доказанная.

Обратим внимание: Кроче предстает здесь как прямой предшественник Уайта. Более того, Кроче превращается в центральную фигуру всего повествования. Являясь одним из немногих «избранных», он становится в то же время связующим звеном между Вико, с одной стороны, и Коллингвудом, с другой, а все трое формируют ту идейную базу, на которую в действительности опирается Уайт. Вико и Коллингвуд необходимы автору, поскольку разбор сочинений «избранных» совершенно недостаточно, чтобы сформулировать хоть какое-то подобие теории. Однако им, в отличие от Кроче, не остается места в философской четверке, к тому же оба выбиваются за установленные хронологические рамки. Тем не менее, Уайт находит способ ввести идейное наследие Вико и Коллингвуда в свой нарратив, где они превращаются в фигуры не менее значимые, чем четыре «избранных» философа.

Определяя в предисловии свои исходные теоретические предпосылки, Уайт указывал:

«я трактую историческое сочинение как то, чем оно по преимуществу и является: словесной структурой в форме повествовательного исторического дискурса» (с. 17). «Одна из моих принципиальных целей, – помимо определения и интерпретации главных форм исторического сознания в Европе XIX века, – установление собственно поэтических элементов в историографии и философии истории». «Через раскры-

<sup>57</sup> Ibid. P. 151–152; 162–164.

тие лингвистической почвы, на которой базируется данная идея истории, я попытался определить неизбежно поэтическую природу исторического сочинения», — добавляет он.

Тут, однако, было бы полезно вспомнить Аристотеля, который указывал: историк и поэт различаются тем, что «один говорит о том, что было, а другой — о том, что могло бы быть. Поэтому поэзия философичнее и серьезнее истории, ибо поэзия больше говорит об общем, история — о единичном»<sup>58</sup>. Это замечание до сих пор сохраняет свой глубокий смысл, если не воспринимать его слишком буквально. «Ведь поэзия есть дисциплина», — предупреждал со своей стороны один из деятелей итальянского Возрождения, которая все, «что люди не сделают, что ни узнают, дивными изображениями изукрасит и в некие иные образы преобразит. К оному предмету ни один смертный не может приобщиться без некоего божественного безумия»<sup>59</sup>. Предупреждение, как показывает книга Уайта, вполне уместное.

Посредством избранного им метода, полагает автор, обнаруживается «неустрашимый "метаисторический" базис всякого исторического сочинения. Я считаю также, — продолжает Уайт, — что метаисторический элемент в трудах выдающихся историков XIX века образует "философию истории", исподволь скрепляющую их работы». Философия истории, таким образом, сводится у него к метаистории, что вряд ли можно признать корректным приемом. Наиболее общие выводы из проведенного таким образом исследования заключаются в следующем: не может существовать «собственно истории», которая не была бы в то же время «философией истории»; «возможные формы историографии являются теми же, что и возможные формы спекулятивной философии истории»; а «требование сциентизации истории представляет собой только утверждение о предпочтительности особой модальности исторической концептуализации» (с. 19–20).

Нельзя утверждать, заключал Уайт, «что от Гегеля до Кроче имелся какой-то реальный прогресс в эволюции исторической теории», поскольку труд каждого историка или философа становился «закрытой системой мысли, несопоставимой со всеми другими» (с. 498). Возникает вопрос, каким же образом сам автор производит сопоставление взглядов столь разных мыслителей, которые зачастую действительно оказываются несопоставимыми между собой.

<sup>58</sup> Аристотель. Поэтика // Аристотель. Сочинения. Т. 4. М., 1984. С. 655.

<sup>59</sup> [Ландино К.] Светлейшего мужа Кристофоро Ландино Вводная лекция о Вергилии, прочитанная во Флоренции в 1462 году // Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения. М., 1985. С. 195.

Подводя итог, Уайт заявил, что его подход к проблеме исторического сознания XIX века позволяет игнорировать различие «между собственно историей и философией истории».

Он убежден, что действительно проник на «метаисторический уровень, где собственно история и спекулятивная философия истории обнаруживают общий исток в любой попытке понять смысл истории в целом»; и что «собственно история и спекулятивная философия истории различимы только в выражении, но не в содержании». На этой основе он заключал, что «каждая философия истории содержит внутри себя элементы собственно истории, так же как каждая собственно история содержит внутри себя элементы вполне сформировавшейся философии истории», поэтому «типы историографии, созданные XIX веком, соответствуют на метаисторическом уровне типам философии истории, созданным в тот же самый период» (с. 492–494).

За исключением «метаисторической» терминологии в итоговых выводах автора трудно найти что-либо оригинальное. Отметим в связи с этим, что в свое время указанную Уайтом взаимосвязь гораздо точнее выразил Трёлльч:

«философы с их интересом к общему значению истории для мировоззрения проявляют преимущественный интерес к проблеме культурного синтеза и подводят под нее конструкции универсального процесса, а историки, напротив, проявляют к этому недоверие и предпочитают решать проблему всеобщей истории, опираясь на чисто эмпирические, поясняющие каузальные связи факторы, если они вообще эту проблему признают. При этом те и другие в конечном счете наталкиваются на предпосылки и проблемы друг друга, потому что эти проблемы коренятся в самой сущности вещей»<sup>60</sup>.

Уайт указывает, что он опирался на теорию «мировой гипотезы» С. Пеппера, «теорию вымысла» Н. Фрая и «теорию идеологии», разработанную К. Манхеймом. Таким образом, при анализе исторического материала автор использовал случайный набор теоретических моделей, заимствованных из совершенно иных областей знания. Ведь даже наиболее близкий к философии истории Манхейм свой «способ изложения истории идей» противопоставлял «способу повествовательному», который должен быть ближе Уайту<sup>61</sup>. Германский мыслитель был убежден, что его «социологически ориентированная история духа поможет современному человеку переосмыслить весь исторический процесс»<sup>62</sup>. Уайт все же не столь социологичен, несмотря на всю искусственность его теоретических построений.

В одной из своих более поздних работ Уайт продолжает на-

<sup>60</sup> Трёлльч Э. Историзм и его проблемы. С. 601.

<sup>61</sup> Манхейм К. Консервативная мысль // Манхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994. С. 572.

<sup>62</sup> Манхейм К. Идеология и утопия // Там же. С. 71.

стаивать на том, что «не существует никакого специального “исторического метода”, с помощью которого надлежит изучать эту самую историю. Весь опыт исторических исследований постоянно свидетельствует о необходимости импортировать из других дисциплин концептуальные модели, аналитические методы и стратегии репрезентации, чтобы описать структуры и процессы, считающиеся историческими по своей природе»<sup>63</sup>. Поэтому «нет никакого специфически исторического подхода к изучению истории – есть много таких подходов». А «принятие того или иного исторического подхода к исследованию чего бы то ни было предполагает или влечет за собой внятную философию истории», которая «является производным не только от вашего знания собственно “истории”, но и в не меньшей степени – от того, как вы мыслите специфический объект вашей собственной дисциплины»<sup>64</sup>. Он по-прежнему убежден, что вполне «правомерно говорить об истории как о тексте», хотя тут же оговаривается: «“История как текст” – это, конечно же, метафора»<sup>65</sup>. Уайт даже готов признать, что «текстуалистический подход к изучению культуры, общества или исторической эпохи дает немало обоснованных поводов для критики»<sup>66</sup>.

Отвечая на замечания Иггерса, Уайт писал:

«стоит напомнить, что замысел “Метаистории” восходит к середине 60-х годов, времени расцвета структурализма в гуманитарных науках, и что целью моей книги было показать, как нарративное “реальности” всегда можно представить аллегорическим претворением глубинного структурного содержания», чем объясняется «присутствие идеологических импликаций в самих нарративных репрезентациях». После публикации «Метаистории», продолжал Уайт, он «следующую четверть века потратил главным образом на поиски ответов на критику занятых в ней позиций, не думая ее защищать или тем более за нее извиняться, а пробуя уточнить методы, посредством которых современные западные общества строят и используют отношения между историческими фактами, с одной стороны, и идеологией, понятой как искажение фактов, – с другой». «Я теперь думаю, – признает Уайт, – что характеризовать исторический нарратив как “вымысел” было ошибочным или скорее поспешным». Для описания исторических нарративов предпочтительнее определение «литературный», подразумевающее, что не всякое «литературное» сочинение – «вымысел». Я, заключал Уайт, «сказал бы сегодня, что исторические сочинения, конечно, не предполагают быть и во многих случаях не являются “вымышленными”, однако... с полным правом могут быть охарактеризованы как “литературные”». А «язык, использованный для представления реальности, принадлежит той самой

<sup>63</sup> Уайт Х. По поводу «нового историзма» // Новое литературное обозрение. № 42 (2000). С. 39.

<sup>64</sup> Там же. С. 46.

<sup>65</sup> Там же. С. 41

<sup>66</sup> Там же. С. 39



реальности, о которой говорит»<sup>67</sup>.

В предисловии к русскому изданию своей книги Уайт еще раз подчеркнул: «Метаистория» принадлежит определенному «структуралистскому» этапу развития западной гуманитарной науки. Сегодня я писал бы ее иначе». Но, настаивает он, «описание истории остается риторическим и литературным, поскольку продолжает использовать обычные грамотную речь и письмо как наиболее предпочтительные средства для выражения результатов исследования прошлого». Поэтому автор убежден, что «наиболее продуктивный подход к изучению историографии – это отношение к литературному аспекту последней более серьезным образом» (с. 7). В «Метаистории», поясняет он, показано, что «язык предлагает множество путей конструирования объекта» (с. 10). А когда речь заходит об описании исторических явлений, там «все – от начала до конца – конструкция» (с. 12). Уайт особо подчеркивает, что неудача всех попыток разработать «доктрину исторической причинности указывает на неадекватность научной ...парадигмы как орудия исторического объяснения», и это наглядно проявилось «в неудавшейся попытке профессиональных историков нашего времени сделать из исторических исследований науку» (с. 9–10). Американский мыслитель совершенно обоснованно призывает нас занять «позицию за пределами современной научной ортодоксии» (с. 14).

Уайт выступает против применения к изучению истории методов психологии, которая сама находится в состоянии концептуальной анархии, а также психоанализа, пригодного скорее для исследования поведения невротиков (с. 495–497). Он решительно осудил «то восстание против исторического сознания вообще, которым отмечены литература, социальная наука и философия XX века» (с. 21). Автор «Метаистории» затронул все важнейшие проблемы исторического познания, вновь привлекая к ним внимание, побуждая к их осмыслению и переосмыслению в духе современных представлений. Книга Уайта обогащает понимание взглядов заинтересовавших его историков и философов, заставляет взглянуть на них в неожиданном ракурсе. Конечно, вряд ли можно согласиться, что поставленная автором задача рассмотреть «историческое воображение в Европе XIX века» успешно решена. Точнее было бы сказать, что Уайт производит довольно плодотворные поиски поэтического в историческом нарративе. Рассмотренное в таком ракурсе и именно в этом качестве, его сочинение представляет собой несомненно полезное исследование.

Особую важность книга Уайта приобретает в условиях современных историографических баталий, в ходе которых посте-

<sup>67</sup> Уайт Х. Ответ Иггерсу // Одиссей – 2001. С. 156–161.

пенно утверждается мысль о неразрывном единстве историографии, понимаемой как история исторического познания в самом широком смысле слова, и философии истории. Вместе с тем, происходит переосмысление самой сути историографии, прежние представления о которой все более демонстрируют свою недостаточность. То же самое касается и философии истории, но одновременно не прекращаются попытки либо полностью отказаться от нее, либо заменить философию истории очередной модной дисциплиной. Но чем решительнее отход историографии от «больших нарративов», чем глубже провал историков в дурную бесконечность мелкотемья, чем агрессивнее навязывается «постмодернизация» истории – тем важнее роль философии истории. В то время, как гуманитарные сестры истории – филология и философия – дорожат своей историей и придают ей большое значение в процессе подготовки будущих специалистов, на исторических факультетах историография остается на положении одной из «вспомогательных дисциплин». В этих условиях «Метаистория» важна еще и тем, что напоминает об огромной важности истории самого исторического познания. Философия истории и историография не взаимозаменяемы. Они обе нужны – и чем дальше, тем больше. Об этом, по-своему, и напоминает книга Уайта.

Один из отечественных критиков полагает, что благодаря Х. Уайту появилась «новая теория историографического анализа». Американский философ, отмечает он, «предложил ряд конкретных интерпретаций, приведших в дальнейшем к полному пересмотру значимости некоторых историков». А самым «важным достижением Уайта» стало «внедрение и применение нового историографического языка, показавшего, что старые пределы интерпретации преодолимы»<sup>68</sup>. С последним утверждением трудно не согласиться, хотя преодолимость «пределов интерпретации» очевидна и без Уайта. А вот насчет «новой теории» уважаемый критик явно поспешил, поскольку речь идет о теории не историографической, а о чисто философской, и о попытке ее применения к анализу исторического материала.

Подобно своим коллегам, Уайт убежден, что одной силой философской мысли, без достаточного знания конкретно-исторического материала, он в состоянии раскрыть тайну историописания. В действительности, философы лишь изобретают абстрактный мир концептов, подменяющий историческую реальность. «История», «историография», «философия истории» и другие категории означают для них совсем не то, что для историков. В сочинениях философов все эти понятия представляют собой их

<sup>68</sup> Кравцов В.Н. Метаистория: историческое воображение в Европе девятнадцатого века // Образы историографии. М., 2001. С. 272.

собственные изобретения, порождения философского разума, имеющие мало общего с реальными познавательными процедурами, используемыми в процессе постижения истории. История, а вслед за ней и философия истории стремятся познать мир во всей его полноте и сложности, философия же – устранить эту сложность и свести ее к ограниченному набору абстракций. Эти особенности философской мысли необходимо учитывать при оценке «историографической» концепции Уайта, которая остается прежде всего чисто умозрительной конструкцией.

В связи с этим стоит напомнить предупреждение американского историка, появившееся за три года до выхода «Метаистории»:

«Скромные попытки понять историческую мысль превратились в спекулятивную деятельность, утверждающую высшую реальность, не поддающуюся никакому объективному анализу с точки зрения роли идей в истории. История превращается в метаисторию, а исследователь истории идей – в завязатого теоретика». Однако даже «философия должна считаться с фактами как в плане истории идей, так и в плане исторической реальности как таковой»<sup>69</sup>.

Хотя автор другой рецензии тоже считает, что «Метаистория» создает «новую парадигму в теории историографии», для нее, тем не менее, очевидна «условность предлагаемой Уайтом модели»:

«Не следует, как кажется, слишком серьезно относиться к созданной Уайтом конструкции». И «не стоит переоценивать радикальность Уайта», который, с одной стороны, «возвращается к традиционным формам историзма», но, с другой, «пытается открыть пространство» для его новых форм. Книга Уайта, «без сомнения, принадлежит к числу классических работ. С другой стороны, эта позиция осталась во многом маргинальной для исторической профессии в целом»<sup>70</sup>.

«Тропологические» рассуждения Уайта нередко напоминают чисто схоластические упражнения с использованием хронологически ограниченного материала. Если рассматривать проблематику его книги в более широкой временной перспективе, теоретические построения Уайта просто рассыпаются, хотя сам по себе период действительно очень показательный. Примечательно, что умозрительная модель Уайта разрушается в ходе его собственного исследования, поскольку на каждом шагу он выходит за установленные им самим концептуальные рамки и оказывается не в состоянии выдержать определенные для себя формальные параметры. Книгу составляют явно неравноценные части – «историческая» как по объему, так и по глубине анализа намного уступает «философ-

<sup>69</sup> См.: Сев Л. Философия американской истории. М., 1984. С. 25–26.

<sup>70</sup> Гавришина О. История как текст. Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург, 2002 // Новое литературное обозрение. № 59 (2003). С. 535–536, 538–539.

ским». Ощущается большая зависимость автора от вторичных источников. Обращение к первоисточникам осуществляется зачастую по «цитатному» принципу, их системный обзор отсутствует. Книга Уайта дает показательный пример сознательного конструирования текста на заданную тему, однако, несмотря на декларации о приверженности определенным принципам, ее в действительности отличают внутренняя противоречивость и эклектичность подходов. «Метаистория» представляет собой сложно выстроенный, многослойный текст. Внешний, явный, ясно видимый слой, образуемый системой эксплицитных высказываний, выглядит как вполне самостоятельная логическая конструкция, покоящаяся на радикально отличной основе. На том самом метауровне, на который автор приглашает проникнуть, вдохновляющая его форма исторического воображения приобретает совершенно иное качество, чем то, которым обладает его абстрактная «тропология».

В связи с этим принципиально важным представляется то обстоятельство, что Уайт, провозглашая верность одним интеллектуальным принципам, в действительности во многом следует совершенно другим. Он декларирует приверженность концепциям современной философии науки, а также «социологии культуры» Манхейма, однако в своих базовых выводах опирается на интеллектуальное наследие Вико, Кроче, Коллингвуда, мысль которых развивалась в русле тысячелетней традиции платонизма. Таким образом, чем глубже автор погружается в собственно философию истории, тем ближе он оказывается к миру вечных идей Платона. Речь, конечно, не идет о какой-то особой платоновской философии истории, хотя и имеются «определенные основания приписывать Платону философию истории, если под этим термином подразумевать общий взгляд на то, каким образом история направляется»<sup>71</sup>. Дело в существовании гораздо более широкой и глубокой интеллектуальной традиции, к которой в конечном итоге, на метауровне, возвращается Уайт.

«Хаос платоновских догадок», по выражению английского философа А.Н. Уайтхеда, представляет собой неисчерпаемую сокровищницу творческой мысли<sup>72</sup>. В той или иной степени дань платоновской традиции отдали именно те мыслители, которые оказали очевидное влияние на ход мыслей Уайта. Первый из них, Вико, прямо указывал, что преклонение перед Платоном, наряду с Тацитом, побудило его сформулировать «первоначальный план того, что он впоследствии выработал в виде *Вечной Идеальной*

---

<sup>71</sup> Walsh W.H. *Plato and the Philosophy of History: History and Theory in the Republic* // *History and Theory*. 1962. V. II. № 1. P. 14.

<sup>72</sup> Уайтхед А.Н. Приключения идей // Уайтхед А.Н. Избранные работы по философии. М., 1990. С. 402, 503, 631.

Истории, соответственно которой протекает Всеобщая История всех времен»<sup>73</sup>. На авторитет Платона опирался и Кроче, когда писал, что главное достоинство истории – это «приверженность истине – вместе с разграничением реальности и вымысла: ведь вымысел мог послужить этой цели не хуже, если не лучше, чем истина». «И почему в таком случае история не вправе обратиться за помощью к поэзии и фантазии?» – спрашивал он, прямо указывая своим последователям направление дальнейших поисков<sup>74</sup>. Хорошо знал Платона и часто ссылаясь на него также Коллингвуд, философская программа которого «перебрасывает мост к магистральной традиции классической мысли, отталкивающейся от Платона»<sup>75</sup>. Примечательно, что приступая к осмыслению проблем философии истории, английский философ начал с перевода книги Кроче о философии Вико, четко указав, от кого он принимает эстафету. Развивая мысли великих итальянцев, Коллингвуд писал, что для него «не существовало двух отдельных групп вопросов, исторических и философских. Была лишь одна группа, историческая. Изучение Платона для меня было исследованием того же самого типа, что и изучение Фукидида»<sup>76</sup>.

В конечном итоге, сложными окольными путями Уайт в ходе своего исследования тоже выходит на магистральную дорогу развития мировой философско-исторической мысли. Через Вико, Кроче, Коллингвуда он прикасается к одной из древнейших, глубочайших, еще дохристианских интеллектуальных традиций. Среди главных героев книги пять германских мыслителей XIX века, два французских, один итальянский. Несмотря на такой состав, на глубинном уровне автор ориентируется преимущественно на платонизирующую неогегельянскую мысль XX века, воплощаемую итальянцем Кроче и англичанином Коллингвудом. Через своих предшественников Уайт возвращается к великим истинам платонизма в противовес аристотелевской науке, которая завела человечество в технологический тупик. Имплицитное присутствие платоновских мотивов в книге современного американского мыслителя само по себе представляет большое достижение и весьма поучительный урок. Обнаружение платоновских истоков философско-исторической мысли и стало, пожалуй, наиболее важным результатом проведенного Хейденом Уайтом исследования.

<sup>73</sup> [Вико Дж.] Жизнь Джамбаттиста Вико // Вико Дж. Основания Новой Науки. С. 489.

<sup>74</sup> Кроче Б. Теория и история историографии. С. 120.

<sup>75</sup> Киссель М.А. Цивилизация как диалектический процесс (Проблема цивилизации в философии Р.Дж. Коллингвуда) // Цивилизации. Вып. 1. М., 1992. С. 33.

<sup>76</sup> Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография. С. 360

**Н.А. Селунская**

## **В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОЙ МИКРОИСТОРИИ**

В качестве пролога или предлога выступления, отмечу два момента: публикацию Н.Е. Копосовым статьи с красноречивым названием «О невозможности микроистории» в сборнике «Казус» и организацию научного семинара по микроистории почти сразу после выхода эссе в свет<sup>1</sup>. Суждения Копосова как будто не оставляли ни малейших перспектив для теоретического развития принципов микроистории. Но прежде чем обсуждать проблему теоретической безупречности посылок микроистории, уместно задать вопрос, существует ли микроистория сейчас как некое общее направление исторических исследований, и, если, да, то какие отличительные особенности это направление имеет.

Микроистиорию как научное направление в свое время провозгласила узкая группа исследователей. Программные заявления общего характера были сведены к минимуму на первых этапах развития нового тренда, в них просто не было нужды: единомышленники вели совместную работу. «Микроисторики» 1970-х гг. меньше всего могли ожидать, что их исследовательская манера станет непременной частью научного истеблишмента.

Поскольку тренд микроистории развивается уже достаточно давно, и это интеллектуальное направление получило много приверженцев, уже невозможно уклониться от выяснения вопроса, занимаются ли они неким общим делом. В настоящее время на знаменах адептов микроистории начертаны весьма противоречивые девизы. Нельзя не отметить несходства «итальянской», «немецкой», «французской» и «американской» трактовки микроистории. Что объединяет сейчас эти национальные школы? Принадлежат ли общему течению микроистории такие разнородные исследовательские манеры, как дискурс автора красочного нарратива или создателя базы данных, коль скоро, и тот, и другой декларируют свою принадлежность к микроистории?

Микроистория в ее первоначальном виде – как научная прак-

---

<sup>1</sup> Копосов Н.Е. О невозможности микроистории // Казус. М., 2000. С. 33–51. В момент, когда я начала писать статью, монография по теории истории еще не увидела свет.

тика аутсайдеров-бунтарей, противостоящая основному историографическому тренду макроистории – должна была исчезнуть просто с количественным ростом публикаций данного направления. Микроистория, как и любая маргинальная практика, вошедшая в моду, была обречена исчезнуть (в смысле чудесного превращения в свою противоположность), именно получив академическое признание и распространение после (или в ходе) многочисленных дискуссий в «научных кругах». На Западе так и произошло.

Видимо, уместно задуматься о российской специфике развития гуманитарного знания. Существует ли практика микроисториков в нашей стране? Кажется, можно говорить о русском тренде микроисторических исследований, хотя бы и самом своеобразном из всех направлений микроистории. Такая школа в России существует, по крайней мере, по самоназванию. Термин «микроистория» – частый гость на страницах научных журналов и сборников. Но надо отметить, что восприятие микроистории в России последних лет столь же позитивно, сколь и расплывчато. Примечательно также, что в некоторых российских периодических научных изданиях, появившихся с конца 1980-х гг. (например, в «Одиссее») были одновременно, в одних и тех же выпусках, представлены манифесты микроисториков, сторонников тренда культурной антропологии и постмодернистов. Видимо и поэтому в умах российских читателей этих публикаций произошло некое смешение принципиально далеких концептов, и от аудитории ускользнуло резкое противоборство трех названных направлений. Можно ли в таком случае говорить о развитии микроистории в России? Сложившаяся историческая ситуация ни одной чертой не напоминает идейный климат Европы 70-х гг. минувшего столетия. Как оценить сходство историографических посылок в среде левых европейских интеллектуалов прошлого века и современных россиян при полном отсутствии общих идеологем, терминологического и понятийного аппарата?

Допустим, что общим выражением микроистории являются сама манера изложения исторического материала и чисто стилистические особенности. Заманчивым кажется счастье, что микроанализ – это не методология и не идеология, но методика построения исследования и представления материала, достаточно техническая система приемов, которую можно было бы описать, например, в терминах работы фотохудожника: «выбрать ракурс», «навести на резкость», «подретушировать» и «высветить или затемнить задний план». Может быть, в интересах сторонников микроистории было не объявлять практику своей работы методологией, поскольку это убивает весьма живучий и даже неистребимый принцип «свободомыслия», который в свое время

вызвал успех публикаций авторов подборки «Микроистория»? Согласиться с такой постановкой вопроса было бы опрометчиво.

Поиски общей исследовательской посылки микроисториков подсказывают обратиться к начальному периоду утверждения микроанализа в историографии. Нет сомнений, что силой микроистории была исследовательская практика. Призыв держаться конкретики, избегать излишних обобщений, следовать логике источника, а не навязывать свою логику историческим свидетельствам, не был голословным риторическим приемом. Но не будем забывать, что научная практика микроистории, при всем многообразии исследовательской манеры основателей жанра, не лишена была общей скрепляющей идеологической подоплеки. Иначе невозможно было бы объяснить возникновение той ситуации, которую условно можно назвать «микроисторики против всех». Их позиция в те годы предусматривала не только историографическую полемику с макроподходами школы Броделя, но и противостояние культурной антропологии и направлению постмодернизма. Убежденность в объективности исторических реалий при неизбежности искажений в различных попытках ее отражения и интерпретации постоянно подчеркивалась в работах таких родоначальников микроистории, как Дж. Леви и К. Гинзбург. Стремление сблизить позиции автора-исследователя и читателя и построить диалог между ними, использование рассказа как формы интерпретации – все эти черты кажутся не менее важными в авторской позиции «микроисториков», при всем стилистическом и тематическом разнообразии работ тех или иных авторов, причисляемых к этому направлению.

Выделяя специфику манеры подачи исторического анализа<sup>2</sup>, нельзя сказать, что мы имеем дело лишь со стилистическими особенностями. Естественно, в момент появления первых публикаций по микроистории, трудно было представить те качественно новые возможности аналитической истории, которые открылись позднее и в европейской, и в американской историографии. Однако призыв к теоретически ориентированной истории, безусловно, старше тренда микроистории. Определенный всплеск интереса к аналитической истории пришелся как раз на период особой популярности микроистории<sup>3</sup>. Никак нельзя сказать, что микроистория дистанцировалась от аналитического направления. Появление термина «микроанализ» показывает аналитическую компоненту

<sup>2</sup> Отметим, что концепт «нового нарратива» наиболее четко сформулирован и применен Дж. Леви и Н. Земон-Девис.

<sup>3</sup> Kocka J. Theory and Social History: Recent Developments in Western Germany // *Social Research*. 1980. V. 47. № 3. P. 426–457.



микроистории, которая, однако, не являлась самоценной. В тех книгах, которые стали образцами микроисторического нарратива, аналитическая конструкция угадывается в качестве демонтированных строительных лесов. Именно произведения, представленные читателям в виде высвободившегося из-под этих «лесов» нарратива (как, например, повествование о Миноккьо или о возвращении Мартина Герра) принесли широкую известность, даже славу микроисторическому подходу.

Новое обращение к нарративному началу исторического исследования произошло в момент, когда, судя по всему, кропотливым архивным исследованиям «казусов» не хватало именно «изобразительности» рассказа, для того, чтобы привлечь читателя. Известный историк-византист И. Шевченко писал в 1969 г., что в текущий период исследователи прошлого делятся как бы на две команды. Одни пишут для пяти сотен коллег и публики, другие для пяти коллег и собственной персоны, причем первые занимаются глобальными вопросами и протяженными временными отрезками от 20 лет до тысячелетия и излагают материал в форме красочного нарратива. Другие посвящают свой труд одному малоизвестному событию и шлифуют не фразы, а выписки и примечания<sup>4</sup>. Простая справедливость требовала, чтобы микроанализ взял реванш.

Соблюдение требований логики позволяет очертить предел нашего знания, (увы, возможно, именно за этим пределом и остается истина). Неизбежный стандарт интеллектуального ремесла, от которого не вправе отказываться ни социолог, ни историк, не позволяет считать свою интерпретацию всеобъемлющей и самодостаточной. Совпадение и несовпадение микроистории и нарративной интерпретации, проблема ограниченности выборки исторических свидетельств, фигурирующих в микроистории – вот что занимает меня. Бесконечного разнообразия интерпретаций невозможно ожидать в этой области «конкретной истории», как и в случае абстрактно-теоретических построений, поскольку число вариантов интерпретаций достаточно ограничено (в силу ограниченности воображения – как *homo academicus*, интерпретатора истории, так и самих исполнителей исторических ролей – определенными рамками и стереотипами). Если говорить о вариантах микроисторического дискурса, то их, по большому счету, всего два: интерпретация-нарратив и интерпретация-микромодель (например, база данных). И та, и другая форма микроистории – это интерпретация, а не «живая история». Но микроисторический нар-

---

<sup>4</sup> *Sevcenko I. Two varieties of the Historical Writing // History and Theory. V. VIII. 1969. P. 332.*

ратив может вызывать тот же эффект, что и психодрама, в то время, как организация базы данных, пусть даже она отражает намного больше показательных деталей, должна вызвать горячий отклик лишь у специалиста-профессионала. В настоящий момент кризис перепроизводства информации, революция в области совершенствования информационных технологий, делают фрагментарность рассказа все более привлекательной, но все менее извинительной для историка-исследователя.

Мой собственный интерес к микроисторическому исследованию, думаю, проявился достаточно типичным образом при изучении средневековых коммун Италии. В каждом историческом регионе существовало такое количество особенностей, а внутри типов региональных характеристик можно насчитать такое число исключений из исключений, что пренебречь этими историческими материалами, просто означает отказаться от истории в пользу схоластики. Однако для того, чтобы оперировать полной выборкой хотя бы юридических документов по истории всех коммун одной лишь Центральной Италии периода существования нотариальных записей, автор и читатель должны были бы стать бессмертными. Рассказа, этого чисто человеческого способа воспринимать факты и события, просто не может получиться при такой жестокой тирании поступающей информации. А ведь именно рассказа ждет не только читатель, но и любой из исследователей, заинтересованный изучаемым материалом. Нельзя сказать, что путем рассказа историк лишь облегчает свой труд и адаптирует его для читателя, применяется к потребностям воспринимающей стороны. На историка всегда давит груз обязательств, ритуалов и правил объяснения своей точки зрения, и обычно в результате исследователь должен излагать материал совсем не в том порядке и не тем способом, который лично ему помог прояснить ситуацию.

В качестве небольшого лирического отступления приведу пример опыта по изучению городской общины Лукки XIII века, точнее того момента, когда исследование действительно стало захватывающе интересным лично для меня. О происходивших в средневековой Лукке событиях мы имеем множество сохранившихся свидетельств, в том числе опубликованных. Не так давно произведена была еще одна ценная публикация архива церкви францисканцев, в котором чередуются документы и копии о дарениях движимости и недвижимости в пользу церкви Санта Мариа-Маддалена, о папских привилегиях, полученных миноритами, и о тяжбах нищенствующих братьев на протяжении нескольких ве-

ков<sup>5</sup>. Конфликты в первую очередь касались взаимоотношений францисканцев с приходами Лукки. К неразрешимым противоречиям между миноритами и приходским клиром приводила нечеткая формулировка привилегии, дарованной нищенствующим братьям в сфере попечения о душах мирян и исполнения церковных служб и треб<sup>6</sup>. Непосредственной же причиной конфронтации стало завещание некоего Якобо ди Ладзаро, уроженца Болоньи, который жил некоторое время в Лукке и здесь скончался. В своей последней воле Якобо распорядился, чтобы местом упокоения его праха стало кладбище миноритов<sup>7</sup>. Однако, каноники Сан Фреддиано силой воспрепятствовали погребению покойного на «чужой» территории, похитив тело у миноритов (такой способ восстановления юрисдикционных прав не был в глазах средневекового человека столь экзотическим, каким кажется на наш взгляд).

Когда этот яркий эпизод проступает сквозь начертанный рукой нотариуса текст правового документа, с начавшейся как бы у нас на глазах историей уже невозможно расстаться. Почему-то именно правовые документы, которыми так богаты средневековые итальянские и французские архивы заставляют читателя-исследователя думать и даже фантазировать на тему справедливости, истории, но не собственно права. Не являясь исключением из этого правила, я немедленно постаралась представить правовой казус как историю. История тут же дополнилась новыми именами: горожан, пострадавших за свою приверженность к церкви нищенствующих братьев, арбитров в спорах между клиром церкви различного статуса, епископов и пап, пытавшихся урегулировать проблему, названиями приходских церквей. Затем я несколько раз меняла структуру изложения, в частности включив в общий хронологический порядок событий тот эпизод с отлучением купца из Лукки, который первоначально остановил мое внимание на ис-

---

<sup>5</sup> Le pergamene del convento di S. Francesco in Lucca secc. XII-XIX / A cura di Vito Tirelli. Roma, 1993.

<sup>6</sup> Doc. 14. P. 26-27: "ut in locis et oratoris vestris cum viatico altari possitis missarum sollempnia et alia divina officia celebrare, omni parrochiali iure parrochialibus ecclesiis reservato".

<sup>7</sup> Doc. 55. P. 127: "Querelam dilectorum filiorum...guardiani et fratrum ordinis Minorum lucanorum recepimus continentem, quod, licet quondam iacobus Lazarii de Bononia tunc in civitate lucana commorans...in voluntate ultima suam elegerit sepulturam, tamen...prior et conventus ecclesie Sancti Fridiani lucane ordinis Sancti Augustini corpus eiusdem iacobi motu proprio per violentiam rapientes, illud in cimiterio eiusdem ecclesie sepelire contra iustitiam presumpserunt in predictorum guardiani et fratrum preiudicium et gravamen, quamquam parrochiali ecclesie canonica iustitia solva foret".

тории конфликта в городе. Далее потребовалось снабдить рассказ более обширным справочным аппаратом и предупредить возникавшие в процессе обсуждения или могущие в дальнейшем возникнуть вопросы и недоразумения. Но, разбухнув от дополнительных комментариев и обязательных отсылок, рассказ не просто перестал нравиться мне самой, дело в том, что интерпретация перестала быть нарративной. Мне просто не удалось сочетать микроисторическое исследование с рассказом, а рассказ – с детализированной интерпретацией. Эмоционально окрашенный эпизод, который служил замковым камнем конструкции рассказа, потерял свое исключительное значение. Казус занял свое место в общем ряду, но при этом композиция потеряла единый центр и распалась, перестала восприниматься общая картина.

Приведу другой, более значимый пример, который касается истории развития итальянской историографии. Описание развития историографической мысли также может оформиться в виде рассказа – интерпретации, в которой могут быть заложены такие отличительные черты, которые легко разглядеть со стороны, что может привлечь читателя и помочь ему самостоятельно сложить мозаику из отдельных ярких фрагментов идей. Не могу утверждать, что это – лучший способ подачи материала, но отказ от него ставит в заведомо проигрышное положение попытки донести до читателя весьма важные результаты исследования. Кропотливые исследования итальянских историков по такому интересному вопросу, как развитие сельской сеньории, на микроуровне, на выборке казусов показывают весьма увлекательные переливы и взаимосвязи частного и публичного, покровительства и принуждения, светского и сакрального на протяжении VIII–XII вв. Но тренд итальянской историографии не так просто выразить в определении, как общий дух изысканий французских медиэвистов по той же теме. В результате с 1960-х гг. господствуют историографические концепции сеньориальной революции, произошедшей как будто бы за несколько десятков лет. Историографическое направление стало объектом рассказа, который легко передать по цепочке выступлений и лекций. Можно ли винить кого-либо в такой ситуации? Вероятно, нет. Естественное свойство человека – превращать в связный рассказ или историю горсть разрозненных фактов и свидетельств, выстраивать ряд взаимосвязей, которые могли обуславливать происходящее (не важно, отдавали ли себе в них отчет действующие лица). Эти построения, видимо, не просто следуют за появившимся интересом к источнику, они нередко его предвосхищают и диктуют необходимость обратить внимание на тот или иной факт, может быть, сам по себе и незначительный,

но весьма говорящий в определенном контексте.

Кроме того, нарратив – это и сам материал, и способ его интерпретации. Амбивалентность понимания нарративного начала давала микроистории уникальный шанс – сохранить свою независимость от тотальных теоретизированных конструкций и, в то же время, приобрести объединяющий и самобытный принцип развития. Но данный принцип не стал интеллектуальной собственностью приверженцев микроистории. Его подняли на щит и другие историки, использовавшие в заголовках своих книг слова «новый нарратив» или без всяких комментариев использовавшие сам принцип нарративной интерпретации. На мой взгляд, одним из главных критериев определения микроисторического исследования именно и является манера использования нарратива как инструмента исследования. К сожалению, микроистория пока просто не имеет в своем распоряжении устоявшегося терминологического аппарата. Хотя бы поэтому логические ошибки «микроисторика» могут быть прослежены лишь на конкретном примере, и то при условии, что исследователю, так себя называющему, не чужда саморефлексия. Интересно, что в России само развитие микроисторического подхода происходит в основном под знаком отрицания аналитической компоненты истории, всегда бывшей отличительной чертой советской школы историографии. Интересующиеся микроисторическим трендом российские исследователи предпочитают крайности, диаметрально противоположные позиции – от отрицания теории нарратива, до прослеживающегося на другом полюсе требования отказаться от собственно исторического исследования и перейти к иному уровню теоретизирования, к языку некой метаистории. Н.Е. Копосов – самый яркий пример второй, кстати говоря, более редкой, позиции. Естественно, при таком распределении сил микроистория как научная практика в России не может выкристаллизоваться и не получит интересных перспектив развития.

«Микроисторики» иногда протестуют против отождествления изучения казуса и микроанализа, но, обычно, case-studies рассматриваются как вариант микроистории, и провести разграничительную черту между двумя понятиями трудно, и теоретически, и практически. Разработка междисциплинарных методик исследования исторического казуса могла бы способствовать преодолению противоречий и расплывчатости тренда микроистории. Утверждение о неизбежности имплицитной или эксплицитной зависимости микроистории от макроистории, т.е. взаимосвязи микро- и макроанализа (силу общности интеллектуального стандарта и логического аппа-

рата обобщения) кажется вполне логичным, но отнюдь не разрушающим позиции «микроисториков»<sup>8</sup>. Безусловно, микроисторический подход претендует на то, что исследование избранного «казуса» не должно выглядеть попыткой упростить существующие проблемы и избежать сложных тем путем анализа изолированного случая. Напротив, микроанализ был призван показать, что таких изолированных историй не бывает. Как бы лежащий на поверхности исторический материал становится говорящим и понятным только будучи органично вписан исследователем в широкий исторический контекст, когда оказываются прослеженными глубинные и сложные взаимосвязи феноменов, создавшие данный казус. Как можно определить критерии выбора казуса и описать взаимосвязь избранного примера и макроисторического контекста?

Важно отметить, что сторонники изучения исторического «казуса» делятся на две большие группы, и различие между ними носит принципиальный характер. Казус понимается либо как некая историческая эмпирия, данность, либо как сконструированная нами методика вычленения объекта исследования<sup>9</sup>. Я присоединяюсь к последней из названных точек зрения, которая требует специальной рефлексии по поводу выбора или, если угодно, построения казуса. Можно сказать, что избранный нами казус уже есть некая логическая конструкция, созданная нами по известным меркам и лекалам общего, особенного и характерного для эпохи. Во всяком случае, у нас всегда есть стремление выделить рассматриваемый казус в качестве уникального или же обладателя счастливого сочетания стереотипного и исключительного (он же – «исключительное нормальное», он же – «нормальное исключение») и поместить его под надзор «микроисториков» в рамках и пределах, очерченных разнообразными плоскостями микроисторического анализа. Всегда оказывается, что создание нарратива – это двусторонний процесс описания-интерпретации, во многом обусловленный уже имеющимся знанием (вне и помимо конкретного источника). Несомненно, что микроисторический анализ необходим именно тогда и только тогда, когда проблематика исследования освещена богатой историографической традицией и в силу этого перегружена стереотипами. При таких условиях исследование отдельного события иногда расставляет новые акценты и находит нюансы, меняющие наше восприятие феномена. Мной была предпринята попытка на конкретном примере показать как на основе микроисторического ана-

<sup>8</sup> См.: *Копосов Н.Е.* Указ. соч. С. 49–51.

<sup>9</sup> *Ragin C.Ch.* Introduction / What is the case? N.Y., 1992. P. 10–19; *Walton J.* Making the theoretical case / *Ibid.* P. 121–138.

лиза выстраивается нарратив, в котором эмоционально выделены те или иные элементы весьма обширного архива исторических документов, в зависимости от их информативности для раскрытия известного макроисторического контекста.

Кажется, все же, что микроанализ, скорее сходен с черчением, где задан масштаб, правила изображения, чем с живописной импровизацией. Описанный на листе бумаги казус можно считать как бы проекцией на плоскость объемной фигуры исторического явления. Но (и в этом отличие микроистории от дисциплин естественнонаучных) избранный казус – это не просто частный случай или удачно выбранная условная точка: каждое событие, факт, жест имеют ценность в глазах историка сами по себе. То ощущение подлинности, которое вызывают эти яркие свидетельства источников, несомненно разделяет каждый исследователь, как бы он себя ни называл – микроисториком, постмодернистом или, для разнообразия, просто позитивистом.

Историк не может не любить изучаемые источники, эпоху, страну; однако получаемое удовольствие является необходимым, но явно не достаточным условием для занятия историей как ремеслом. Бесспорно, микроистории в начале ее пути удалось почти невозможное – невредимо проплыть между Сциллой и Харибдой, подвижными горами «конкретной истории» и «абстрактной истории». Но сейчас, кажется, что «микроисторики» вот-вот разобьются об эти скалы. Нет золотой середины микроистории, равноудаленной от случайной, нерепрезентативной выборки данных и от генерализации высокого порядка.

В испуге, некоторые историки решают взять курс на маяк социологии, хотя фарватер движения гуманитарных дисциплин, прочерченный социологами, нередко оказывался опасным и неоднократно отвергался. Возникает, таким образом, еще один важный вопрос о соотношении исследовательских возможностей истории и социологии. И в среде историков, и социологов, существовали различные поводы для его обсуждения<sup>10</sup>. Должны еще раз обратиться к этой проблеме и те историки, которые признают кризис микроисторического подхода, но ищут возможности его преодоления (пусть

---

<sup>10</sup> Сошлюсь на достаточно давно опубликованную, но вполне актуальную аналитическую статью Л.П. Репиной, затрагивающую ряд важных и дискуссионных аспектов данной темы: *Репина Л.П. Социальная история и историческая антропология: новейшие тенденции современной британской и американской медиэвистики // Одиссей – 1990. С. 167–181. На мой взгляд историографическая ситуация, изложенная в данном исследовании, не претерпела существенных изменений, указанные проблемы не были сняты.*

не абсолютного и теоретически безупречного, но позволяющего работать дальше в уточненной системе координат). Итак, стоит ли историку с целью приобретения «научного» метода и статуса покусаться на чужую территорию, посягать на арсенал социологии? Ошибочность такой погони за чужим методом доказывается по той же схеме, что и тезис о несостоятельности микроистории.

Любопытно, что аргументацию, весьма схожую с предлагаемой Н.Е. Копосовым, использовал несколько ранее голландский ученый Пир Фрис (P. Vries), правда, с совершенно иной целью и выводами – дабы оспорить возможность признания самостоятельной научной ценности за социологией<sup>11</sup>. Совпадение мотивов и выводов весьма примечательно. Сравним ход мысли обоих методологов. Копосов, кратко говоря, утверждает, что у микроистории нет и не может быть особого логического и категориального аппарата, нет в сущности и предмета – в силу неразрывной связи микро- и макро- контекстов. П. Фрис резюмирует, что у социологии нет собственных специфических формулировок закономерностей, выработанных именно и исключительно на потребу социологического исследования, социология, вобравшая в себя несколько разнородных пластов понятийных категорий, эклектична, предмета социологии в реальности не существует, так как мы имеем дело не с «Обществом», а с системой взаимосвязанных сообществ. Итог: на уровне идеи микроистория /социология – немыслима, хотя как практика и даже в качестве некоей дисциплины она существует. То есть, разбираются ступени одной и той же логической конструкции, но в обратном порядке. Причем, если Фрису принадлежит пальма первенства по хронологии высказывания, то Копосову, безусловно, по радикальности суждения, ибо, как справедливо полагает исследователь, вышеназванные критические положения применимы и в отношении других, так называемых научных дисциплин гуманитарного знания. То есть все они существуют на практике – и не более того, добавим мы. Даже тот, кто не считал практику единственным критерием истины, был бы побежден данной логикой.

Итак, в результате сложных методологических дискуссий, мы признаем, что говорим прозой и мыслим логическими категориями. Интерпретация исторического материала является не только необходимым, но и неизбежным следствием практики историка, а зна-

---

<sup>11</sup> Упомянутый исследователь мало известен российским ученым, хотя и выступал уже в России с лекциями. Об авторской концепции Пира Фрися сужу в основном по изложению на английском языке основных аргументов диссертационного исследования, посвященного вопросам методологии истории (и социологии).



чит, и микроисторический подход, как один из самых естественных для гуманитария способов видения и интерпретации исторической действительности, скорее неизбежен, чем невозможен. Попытки оснастить микроисторию аналитическим арсеналом других интеллектуальных течений, ориентированных более на науку, чем на специфическое гуманитарное знание, не кажутся счастливой идеей. Во-первых, это будет подменой тех принципов и характеристик микроистории, которые когда-то исповедовали авторы наиболее читаемых исторических сочинений 1970-80-х гг. Во-вторых, как мы показали, невозможность социологии или аналитической социальной истории может быть доказана с той же легкостью и по той же схеме, что и пресловутая невозможность микроистории.

С другой стороны, что действительно невозможно и неправомечно, так это считать микроисторию воплощением некоего чистого опыта истории и венцом несуществующей свободы творчества. Необходимо подчеркнуть и такую важную характеристику: микроистория – это микроисторический анализ, соотнесенный с предварительным опытом макроанализа, а не наоборот. Микроистория, безусловно, является интерпретацией – неправомечно понимать некий способ интерпретации (пусть достаточно естественный для человека) как чистый живой и бесконечно разнообразный опыт самой жизни. Интерпретация эта дается на микроуровне, хотя и является результатом вольного или невольного привнесения в ситуацию некоего макроконтекста. Нет ни одного известного автора микроисторических исследований средневековья 1970-80-х гг., который не работал бы с источниками, отражавшими десятилетия и века истории периода Средних веков и Раннего Нового времени. Возможно, от того, будет ли такая ситуация характерна для нового поколения «микроисториков», и зависит успех тренда.

Ещё раз подчеркнем, что на страницах этой статьи автор все не пытался изложить те принципы, которые должны быть предписаны микроистории, изучению казуса, или истории вообще, осуществить проповедь того, чем должна быть микроистория. Напротив, на собственном примере автор работы показывает опыт, который является общим местом, а может быть общим слабым местом микроисторического подхода. Внимание автора, и надеюсь, интерес читателя ограничивались тем, чем микроистория, по моему мнению, не может не быть, т.е. – одним из самых человеческих субъективных, личностных (а можно сказать и более высоким слогом – гуманистических, гуманитарных) способов восприятия исторической действительности, который несет на себе отпечаток таких человеческих свойств, как самомнение и ограниченность, увлеченность, эмоциональность, способность в тысяч-

ный раз переживать и представлять как нечто новое и неповторимое весьма банальные ситуации, превратности жизни и истории. Те, кто разрабатывал микроисторический анализ, осознавали и скудость сил и возможностей современного человека при освоении исторической реальности. И все же – чисто опытным путем неожиданного прочтения конкретных источников – эти исследователи смогли значительно расширить поле деятельности историка, а также «отсудить» у общественного мнения новые сферы и средства для самовыражения. Дискурс микроисторика, как мне кажется, – это тоже своеобразная «проповедь примером», характерная для «нищенствующих».

Микроистория не является всемогущей и многоликой. Человеческие возможности весьма ограничены, и разнообразие исследовательских дискурсов – это скорее желаемое, чем реальное состояние исторической дисциплины. Видимость разнообразия лишь результат отсутствия обязательства прояснить и методику, и методологию конкретной работы, но сколько бы раз не прозвучал нечетко сформулированный тезис, это не даст нам множества разных идей. В стане российских приверженцев микроистории, на мой взгляд, напротив, царит отменное единодушие, по крайней мере, в главном вопросе: аналитическому характеру микроистории выражен вотум недоверия. Интересно, что именно в российской науке вопрос о необходимости аналитической компоненты микроистории не дискутируется. И именно поэтому выступление Н.Е. Копосова (которое сопоставимо, возможно лишь с осмыслением логики истории Г.Г. Шпетом) звучит таким резким диссонансом в общем хоре современных российских историков. Вопрос о самобытности и самодостаточности аналитического арсенала микроистории в данной ситуации вообще не имеет смысла. Но именно в слабости порой заключается сила. В момент всеобщей усталости от избыточной информации, пусть произвольно выбранная, но эмоционально окрашенная информация является единственно приемлемой и воспринимаемой. Скептицизм по поводу объективности исторического познания и недостаточности используемой источниковой базы ничем не может повредить такому направлению гуманитарных исследований, которое признает субъективный характер принципов выбора объекта, но последовательно осуществляет свои принципы. Созданный на этих минималистских условиях нарратив заставляет воспринимающую сторону мобилизовать свои потребности в связности и цельности картины мира на благо диалога между историком и читателем.

Неразрывная связь микро- и макроконтекста исследования, о которой говорит и Копосов, действительно, существует и просле-

живается в лучших произведениях микроисторического характера. Признание этой связи должно побуждать «микроисториков» к такой же четкости в обозначении сферы и принципов применения своего собственного исследования, которые не отказывается признавать ни один из сторонников макроисторических подходов. К сожалению, «территория» микроистории лежит не в области метаистории, которой занимается Н.Е. Копосов. Но адепты микроистории (в особенности российские) гораздо последовательней, чем Копосов, делают микроистирию беспочвенным направлением тем, что упорно отрицают принципы освоения собственной территории и области определения исследований в пользу некой несуществующей спонтанности и бесконечного разнообразия.

И по характеру первых исследований, и по прослеживаемой внутренней логике своего развития микроистория – это исследовательская практика, которая ищет форму выражения своих результатов и способы коммуникации с аудиторией. Тезис о зависимости микроподхода от логического аппарата других дисциплин не подрывает основ данной практики. Эклектичность может означать слабость и провал научной теории с точки зрения эпистемологии. В своей внутренней системе координат микроисторический анализ нисколько не страдает от своей восприимчивости к инструментарию и понятиям, которые используются другими дисциплинами. Точно так же не умаляет позиции микроистории селективность и отсутствие претензий на всеобъемлющий охват источниковой базы. Микроистория – «*orega non finita*» – оставляет достаточно заманчивых подсказок и немалый простор для воображения, но каждая естественная попытка завершения неизбежно прибавляет произведению несовершенства.

Привлекательность микроистории как для академически образованного, так и для неподготовленного читателя велика в силу самой человеческой природы. В последнее время в связи с развитием новых информационных технологий, количественное накопление данных (как исторических фактов, так и библиографических ссылок) почти перестало представлять собой интеллектуальную задачу. Интеллектуальную проблему, скорее, составляет преодоление кризиса неосознанно воспринимаемой и лавинообразно растущей информации. Несомненно, в этой ситуации, есть возможности развития исследований микроисторического характера.

Разумеется, микроистория несет в себе ограниченность и условность, как любой способ умственной деятельности. Доказательства же невозможности этой деятельности так же не новы и так же характерны для человека, как и возвращение к опытам микроисторического познания и нарративного изложения.

Ю.Я. Вин, А.Ю. Гриднева, Д.Е. Кондратьев, О.В. Тихонова

## КОНЦЕПЦИЯ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА (проект информационного исследования)\*

*Красива математика, которая сама знает  
красивые задачи и изящные решения...*

*Математика есть стихотворение для истого  
математика. Красота самодовлеющей мысли  
и есть в известном смысле ее критерий. Это  
приводит нас к вопросу о красоте слова.*

С.Н. Булгаков

До настоящего времени изучение понятий и терминов исторического источника, как правило, осуществляется путем объяснения их значения в определенных контекстах и прочтения последних – комментирования смысла. Возможности проникновения в тайну того или иного понятия, установления его терминологической специфики зависят от знания этимологии и умения применить методы герменевтики, от опыта исследователя, его осведомленности о реалиях изучаемой эпохи. Наконец, нужно суметь достичь уровня, по выражению М.А. Барга, «сущностного обобщения исторической действительности – от категории “общественно-экономическая формация” на одном полюсе до простых родовых понятий (таких, как “крестьянин” и т.п.) на другом». Сам известный ученый усматривал в подобном обобщении идеализацию и схематизирование, чреватые обеднением наших представлений о прошлом<sup>1</sup>.

Изучение информационных особенностей понятий и терминов исторического источника, факторов их формирования и функционирования является воплощением тенденции к внедрению строгих методов исследования, охватившей не только точные и естественные науки, но и сферу гуманитарных знаний<sup>2</sup>. Главной посылкой реализации указанной тенденции в теории познания служит тезис о том, что преобразование первоначальной информации может дать информацию в такой форме, каковая изначально отсутствовала. И в этом смысле получение новой информации дает новое знание<sup>3</sup>.

---

\* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФНФ (проекты № 01-01-00261а; № 02-05-12023а). Авторы выражают глубокую благодарность за содействие и поддержку Л.И. Бородину.

<sup>1</sup> Барг М.А. Категории и методы исторической науки. М., 1984. С. 216–217.

<sup>2</sup> Логико-философские труды В.А. Смирнова. М.: УРСС, 2001. С. 280–281.

<sup>3</sup> Логико-философские труды В.А. Смирнова... С. 343.

Его обретение (в том числе и в исторической науке) некоторые специалисты подчас излишне прямолинейно соотносят с использованием компьютера<sup>4</sup>. Правда, профессионалы понимают, что вовсе не ЭВМ; а правомерное концептуальное обоснование становится источником успеха. Теоретически поставленная задача, как известно, может быть решена двояко: с одной стороны, при помощи описания абстрактных объектов, которые служат для моделирования реальных явлений и процессов, с другой — их выражения в форме математических зависимостей. Математическая форма выражения абстрактных объектов, из которых выстраивается теория, позволяет создавать обобщенную модель исследуемой реальности даже тогда, когда научное познание полностью отступает от норм обычного здравого смысла. При этом математическая формализация обеспечивает строгое описание отношений реальных объектов, становясь частью содержания теоретических построений<sup>5</sup>.

В центре внимания авторов настоящей статьи — проблема создания концепции семантического поля исторического источника<sup>6</sup>. Она опирается на выдвинутый в научной литературе о моделировании языковой деятельности в интеллектуальных системах постулат понимания семантики в широком смысле слова — как всей информации, которая относится к высказыванию и позволяет адекватно его интерпретировать<sup>7</sup>. Эта концепция, как полагают ее авторы, предоставит современному историку и специалистам смежных отраслей гуманитарного знания новые возможности использования высокотехнологичных приемов и методов изучения исторического процесса на основе информационного анализа заключенных в историческом контексте понятий и терминов.

В данном случае речь пойдет не о научных понятиях и терминах, что в наши дни стало достоянием логики и теории научного знания, а также специальной научной дисциплины — терминове-

---

<sup>4</sup> Подробнее см.: *Хвостова К.В.* Некоторые гуманитарные аспекты проблемы уточнения исторического знания // Проблемы исторического познания. М., 2002. С. 20.

<sup>5</sup> *Стэплен В.С.* Теоретическое знание: структура, историческая эволюция. М., 2000. С. 114 и далее, 122 и далее.

<sup>6</sup> Первоначальный вариант концепции см.: *Вин Ю.Я., Гриднева А.Ю., Кондратьев Д.Е., Тихонова О.В.* Концепция семантического поля исторического источника: основные положения // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». М., 2003. № 31. С. 166–177.

<sup>7</sup> Моделирование языковой деятельности в интеллектуальных системах / Под ред. А.Е. Кибрик, А.С. Нариньяни. М., 1987. С. 36; *Кибрик А.Е.* Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания: универсальное, типовое и специфическое в языке. М.: УРСС, 2002. С. 22.

дения<sup>8</sup>. Вопрос стоит также не о понятиях и терминах исторической науки как таковой<sup>9</sup>. Благодаря предлагаемой концепции в поле зрения исследователя должны оказаться понятия и термины, которые с полным основанием следует называть аутентичными – иначе говоря, понятия и термины исторического источника. Обращаясь к их изучению, необходимо иметь в виду многообразие факторов, предопределявших языковое значение каждого из них. Это требует, с одной стороны, раздельного, аналитического рассмотрения значимых лексических единиц, с другой – их синтеза, отражающего реальное функционирование языка<sup>10</sup>. Равным образом обеспечивается возможность непосредственного соотнесения понятийно-категориальных представлений человека исторического прошлого с современными научными воззрениями.

В соответствии с определенными выше научными ориентирами задача состоит в системной организации понятий, терминов и категорий общественного сознания в виде иерархической структуры. Основными путями и способами ее создания служат методы логико-грамматического анализа и обусловленные ими процедуры систематизации. Современная философия языка, ярким выразителем которой выступает Ю.С. Степанов, предусматривает выделение конкретного и абстрактного содержания основных лексических единиц. Первое раскрывает значение слова в контексте, второе заключается в инварианте значения – структурном значении слова, которое выявляется посредством специальных лингвистических описаний его содержания<sup>11</sup>. В то время как сама объективная лексико-семантическая система языка практически недоступна непосредственному наблюдению, ученые обращаются к построению ее

---

<sup>8</sup> О современном уровне и методах изучения научных понятий с позиций логики и теории познания см., например: *Смирнов В.А.* Логические методы анализа научного знания. М., 2002. Библиография специальных работ по терминоведению и смежным отраслям обширна. Перечислим лишь наиболее заметные в методологическом плане публикации последних лет: *Лейчик В.М., Бессекирска Л.* Терминоведение: предмет, методы, структура. Белосток, 1998 (в книге приводится основная литература); *Гринев С.В.* Введение в терминоведение. М., 1993; *Володина М.Н.* Теория терминологической номинации. М., 1997; *Она же.* Когнитивно-информационная природа термина: На материале терминологии средств массовой информации. М., 2000; *Добросклонская Т.Г.* Вопросы изучения медиа текстов: (Опыт изучения современной английской медиа речи). М., 2000.

<sup>9</sup> См., например, *Миньяр-Белоручева А.П.* Язык историка. М., 2001 (в книге отражена основная литература по данному вопросу).

<sup>10</sup> *Новиков Л.А.* Избранные труды. М., 2001. Т. 1: Проблемы языкового значения. С. 347.

<sup>11</sup> *Степанов Ю.С.* Язык и метод: К современной философии языка. М., 1998. С. 54.

инварианта. Наиболее известной формой служат словари-тезаурусы – наивысший, как утверждает Ю.С. Степанов, способ обобщения семантических описаний на основе прямых определений<sup>12</sup>. Тезаурусы, таким образом, обеспечивают возможность последовательного описания лексики путем распределения ее единиц («слов-понятий») по семантическим полям, что является одним из главных принципов систематизации. В тезаурусах, как правило, слова распределяются не в алфавитном порядке, а согласно определенным их значениям – понятийным сферам<sup>13</sup>. Значение каждого слова выражает его принадлежность к вертикали родовидовых предметно-тематических разделов тезауруса<sup>14</sup>. И соблюдение этого условия, наверное, следует считать обязательным для раскрытия семантики понятий и терминов независимо от построения тезауруса в традиционной или электронной форме<sup>15</sup>.

Очевидные результаты систематизации лексических единиц реализуются в построении цепочки понятий и терминов, подчеркнутых в тексте источника в виде отдельных словоформ, словосочетаний или фразеологизмов, которые составляют ядро синтагматики и парадигматики текста. Задачи организации понятийно-терминологического ряда вплоть до категорий сознания, соотносимых с заданными исследователем проблемными и предметными полями, требуют также использования приемов и методов анализа текста источника, разработанных в рамках языкознания, лексикологии, терминоведения и смежных дисциплин, равно как логики и теории научного знания. Ассоциативный интерес вызывают, к примеру, методы определенности терминов (в том числе и контекстуальной определенности) и эмпирической интерпретации, позволяющей производить процедуры уточнения понятий<sup>16</sup>. Наверное, будут небезосновательны и заимствования из формальной логики методов вынесения суждения о понятиях, нацеленные на установление закономерной зависимости между субъектом и предикатом. В поле зрения гуманитариев оказываются и методы дифференциации так называемых терминов непосредственного наблюдения<sup>17</sup>. В ряду приемов современного языкознания, тесно интегрированного со сферой разработки интеллектуальных сис-

<sup>12</sup> Там же. С. 616-617, 625, 633-634, 650 и далее.

<sup>13</sup> Новиков Л.А. Избранные труды... Т. 1. С. 418 и далее.

<sup>14</sup> См.: Степанов Ю.С. Язык и метод... С. 629.

<sup>15</sup> См.: Вин Ю.Я., Гриднева А.Ю. Тезаурус понятийно-категориального аппарата византийских источников: правовой и религиозный аспекты. Концептуальный проект // Проблемы исторического познания... С. 141-196.

<sup>16</sup> Смирнов В.А. Логические методы... С. 48, 133, 238 и далее.

<sup>17</sup> Подробнее см.: Логико-философские труды В.А. Смирнова... С. 146, 156-157, 312 и далее.

тем, прежде всего, конечно, следует отметить концепции логико-грамматического анализа текста. Логический компонент грамматики согласовывает текст со знаниями и представлениями человека о мире, обеспечивает возможность перехода от старого знания к новому, отвечает посредством субъектно-предикатной структуры суждения за «правильность» высказывания<sup>18</sup>.

В рамках выдвигаемой концепции следует также широко использовать позитивный опыт когнитивной герменевтики, которая предлагает разработчикам интеллектуальных систем методы, обеспечивающие понимание естественных языков и представление знаний социального мира<sup>19</sup>. Указанный подход полностью отвечает задачам изучения информационных особенностей понятий и терминов. Нужно подчеркнуть, что центральное место в процессе раскрытия образованного ими семантического поля исторического источника принадлежит единичным понятиям и терминам. Именно к ним обращается в первую очередь исследователь, решая встающие перед ним задачи анализа текста, чтобы определить ключевые слова. Опираясь на них и используя приемы дедукции и современные информационные технологии, исследователь вырабатывает структуру так называемых ключевых понятий, которые интегрируют (на принципах систематизации) ключевые слова в определенную категориальную структуру проблемных и предметных областей. Причем современные тенденции реализации информационного текстологического анализа предполагают вовлечение в научный оборот не отдельных слов и словоформ, а всю их совокупность.

Намеченный путь формирования подлежащего информационному анализу массива данных отвечает, с одной стороны, задачам исчерпывающего рассмотрения выявляемых в контексте источника словоформ, а с другой – позволяет выстраивать структуру понятий, терминов и категорий, адекватную как современным научным воззрениям, так и уровню общественного сознания в историческом прошлом. Именно это оправдывает внедрение высоких технологий в историческое исследование.

#### **Описание структуры семантического поля:**

Проблемное поле  
 Предметное поле  
 Категория – концепт  
 Ключевое понятие  
 Ключевое слово  
 Аутентичное словосочетание  
 - Синтагма  
 Лексемы

<sup>18</sup> Моделирование языковой деятельности... С. 54

<sup>19</sup> Шульга Е.Н. Когнитивная герменевтика. М., 2002. С. 221.



- Единичная лексема
  - Интегрированная лексема
- Фразеологический оборот речи и высказывание

Каждый элемент структуры должен быть строго определен:

- проблемная область – охватывает правила и процедуры построения предметных полей вкупе с ними самими;
- предметная область – совокупность объектов и понятий, а также связей между ними; сведения о которых обрабатываются и хранятся в базе данных автоматизированной системы;
- категория и концепт – в рамках данной концепции суть результаты различного уровня обобщения исходных данных и данных, полученных в процессе анализа массива данных, ориентированного на обозначенные пользователем проблемные и предметные поля;
- ключевое понятие – результат процедур систематизации и обобщения ключевых слов;
- ключевое слово – лексическая единица, выбираемая из обрабатываемого текста; ключевое слово назначается на основании правил, обеспечивающих однозначное его понимание и применение;
- аутентичное словосочетание – выявляемая в тексте источника грамматическая конструкция;
- синтагма – выявляемый в тексте источника фразеологический оборот или высказывание, обладающие собственным логически смыслом;
- лексемы – совокупности находящихся в тексте словоформ; единичные лексемы соответствуют уровню отдельного ключевого слова; интегрированные лексемы – соответствуют уровню словосочетаний;
- фразеологический оборот речи и высказывание – словоформы, образующие грамматический строй и логический смысл синтагмы.

Описанная структура семантического поля является многомерной иерархией различного рода связей и отношений отдельных категорий, понятий и терминов между собой как объектами информационного анализа. С помощью его методов данная структура семантического поля может быть преобразована и представлена в виде деревьев, фреймов, графов и семантических сетей, которые фиксируют разного рода связи и отношения между объектами: парадигматические, ассоциативные, семантические, синтаксические, аналитические и др. Их интегрирующее значение несомненно проистекает из правил формирования проблемных полей и выбора ключевых слов<sup>20</sup>. Разумеется, их круг будет дополняться и уточняться по мере совершенствования данной системы. Правила выбора и формирования ключевых слов прежде всего определены грамматическим строем естественного языка, к которому они относятся, а также – в случае неполного использо-

<sup>20</sup> Подробнее см.: Вин Ю.Я., Гриднева А.Ю., Кондратьев Д.Е., Тихонова О.В. Концепция... С. 168–169.

вания лексики источников – задачами информационного анализа, выраженными характером проблемных и предметных полей.

Оселок всей концепции семантического поля исторического источника следует видеть в достоверном познании обусловленных названными критериями категорий сознания и так называемых концептов. В последние годы отечественные гуманитарии активно прибегают к термину «концепт», противопоставляя его абстрактным категориям и формализованным понятиям как выражение субъективного отношения к фактам ментальной культуры<sup>21</sup>. По Ю.С. Степанову, концепты культуры, входящие в состав культурно-семиотических рядов, соединяют отдельные представления в единое целое<sup>22</sup>. Ученый определяет концепты в качестве основной ячейки культуры в ментальном мире человека и, указывая на близость концепта (по его строению) «понятию», уподобляет концепт смыслу слова, тогда как «значение» признано объемом «понятия», предметом слова<sup>23</sup>. В то же время проводится различие между «понятием» и «смыслом», с одной стороны, и с другой – «концептом», исходя из их соотносительности с определенными логическими системами, которые определяют терминологическую коннотацию. Это, однако, не снимает вопроса о содержательной связи данных словоупотреблений<sup>24</sup>.

Вместе с тем необходимо учитывать и иной аспект термина «концепт», который в когнитивных науках обозначает единицу ментальных ресурсов сознания и информационной структуры, отражающих знание и опыт человека. Признание предпочтительным для выдвигаемой концепции именно такого объяснения опирается на представления о концепте как оперативной содержательной единице памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка человеческого мозга с присущей его психике картиной мира. С этой точки зрения, концепт должен быть принят в роли «кванта» знания, возникающего при построении информации о реальном или воображаемом, и «интерпретатора смыслов» – формы обработки субъективного опыта путем его выражения в определенных категориях. В указанных процессах концепт идентифицируется с

<sup>21</sup> Подробнее см.: Микешина Л.А. Философия познания: Полемиические главы. М., 2002. С. 502 и далее.

<sup>22</sup> Степанов Ю.С. Язык и метод... С. 80 и далее.

<sup>23</sup> Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. М., 2001. С. 43–45 и далее. Критический отклик на высказанную в первом издании названного труда Ю.С. Степанова (М., 1997) интерпретацию термина «концепт» см.: Тарасов Е.Ф. Актуальные проблемы анализа языкового сознания // Языковое сознание и образ мира. М., 2000. С. 30–31.

<sup>24</sup> См.: Степанов Ю.С. Язык и метод... С. 624.

основной единицей хранения и передачи информации, которая в различных языках получает словесное воплощение в зависимости от лингвистических, прагматических и культурологических факторов. Будучи гибкими и изменяющимися единицами, концепты организуются иерархически и составляют семантические сети, претворяемые человеческой памятью<sup>25</sup>. Особо следует подчеркнуть объективную потребность современного исследователя в воссоздании концептов, которая обусловлена их неразрывной связью с процессами его собственного мышления и познания<sup>26</sup>.

Концепция семантического поля, в свою очередь, исходит из того, что познавательные процедуры, осуществляемые историком, невозможны без движения его мысли в двух встречных направлениях. С одной стороны, от выявленной в тексте словоформы к ее смыслу, зафиксированному в однозначно воспринимаемом ключевом слове и восхождению от него к так называемому ключевому понятию. Оно, как полагают авторы концепции, выступает обобщающим воплощением кустообразной структуры понятий и терминов. С другой стороны, адекватное восприятие ключевых понятий немислимо без уяснения не только образованной составляющими их ключевыми словами структуры. Оно также требует тщательного анализа понятий и терминов, которые представлены цветастой мозаикой словоформ, сформировавшихся вокруг большинства ключевых слов. Анализ структуры семантического поля исторического источника прежде всего предполагает проведение систематизации совокупности словоформ каждого ключевого слова – суть его лексем. И в этом смысле возможно говорить о ключевом поле, подразумевая, что оно позволяет, как это принято считать в информатике, определять значения других элементов данных. В его составе прежде всего выделяются аутентичные словосочетания. Они складываются из ключевых слов и их валентностей (присущих данному естественному языку устойчивых словесных сочетаний зависимых значимых словоформ и служебных слов – артиклей и предлогов). Если пренебречь последними, и ввиду того, что каждая значащая словоформа интегрирована в виде ключевого слова в их общий перечень, то аутентичные словосочетания следует рассматривать как сопряженные синтаксическими связями сочетания словоформ соответствующих ключевых слов. В случае выявления в тексте источника сложных и распространенных грамматических конструкций фиксируются так называемые синтагмы – синтаксические образования, обладающие свойственным им логическим смыслом.

<sup>25</sup> Микешина Л.А. *Философия познания...* С. 506.

<sup>26</sup> Там же. С. 506–507.

Каждое ключевое слово, то есть словарная грамматическая форма лексической единицы, выступает собирательным образом относящихся к ним отдельных словоформ. При этом некоторые из ключевых слов репрезентируют не простые, а сложные лексические единицы, сопрягающие в своем составе значащую словоформу и служебные слова. Несмотря на это, их целесообразно называть единичными лексемами, поскольку в них представлена единственная значащая словоформа. В состав же аутентичных словосочетаний и синтагм входят значащие словоформы ключевых слов, и потому справедливо говорить об интегрированных лексемах, выделяя из их состава фразеологические обороты и высказывания.

Для информационного анализа особенностей понятий и терминов на уровне ключевого поля явно недостаточно выделения аутентичных словосочетаний и синтагм. Настоятельна их последующая систематизация, обоснованная принципами логико-грамматического анализа с различением так называемых морфологической и синтаксической зон. Первая показывает исходную основу слова и возможные ее морфологические изменения. Иначе говоря, морфологическая зона, по своей сути, предполагает дифференциацию различных частей речи и, в то же время, сопряжение словоформ с супплетивными основами на основе процедуры их грамматического отождествления (тождества). Очевидно к этой же зоне следует отнести задачу дифференциации совпадающих морфологическо-грамматических форм словоупотреблений, которую можно назвать процедурой снятия тождества.

Синтаксическая зона предусматривает совершение процедур логико-грамматического анализа, направленного на охарактеризование смысловых различий отдельных слов или их групп. Из ряда логико-грамматических процедур в первую очередь допустима фиксация субстантивации как отдельно взятых имен прилагательных, причастий и других частей речи, так и связанных с ними групп слов и фразеологизмов. Процедура определения омонимии позволяет дифференцировать одинаково выраженные словоформы, обладающие различными синтаксическими функциями, например, использование существительных в качестве предлога.

Логико-грамматический анализ словосочетаний, образующих аутентичные лексические единицы, необходимо обуславливается учетом типа присущих им валентностей и выполняемых синтаксических функций. Разновидностями этого выступает атрибутивный комплекс (имя прилагательное + имя существительное) и несогласованное определение (имя существительное + имя существительное), а также разного рода предложные конструкции. Некоторые из них в пассивных конструкциях являют собой выражение логическо-

го субъекта действия, чем предопределяются их функции и значение в предложении. Особо следует характеризовать так называемую пропозицию. Ее функции и значение обусловлены тем, что она представляет ядро предложения, формирующееся на синтаксическом уровне. Основой пропозиции является предикат – прототипическое сказуемое, которому сопутствуют логические подлежащие и дополнения, а также обстоятельства<sup>27</sup>. Особая значащая роль должна быть приписана отрицанию, так как наличие отрицательных частиц меняет смысл как отдельных понятий, так и словосочетаний и всего высказывания на противоположный. Иначе говоря, отрицание означает образование по существу новых понятий.

Одной из главных логико-грамматических процедур является анализ ассоциативных (прагматико-синтаксических) связей и отношений, нацеленный на фиксацию бессоюзного и союзного сочинения. В общем ряду сочинительных конструкций на основе логико-грамматических критериев должны быть выделены процедуры определения грамматической конъюнкции (словоупотребления, связанные союзами «И»); грамматической дизъюнкции (словоупотребления, связанные союзами «ИЛИ» и «ЛИБО»). Важную роль принадлежит также «процедурной синонимии». К ней с рядом оговорок допустимо относить пояснения (например, выраженные пояснением «то есть») и определения. Конечно, с формально-логической точки зрения выделение последних, как и грамматических конъюнкций и дизъюнкций, не совсем верно. Тем не менее, наравне с указанными процедурами технический характер обретает формальное тождество – сопряжение словоформ на уровне унификации различного правописания.

Даже простейший морфологический и логико-грамматический анализ состава ключевого поля обеспечивает вовлечение в информационный анализ текста максимально полной совокупности словоформ и образуемых ими грамматических конструкций, таких как описательные спряжения, абсолютные деепричастные обороты, инфинитивные конструкции, которые получили развитие в древних языках<sup>28</sup>. Подобный подход делает возможным также обращение к экстралексическим компонентам текста и позволяет изучать как модальность отдельных выражений, так и высказываний в целом. Тем самым открывается путь и к применению новых методов информационного анализа исторических источников.

<sup>27</sup> Моделирование языковой деятельности... С. 55 и далее; Кибрик А.Е. Очерки... С. 198–201. О философских проблемах предиката и предикации подробнее см.: Степанов Ю.С. Язык и метод... С. 292 и далее; 556 и далее.

<sup>28</sup> Степанов Ю.С. Язык и метод... С. 536 и далее.

Поставленной задаче информационного анализа всей совокупности значащих словоупотреблений отвечает предлагаемая авторами настоящей концепции процедура определения функциональной роли понятий и терминов в контексте высказывания. Она заключается в фиксации логико-грамматических функций изучаемых понятий и терминов в предложении. Каждая их словоформа согласно разработанным критериям соотносится с соответствующей ей функциональной категорией. В их числе выделяются:

- субъект – подлежащее и его логико-грамматические связи;
- предикат – сказуемое, включая глаголы с присущими им валентностями и аргументами – обстоятельствами и иными словоупотреблениями;
- объект – дополнение и его логико-грамматические связи.

Тем самым достигается уровень универсализирующей формализации понятийно-категориального аппарата источника на уровне ключевого слова, позволяющей применять статистические методы анализа каждой его словоформы с учетом ее синтаксических и логико-грамматических функций в контексте источника.

Указанные критерии положены авторами концепции в основу разрабатываемого метода определения информационной близости исторических источников посредством сравнения их семантического поля с помощью статистического анализа понятий и терминов.

Для решения этой задачи О.В. Тихонова предложила алгоритм оценки семантической близости контекстов исторических источников, который позволяет судить о ее степени с учетом функциональной роли в анализируемых фрагментах текста изучаемых понятий и терминов по частотам их употребления:

$$L_1 = \frac{\sum_1^N |x_i - y_i| \cdot \mu_i}{\sum_1^N (x_i + y_i) \cdot \mu_i} \quad (1)$$

где  $\mu_i$  – весовой коэффициент значимости ключевого слова, определяемый методом экспертных оценок;

$x_i$  и  $y_i$  – последовательности частот вхождения ключевых слов в сравниваемые контексты;

$N$  – общее количество ключевых слов в структуре понятий.

Если значение функционала  $L_1$  равно 0, то это означает абсолютную идентичность статей, т.е. все ключевые слова, соответствующие одной статье, совпадают с ключевыми словами второй статьи. При полном различии статей функционал  $L_1$  равен 1, т.е. ключевые слова одной статьи полностью отличны от ключевых слов второй статьи. Если некоторые ключевые слова одной статьи совпадают с ключевыми словами второй статьи, а некоторые не совпадают, то значения функционала  $L_1$  лежат в промежутке между 0 и 1, что означает частичное сходство статей, причем, чем меньше это значение, тем выше степень их близости.

Например, если все ключевые слова одной статьи совпадают с ключевыми словами второй, отличие лишь в том, что во второй статье дополнительно есть некоторое ключевое слово, то значение функционала будет близко к 0. Если все ключевые слова одной статьи отличаются от ключевых слов второй статьи за исключением лишь одного некоторого ключевого слова, то значение функционала будет близко к 1.

Наряду с предложенным функционалом  $L_1$  следует рассмотреть функционал  $L_2$ :

$$L_2 = \frac{\sum_1^N |x_i^2 - y_i^2| \cdot \mu_i}{\sum_1^N (x_i^2 + y_i^2) \cdot \mu_i} \quad (2)$$

Этот функционал отличается от предыдущего тем, что в нем численное значение сходства (лежащее в пределах от 0 до 1) более чувствительно к отличиям, состоящим в том, что одно и то же ключевое слово встречается в двух статьях разное количество раз. Например, если некоторое ключевое слово встречается в одной статье один раз, а в другой, скажем, пять, то численные значения второго критерия покажут более значительные отличия. Применение того или иного критерия близости будет зависеть от задач, предопределяемых характером исторического исследования.

Описанный алгоритм апробирован в двух сериях численных экспериментов с использованием материалов «Земледельческого закона» – хрестоматийного памятника византийского права VIII в. Для проведения экспериментов разработан специальный аналитический модуль СУБД «Византийское право»<sup>29</sup>. Структура ключевых понятий, используемая им, образована идентифицированными (т.е. получившими «тезаурусное» значение – определенное место в предметном поле) понятиями и терминами названного источника. Они составляют примерно две трети его словарного состава.

Целью первой серии экспериментов являлась проверка работоспособности предложенного алгоритма. Для этого сначала проведено попарное сравнение друг с другом всех 85-ти статей «Земледельческого закона», что составило 3570 численных экспериментов. В результате каждого из них были получены восемь оценок семантической близости статей: четыре значения функционала  $L_1$  и четыре – функционала  $L_2$ . Вычисленные оценки характеризуют общую близость статей и их близость по субъектам,

<sup>29</sup> Подробнее см.: Вин Ю.Я. Гриднева А.Ю. База данных «Византийское право»: итоги и перспективы // *Круг идей: электронные ресурсы исторической информатики*. М.: Барнаул, 2003. С. 134-157; *Они же*. Правовое наследие Византии и новые перспективы его информационного исследования: База данных «Византийское право» // *Византийский временник*. М., 2004. Вып. 63. (В печати).

объектам и предикатам раздельно. Затем была произведена случайная выборка сорока пар статей, для которых соответствующие оценки близости вычислены, как говорят математики, «вручную» – без использования компьютера. Для данных статей с помощью реального пословного сопоставления также получены экспертные оценки выбранных контекстов. Высокая степень близости численных и экспертных оценок позволяет сделать вывод о «правильности», то есть работоспособности построенного алгоритма.

Задача второй серии численных экспериментов состояла в определении эффективности работы алгоритма при неполной структуре ключевых понятий, которая описывается на основе предварительного качественного анализа текста источника. Численные эксперименты второй серии начаты с вычисления «эталонных» (с учетом полной структуры ключевых понятий) оценок близости сравниваемых контекстов «Земледельческого закона». После этого из названной структуры последовательно исключали одно, два, три и более понятий. За каждым исключением следовало вычисление новой оценки степени близости сравниваемых статей памятника в соответствии с указанными выше критериями. По такой схеме проведено 20 численных экспериментов, предусматривавших выборочное сравнение семи пар статей с различной степенью близости. Анализ полученных результатов показывает, что разработанный алгоритм позволяет получать достоверные оценки семантической близости сравниваемых контекстов при условии заполнения структуры ключевых понятий не менее, чем на две трети (65%) от общего числа понятий и терминов источника.

Описанный алгоритм применим для проведения анализа на разных уровнях абстрагирования. Исследование выполняется в два этапа: на уровне анализа понятий и на уровне словоформ. На первом этапе, предусматривающем анализ ключевых слов относительно ключевых понятий, производится вычисление значения выбранного функционала таким образом, чтобы весовые коэффициенты  $\mu_i$  прилагались к частотам ключевых понятий. При этом функциональный состав понятий и терминов сопоставляемых контекстов сравнивается по совокупности ключевых слов, а не действительным словоупотреблениям. Иначе говоря, понятийно-функциональный состав контекста представлен не реальным набором исследуемых словоформ, а структурой их значений на уровне ключевого слова в соотношении с системой ключевых понятий, что и выражено в наименовании «близость относительно понятий». На втором этапе объектами анализа целесообразно делать понятия и термины контекстов, для которых вычисленные на его первом этапе коэффициенты указывают на наибольшую близость. При этом



величина  $\mu_i$  прилагается к частотам ключевых слов. Это позволяет отобразить состав относящихся к ним словоформ. Поскольку в результате объектами аналитических процедур оказываются собственно словоформы, статистический анализ тем самым приобретает характер определения близости контекстов исторических источников, которая называется «близостью относительно словоформ». И данный вариант анализа вполне оправдан, потому что его осуществление на указанном уровне открывает путь к последующим изысканиям в отношении аутентичных словосочетаний и синтагматики.

Таким образом, разрабатываемый метод позволяет с достаточной степенью точности устанавливать номинальную информационную близость отдельных контекстов сопоставляемых источников. Он также дает веские основания делать определенные выводы и относительно их понятийно-терминологической структуры. Именно в задачах по ее исследованию кроются перспективы дальнейшей разработки метода определения информационной близости исторических источников посредством сравнения их семантического поля. Так, проведение первого этапа статистического анализа – определение «близости относительно понятий» – оправданно дополнить вычислением энтропии образующих структуру ключевых понятий ключевых слов. А эффективным завершением этапа определения «близости относительно словоформ», вероятно, может стать сопряжение количественного и качественного анализа. В частности, предпосылку для успешного машинного анализа аутентичных словосочетаний, синтагматики и фразеологических оборотов речи, по предположению авторов концепции семантического поля, создаст обращение к приемам когнитивного картирования.

В то время как ближайшая задача авторов концепции состоит в установлении закономерностей формирования нижних уровней иерархии понятий и терминов, главная цель – разработка обобщающего алгоритма определения структуры семантического поля источника. Принципиальным моментом в достижении поставленной цели является выстраивание соответствий между ключевыми словами, с одной стороны, и ключевыми понятиями, а также концептами – с другой. Для решения указанной проблемы предполагается воспользоваться тем, что в математике принято называть методом последовательных приближений<sup>30</sup>. На начальном этапе исследования в качестве нулевого приближения планируется использовать структуру понятий и терминов, созданную экспертом на основании

---

<sup>30</sup> Подробнее см.: *Фадеев Д.К., Фадеева В.Н.* Вычислительные методы линейной алгебры. СПб., 2002; *Иванов В.В.* Методы вычислений на ЭВМ. Киев, 1986.

ранее полученных знаний в результате знакомства с историческим источником как гипотеза о его семантическом поле. Затем вычисляется значение установленного критерия близости. Оно находится в диапазоне от 0 до 1. Значения, близкие 0, свидетельствуют о приближении гипотетической структуры к действительной структуре понятий и терминов анализируемого текста. Вычислив показатель близости для первого приближения, можно вычленить фрагменты структуры, не соответствующие исследуемому тексту и, используя определенный алгоритм, изменить фрагменты структуры так, чтобы величина показателя близости уменьшилась, и вновь сформированная структура, в сравнении с выявленной ранее, достигла бы большей степени близости к действительной структуре понятий и терминов исследуемого текста. Многократное повторение этой процедуры ведет к последовательному приближению формируемой структуры понятий и терминов к ее прототипу, выраженному в тексте источника. Достижение минимального значения показателя близости означает, что в результате последовательных приближений построена структура, близкая действительной структуре понятий и терминов источника. Таким образом, метод последовательных приближений, использованный для реконструкции структуры понятий и терминов исторического источника, неизбежно даст принципиально новые данные. Их, разумеется, надлежит использовать для оценки достоверности начальных гипотетических построений – одной из наиболее сложных задач получения новых знаний, требующей качественного уровня их поверки.

Конструктивность основных положений концепции семантического поля подкрепляет то обстоятельство, что проведение в ее рамках информационного анализа не зависит от природы естественного языка исторического источника. В свою очередь, сопоставление контекстов различных источников вне языковой системы напрямую обусловлено выявлением в них лексических эквивалентов. Не предрешая заранее этой сложнейшей проблемы, хотелось бы очертить ее контуры признанием принципов преемства, подобия или тождества значений понятий и терминов, выраженных отдельными словами и словосочетаниями различных естественных языков, которые опосредованы их контекстуальным смыслом. Предлагаемая концепция разрешает фиксацию лексических эквивалентов понятий и терминов разных языков на уровне ключевых слов. Предопределенные тем процедуры реализуются с учетом выделения генетически связанных понятий, непосредственных заимствований и транслитерации терминов и номенов. Необходимо подчеркнуть, что авторы концепции ориентируют ее на анализ понятийно-терминологического аппарата прежде всего именно исторических

источников. Изложенная концепция не предусматривает оценки жанровых и литературных особенностей сравниваемых контекстов. Очевидно подобные задачи требуют углубленного изучения стилистических и художественных черт источника, тогда как в центре внимания названной концепции оказывается аналитическая структура содержания исследуемого объекта. Сообразно этому, оптимальной сферой приложения используемых в рамках данной концепции методов и приемов анализа станут, вероятно, тексты исторических источников, обладающих общностью происхождения. К таковым прежде всего относятся возникшие в ходе длительной эволюции византийского права законодательные и юридические памятники (как их латинские прототипы, так и греческие компиляции, равно и их славянские рецепции).

Разработка концепции семантического поля исторического источника требует продолжения и более глубокого обоснования. Она призвана, увеличивая объем информации, углубить знания пользователя о проблемных и предметных областях, структуре и системе связей понятий и терминов изучаемых источников на основе их целевого сопоставления. В частности, актуализация данных о межъязыковых и логико-грамматических связях понятий и терминов в сочетании со сведениями об их распределении по предметным полям и категориально-понятийным структурам способна пролить свет на конфессиональные и социальные факторы их формирования и функционирования. И в этом наблюдении – настоятельной необходимости выявления различных факторов и оценке их сочетания в реализации функциональной роли того или иного понятия или термина, вероятно, состоит главный вывод о научном значении концепции семантического поля исторического источника.

**Д.С. Коньков (Томск)**

## **ПРОБЛЕМА ВЛАСТИ В КЕЛЬТСКИХ КОРОЛЕВСТВАХ ИРЛАНДИИ (по материалам современной англоязычной историографии)**

Тема ранних кельтских политических образований на территории Ирландии очень скупо освещена в отечественной историографии. Между тем, кельтский материал открывает политическую жизнь достаточно развитой индоевропейской культуры, уникальной в своей целостности. Безусловно, обилие легенд и политическая ангажированность мешали и мешают до сих пор беспристрастной оценке роли этой культуры и ее составляющих. Но несмотря на этот интерес ученых к этой области истории вполне стабилен.

Основными источниками по истории Ирландии являются монастырские хроники, относящиеся к разным периодам. Впрочем, несмотря на богатство этого наследия, оно охватывает лишь христианские времена (после VI в.) и, кроме того, несет вполне очевидную тенденциозность в отношении догматов веры и ритуала. Языческие основы королевской власти, которые были очень сильны в Ирландии, более всего проявляются в мифологическом наследии, также зафиксированном уже в христианский период в нескольких редакциях. Так называемая «Книга захватов Ирландии» дает представление об этнической истории острова, изложенной через призму мифологии. Существует также несколько списков легенд, условно объединяемых в циклы – героический и королевский<sup>1</sup>. Свод законов Сенхус Мор и Крит Габлах также часто используются для анализа общественной структуры древней Ирландии<sup>2</sup>. То же можно сказать и о фрагментах так называемых наставлений, соб-

---

<sup>1</sup> Эти редакции отличаются степенью христианской ангажированности переписчиков, в результате наиболее полные поздние редакции являются одновременно и наименее адекватными. Поэтому большинство историков предпочитает более раннюю редакцию, на которую обычно и даются ссылки.

<sup>2</sup> На русском языке легенды, представляющие для отечественного историка наибольший интерес, изданы в сборнике «Легенды и мифы древней Ирландии» под редакцией С.В. Шкунаева. – Легенды и мифы древней Ирландии. М., 1991. Кроме того, единственный цельный эпос Ирландии, «Похищение Быка из Куальнге», также переведен на русский язык. – Похищение Быка из Куальнге. М., 1985.

раний рекомендаций будущим правителям, среди которых самое известное – Наставление Моранна, Аудахт Морайнн<sup>3</sup>.

Легенды и мифы способствуют в первую очередь пониманию системы верований, менталитета и традиционных обычаев, принятых среди кельтов. Как правило, именно в подобных источниках наиболее полно отражен комплекс языческих ритуалов, в данном случае, власти. Поэтому исследователи этой области жизни древних кельтов в основном апеллируют к эпосу. В наставлениях будущим правителям создавался образ идеального короля, и, несмотря на то, что эти наставления приписываются конкретным авторам, их корни лежат также в языческой народной мифологии. Наконец, официальные хроники, появившиеся с распространением христианства и монастырского уклада, много внимания уделяют описанию процесса инаугурации и, таким образом, являются ценным источником для изучения политической ритуальности. Кроме того, естественно, что основная часть политической истории островных кельтов известна нам именно из подобных хроник.

Интерес к кельтскому прошлому берет начало во времена прерафаэлитов, когда постепенно из области легенд переходит в область собственно историческую. Этому немало способствовала деятельность такого талантливого поэта, как Джеймс Макферсон, «открывший» для широкой публики поэмы Оссиана. Несмотря на множество мистификаций и искажений, кельтская тема во второй половине XVIII и XIX вв. была весьма популярна в искусстве Британии. Впоследствии литературная мода вызывает и научный интерес, однако до сих пор большинство работ имеет обзорный характер. Действительно серьезные исследования, которых немного, появились уже во второй половине XX в., в основном – в 1970-е гг. Возможно, всплеск исследовательской и издательской активности объясняется особенной остротой противостояния в Ольстере.

Одним из важных аспектов проблемы власти является значение христианизации в трансформации политических структур Ирландии. Ведя речь о языческих властных институтах, нельзя упустить из виду и значение ритуала и обряда в политической традиции. Сама структура власти кельтов, формирование политической системы, тенденции и перспективы развития кельтских королевств – все это занимает исследователей и является неотъемлемой частью проблемы власти в целом. В рассматриваемую проблему и такие вопросы, как соотношение прагматического и мистического элементов в концепции власти кельтов, вообще их уро-

---

<sup>3</sup> Audacht Morainn. Dublin, 1976.

вень политического сознания и то, насколько он специфичен именно для кельтов, наконец, собственно их политическая история, в которой отражаются особенности этого сознания. По каким-то из этих вопросов исследователи полемизируют между собой, в других – соглашаются, и в конечном итоге каждый из них предлагает собственное видение кельтской политической системы.

Классическим трудом является работа А. и Б. Рисов «Наследие кельтов». В центре внимания Рисов параллели между кельтской и индийской традициями в контексте общего индоевропейского наследия. Если сейчас существование таких параллелей уже можно признать общепризнанным фактом, то во многом это следует считать заслугой Рисов. Наиболее зримой аналогией Рисы полагают соотношение кастового социального деления со сторонами света, существовавшее и в Ирландии, и в Индии. Несмотря на сомнительность применения понятия касты к Ирландии, безусловной заслугой Рисов является глубокий анализ ирландских текстов с целью выявления среди множества символов именно тех, которые подчеркивали их точку зрения.

Несомненно, что в так называемых землеустроительных сказаниях Ирландии недвусмысленно проводится ассоциация определенных качеств с определенными территориями. Рисы сводят достаточно обширные списки этих качеств к некоему резюмирующему итогу. Традиционное пятичленное географическое деление острова – на Ульстер (север), Лейнстер (восток), Мюнстер (юг), Коннахт (запад) и центральную область – Миде, которую иногда заменяют так называемым вторым Мюнстером, ими приравнивается, соответственно, к Битве, Процветанию, Музыке, Мудрости и Королевской Власти, объединяющей все эти черты<sup>4</sup>. Но этот шаг для Рисов является лишь подготовкой к следующему выводу – отождествлению качеств и соответствующих территорий с определенными социальными стратами ирландского средневекового общества – воинами, земледельцами, слугами-рабами, жрецами и королями<sup>5</sup>. Вряд ли можно считать бесспорным тезис о существовании столь сложной социальной стратификации в преимущественно родовом обществе.

В своем стремлении к типологизации общественных функций Рисы сталкиваются с проблемой размытости этих функций внутри выделенных ими стратов. Они выходят из этого противоречия, создавая вторичную – внутреннюю – типологизацию<sup>6</sup>. Решение, безус-

<sup>4</sup> Рис А. и Б. Наследие кельтов. Древние традиции в Ирландии и Уэльсе. М., 1999. С. 149.

<sup>5</sup> Там же. С. 148.

<sup>6</sup> Там же. С. 164.

ловно, остроумное, но вряд ли необходимое, если признать, что рамки ирландской традиции все же несколько отличались от индийских каст, будучи, в первую очередь, не столь определенными и жесткими. Более того, Рисы распространяют специфически ирландскую систему пятин и на Уэльс, видимо, полагая ее свойственной вообще всем островным кельтам. Такими пятинами Уэльса они считают Гвинедд и Повис (север), Дехевбарт и Дифед (юг), Гламорган (центр). При этом Дифед считается аналогом Мюнстера – и как место, близкое к Иному миру, и как атрибутивно связанный с рабством. Остальной набор качеств также распределяется по областям, правда, без ярко выраженного олицетворения королевской власти<sup>7</sup>. Наиболее близким к нему, естественно, оказывается Гвинедд, самое стабильное политическое образование в Уэльсе. Но по этой же причине концепция Рисов в отношении Уэльса представляется спорной. Эфемерность большинства вождеств Уэльса не позволяет говорить о какой-то традиционной географической структуре.

Рисы отмечают женскую природу верховной власти кельтов, именно поэтому праздник Тары является бракосочетанием с властью. Сама Ирландия часто называлась именами богинь. Таким образом, по всей видимости, власть и страна представляются в каком-то смысле тождественными. С другой стороны, Рисы обращают внимание и на то, что наследник, прежде чем стать королем, должен получить признание от персонификации мужского начала, также являющегося символом Ирландии. В данном случае речь идет об известном камне Лиа Фаил, который по легенде принесли с собой Племена богини Дану. Когда к нему прикасался будущий король, он издавал громкий крик. Рисы усматривают в нем фаллический символ острова, говоря о том, что в поздней народной традиции он был известен, как «фаллос Фергуса». Аналогичными примерами для них выступают и не менее известные камни Блокк и Блуигне, раздвигавшиеся перед будущим королем<sup>8</sup>. На мой взгляд, мужское начало в данном случае может ассоциироваться не столько со страной, сколько именно с Племенами богини Дану, т.е. богинями, дающими благословение кандидату в короли. Обретя это благословение, ману, если угодно, божественный мандат на власть, король осуществляет бракосочетание с землей уже в качестве медиатора между хтоническими и божественными силами. Впрочем, Рисам эта функция короля не представляется главной.

<sup>7</sup> Там же. С. 197, 201, 203.

<sup>8</sup> Там же. С. 166–167.

Они выделяют среди множества качеств, характеризующих короля в ирландских сагах, справедливость («фир флатемон»), правду короля, ссылаясь на описание правления Кормака Мак Арта. Все остальные качества, по их мнению, проистекали именно из справедливости. Вообще, они полагают, что ирландский король должен обладать всеми добродетелями, не зная ни одной слабости — поскольку исходят из постулата, что тяжчайшим грехом для социального класса была уступка слабости, присущей классу, находящемуся ниже в общественной иерархии<sup>9</sup>. Соответственно, король должен быть олицетворением совершенства. В сущности, эта точка зрения является логическим продолжением тезиса о соответствии общественного устройства Ирландии кастовой системе Индии.

Саги вовсе не свидетельствуют об отношении ирландцев к своим королям как воплощению идеала человека. С некоторой натяжкой подобное можно сказать разве что о героях. Вполне очевидна последовательность, в результате которой король *должен* был быть скован определенными очень жесткими правилами — как человек, в котором соединились божественная воля и душа страны. Будучи, таким образом, тесно связан с состоянием мироздания в целом, король не мог не быть регламентирован в каждом своем поступке, не мог поступать *неправильно* — иначе разрушалась вся система миропорядка. Именно такое поведение, очевидно, и именуется Рисами справедливостью. Вряд ли в свете обрисованной выше концепции имеет смысл говорить о кастовости и некоем словесном кодексе поведения. На мой взгляд, Рисы в данном случае модернизируют раннесредневековый ирландский менталитет.

Исследованию ритуала посвящена книга М.Дж. Энрайта, сосредоточившего внимание на обрядах коронации в Ирландии и мервингской Галлии. Для Ирландии первым известным случаем помазания на правление был ритуал, осуществленный св. Колумбой над королем Дальриады Азданом мак Габрайном в 574 г. Этот факт зафиксирован в житии Колумбы, составленном в монастыре Ионы, который долгое время был центром христианства в Ирландии. Естественно, что именно это историческое событие лежит в основе работы Энрайта. Суть его заключается в снисхождении во сне ангела к святому и даровании последнему некоей книги из стекла, в которой описывался ритуал и давалось указание короновать именно Аздана. Примечательно, что святой воспротивился воле Господа на том основании, что ему больше был симпатичен брат Аздана Эоганан. Ангел за это отхлестал его бичом, и так повторялось три

---

<sup>9</sup> Там же. С. 144–146.



ночи, пока Колумба не согласился. Он короновал Аздана на острове Ионы, попутно предсказав будущее его потомков<sup>10</sup>.

В описанном событии Энрайт обнаруживает следы языческого ритуала. Вспомним хрестоматийный эпизод «Разрушения Дома Да Дерга», посвященный сакральным выборам короля: человек ел вареное мясо жертвенного быка, засыпал, а затем оглашал волю богов относительно будущего короля, которая пришла к нему во сне. Энрайт уверен в том, что этим человеком был друид (отсюда очевидна прямая преемственность между языческим друидом и христианским Колумбой<sup>11</sup>), и в широкой распространенности языческих элементов в VI в. и даже в политическом сознании христианского аббата, создавшего житие. Энрайт считает, что подобная методика выбора короля способствовала умиротворению противоборствующих фракций – как в случае языческого обряда, так и христианского помазания.

Энрайт полагает, что примерно с VII в., хотя и при сохранении племенных правителей, ирландские королевства трансформируются в более жесткую, нежели племенная, иерархию – на базе династического территориального господства. Он даже называет непосредственную, по его мнению, причину этой трансформации, а именно – Уи Нейллов. Этот род к VII в. представлял собой в совокупности наиболее серьезную силу в Ирландии, с которой могли сравниться, разве что, Эоганахты Мюнстера. Энрайт считает, что как раз Уи Нейллы приложили наибольшие усилия для разрушения племенных институтов и, соответственно, королевств. Он вспоминает в этой связи замечание Ф.Дж. Бирна о том, что те же Уи Нейллы были первым родом, чье самоназвание происходило не от топониимики, но от имени их предка<sup>12</sup>. Стоит отметить, что практически все исторически достоверные<sup>13</sup> великие династии Ирландии, включая и шотландскую Дальриаду, называются по имени предка-основателя – за исключением тех же Эоганахтов. Вряд ли в этом они следовали исключительно примеру Уи Нейллов. Впрочем, вариант, предложенный Бирном, нельзя отвергать, и, возможно, в этом действительно выражалось противостояние создаваемых территориальных королевств племенной традиции.

Продолжая эту мысль, Энрайт связывает с обозначенной тенденцией и введение обряда коронации-помазания. В свете его концепции, последний должен был способствовать утверждению ново-

<sup>10</sup> *Enright M.J. Iona, Tara and Soissons. Berlin-N.Y., 1985. P. 7–8.*

<sup>11</sup> *Ibid. P. 38.*

<sup>12</sup> *Ibid. P. 50.*

<sup>13</sup> Т.е., примерно с 5 века н.э.

го аспекта власти Уи Нейллов – имперского<sup>14</sup>. Исследователь, хотя и находит некую преемственность в ритуалах, но, тем не менее, противопоставляет их друг другу. Обряд сакральной женитьбы короля на своей земле, по его мнению, устанавливая теоретически неразрывную связь между правителем, народом и землей, способствовал местной политической независимости и в этом качестве совершенно не устраивал Уи Нейллов. Легитимизируя статус местных королей, уравнивая его со статусом королей верховных, обряд мешал созданию единого территориального королевства. Энрайт также заявляет о том, что великие династии могли покорять все новые земли, но не обеспечивать этим полную их лояльность. Для компенсации такого грубого нарушения традиции, каким, по мнению Энрайта, было завоевание, им требовалось иное этическое обоснование, нежели языческая инаугурация. Поскольку в свете именно языческой традиции господство Уи Нейллов было незаконным, то на помощь им могла прийти только традиция христианская<sup>15</sup>.

Возникает закономерный вопрос, почему же в таком случае, обряд помазания так и не вошел в практику Уи Нейллов? Энрайт объясняет это обстоятельство достаточно просто: в борьбе монастырей победил Армаг, для которого было совершенно невыгодно сохранение обряда, ассоциируемого с конкурентом, т.е. Ионой<sup>16</sup>. Тонкие места этой концепции Энрайта достаточно очевидны. Действительно, если бы для Уи Нейллов помазание было бы такой насущной необходимостью, как то пытается показать Энрайт, то никто не помешал бы им проводить инаугурацию именно в таком виде. Кроме того, вряд ли сами Уи Нейллы осознавали то противостояние, которое усматривает в ирландской средневековой истории Энрайт, соответственно, они и не могли предпринимать какие-либо целенаправленные шаги к его преодолению. Вызывает сомнение само предположение Энрайта о некоем принципиальном противостоянии различных политических систем в VII в. Судя по всему, для Ирландии такое состояние было вполне традиционным, стабильным, и изменить его могло только какое-то серьезное внешнее воздействие, каковым и стало нашествие норманнов.

В первой половине 1970-х гг. обозначилась четкая тенденция к переосмыслению на новом уровне ирландской истории, в том числе и ранней. В большей степени она выразилась в работах национальных ученых. В Дублине была выпущена серия монографий

<sup>14</sup> Ibid. P. 51.

<sup>15</sup> Ibid. P. 53-54.

<sup>16</sup> Ibid. P. 76-77.

под общим названием «Новая история Ирландии», охватывавшая период от V–VI вв. вплоть до современных событий. В ее рамках вышло два труда разных ученых с практически идентичными названиями: это книги Геройда МакНиокайлла и Доннхи О'Коррайна. Разумеется, их подходы отличаются, но в целом методологическая основа задуманной серии может быть описана как политический нарратив. Обобщающие выводы основываются на предыдущей традиции. Рассмотрим каждую из работ подробнее.

МакНиокайлл обращает внимание на общественное устройство древних ирландцев. Поскольку туат являлся основной ячейкой ирландского общества, этот вопрос представляется принципиальным. Ирландский ученый полагает, что туат как таковой не был привязан ни к конкретной территории, ни к людям. По его выражению, это просто достаточно большая группа людей, управляемая королем – если она сама себя осознавала как туат, и таковым считали ее и соседи, она и была туатом<sup>17</sup>. Таким образом, МакНиокайлл фактически представляет туат как соседскую общину, с самоидентификацией преимущественно по политическому признаку.

Субординация различных туатов была весьма строгой: в ней наличествовало несколько уровней. Король туата представлял низший; он подчинялся верховному королю, который, в свою очередь, подчинялся королю провинции-пятины. Исследователь отмечает, что эти отношения соподчинения касались только королей, но не их подданных. Таким образом создавалась пирамидальная система, напоминающая феодальный вассалитет. Безусловно, основа этой системы была принципиально иной.

Наряду с вертикальной иерархией МакНиокайлл обращает внимание и на горизонтальную. Договор верховного короля с каждым отдельным подчиненным туатом имел свою специфику, обусловленную заслугами этого туата, его происхождением, соответствующей традицией и т.д. Автор называет такие послабления в официальной субординации иммунитетам<sup>18</sup>. По меньшей мере в терминологии, он сближает ирландскую политическую систему с феодальной. Также ученый подчеркивает, что на одном уровне между королевствами отношения зависели от конкретного момента и от правителя, и не устает повторять, что любые внешние сношения туата были исключительной прерогативой короля<sup>19</sup>.

<sup>17</sup> MacNiocaill G. Ireland before the Vicings. Dublin, 1972. P 28.

<sup>18</sup> Ibid. P. 29–30.

<sup>19</sup> Ibid. P. 32.

Поскольку исследователь убежден, что именно король был центральной фигурой в политической жизни Ирландии, то он посвящает ему достаточно много внимания. Как и у его предшественников, перед ним встают два основных вопроса: обряд коронации и необходимые качества короля. В отличие от Рисов, МакНиокайлл истолковывает языческий ритуал коронации-женитьбы не как брак с богиней, но как обрядовое совокупление с женским началом туата. Это вполне логично, если вспомнить, что ученый полагает именно туат изначальной точкой отсчета, безотносительно его этнической или географической принадлежности. Несмотря на то, что сам ритуал исчез вместе с последними следами язычества в VI в., МакНиокайлл отмечает, что его фундаментальная основа – взгляд на короля как на супруга туата – существовала еще очень долгое время, несмотря на попытки введения христианской инаугурации.

Сакральный характер короля проявлялся и в требуемых от него традицией качествах. Однако МакНиокайлл находит, что эти требования, по-видимому, не были абсолютными. Известно, что король не должен был иметь физических недостатков, чтобы, собственно, оставаться королем, но Конгал Казх, король Улада, судя по прозвищу, был одноглазым. Более того, МакНиокайлл говорит о том, что телесные увечья, полученные в бою, только приветствовались, как доказательства боевого мастерства. Действительно, в условиях культа боевого искусства, характерного практически для всех ранних обществ, эта точка зрения выглядит более предпочтительной. Относительно этических качеств, МакНиокайлл соглашается с тем, что нарушение «правды короля» могло стоить трона, но в действительности это происходило, как правило, в результате неурожая. Ученый отмечает, что нет ни одного примера того, что военное поражение, в случае, если король оставался жив, вело к его изгнанию. Если обратиться к истории Ирландии, то можно легко заметить, что военная удача была весьма изменчива, и практически вся жизнь короля проходила от одного сражения до другого, в которых он в равной степени мог и проиграть, и победить. Королевская карьера и жизнь заканчивались в абсолютном большинстве случаев на поле боя. Пока король был жив, говорит МакНиокайлл, туат не мог быть окончательно покорен, поскольку именно в короле и олицетворялся<sup>20</sup>. Поэтому даже в случае поражения король мог отступить и попытаться взять реванш в следующий раз. Если бы его смещали с трона, то вряд ли хотя бы один ирландский король правил более месяца. Очевидным примером может являться так

---

<sup>20</sup> Ibid. P. 45.

называемая сага о бороме, т.е. длительные попытки УиНейллов в V в. заставить Лейнстер выплачивать дань (походы Лозгайре мак Нейлла, Кайрпре мак Нейлла, Муиредаха МакЭрке и др.)<sup>21</sup>.

Подводя итог своему анализу сакральных аспектов королевского правления, он отмечает, что они постепенно сокращались в исторический период – очевидно, под влиянием христианизации. МакНиокайлл не находит никаких свидетельств в пользу того, что король мог когда-либо исполнять жреческие обязанности; ученый считает данную функцию исключительно прерогативой друидов<sup>22</sup>. МакНиокайлл отнюдь не склонен абсолютизировать роль короля. Его анализ отличается достаточной глубиной и трезвостью оценок.

Многое об институте королевской власти говорит право наследования. Вполне естественно, что практически ни один ученый, работавший с этой темой, не упустил его из виду. Не исключение и МакНиокайлл. Однако и здесь он предпочитает проводить отчетливую грань между теорией и практикой. Поскольку в теории наследовать могли все родственники короля в четырех коленах, то, разумеется, никакого единственного абсолютно легитимного наследника быть не могло. Более того, МакНиокайлл отмечает плодовитость ирландских королев – это качество входило в их сакральный образ. Поэтому он говорит о 256 законных наследниках Кенел нЭогайн после Эогана – родоначальника этой династии. И в данном случае исследователь не обращается к ритуалу божественного избрания, которому столь много внимания уделяли Рисы, но ищет сугубо практические причины отсеивания претендентов. Таковыми он считает, во-первых, смерть до момента наследования (учитывая высокую смертность в те времена, эта причина выглядит наиболее важной); во-вторых, фактор происхождения – дети наложниц и служанок находились в сравнительно невыгодном положении; некоторые потенциальные наследники, говорит МакНиокайлл, могли быть слишком молоды или стары, физически ущербны и неспособны сражаться. Наконец, кто-то не мог создать достаточную базу для своих притязаний в виде союзников и сторонников. По словам МакНиокайлла, королевство не могло быть разделено ни в каком случае – чем, конечно, принципиально отличалось от меровингской Франции. Однако есть прецеденты одновременного правления двух королев, и МакНиокайлл объясняет эти случаи невозможностью определяющего доминирования какой-либо

---

<sup>21</sup> Ibid. P. 16–18.

<sup>22</sup> Ibid. P. 46–47.

из ветвей правящего рода, паритетом сил. Впрочем, они относительно редки. Тем не менее, ветви правящего рода могли создавать свои королевства-туаты, как составные части великих королевств. Так или иначе, но МакНиокайлл категорично заявляет, что правилом было «один туат – один король»<sup>23</sup>.

В той же серии «Новая история Ирландии» вышла книга Доннха О'Коррайна. В своем анализе королевской власти автор отмечает, что в ранних источниках есть упоминания о трех ее уровнях: король туата (малого племенного королевства, по определению О'Коррайна); *tuiri*, владевший дополнительно к своему еще несколькими туатами; наконец, *ri ruirech*, король провинции-пятины. Никаких сведений о верховном короле Ирландии нет, что заставляет думать о сравнительно позднем происхождении этого института. О'Коррайн считает функции короля серьезно ограниченными, поскольку тот не издавал законов и не имел судебной власти; он не был, по словам О'Коррайна, и земельным собственником, так как вся земля внутри туата принадлежала большесемейным общинам. В последнем тезисе он расходится с МакНиокайллом, полагающим, напротив, что земля делилась внутри королевского рода пропорционально близости родственных связей<sup>24</sup>. Тем не менее, О'Коррайн также отмечает абсолютное преобладание короля во внешних сношениях туата – отношения с другими туатами и их королями, подчинение им или, наоборот, доминирование, торговля и пр. являлись прерогативой короля. Однако его видение этой проблемы несколько отличается от взгляда МакНиокайлла. О'Коррайн больше обращает внимание на внутреннюю структуру королевств, на их соподчиненность. В его анализе политической системы Ирландии прослеживаются следы именно структуралистского подхода с его стремлением к созданию усложненных схем взаимосвязей<sup>25</sup>.

О'Коррайн употребляет для обозначения ветвей правящего в провинции рода обозначение «сегменты», возможно, более адекватное, нежели используемый МакНиокайллом и другими учеными термин «ветви». Очевидно, О'Коррайн принимает в отношении средневековой Ирландии концепцию сегментного королевства, введенную в историческую науку примерно в это время. Впрочем, в данном случае речь идет скорее не о сегментах собственно королевства, а о сегментах рода, династии, в достаточной степени самостоятельных, но имеющих единый центр. В этом смысле

<sup>23</sup> Ibid. P. 54-55.

<sup>24</sup> Ibid. P. 55.

<sup>25</sup> O'Corrain D. Ireland before the Normans. Dublin, 1972. P. 28-29.

О'Коррайн противопоставляет такие сегменты независимым туатам, не ведущим происхождение от правящего рода. По его мнению, последние практически исчезают к VIII в., подчиняясь великим домам. Однако и задолго до этой даты вряд ли можно вести речь о независимых туатах, поскольку уже в V в. Ирландия была разделена на традиционные пять провинций со своими правящими домами.

Тем не менее, как полагает О'Коррайн, именно в этом направлении шло развитие Ирландского королевства. Тот факт, что титул *ri* заменяется в документах титулом *dux*, по его мнению, может трактоваться как отражение эрозии власти мелких королей в пользу великих династий. Несмотря на то, что законы, запрещали верховному королю аннексировать туаты эта практика была достаточно распространена в VIII в. и позже. Однако из примеров, приводимых в доказательство этого тезиса, видно, что туаты действительно не аннексировались, но, как правило, изгонялись или переселялись с занимаемых ими земель, в крайнем случае, просто уничтожались<sup>26</sup>. Так или иначе, но речи об аннексии одного туата другим, т.е. о включении его в состав победившего, вести нельзя. Судя по всему, туат не был жестко связан с территорией, поэтому его переселение не означало автоматически прекращение его существования.

О'Коррайн предполагает, что все развитие Ирландии шло по пути расширения господства великих династий, поглощения ими более мелких, усиления вмешательства лордов в дела подчиненных королевств. Более того, говоря в основном о VIII–IX вв., ученый высказывает сомнение в том, что и ранее дела обстояли иначе. Он отмечает, что эта тенденция, хотя и заторможенная вторжениями викингов, сохраняет свое значение на протяжении последующих веков. Он расценивает продолжающееся по крайней мере с V в. противостояние Уи Нейллов и Лейнстера как результат планомерной политики Уи Нейллов, направленной на покорение всех соседних земель. В целом, О'Коррайн приходит к выводу, что к XI–XII вв. Ирландия практически превращается в основанное на силе территориальное королевство по образцу феодальной Европы<sup>27</sup>.

О'Коррайн трактует престол верховного королевства как приз в противоборстве сегментов правящей семьи, означающий престиж и повышение статуса. Полигамия же влекла за собой быстрое расширение сегментов и отделение от них все новых и новых. Внутри династии, как считает О'Коррайн, наследование определялось силой отдельных сегментов. Если эти силы были равны, то королев-

<sup>26</sup> Ibid. P. 30, 38.

<sup>27</sup> Ibid. P. 31–32.

ство колебалось между ними, пока кто-то не возобладал бы. В этом свете история Ирландии предстает как бесконечная череда внутренних усобиц и интриг – и именно так ее и представляет О'Коррайн. По его мнению, никаких сдерживающих факторов не существовало. Институт наследников, назначаемых при жизни короля, для него отнюдь не является таковым, но лишь призван гарантировать, что власть останется в данном сегменте еще на поколение. Исследователь приводит точку зрения, согласно которой этот институт – относительно позднее нововведение (возможно, под влиянием норманнов), хотя сам он с ней не согласен, полагая, что он, напротив, традиционен для Ирландии. Однако в рамках его концепции политического развития Ирландии, это, в общем-то, не имеет особого значения, а лишь доказывает, что извечная борьба сегментов – естественное состояние для этой страны.

Логично предположить, что такая ситуация внутри королевства не может способствовать его стабильности. О'Коррайн также доводит свою концепцию до логического итога. При постоянном расширении династий, умножении их сегментов, для сохранения мыслимых размеров требуется периодическое изгнание или уничтожение наиболее слабых, что, по мнению ученого, и происходило<sup>28</sup>. Судя по словам О'Коррайна, он понимает, что его точка зрения делает фактически нереальным сколько-нибудь длительное существование единой политической системы. Тем не менее, он никак не ее корректирует и не оговаривает какие-либо граничные условия. В то же время, очевидно, что политическое устройство Ирландии на протяжении веков отличалось редкой для европейского средневековья прочностью и традиционностью. Концентрация исключительно на политической практике, недоверие к теории и легендарной традиции делают концепцию О'Коррайна слишком узкой и однобокой, чтобы она была в достаточной мере адекватной. Если МакНиокайлл сохраняет все же некий баланс между историей духовной и материальной, то О'Коррайн явно склоняется в сторону последней, что в приложении к ирландскому раннему средневековью приводит, видимо, к не совсем последовательным результатам. Отмечая сакральные моменты в политической практике ирландцев, О'Коррайн, возможно, следует уже общепринятой к тому времени в историографии практике, но эти моменты не укладываются в его собственное видение ирландской истории.

В каком-то смысле это симптоматично для англоязычной историографии – часть ученых сосредотачивают свое внимание ис-

<sup>28</sup> Ibid. P. 39–41.



ключительно на ритуальной стороне королевской власти, часть же основывает свои выводы только на событийной истории. Рисов и Энрайта можно смело отнести к первой категории, МакНиокайлла и О'Коррайна – ко второй. Эта традиция получила продолжение и в поздних работах других авторов. В некотором смысле итоговой можно назвать монографию Фрэнсиса Джона Бирна. Вышедшая в том же году, что и упомянутые работы МакНиокайлла и О'Коррайна, она соединяет в себе практически все принятые к тому времени тезисы и до сих пор является наиболее обстоятельным исследованием тематики власти в раннесредневековой Ирландии. Я полагаю излишним повторять здесь те общие места, в отношении которых Бирн сходится во взглядах с ранее рассмотренными авторами. Остановимся только на наиболее значимых моментах.

Несмотря на то, что в Ирландии не существовало права первородства, с чем Бирн согласен, он отмечает, что в агнатическом роду старший по мужской линии все же автоматически становился его главой. Другое дело, что королевство наследовалось по другим критериям. По мнению Бирна королевство не могло делиться – в результате малого размера туата. Поэтому соправителей он рассматривает именно в таком качестве, обходя вопрос происхождения этого института. Тем не менее, относительно выборов короля Бирн, отмечая, разумеется, все соответствующие сакральные моменты, в итоге все же заявляет, что их исход определялся количеством клиентов, которых контролировал каждый из кандидатов<sup>29</sup>. Значительная часть книги Бирна посвящена сакральным аспектам власти ирландского короля, но поскольку о большинстве из них уже говорилось, то не имеет смысла на них отдельно останавливаться. Точка зрения Бирна представляется компромиссной между обозначенными тенденциями: он не склонен к чрезмерному упрощению исторической ситуации, но и не сводит ее к теории ритуала.

Бирн понимает, что политическая система Ирландии кажется на первый взгляд хаотичной и фрагментарной, однако утверждает, что на самом деле она является единым паттерном, включающим абсолютно все туаты в тесное и структурированное взаимодействие<sup>30</sup>. Верховный король непосредственно правил лишь своим личным туатом, подчинение же королей провинций было сродни клиентеле. Точно так же относились к королям провинций короли отдельных туатов, однако перед верховным королем они никаких обязательств не имели. Бирн утверждает, что в

<sup>29</sup> Byrne F.J. *Irish Kings and High-Kings*. L., 1973. P. 36–37.

<sup>30</sup> *Ibid.* P. 40.

этих условиях не имеет смысла говорить о политике или государстве. Таким образом, он, очевидно, проецирует социальные отношения внутри рода на все королевство в целом<sup>31</sup>. Для Бирна термин «клиент» является ключевым и, по всей видимости, наиболее адекватным его пониманию ирландской системы власти. Очевидно, под ним разумеется некая форма зависимости, основанная на личном договоре и взаимной выгоде.

Итак, мы рассмотрели несколько трудов англоязычных ученых, в той или иной степени затрагивающих проблему королевской власти в раннесредневековой Ирландии. Возникает вопрос о методологических основах и понятийном аппарате этих ученых. Отвечая на него, следует отметить, что метод и терминологию исследования определяет, в первую очередь, сам предмет и специфика проблемы. Немалую роль играют также личные предпочтения и пристрастия. В соответствии с этими причинами, по всей видимости, произошло разделение ученых на историков политического процесса, сугубо прагматически рассматривающих историческое развитие (МакНикокайлл, О'Коррайн), и историков ритуала, для которых в центре внимания остается обряд, его традиционное обоснование и отражение в истории (Рисы, Энрайт). Медиевисты, относящиеся к первой группе, условно, разумеется, излагают максимально приближенную к источникам последовательность фактов-событий, чем сближаются с приемами нарративной истории. Пытаясь определить некие тенденции, вытекающие из этой последовательности, они не всегда убедительны, поскольку факты не встроены в цельную схему. В тех случаях, когда это удается, особенно в отношении взаимосвязей ирландских племен, возникают определенные ассоциации со структуралистской концепцией, также изначально разрабатывавшейся на племенном материале. Наконец, вторая группа исследователей, «культурологическая», несомненно, работала под серьезным влиянием исторической антропологии и соответствующих трудов школы «Анналов». Собственно говоря, некоторые из них прямо ссылаются на труды М. Блока, другие же используют его выводы как самоочевидные.

Это вполне естественное противостояние историков материальной и духовной культуры так или иначе преодолевалось. Общим местом для всех исследователей следует считать признание сакральности королевской власти, но если одни из них ставят ее во главу угла в своей работе, то другие при выработке своей кон-

<sup>31</sup> Ibid. P. 40–43.

цепции ирландской истории значение сакральности учитывают в значительно меньшей степени. Нет единого мнения и относительно системы наследования внутри королевств, что происходит из-за различной трактовки взаимоотношений между кланами, составляющими это королевство. Представляется некоторой модернизацией изображение всей политической жизни исключительно как кровавой и непрекращающейся схватки за статус. При том, что и это, безусловно, имело место, сама четкость структуры и большая по историческим меркам стабильность ирландских королевств указывает на существование неких регулирующих факторов, каковыми, на мой взгляд, могут являться как раз традиции и ритуалы. Как ни странно, в этом аспекте большее внимание уделялось англо-саксам, нежели ирландцам, хотя именно последние имели наиболее яркую традицию королевских ритуалов.

Итак, рассмотрев ряд трудов англоязычных авторов, попытаемся определить те ответы на поставленные нами в начале статьи вопросы, которые они предлагают. Относительно тенденций развития кельтских королевств и властных структур высказываются диаметрально противоположные точки зрения. О'Коррайн признает неотъемлемым свойством ирландской политической жизни хаотичность и междоусобную борьбу, но отмечает, что в конечном итоге они все же должны были бы привести страну к образованию единого королевства (по образцу континентальных феодальных монархий) во главе с наиболее сильной династией. Как видим, он склоняется к объединению континентальной и островной культур в одну целостность. Бирн предлагает кардинально иной взгляд на проблему. В его глазах ирландская политическая система обладает лишь кажущейся фрагментарностью, на деле же представляет собой цельный и жестко связанный паттерн, структуру туатов, определенную традицией.

О прочности и влиянии традиции в кельтской культуре говорит работа Рисов. Связывая ее с индоарийскими корнями, последние находят в Ирландии и Уэльсе весьма близкие обряды и верования, специфические для кельтов и сохранявшиеся очень долгое время. В частности, взгляд на власть как на сакральный институт. Другие исследователи также в той или иной степени подчеркивают эту сакральность, но Рисы сделали ее центральным предметом исследования. Они говорят о власти как об отдельной от правителя субстанции, которой его наделяют высшие силы. Таким образом, определяется главная характеристика власти кельтов – превалирование сакральных и традиционных аспектов над рациональными. Рисы оперируют понятием миропорядка для пояснения роли правителя. Последний является не просто главой административных,

управленческих структур, а важнейшей частью миропорядка, его гарантом, поступки которого отражаются на существовании самого бытия. В качестве своеобразного регламента для правителя Рисами рассматривается «правду короля». Энрайт, говоря об эволюции королевских ритуалов, отмечает, что для политического развития Ирландии, ее консолидации по образцу европейского королевства главным препятствием как раз и являлась «правда короля» и связанные с ней обряды. Впрочем, ему не удается объяснить их стойкость перед лицом христианизации. Таким образом, остается еще ряд нерешенных проблем и дискуссионных моментов.

В частности, неясно, насколько ритуал определял порядок наследования. Большинство исследователей склоняется к тому, что все-таки военная сила играла определяющую роль. С другой стороны, высказывается мысль и о том, что возможна именно ритуально-традиционная передача власти с тем, чтобы каждый род принимал в ней участие в определенный период. Наряду с этим, существуют прецеденты параллельного распределения власти, т.е. соправления королей (без раздела королевства), принадлежащих разным правящим родам. Есть также примеры соправления королей из одного рода, обычно – братьев.

Это не единственный неясный момент, однако он имеет принципиальное значение, поскольку определяет степень структурной упорядоченности кельтской культуры. Более вероятным было бы предположение о некоем фиксированном традицией порядке чередования правлений, подкрепляемом актом сакрального избрания короля. В противном случае последний просто утрачивает всякую актуальность, чего так и не произошло вплоть до классического средневековья. Недостаточно отчетлива и концепция самого королевства: раннее кельтское королевство не является государством, но перерастает традиционное вождество. Представляет ли оно собой какой-либо переходный вариант, называемый в литературе «сложным вождеством» или сегментным государством, или же формирует особый тип социально-политического устройства? Племенная самоидентификация в данном случае не играет роли, большее значение имеет, видимо, географическая традиция. Собственно самоидентификация общества сосредотачивается в фигуре сакрального правителя. Эти и другие отличительные черты заставляют искать параллели кельтскому королевству не в современной ему Европе, а на Востоке.

## ИСТОРИЯ И ИДЕОЛОГИЯ

---

**А.А. Сальникова (Казань)**

### **ЯЗЫК РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА В «ДЕТСКИХ» ТЕКСТАХ**

*Это было время, когда кто-то  
всегда кричал «ура», кто-то плакал,  
а по городу носился трупный запах.*

(Из воспоминаний русской девочки-эмигрантки о революции 1917 г.)

В процессе своего развития человечество создало особую, теснейшим образом инкорпорированную в его бытие, систему образов и знаков, важнейшее место среди которых занимает язык. Язык – это своеобразный символ времени, который чутко реагирует на все изменения, происходящие в обществе, и отражает их. Не исключение составляет и переломная эпоха 1917 г., вызвавшая большие (если не сказать – колоссальные) изменения в языке, в том числе в лексике различных категорий и групп российского населения. Не остались в стороне от этого процесса и дети, волею времени и судеб вовлеченные подчас в самую гущу революционных событий, дети, на которых диктат «революционного» языка сказался особенно сильно.

В самом деле, не обладая еще в полной мере сложившейся «лингвистической памятью» и оформившимся вокабулярием взрослых, дети оказались вырванны революционной бурей за пределы своего «детского» пространства, уютного и спокойного мира, и перенесены в холодный, бездушный и страшный мир взрослых, населенный такими странными и загадочными существами, как «революция», «большевик», «эсер», «красноармеец», «Учредительное собрание» и «Временное правительство». С присущей им любознательностью и стремлением к определенности они жадно впитывали новую революционную лексику, пытались разобраться в непонятных терминах и объяснить их со своей, детской, точки зрения. В процессе приобщения к новому языку происходило и своеобразное проникновение ребенка в революцию, понимание того, что есть что, и выработка своего отношения к тем сложным и неординарным процессам, которые происходили вокруг него. Все эти искания нашли свое отражение в так называемых детских текстах с революционной семантикой, под которыми мы подразумеваем тексты о революции 1917 г., созданные самими детьми.

Специфичность происхождения и функционирования этих текстов в культуре обусловила и специфичность их содержания и

формы. Дети, в отличие от взрослых, практически не оставляют после себя «служебных» автоисточников (заявлений, личных листов по учету кадров, служебных автобиографий и т.п.), поэтому основная масса сохранившихся «детских» документов представлена источниками нарративными, а также материалами различного рода опросов и анкетирования детей. Заметим, что это, в преобладающем большинстве, источники «провоцированные», продуцированные, т.е. составленные не по собственной инициативе детей, а по просьбе, а зачастую – и при прямом вмешательстве взрослых<sup>1</sup>.

В данной статье анализируются четыре группы «детских» текстов с революционной семантикой:

- 1) сочинения мальчиков 8–12 лет – учащихся московских гимназий, прогимназий и реальных училищ, написанные в 1917 г., непосредственно после Февральской и Октябрьской революции, по свежим следам событий, в отдельных случаях снабженные рисунками<sup>2</sup>;
- 2) воспоминания школьников-эмигрантов в возрасте от 6 до 20 лет, собранные русскими учителями за границей в начале 1920-х гг.<sup>3</sup>;
- 3) воспоминания и автобиографии детей рабочих, крестьян, мелкой буржуазии, интеллигенции разных возрастов, написанные в Советской России в первой половине 1920-х гг.<sup>4</sup>;
- 4) материалы индивидуальных исследований российских педагогов, связанные с опросами детей о сущности социальных понятий<sup>5</sup>.

Изучение отражения языка революционной эпохи в детских текстах не просто расширяет источниковое поле исследования революции 1917 г. Оно помогает взглянуть на ее историю с совершенно неожиданной точки зрения, увидеть такие нюансы и аспекты, которые не воспринимались взрослыми. Сопоставляя воспоминания детей с воспоминаниями взрослых о детстве, исследователи не раз отмечали их качественные отличия как в со-

<sup>1</sup> Документы, возникновение которых инициировано самими детьми, как правило, носят исключительно интимный характер (например, личные дневники). Общественный механизм их сохранения отсутствовал, а по сути они оказались безвозвратно утраченными.

<sup>2</sup> Воронов В. Февральская революция в детских записях // Вестник просвещения. 1927. № 3. С. 3–11; Он же. Октябрьская революция в детских записях // Вестник просвещения. 1927. № 12. С. 3–12.

<sup>3</sup> Дети русской эмиграции. Книга, которую мечтали и не смогли издать изгнанники. М., 1997; Дети эмиграции. Воспоминания. М., 2001.

<sup>4</sup> Спасская Г. Современная жизнь в детских сочинениях // Современный ребенок. М., 1923. С. 53–63; Рыбников Н.А. Автобиографии рабочих и их изучение. М., 1930 и др.

<sup>5</sup> Рыбников Н. Язык ребенка. М., 1920; Познанский Н. Революция и дети // Вестник просвещения. 1923. № 1. С. 8–18 и др.

держании и оценках<sup>6</sup>, так и в самой лексике текстов, изменения которой обусловлены не только развитием словаря ребенка, но и эволюцией языка, как такового<sup>7</sup>.

Обращение к языку «детских» текстов способствует, помимо прочего, также процессу демифологизации представлений взрослых о детях и детстве (которая присутствовала, присутствует и, вероятно, будет присутствовать всегда), решению сложнейшей познавательной проблемы четкого разграничения между «реальными детьми, обретающимися в пространственно-временных характеристиках конкретных обществ», и приписываемым им взрослыми «иллюзорно-вымышленным, метафорическим смыслом их существования»<sup>8</sup>. Эти иллюзии и метафоры бывают порождены, как правило, реальным непониманием детского языка, отсутствием погружения в проблему того, «что дети говорят и что бы это значило». Это как раз тот случай, о котором выдающийся российский педагог, философ и богослов В.В. Зеньковский писал: «Мы вкладываем в слова детей не тот смысл, который вкладывают в них дети»<sup>9</sup>. Интуитивная трактовка терминов порождает иллюзию понимания, а на деле оборачивается серьезнейшей проблемой взаимонепонимания, в том числе между взрослыми и детьми<sup>10</sup>.

Истоки этой проблемы лежат, с одной стороны, в полисемантической, поливариантности языковых понятий и терминов: каждый термин скорее многозначен, чем однозначен<sup>11</sup>. С другой стороны, ситуация еще более обостряется в переломные эпохи: лексика –

<sup>6</sup> «К тому времени, когда дети оказываются в состоянии давать себе отчет в своих словах, они уже не являются детьми, и их мемуары отражают отныне как детские, так и взрослые толкования и эмоции». – *Kirschbaum L. Small Comrades. Revolutionizing Childhood in Soviet Russia, 1917–1932. N.Y.–L., 2001. P. 165.*

<sup>7</sup> Об этом см.: *Wachtel A. The Battle for Childhood: Creation of a Russian Myth. Stanford, 1990. P. 165.*

<sup>8</sup> *James A., Jenks Ch., Prout A. Theorizing Childhood. N.Y., 1998. P. 177.*

<sup>9</sup> *Зеньковский В.В. Психология детства. Екатеринбург, 1995. С. 218.*

<sup>10</sup> Такое мнимопонимание не обязательно связано с политической лексикой. Так, профессор Казанского университета И.М. Ионенко рассказывал мне, как им, сельским ребятишкам, взрослые в 1916–17 гг. предлагали «отбить телеграмму» отцам, находящимся на фронте. Дети брали палки и били ими по телеграфным столбам – «отбивали телеграммы».

<sup>11</sup> Известный лингвист А.А. Потебня для обозначения полисемантической языка ввел так называемую «формулу поэтичности»:  $[A < X]$ , где А – образ, X – значение, подчеркивая тем самым неравенство числа образов множественности их значений. – *Потебня А.А. Из записок по теории словесности. Харьков, 1905. С. 101.* Подробнее об этом применительно к «детскому» языку см.: *Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество. М., 1999. С. 30–34.*

самая подвижная и чувствительная часть языка – меняется с невероятной быстротой, процессы языкового развития многократно ускоряются, что приводит, в конечном итоге, к своеобразному «лексическому взрыву». Такой «взрыв» имел место в революционной России 1917 г., когда наблюдалась широкая волна аббревиации, стремительно обновлялось и расширялось значение «старых» слов, проходила интенсивная идеологизация языка. Не случайно особое место в «детских» текстах этого периода занимает проблема трактовки детьми новых, «революционных» понятий.

Настораживающие явления трансформации языка русские лингвисты и педагоги отмечали уже в годы Первой мировой войны<sup>12</sup>, которая положила начало и серьезнейшей трансформации детского сознания, явилась великим потрясением для детской психики<sup>13</sup>. Уход на фронт и потеря отцов привели к так называемому социальному вакууму, утрате патриархальных функций семьи, переориентации детей и юношества с семьи на улицу, где и происходили процессы формирования личности ребенка, складывания его языка<sup>14</sup>. Одновременно, утверждает отечественный исследователь Е.М. Балашов, как это ни покажется парадоксальным, война стала неким тонизирующим фактором, вырвав детей из тусклой обыденности школьной жизни, наполнив их новой энергией и новизной ощущений<sup>15</sup>. Эта «новизна» немедленно коснулась и детских текстов, но не столько их лексики, сколько символики и метафорики. Сочинения детей о войне, написанные в этот период, проникнуты, по утверждению современников, «ядом эпохи»<sup>16</sup>, в них прослеживается абсолютно несвойственный детям тон мстительной злобы, четкое разделение на «своих» и «чужих», проглядывает «двойная гримаса отвращения и удовольствия, со-

---

<sup>12</sup> «В условиях русской действительности некоторые слова утратили свое прежнее содержание и получили извращенный смысл. Напомним модификацию, происшедшую со словом «экспроприация», которое из юридического термина превратилось в страшное слово для обозначения дневного грабежа с поднятием рук вверх». – *Ефимов Е.* Реформа средней школы и народной воспитание по материалам Министерства народного просвещения // Вестник просвещения. 1916. № 3. С. 3.

<sup>13</sup> См.: *Нестеров П.* Война и учащиеся дети // Русская школа. 1915. № 2. С. 40–41; *Левитин С.* Дети и война // Русская школа. 1915. № 7–8. С. 81–84; Отражение войны в жизни детей // Русская школа. 1915. № 12. С. 15–16.

<sup>14</sup> См.: *Зидер Р.* Социальная история семьи в Западной и Центральной Европе (конец XVIII – XX вв.). М., 1997. С. 193.

<sup>15</sup> *Балашов Е.М.* Российские революции и школьник // Историк и революция. СПб., 1999. С. 66.

<sup>16</sup> *Блонский П.* Задачи и методы народной школы // Вестник воспитания. 1916. № 1. С. 29.



дрогания и интереса, наслаждения и боли»<sup>17</sup> при описании «немецких зверств» и «ужасов войны»<sup>18</sup>. Дети успешно познают науку ненависти, которая столь пригодилась им позднее, в эпоху революции и последовавших за ней страшных лет гражданской войны.

Политизация общества вызывала политизацию детей и порождаемых ими текстов. Еще более усилили эти процессы бурные события 1917 г., когда «партийность впервые заметно проникла в стены средней школы», когда «не было ни одной семьи, где не обсуждались бы политические вопросы, не оценивались бы программа и тактика борющихся партий»<sup>19</sup>. Политика властно вторгалась в жизнь детей, обогащая их язык новой политической лексикой. Одним из первых новых понятий – символов времени, с которым столкнулись дети в 1917 г., было понятие «революция».

«Когда был царь, то я не знал, что такое революция», – признается московский первоклассник<sup>20</sup>.

«Настроение в семье стало какое-то натянутое, все говорили, что будет какая-то революция» (3 класс).

«Тут вдруг объявили революцию, я тогда еще не понимала вполне, что значит это могучее слово» (3 класс).

«Когда я услышал слово "революция", то я совсем стал в тупик» (8 класс)<sup>21</sup>.

Подобные признания мы находим на страницах многих детских текстов. И дети, естественно, хотели узнать, что означало это «могучее слово», тем более, что «все стали рассуждать про политику» и «только и говорили про революцию»<sup>22</sup> (1 класс).

«Я не понимал еще тогда совсем, что значит «революция», «правый», «левый», «кадет», «эсер», «социалист», «большевик» и т.п. Взрослые только об этом и говорили», – вспоминал ученик 8 класса<sup>23</sup>.

Именно к ним, к взрослым, и обращаются дети с просьбой растолковать значение непонятных для них слов. Иногда они такое объяснение получают:

«На площади было прямо-таки столпотворение... Я часто слышала от окружающих слово «революция». Я выбралась из толпы и, недоумевая, поспешила домой к маме за объяснением... Я спросила маму,

<sup>17</sup> Крюков С. Литературное творчество детей // Вестник воспитания. 1916. № 3. С. 91.

<sup>18</sup> Так, лишь в одном из 200 сочинений сельских детей о войне указывалось, что «много страдает немцев и русских», для всех остальных характерно разграничение на «нас» – «людей» и «их» – «зверей». – Ярошевич Ю. Сельская школа о войне // Вестник воспитания. 1916. № 2. С. 137–158.

<sup>19</sup> Из жизни средней школы // Вестник воспитания. 1917. № 8–9. С. 32–33.

<sup>20</sup> Воронов В. Февральская революция... С. 5.

<sup>21</sup> Дети русской эмиграции. С. 89, 200, 414.

<sup>22</sup> Воронов В. Февральская революция... С. 10.

<sup>23</sup> Дети русской эмиграции. С. 493.

«что такое творится в городе? Мама объяснила мне, что это революция и что это слово значит» (4 класс)<sup>24</sup>.

Но в большинстве случаев дети встречаются с нежеланием или неумением старших говорить с ними о «серьезных» предметах:

«Я... решил обратиться за разъяснением к своему воспитателю. Все, что я не понимал, мне объяснили, но у меня в голове ничего не осталось. Я... скорее пошел домой, чтобы расспросить отца, в чем дело. Отец... мне сказал: "Тебе еще рано знать". Больше я не старался обращаться за разъяснениями, так как видел, что отцу это неприятно, и что он даже как-то постарел» (8 класс)<sup>25</sup>.

«Один раз я шел по Сухаревой площади и увидел баррикады, я не знал, что это такое. Когда пришел домой, то я спросил у матери, что такое баррикады, но она тоже не знала» (1 класс)<sup>26</sup>.

«Жил я в станице, ничего не знал о войне, о революции, и мне какими-то странными словами казались «революция», «война». «Что такое, батя?» – спрашивал я отца, который отвечал: «Много будешь знать, скоро состаришься». (6 класс)<sup>27</sup>.

Даже наиболее образованные родители могли, в лучшем случае, лишь провести исторические параллели с Французской революцией: «разговоры взрослых о том, что скоро будет то, что было во Французскую революцию; говорили о терроре, вспоминая гильотины» (6 класс)<sup>28</sup>. Большинство же взрослых не находило четкого ответа и для себя самих. Не получив удовлетворяющих их объяснений, дети пытаются сами, по-своему, объяснить общие понятия, занимающие столь существенное место в жизни и разговорах взрослых. Вот как объясняют в 1917 г., что такое революция, московские ученики начальных классов:

«Тогда воцарился новый порядок и новое правительство заседало в Государственной Думе, под господином Родзянко. Но скоро Временное правительство начало приходить в упадок и министры проходили в отставку, их сменили другие и за этого Россия поделилась на партии и партии начали между собой враждовать».

«Поскорости стал недостаток хлеба, тогда многие пошли напротив войны и они прозвались большевиками, но много народу пошли и напротив большевиков».

«И беспорядков стало все больше, и все менялось правительство».

«Народ разделился на части и эти части стали между собой драться (а вперед разговаривали)»<sup>29</sup>.

Обращает внимание на себя то, что в понимании лишь немно-

<sup>24</sup> Там же. С. 351.

<sup>25</sup> Там же. С. 414.

<sup>26</sup> Воронов В. Октябрьская революция... С. 7.

<sup>27</sup> Дети эмиграции. С. 193.

<sup>28</sup> Дети русской эмиграции. С. 381.

<sup>29</sup> Воронов В. Октябрьская революция... С. 4,6.

гих детей революция есть череда политических событий и фактов. Для большинства она одномоментна, довольно обыденна и интересна им (и, соответственно, описана ими) с точки зрения своих чисто внешних проявлений:

«Я встал утром, попил чаю и вышел на улицу. Там было очень много народа и они говорили, что сегодня будет русская революция. Я пошел смотреть». «Теперь мы уже опять учимся. Какие дальше будут революции, никто не знает»<sup>30</sup>.

Примечательно, что все 'дети-современники четко разграничивали в своем сознании революцию Февральскую и революцию Октябрьскую («В октябре произошла еще одна революция. Но эта революция сильно отличалась от первой революции») (4 класс)<sup>31</sup> и описывали их совершенно по-разному, применяя к каждой особую лексику и наделяя особой символикой и метафорикой.

Февральская революция в восприятии детей – это большой праздник со всеми присущими ему атрибутами: песнями, флагами, нарядными толпами оживленных людей, улыбками, смехом:

«Идет много народа с красными флагами и играет музыка», «настроение у всех было радостное», «все праздновали. Был большой праздник, совершалось великое дело, которое называют революцией», «на улице народ улыбался и один из народа плакал от радости. Никто не ругался», «при революции было очень весело. И русскую революцию никогда не забуду»<sup>32</sup>.

Эта революция для всех детей окрашена одним широким красным мазком («красные знамена», «красные банты», «красные лозунги и транспаранты», «красные ленты», «когда я пришел домой, то... нарисовал целых 14 красных флагов. Отец спросил: «Что ты делаешь?» Я ему сказал, что рисую революцию»<sup>33</sup>, «и красное, красное всюду»<sup>34</sup>).

Прилагательное «красный» является доминантным при описании Февральской революции во всех без исключения «детских» источниках<sup>35</sup>. Этот цвет не исчезает из них и при описании революции Октябрьской, но отныне – это уже не радостный цвет праздничной символики, а страшный и пугающий цвет пролившейся крови и зияющих ран.

«Ужасный образ молодой, красивой девушки, лежащей в грязной луже

---

<sup>30</sup> Воронов В. Февральская революция... С. 6; Он же. Октябрьская революция... С. 12.

<sup>31</sup> Дети русской эмиграции. С. 159.

<sup>32</sup> Воронов В. Февральская революция... С. 4, 7, 8, 11.

<sup>33</sup> Там же. С. 11.

<sup>34</sup> Дети эмиграции. С. 151.

<sup>35</sup> Кстати, по мнению психологов, дети одним из первых начинают воспринимать именно красный цвет и отдают ему, наряду с желтым, явное предпочтение. – См.: Зеньковский В.В. Указ. соч. С. 223.

крови на широкой темной улице с разможенным черепом и с руками, сжимающими трость, поразил меня». (5 класс).

«Был октябрь месяц 1917 года. Раз я был свидетелем такой сцены: наш дворник вышел на улицу. Вдруг он упал, струйка крови потекла по его лицу. Шальная пуля попала ему в голову... Красная площадь сделалась красной в некоторых местах в полном смысле слова» (5 класс)<sup>36</sup>.

«Помню выкрик одной старухи: «У, проклятые! Ишь понаципили красного тряпья, так и России кровью зальете, как себя бантами разукрасили». Так оно и вышло»<sup>37</sup>.

Идиллия закончилась: «кто ругал большевиков, кто – буржуев и кадетов», «народ везде спорил между собой, некоторые ругались»<sup>38</sup>.

Самым распространенным понятием, с которым ассоциируются события Октябрьской революции для детей, в частности события в Москве, был «страх» и его производные: «мне было очень страшно», «я проснулся от выстрела пушки и весь задрожал от испуга», «я сидел дома, потому что боялся выходить на улицу», «на улицу было страшно выйти, думаешь, что тут убьют»<sup>39</sup>. Страх поселился в детских душах и сердцах, а жестокая эпоха наносила все новые удары по неокрепшей детской психике. Показательно, что когда в начале 1920-х гг. в Институте мозга детям 8-16 лет предложили подобрать ассоциативные термины к понятию «революция», подбор ассоциаций был следующий: «война», «ружье», «солдаты», «стреляют», «убивают» и еще более 50 слов того же порядка<sup>40</sup>.

Подобную же эволюцию восприятия событий от восхищения к ужасу можно наблюдать и в рисунках детей. Если Февральская революция изображается как манифестации празднично одетого, ликующего народа и многочисленные митинги, то Октябрьская ассоциируется в рисунках с обысками, производимыми большевиками<sup>41</sup>.

Заметим, что в «непровоцированных» детских текстах, созданных позднее, уже советскими детьми в начале 1920-х гг., поиск сложных понятийных определений практически отсутствует. Эти тексты приземлены и носят характер повседневного бытописания. Если для детей «непролетарского» происхождения революция и гражданская война – это годы «утраченного рая», потерянного беззаботно-счастливого детства, голода и лишений, «когда ложишься спать, то благодаришь Бога, что прожил день и не умер», когда

<sup>36</sup> Дети русской эмиграции. С. 168, 169.

<sup>37</sup> Дети эмиграции. С. 69.

<sup>38</sup> Воронов В. Октябрьская революция... С. 12.

<sup>39</sup> Там же. С. 7, 8.

<sup>40</sup> Осипова В.Н. Речевые рефлексy у детей // Педологический журнал. 1924. № 3. С. 46.

<sup>41</sup> Воронов В. Февральская революция... С. 7-9; он же. Октябрьская революция... С. 5.

конфеты и белые булки сменил суп из воблы<sup>42</sup>, то и автобиографии детей рабочих при описании своей жизни после 1917 г. полны горечи и ужасов, которые принесла им «их» революция<sup>43</sup>. Лишь в редких случаях находим мы здесь такие стереотипные черты оформившегося впоследствии «типичного» советского «детского» текста, как наличие образа врага и экзальтированный оптимизм:

«В детстве у меня много было желаний учиться, но я не могла из-за своего безвыходного положения, я страшно завидовала буржуазному детству и буржуйам, что они так счастливы и живут такой хорошей жизнью, а наш рабочий бедняк погибал от холода, голода и труда; трудился день и ночь и в трудах помирал... Но я надеюсь, что жизнь бедняка расцветет». «Пришлось пережить всякую жизнь, в особенности при белой банде, угнетали нас, пайка не давали, все время притесняли и т.п... Пришли наши товарищи, и мне стала жизнь светлая, хорошая»<sup>44</sup>.

Но такие тексты – не правило, а, скорее, исключение среди текстов первой половины 1920-х гг., что существенно отличает их от советских «детских» текстов последующего периода, когда на смену самопроизвольным образам и трактовкам пришли образы, специально «впечатанные» в сознание молодого поколения<sup>45</sup>. Советские дети начала 1920-х гг. – это то же «потерянное поколение», живущее «на грани», что и их эмигрантские ровесники.

Помимо сложного для понимания детей термина «революция», с которым они сталкивались повсеместно, революционная эпоха обогатила их лексикон и другими, совершенно абстрактными, в их представлении, словами и понятиями. С большинством из них дети впервые столкнулись не в семье, они были привнесены извне, услышаны и восприняты детьми в митинговой стихии, захлестнувшей страну в революционные годы. «Мир без аннексий и контрибуций», «гражданин», «товарищ», «свобода», «равенство», «братство» – все эти «революционные» слова дети, по их собственному свидетельству, впервые услышали на митингах, увидели на транспарантах и знаменах, прочитали в прокламациях, разбрасываемых

<sup>42</sup> Спасская Г. Указ. соч. С. 54–62. Вот приводимый Г. Спасской образец поэтического творчества советских детей того времени: «Всю жизнь разбили они у нас, – // Настал наш, видно, последний час. // Нет хлеба, нет угля, не топлены печи, // Болят от работы усталые плечи. // И холод, и голод, и даже нет света, – // Должно быть, уж песенка наша отпета». // Интересно, кто же здесь подразумевается под словом «они»?

<sup>43</sup> Рыбников Н.А. Автобиографии рабочих... С. 40–59.

<sup>44</sup> Там же. С. 56, 59.

<sup>45</sup> Чем взрослее ребенок, тем это «впечатывание» становится все очевиднее. И если для 6-летнего ребенка, получающего домашнее воспитание, в 1926 г. «революция – это стреляют», то для 9-летнего школьника – «ну, хоть Октябрьская революция, когда рабочим и крестьянам стало лучше жить». – Рыбников Н. Язык ребенка. М., 1926. С. 70,75.

с автомобилями и аэропланов, и на расклеенных повсюду афишах. «Революционные» понятия и символы дети противопоставляют понятиям и символам, с их точки зрения, «контрреволюционным»<sup>46</sup>.

Уже обращаясь к событиям Февральской революции, дети довольно много внимания уделяют описанию митингов выступавших там ораторов: «Меня радовали энергичные, красиво говорившие люди, возвещавшие торжество Правды и Мира». (5 класс)<sup>47</sup>; «все министры каждый день говорили большие речи»<sup>48</sup>. Но содержание этих речей оставалось непонятным ребенку, поэтому ему трудно было воспроизвести его в последующем.

«Водили нас всей гимназией на большую площадь... где на возвышении, затуном красной материей, какие-то люди кричали что-то, отчаянно жестикулировали, из их речей я ничего не поняла, слышны были только слова «свобода» и «товарищ». (6 класс).

«На площади устроили красное возвышение, на которое по очереди всходили мужчины и говорили непонятные для нас речи». (5 класс).

«Идя по улицам процессиями, мы должны были петь песни. Приходилось останавливаться на городских площадях и слушать непонятные для нас речи» (4 класс)<sup>49</sup>.

Значительно лучше запомнилось детям содержание лозунгов и заголовков прокламаций, которые, хоть в них и «было написано по-разному»<sup>50</sup>, дети воспроизводят достаточно точно (как в текстах, так и на рисунках), с признаком устойчивой повторяемости. Но достоверно передавая текст лозунгов и плакатов, дети не понимали смысла агитационно-пропагандистских материалов, последние казались им «глупыми» и «смешными»:

«Каждая группа несла плакаты на больших длинных палках, и на них были написаны «лозунги», как мне объяснили дома потом, но признать, я до сих пор не даю себе точного отчета, что это за птица. Надписи были написаны очень безграмотно, очень смешные, а одна из них меня рассмешила до слез: «Товарищи переплетчики, соединяйтесь!» Потом была еще масса подобных глупостей, и я все старался задать вопрос: «Куда соединяться и зачем?»» (8 класс)<sup>51</sup>.

«Вешались довольно значительного размера плакаты с различными возгласами и низко-лубочными картинками... Мой совершенно детский ум не мог понять, как взрослые люди могли верить каждой картинке и каждому слову плаката. Мы занимались тем, что бегали и рассматривали картинки плакатов, которые становились более умо-

<sup>46</sup> «Было найдено много контрреволюционного, то есть чайные ложки, мамини кольца и т.д.» – Дети эмиграции. С. 67.

<sup>47</sup> Дети русской эмиграции. С. 167–168.

<sup>48</sup> Воронов В. Октябрьская революция... С. 4.

<sup>49</sup> Дети русской эмиграции. С. 99, 351, 488.

<sup>50</sup> Воронов В. Октябрьская революция... С. 11.

<sup>51</sup> Дети русской эмиграции. С. 415.

рительней» (7 класс)<sup>52</sup>.

В текстах подростков мы также находим критические оценки речей «революционных» ораторов. Главный их недостаток дети усматривают в демагогии, которая зачастую прикрывала пустоту, поверхностность, бессодержательность выступлений, а иногда – реальное непонимание оратором, приобщившимся к революционной риторике истинного смысла того, о чем он говорит.

«В станице появились ораторы, не умевшие говорить («Товарищи! Моя лично мнения такова, что ежели мы атамана смятим, а на место его поставим председателя, а его помощника замяним товарищем председателя, то это будет, так сказать, более социально». (6 класс).

«Слышались речи. Не было ограничений, не было узко определенной программы: как говоришь, что говоришь. Все говорили, кому что на душу взбредет» (8 класс).

«Они говорили собравшемуся народу, что «свобода, равенство и братство – есть священные слова революции», но когда их просили объяснить значение этих слов, то ораторы «благородно» ретируются один за другим с трибуны. Некоторые из народа кричали: «Почему они не желают нам объяснить эти священные слова?» Ответ был таков: «Кто же из них может объяснить, когда они даже не могут подписать свое фамилие» (7 класс)<sup>53</sup>.

Широко употребительные в речевом дискурсе эпохи политические понятия нашли особую трактовку в «детских» текстах. Вот как объясняет маленький мальчик, что такое «свобода»:

«За обедом я узнал, что все стали равны и могут что угодно делать. После обеда мне бонна давала рыбий жир, которого я не любил. Я не захотел его пить и сказал, что теперь свобода, и я не приму рыбий жир. Через неделю приехал Керенский и говорил речь»<sup>54</sup>.

Данный текст наглядно демонстрирует одну из важнейших особенностей «детского» письма – деиерархизацию явлений и проблем (Керенский рядом с рыбьим жиром!).

Большинство таких понятий, таких как суд, государство, председатель, народ, кооператив, товарищ, дети 6-8 лет либо вообще не могут объяснить («что это за председатель, я не знаю»; «кооператив – не знаю. Очень трудно»; «государство – не знаю»), либо объясняют с бытовой, повседневной точки зрения: «народ – это на базаре. Все ходят. Покупают»; «товарищ – вместе два мальчика и

<sup>52</sup> Там же. С. 140–141.

<sup>53</sup> Там же. С. 114, 411–412, 490. «Штампы» и «пустоту» как основные речевые характеристики партийно-советских ораторов первых лет советской власти отмечал и советский филолог А.М. Селищев. См.: Селищев А.М. Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет (1917–1926). М.: УРСС, 2003. С. 23–25.

<sup>54</sup> Дети эмиграции. С. 193.

подружились»<sup>55</sup>. Правда, в советских детских периодических изданиях первой половины 1920-х гг. мы находим разъяснение смысла некоторых понятий (например, понятия «штрейкбрехер»), но такие разъяснения носили единичный характер<sup>56</sup>.

Наблюдательные дети чутко реагируют не только на специфику речи ораторов, но и на изменение речевых практик окружающих их людей. Они видят, что постепенно истина становится синонимом определенного набора «революционных» терминов и фраз. И сами по себе эти фразы и термины становятся революционной истиной. Гипертрофия престижных терминов превращала их в неотъемлемую часть «революционной» риторики и лексики, что приводило, в конечном итоге, к высокой эклектичности языка и наличию в нем «чужих» языковых дискурсов. О появлении таких «революционных» дискурсов в речи людей, принадлежащих к различным слоям и категориям российского общества рубежа 1910–1920-х гг., пишут и сами дети:

«Когда бывал в церкви, как-то странно резали ухо всевозможные замены в ектеньях, произносимых диаконом» (7 класс).

«Тут я впервые близко познакомился с солдатами... Серые, грязные, усталые, нахватавшиеся всевозможных фраз, вроде следующих: старый режим, революция, буржуазия и проч.» (5 класс)<sup>57</sup>.

При этом дети справедливо отмечают устойчивость социальных языковых характеристик и сложность трансформации одного социального дискурса в другой: «Какой-нибудь простой рабочий теперь ходит франтом, но манеры и речь, конечно, его выдают» (5 класс)<sup>58</sup>. В «детских» текстах отмечаются такие специфические особенности повседневной «революционной» лексики, как ее повышенная эмоциональность и усиленная гиперболизация. Эмоции, по преимуществу отрицательные, били через край и переполняли как сами «детские» тексты, так и, судя по оценкам детей, установившуюся в то время речевую практику. Во многих эмигрантских сочинениях при характеристике умонастроений и языка «простого народа» приводится одна и та же мстительно-злая фраза торжествующего реванша победителей над побежденными:

«Вдруг одна противная большевичка говорит ей (маме): «Довольно вы пожили барами, теперь наша очередь, а ну-ка поработайте нам, как мы вам!» (3 класс).

«Хозяина дома стеснили страшно, пользуясь всем его имуществом, приговаривая: «Довольно вам, буржуйам, наслаждаться, надо и нам побарствовать» (2 класс).

«Чья-то сильная рука откинула меня в сторону, я услышал над собой

<sup>55</sup> Рыбников Н.А. Язык ребенка. М., 1926. С. 65–71.

<sup>56</sup> См.: Селищев А.М. Указ.соч. С. 30.

<sup>57</sup> Дети русской эмиграции. С. 141, 170.

<sup>58</sup> Там же. С. 104.



голоса: «Довольно, попили нашей кровушки. Настал теперь и на нашей улице праздник» (6 класс)<sup>59</sup>.

Повторяемость и устойчивость речевых практик может служить, в данном случае, основанием не только для широких обобщений, связанных с характеристикой отношения бывших «низов» к бывшим «верхам», но и настроения и состояния самих этих «верхов», испытывавших глубинный, непреодолимый страх перед разнуздавшейся «черной». Причем опасаться следовало всех и каждого, в том числе и своих сверстников, которые, судя по детским воспоминаниям, успешно выступали в роли помощников чекистов, производивших обыски<sup>60</sup>.

Дети с удивлением узнают, что прежде вышколенная прислуга, раболепно кланяющиеся дворники, крестьяне, «снимавшие шапки и называвшие почтительно «барином» всех тех, кого они привыкли так называть с детства»<sup>61</sup>, «милые солдатики», которым дети посылали на фронт подарки, оказались вовсе не такими «милыми» и «послушными». Именно из их уст дети вдруг, узнали, что «проклятые буржуи», которые «должны висеть на воротах», – это не только «местные торговцы», а они, дети, сами и есть, только они не буржуи, а «буржуенки»<sup>62</sup>, что это они – «змееныши контрреволюции», «паразиты труда», «генеральские отродья», «белогвардейская золотопогонная сволочь»<sup>63</sup>. И эти слова, услышанные из знакомых и близких уст, оказываются во сто крат страшнее «площадной брани» чекистов и матросов, потому что те – «чужие», а эти – «свои», но разрушающие «чужими» жестокими словами наивную детскую веру в доброту, любовь и преданность. И в ответ обиженные, озлобленные дети наделяют своих обидчиков такими же горькими и жестокими эпитетами: «дрянь», «чернь», «шваль», «мерзавцы», «взбунтовавшаяся сволочь», «звери»<sup>64</sup>.

Видя повсеместную деструкцию прежних ценностей и человеческих взаимоотношений, дети пытаются уяснить для себя иерархическую структуру «нового» мира и определить свое место внутри нее. И в «пролетарских», и в «эмигрантских» текстах наглядно прослеживается разделение окружающих на «своих» и «чужих» и стремление точно определиться с собственной политической ори-

<sup>59</sup> Там же. С. 43, 79, 376.

<sup>60</sup> «Обыскивали три матроса, два каких-то оборванца и маленький мальчишка, который больше всех всюду лазил». (6 класс). – Там же. С. 231. Аналогичные факты приводит и З. Гиппиус. См.: Гиппиус З. Живые лица. В 2-х т. Тбилиси, 1991. Т. 1. С. 200–201.

<sup>61</sup> Дети русской эмиграции. С. 130.

<sup>62</sup> Там же. С. 223, 245; Дети эмиграции. С. 58.

<sup>63</sup> Дети русской эмиграции. С. 267, 349, 381, 398; Дети эмиграции. С. 224.

<sup>64</sup> Дети русской эмиграции. С. 104, 116, 119, 322 и др.

ентацией. А сделать это нелегко, поскольку «народ весь разделился на двенадцать партий» и эти «партии начали между собой враждовать»<sup>65</sup>. Дети, естественно, не могли разобраться в сложной политической палитре, да и не их совсем это было дело, однако напряженность внутри российского общества не могла не сказаться и на отношениях между детьми, вызывая вражду и противостояние между ними. Вот как описывает ученик третьего класса встречу со своим одноклассником во время октябрьских событий в Москве:

«Во как ваших буржуев бьют!» – сказал он. «Но это неизвестно, кто кого побьет,» – ответил я. Потом после паузы я сказал, что хочу записаться в Красный Крест. Н. с радостью воскликнул: «Идем в Красную гвардию!» Я ему сказал, что к убийцам не пойду. Тогда Н. схватил меня за горло и сказал: «Проклятый буржуй!»<sup>66</sup>

Дети, чтобы казаться взрослее, с удовольствием примеряют на себя ярлыки партийно-политической принадлежности, не отдавая себе отчета в том, что эти понятия означают.

«Некоторые называют себя анархистами, некоторые – коммунистами, но мы имеем дело тут только с прозвищами без всякого мало-мальски серьезного содержания», – писал один их русских педагогов в 1923 г.<sup>67</sup>

«Одного мальчика спросили: «Ты коммунист?» – на что он ответил: «Нет, я православный»<sup>68</sup>.

Во всем этом многообразном политическом спектре особый интерес у всех детей, независимо от их социального происхождения, вызывали непонятные, таинственные большевики, о которых так много говорили окружающие, но с которыми детям первоначально не приходилось сталкиваться.

«Кто такие большевики, я еще до тех пор не знал и не желал знать» (7 класс). «Что такое большевик, не было известно до этого... Я помню один случай, как один человек доказывал, кричал, что такое большевик. Он говорил так: «Большевики, люди такие, которые идут навстречу бедному народу и что большевики также дают народу свободу». А другой доказывал ему, что большевики, люди такие, которые не понимают Бога и не щадят людей. Кому можно было верить, было очень загадочно» (4 класс)<sup>69</sup>.

Эта «загадочность» на первых порах и порождала в детских головах мифические, полусказочные образы «огромных, страшных чудовищ», «отчаянных разбойников», «хотя они и такие же русские, как и все»<sup>70</sup>, у одних, и былинных «чудо-богатырей»,

<sup>65</sup> Воронов В. Октябрьская революция... С. 3, 6.

<sup>66</sup> Там же. С. 11.

<sup>67</sup> Роков Г. Облики современной молодежи // Современный ребенок. С. 9.

<sup>68</sup> Дети эмиграции. С. 67.

<sup>69</sup> Дети русской эмиграции. С. 141, 160.

<sup>70</sup> Дети эмиграции. С. 193; Дети русской эмиграции. С. 153, 227.

«стоящих за простой народ» – у других<sup>71</sup>. Ирреальность сплеталась в один клубок с реальностью. Но жизнь вскоре разрушила эти сказочные представления. Детская апперцепция является, как известно, гораздо более персонифицирующей, чем анализирующей, поэтому понятие «большевик» большинство детей олицетворяло с теми «конкретными» большевиками, с которыми им приходилось встречаться. Точно так же трактуют дети и другие собирательные образы, требующие своего олицетворения.

Вот как объясняют собирательные понятия 6-летние мальчики: «Коммунисты – они в Бога не веруют и ходят без креста»; «милиционер – он землю меряет, и собак стреляет и воюет»; «красноармеец – это такой солдат, он занимается, на собрании бывает, еще в театре они бывают»<sup>72</sup>. В текстах более взрослых детей довольно отчетливо прослеживается, с одной стороны, «сатанизация» образа большевиков (в эмигрантских источниках), выработанная под влиянием трагических жизненных обстоятельств, но, вероятно, и не без вмешательства антисоветского воспитания и пропаганды, проявляющаяся даже в описании внешнего облика, а с другой стороны – идеализация этих образов в источниках советских, обусловленная, судя по клишированности характеристик, сильным влиянием советской пропаганды и советской школы.

Сравним: «обыск проводила банда матросов... со зверскими лицами», «к нам стали приходиться одна за другой компании большевиков со зверскими физиономиями» и т.п.<sup>73</sup> и «коммунист – защитник свободы», «коммунисты освободили Россию, они нам дали свободу и поравняли всех», «они устанавливают хорошие порядки», «они справедливые», «они честные»<sup>74</sup>.

Но не все здесь так просто. Экспликация фактов и свидетельств внутри каждой группы «детских» текстов подтверждает их содержательную и оценочную неоднозначность и одновременно – искренность и правдивость. Мы встречаем на страницах эмигрантских сочинений и образ «хорошего большевика»:

«Конечно, были среди них хорошие».

«Эти большевики (заявшие квартиру девочки) были очень вежливые: вечером, когда они приходили, то они снимали сапоги и говорили тихо, чтобы нам не мешать».

«Ушли, ничего не взяв, хоть и видели у мамы кольца, а у папы серебряный портсигар».

«Большевики спрашивали меня: «Где твой папа?» Тогда пришел еще

<sup>71</sup> Рыбников Н.А. Автобиографии рабочих... С. 40–52.

<sup>72</sup> Рыбников Н. Язык ребенка. М., 1926. С. 65–70.

<sup>73</sup> Дети русской эмиграции. С. 58, 139.

<sup>74</sup> Познанский Н. Революция и дети // Вестник просвещения. 1923. № 1. С. 124. Обращает на себя внимание преобладание термина "большевик" в эмигрантских текстах и "коммунист" – в советских.

один большевик и сказал: «Зачем вам мучить девочку? Может, она и не знает ничего»<sup>75</sup>.

С другой стороны, в советских детских текстах имеются отнюдь не лицеприятные характеристики большевиков: «живут хорошо» (по сравнению с другими), коммунист «много хлеба ест», «не возит тачки», «ему хорошо живется», «ему жить легко»<sup>76</sup>. Эти оценки отражают не только те настроения, которые наблюдались в начале 1920-х гг. среди уставшего от войн, голодного и измученного народа, но и личные впечатления детей от встреч и общения с местными коммунистами<sup>77</sup>.

«Разобравшись», насколько это было возможно, с тем, кто такие коммунисты и большевики, дети довольно подробно останавливаются и на вопросе о том, что нового привнесли эти «новые» для России люди в повседневную лексику, в бытовой язык, в способы его письменной фиксации и передачи. Безусловно, главным для детей, в данном случае, является осуществленная в стране реформа правописания. Ее дети прямо и непосредственно связывают с новой властью, о которой пишут с неподдельной иронией.

«Учиться было трудно, потому что при красноармейцах писали без 'ь' и 'ы', а при добровольцах с 'ь' и 'ы'». (3 класс).

«Через неделю пришли большевики, и нам нужно было писать без 'ять' и 'твердого знака'. Все эти власти смещали одна другую, и у нас в гимназии то учили писать с 'ь' и без 'ь'. Но наконец пришли добровольцы, и 'ь' восторжествовало. Все эти перемены правописаний сильно подействовали на меня, и я к приходу добровольцев ставил после 'а' твердый знак» (2 класс)<sup>78</sup>.

Интересно, что многие дети одобряют новое правописание – ведь так было гораздо легче<sup>79</sup>.

Дети пишут о гибели и сознательном уничтожении в ходе Февральской и Октябрьской революций старых делопроизводственных документов («перед зданием суда и полицейским управлением горели огромные кучи бумаг и документов»; «на улицах были разложены огромные кипы бумаг из окружного суда и других учреждений, и все это горело среди ругательства толпы») и о новом, «революционном», «бумаготворчестве» («декреты сыпались как из рога изобилия»), к которому они сами оказались странным образом причастны («В одно время классом была даже послана телеграмма... Временному правительству с выражением чувства «дове-

<sup>75</sup> Дети эмиграции. С. 36–37.

<sup>76</sup> Познанский Н. Указ. соч. С. 123–125.

<sup>77</sup> Там же. С. 121.

<sup>78</sup> Дети русской эмиграции. С. 45, 462.

<sup>79</sup> «Писание по новому правописанию (это, кажется, единственное, что введено удачно большевиками)» (5 класс). – Там же. С. 218.

рия»... («Мы, граждане пятиклассники, доверяем Вам»)»<sup>80</sup>.

Как характерный признак языка революции дети отмечают возникновение различных, подчас удивительно изощренных аббревиатур, «как будто взятых из китайского языка»: «Затем как-то незаметно подошли большевики, и тут уже появились всякие Продком, Совнарком и т. д.»<sup>81</sup>. Эти новые термины занимают все большее место в «детских» текстах, становясь неотъемлемой частью повседневной лексики. Так дети революции постепенно приобщаются к «революционному» языку взрослых.

Анализ рассмотренных детских источников позволяет сделать вывод о том, что при всем их жанровом и содержательном многообразии и социальной неоднородности, а подчас – коренной противоположности происхождения, их объединяют такие общие признаки, как высокая эмоциональность и усиленная гиперболизация, пестрота революционной (или контрреволюционной) риторики, фантазийность представлений, символичность образов. Есть и еще один важный, объединяющий признак – несовершенство детских текстов вне зависимости от их происхождения.

В последние годы в отечественной и зарубежной исследовательской литературе все прочнее утверждается понятие «примитивного» («наивного») письма, которое очень часто соотносится с «культурой бедности»<sup>82</sup>. Это понятие с полным правом может быть экстраполировано и на «детские» тексты с революционной семантикой, но не как на «образцы культурно иного изнутри культуры письма»<sup>83</sup>, а как на образцы письменной культуры Детства, еще не утраченной и не до конца приобщившейся к письменной культуре взрослых, хотя, безусловно, социальный статус и образовательный уровень пишущего играли здесь не последнюю роль. И если в эмигрантских текстах мы видим изживание «наивизации» письма по мере взросления и, соответственно, роста грамотности ребенка, то в «пролетарских» и «крестьянских» текстах эти факторы оказываются совершенно независимыми друг от друга. Однако общие признаки «наивных» текстов: клишированность изложения, в особенности при переходе от фиксации событий микропланового характера к освещению макроплановых явлений, примитивность изложения, наличие фрагментов посторонних дискурсов, парадок-

<sup>80</sup> Там же. С. 142, 292, 306, 407.

<sup>81</sup> Дети русской эмиграции. С. 155, 163, 283; Дети эмиграции. С. 13.

<sup>82</sup> *Levis O. A Study of Slum Culture*. N.Y., 1968; *Valentine Ch. Culture and Poverty*. Chicago; L., 1968; *Comrie B., Stone G., Polinsky M. The Russian Language of the Twentieth Century*. Oxford, 1996; *Козлова Н.Н., Сандомирская И.И.* «Я так хочу назвать кино». «Наивное письмо». Опыт лингво-социологического чтения. М., 1996 и др.

<sup>83</sup> *Козлова Н.Н., Сандомирская И.И.* Указ. соч. С. 14.

сальность и непредсказуемость выводов здесь сохраняются.

Отмечая скупость, а подчас – и беспомощность «детского» языка, нельзя не подчеркнуть высокую степень его непосредственности, эмоциональности и открытости, оригинальность восприятия действительности, которую ребенок на доступном ему языке фиксирует в тексте. «Скудость» языка в полной мере окупается высокой внутренней достоверностью. «Я пишу теми словами, какими мне все это казалось», – так начинает свое сочинение один из подростков<sup>84</sup>. Это внутреннее побуждение детей к искренности проявилось, в частности, и в стремлении писать сочинения «по первому внутреннему импульсу», без черновиков, а сразу – набело: «В одиннадцать собрались. Нам раздали эту самую бумагу. Дали и для черновой. Но начерно никто почти не писал. Психология»<sup>85</sup>.

Подведем некоторые итоги. Приобщение к миру взрослых и их «трудному» языку в эпоху революционных потрясений в России заставляло ребенка подниматься над уровнем детской повседневности, искать ответа на сложноразрешимые для него вопросы, что приводило часто к замещению реального миропонимания «воображением» и «романтическим мнимопониманием», о котором писал Ю.М. Лотман<sup>86</sup>. Дети вынуждены были действовать в условиях абсолютно чуждого для них языкового пространства, но постепенно приспосабливались к нему, присваивали чужой язык, используя его по-своему. Детское «Великое Не Знаю» порождало мифотворчество, в том числе мифотворчество в расшифровке взрослого вокабулярия современной им эпохи, как «культурный механизм, компенсирующий отсутствие достоверного знания о «другом»<sup>87</sup>.

Социальная генеалогия и история жизни детей, создавших эти тексты, существенно отличаются друг от друга: с одной стороны, это дети эмиграции, с другой – дети рабочих окраин. Это, естественно, не могло не сказаться и на культуре детского письма, и на форме и содержании исследуемых текстов. Здесь наглядно прослеживается встреча двух социолектов (Р. Барт): социолекта

<sup>84</sup> Дети эмиграции. С. 65.

<sup>85</sup> Дети русской эмиграции. С. 397.

<sup>86</sup> Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX вв.). СПб., 1999. С. 14.

<sup>87</sup> Копелев Л.З. Чужие // Одиссей. Человек в истории. М., 1993. С. 88. По мнению Р. Коу, русским воспоминаниям детей и о детстве традиционно и изначально присуща сильная мифологизация, поскольку русское детство до 1917 года «принадлежало стране, культуре и обществу, которое однажды исчезло и никогда не будет возрождено». – Coe R. Reminiscences of Childhood. An Approach to a Comparative Mythology. Leeds, 1984. P. 53. Как тут не вспомнить «легендарную Россию моего детства» В. Набокова. – Nabokov V. Speak, Memory. Harmondsworth, 1969. P. 94.

«неграмотных низов» и социолекта «образованных верхов». Язык рассматриваемых текстов ярко и отчетливо свидетельствует о политической и социальной неоднородности его носителей. Но при этом не следует забывать, что и те, и другие принадлежат одному миру – Миру Русского Детства рубежа 1910–1920-х гг.

Традиции «детского» письма оказываются намного сильнее политических и идеологических соображений. Да, эти дети оказались по разные стороны баррикад, но видели они одно и то же – «наше» и «про нас» – только с разных точек зрения. Появление всех этих источников обусловлено общей зависимостью от сходных внешних обстоятельств и объединено единым «детским» авторством, что не могло не отразиться на их лексических особенностях и понимании «взрослого» языка в целом. Однако трактовка конкретных языковых понятий, прежде всего, тех, которым присуща ярко выраженная политическая окраска, в этих текстах существенным образом отличается. Политическая пристрастность детей, их субъективность, граничащая с озлобленностью, здесь совершенно очевидна. Мы имеем дело в данном случае с так называемым «расколотым языковым сознанием», когда одни и те же понятия и термины трактуются представителями одного поколения по-разному, подчас – сугубо противоположно, исходя из собственного «недетского» опыта.

Революция пожирает собственных детей, «детей хижин» и «детей дворцов» в равной мере – историческая банальность вновь подтвердила свою горькую истину. И те, и другие по-своему правы – все они маленькие люди, и все они страдают. Но страдания эти не просветляют. Они складываются в науку ненависти и искусство мести. Дети начала 1920-х гг. – это взрослые 1930-х, и оттого, что они поняли и запомнили в детстве, как восприняли и истолковали ту или иную информацию, как она была им приподнесена и разъяснена, зависела не только степень адекватности тех представлений, которые сложились у последующих поколений, но в не меньшей мере последующая жизнь и судьба самих этих детей.

Уплывало в прошлое милое, далекое, «связанное с Верой, Царем, Родиной, почитанием старших, лампадками, нянями, Бовой-королевичем». На смену ему пришли иные слова и понятия: «о капитале, гнетущем рабочих; о классах и классовой борьбе; мне поднесли пророков Маркса и Энгельса; научили революционным песням... И вот революция... красивая, далекая оказалась нужной и России, и мне, глупышу»<sup>88</sup>. Совершив переворот в умах, в сердцах и в судьбах детей, революция яростно вторглась и в их язык, чтобы остаться там надолго, а вернее – навсегда.

<sup>88</sup> Дети русской эмиграции. С. 420.

**А.Н. Назаров**

## **ОТРАЖЕНИЕ «РЕАЛЬНОСТИ» В СОВЕТСКИХ ХРОНИКАЛЬНЫХ КИНОФОТОДОКУМЕНТАХ 1930–40-х годов**

Господа! Если к Правде святой  
Мир дорогу найти не сумеет,  
Честь безумцу, который навеет  
Человечеству сон золотой!

*М. Горький. На дне.*

Одно из наиболее широко распространённых сегодня в массовом сознании представлений о документальном (хроникальном, репортажном) кино сводится к тому, что это обязательно должен быть такой «вид киноискусства, материалом которого является съёмка подлинных событий»<sup>1</sup>. Подобные характеристики преобладают и в определениях аналогичного жанра фотографии:

«В репортажных снимках полностью отсутствует и принципиально недопустима какая бы то ни было инсценировка действия, какое бы то ни было “организационное” вмешательство фотографа в протекающее событие»<sup>2</sup>.

Такие определения подразумевают наличие единой, материальной и вполне объективной реальности, которую обязан достоверно отразить в своих произведениях кинохроникёр или фотокорреспондент. Вместе с тем, исследования, проводившиеся в течение ряда десятилетий в зарубежной и отечественной литературе такими авторами, как И. Голомшток, Б. Гройс, В. Глебкин<sup>3</sup>, показали, что сама система взглядов советского человека во многом являла собой картину мира, построенную на мифологических представлениях. В этой системе были свои доисторические времена, был момент сотворения социалистического мира, отмеченный Октябрьской революцией 1917 года, были боги, пророки, жрецы и герои, были демоны и злые духи, обитавшие в «кином мире» или связанные с ним. Существовали даже свои сакральные места, среди которых роль своеобразного символического Олимпа играл Мавзолей В.И. Ленина. В этой связи, закономерно предположить, что подобное видение мира должно было найти своё отражение в

<sup>1</sup> Кино: Энциклопедический словарь. М., 1986. С. 128.

<sup>2</sup> Дыко Л., Иофис Е. Фотография, ее техника и искусство. М., 1960. С. 457.

<sup>3</sup> Голомшток И. Тоталитарное искусство. М., 1994; Гройс Б. Стиль Сталин // Гройс Б. Утопия и обмен. М., 1993; Глебкин В.В. Ритуал в советской культуре. М., 1998.



представлении о том, что такое «реальность» и как она должна отображаться в различных материалах, в том числе и аудиовизуального происхождения.

Проблема подлинности и реальности событий и явлений материального мира, а также вопрос о возможности их адекватного отражения в кинофотодокументах неоднократно затрагивался в работах отечественных и зарубежных исследователей. Поле для проведения подобных исследований было создано работами В. Беньямина, Р. Барта, У. Эко<sup>4</sup>. Нам представляется интересным попытаться проследить на конкретных примерах, как на практике работало мифологическое сознание советского человека и какая картина «реальности» складывалась в этом сознании, а также понять ту роль, которую играли в формировании представления о «реальности» хроникальные кинофотодокументы. Для реализации этой цели был избран сравнительно короткий хронологический период конца 1930-х – начала 1940-х гг., считающийся временем расцвета сталинской политической и идеологической системы. Объектом непосредственного внимания в рамках данной работы станут хроникальные кинофотодокументы, создававшиеся накануне и в начале Великой Отечественной войны. Как и многие явления в культуре, эти документы одновременно являются историческим источником, произведением искусства, материальным продуктом промышленного производства и т. д. Подобная полифункциональность открывает широкие возможности для их всестороннего изучения и анализа.

Попытка понять, что должны представлять собой хроникальные кинофотодокументы указанного периода, опираясь на приведённые выше определения, неизбежно приводит нас к предположению о том, что эти документы должны являться ни чем иным, как зеркальным отражением тех явлений и событий, которые происходили в то время на территории Советского Союза. Однако непосредственное обращение к кино- и фотохронике опровергает это предположение. В частности, на кадрах кинолетописи, снятых в первые шесть месяцев Великой Отечественной войны (июнь – декабрь 1941 года), мы не встретим картин окружения, массового пленения, отступления и разгрома частей Красной Армии немецкими войсками. Вместо них перед нами предстанут колонны вражеских военнопленных, горы захваченных советскими войсками трофеев и панорамные изображения повсеместно наступающей Красной Армии.

---

<sup>4</sup> Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1996; Барт Р. Мифологии. М., 1996; Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. М., 1998.

В качестве примера можно привести ряд фотодокументов, создававшихся и длительное время использовавшихся и воспринимавшихся в качестве репортажно-хроникальных. Так, например, на фотографии под названием «Боец, идущий в атаку», сделанной Б.Н. Ярославцевым на Южном фронте летом 1941 года, изображены три красноармейца<sup>5</sup>. Один из них, стоя на открытом месте, увлекает за собой двух других, как бы поднимающихся из окопа. Все трое одеты очень опрятно, оружие, обмундирование и амуниция тщательно вычищены. В кадре не видно ни других бойцов, ни взрывов, ни воронок от них. Бойцы стоят в картинных позах, напоминающих агитационные плакаты и кадры из довоенных художественных фильмов («Чапаев», «Александр Невский», «Мы из Кронштадта»). Первый боец снят почти в профиль, два других – в три четверти спереди. Для того, чтобы создать подобный ракурс, в момент съёмки фотограф должен был стоять на открытом месте напротив, или даже чуть впереди первого бойца. Если на фотографии действительно запечатлена атака, то фотокорреспондент в самый разгар боя стоял впереди наступающих спиной к вражеским позициям, естественно, что подобное положение было крайне опасным и практически недостижимым. Исходя из всего сказанного, можно предположить, что данный снимок является постановочным.

Аналогичным примером может служить снимок М.В. Бачурина «Партизан отряда Высоковского района И.Д. Гаврилов ведёт огонь с дерева», созданный зимой 1941/42 г.<sup>6</sup> На снимке изображён человек в гражданской одежде, с револьвером на поясе. Сидя на суче ели, он целится вверх из автомата. Куда стреляет партизан не видно, но, судя по его позе, можно предположить, что он целится во вражеский самолёт. Однако, ниже мы видим ещё несколько человек. Один из них стоит у ствола того дерева, на котором разместился партизан, а немного поодаль на опушке спокойно стоит группа из семи человек. Часть из них беседует между собой, другая смотрит в сторону фотографа. Очевидно, что в случае настоящего налёта вражеской авиации все эти люди должны были бы попрятаться в укрытия, а не наблюдать за тем, как фотокорреспондент снимает единственного из них, кто решил отразить атаку. Вероятно, это понимал и сам фотограф (либо цензоры), потому что на контрольном отпечатке этого снимка в систематическом каталоге архива над головами стоящих на заднем плане людей проведена черта с надписью: «Скадрировать». Таким образом, уже задним числом была пред-

<sup>5</sup> ЦМАДСН. 0-93988.

<sup>6</sup> Там же. 0-112146.

принята попытка исправить неверно выбранные при съёмке границы кадра, выдававшие его постановочный характер.

Ярким примером постановочного снимка является фотография, сделанная В.Г. Фёдоровым<sup>7</sup> примерно в то же время, что и снимок М.В. Бачурина. Она интересна тем, что сам факт её существования наталкивает на мысль о её сфальсифицированности. Аннотация к ней гласит: «Законспирированный разведчик партизанского отряда Волоколамского района И.Г. Черноухов добывает сведения у крестьян деревни Кузьминки о расположении немецких войск». На снимке запечатлена группа людей, дружелюбно беседующих на улице деревни. Никто из них не стесняется фотографа, который, судя по характеру снимка, находится на достаточно близком расстоянии. Между тем, тот факт, что «законспирированный» разведчик «добывает» информацию, скорее всего, должен свидетельствовать о том, что он не может позволить себе открыто разгуливать по оккупированной территории вместе с советским фронтовым фотокорреспондентом.

Значительную помощь в выявлении постановочных снимков может оказать сопоставление отдельных фотографий, входящих в одну серию или посвящённых одному сюжету. Дело в том, что фотокорреспонденты для большей уверенности в качестве фотографии, часто стремились отснять один объект сразу на несколько кадров. Сопоставив их между собой иногда можно выявить целые серии срежиссированных снимков. Так, если два снимка в серии противоречат друг другу, значит хотя бы один из них не является достоверным.

Примером в данном случае могут служить два снимка Б.Н. Ярославцева<sup>8</sup>, созданные на Южном фронте в начале июля 1941 года. Аннотация к первому из них гласит: «Комсомолец сержант В. Кожеченков идёт в атаку». Аннотация ко второму более развёрнута: «Комсомолец сержант В. Кожеченков вместе с пятью товарищами отразил атаку вдесятеро превосходящего противника». На обеих фотографиях изображён боец с винтовкой, кидающий гранату. Снимки сделаны спереди, что уже вызывает вопросы. Однако сопоставление снимков окончательно заставляет усомниться в их достоверности. Боец дважды снят в одной и той же позе – в момент бросания гранаты. Очевидно, что это момент очень резкого, энергичного и быстрого движения. Уловить такой момент для фотографа и один раз непросто, но на снимках Ярославцева красноармеец как будто застыл в одной позе. При этом сам фотограф

<sup>7</sup> Там же. 0-113616.

<sup>8</sup> Там же. 0-93986, 0-93987.

не только успел сделать два кадра и перемотать плёнку в аппарате, но даже немного сменил точку съёмки и ракурс. Если на первом кадре виден один Кожеченков, то на втором справа от него появляется второй боец, который стал виден благодаря смене угла зрения. Данные факты свидетельствуют о том, что фотокорреспондент прибыл в часть уже после того боя, в котором отличился снятый им боец. Поэтому, снимая героя уже в спокойной обстановке он долго экспериментировал, подбирая наиболее выгодный ракурс. В итоге ему это удалось, так как вторая фотография была опубликована 13 июля 1941 года во фронтовой газете «Во славу Родины». Это обстоятельство для нас чрезвычайно важно, потому что сам факт публикации фотографии в красноармейской газете свидетельствует о том, что она признавалась документальной.

Снимок Б.Н. Ярославцева «Немецкий солдат сдаётся в плен»<sup>9</sup> сам по себе вызывает подозрения, так как перед сдающимся двум красноармейцам немцем в землю картинно воткнута советская винтовка образца 1891/1930 гг. Эти подозрения подтверждаются после знакомства со вторым снимком, имеющим такое же название<sup>10</sup>. На нём тот же самый немец уже без всякого оружия идёт навстречу тем же красноармейцам, которые за время, прошедшее между съёмкой двух кадров, успели спуститься в окоп. На первом снимке действие происходило на фоне мельницы, на втором – в чистом поле. В первом случае немец находится гораздо дальше от советских бойцов, чем во втором. Поэтому, нельзя предположить, что красноармейцы остановили его на определённом удалении от окопа и вышли сдающемуся врагу навстречу. Таким образом, если не рассматривать всерьёз версию о том, что немецкий солдат в действительности сдавался в плен два раза подряд, остаётся предположить, что его заставил это сделать творческий порыв фотографа, который, в свою очередь, объясняется необходимостью удовлетворить настоятельные требования руководства снимать больше вражеских пленных.

По-своему замечательной является серия фотографий того же Б.Н. Ярославцева, посвящённая разведчикам-мотоциклистам Южно-го фронта<sup>11</sup>. Первый из четырёх снимков называется «Мотоциклист стреляет из пулемёта по самолётам». Аннотации к следующим двум фотографиям из этой серии гласят: «Мотоциклисты-связисты И. Санкин и В. Маат во время доставки донесения в штаб». При этом, на первом из двух снимков изображён стоящий мотоцикл (эта фото-

<sup>9</sup> Там же. 0-94062.

<sup>10</sup> Там же. 0-94063.

<sup>11</sup> Там же. 0-93955, 0-94393, 0-94394, 0-94395.

графия была опубликована в газете «Во славу Родины» 5 августа 1941 года), а на втором – мотоцикл, движущийся по той же дороге с достаточно большой скоростью, что можно определить по смазанному фону и спицам колёс. Наконец, последним в этой серии является снимок под названием «Воины на мотоцикле с ручным пулемётом». На нём запечатлён водитель, ведущий свою машину, лёжа на животе, и стрелок, целящийся из пулемёта куда-то назад. Данная «джигитовка» не оставляет никаких сомнений в том, что и данная серия снимков была срежиссирована фотографом.

Константин Симонов вспоминал, как он впервые познакомился с работой фронтовых фотокорреспондентов в июле 1941 года в одной из пехотных частей под Смоленском:

«...Трошкин стал снимать бойцов в лесу за чтением газет, которые мы привезли из редакции. Я впервые с удивлением видел, как работает фотокорреспондент. До сих пор я наивно представлял себе, что фотокорреспондент просто-напросто ловит разные моменты жизни и снимает. Но Трошкин десять раз пересаживал бойцов так и эдак, передевал каски с одного на другого, заставлял их брать в руки винтовки. В общем, мучил их целых полчаса. ...Потом я к этому, конечно, привык»<sup>12</sup>.

Необходимо подчеркнуть, что ситуация, при которой кинооператоры и фотокорреспонденты занимались созданием заведомо постановочных документов вместо того, чтобы беспристрастно снимать окружавшие их события, сложилась не в результате примитивного замалчивания фактов или тяги к украшательству. Дело в том, что господствовавший в 1930–50-е гг. в советском искусстве стиль социалистического реализма ещё в начале 1930-х годов обосновал возможность и необходимость подобного отражения событий в любых художественных произведениях, включая фотографию и кинематограф. Согласно этой концепции художник должен был не копировать мир, а создавать его. Более того, по мнению основоположников социалистического реализма, сотворённый таким образом мир должен был материализоваться и, отразившись в сознании зрителей, стать реальностью.

Поэтому, перед оператором-хроникёром или фотокорреспондентом не стояла задача скопировать своими съёмками то или иное событие. Их цель состояла в том, чтобы создать в своих произведениях новый мир: мир побед и успехов, мир разгрома врагов и счастливого перехода в светлое будущее. Глядя на этот мир, зрители должны были верить в его материальность и начинать действовать так, словно они физически в нём пребывали.

<sup>12</sup> Симонов К. Сто суток войны. М., 1999. С. 56.

Интересен тот факт, что знакомство массового зрителя с подобными «хроникальными» документами действительно приносило желаемый результат. Просмотр таких фильмов, как «Если завтра война», «Военнопленные», «Фашизм будет разбит» и др., как правило, вызывал мощный эмоциональный всплеск в аудитории и приводил к тому, что сопротивление врагу непрерывно возрастало. Таким образом, «альтернативная» кинематографическая реальность в определённой мере подменяла собой в сознании зрителей реальность физического мира и заставляла их действовать по своим законам. В конечном итоге именно это во многом способствовало тому, что была одержана вполне материальная победа над нацизмом.

Интересно провести параллель между описанной практикой репрезентации «действительности», имевшей место в 1930–40-е гг. в Советском Союзе, и практиками совершения магических обрядов, описанными в работах известного антрополога Л. Леви-Брюля<sup>13</sup>. В ходе таких ритуалов североамериканские индейцы, например, наряжают одного из членов племени в шкуру бизона и устраивают на него символическую охоту, в финале которой «зверь» обязательно должен быть повержен. Подобная символическая победа, по мнению индейцев, гарантирует победу над реальной добычей. Приобретя с помощью подобного обряда веру в то, что благосклонность богов привлечена на их сторону, охотники отправляются на охоту, веря в неизбежность удачи, и часто это действительно становится первым шагом к ней. И наоборот, если обряд прошёл неудачно, или какая-то примета указывает на то, что боги не на стороне охотников, люди могут просто не пойти на охоту, обрекая себя, таким образом, на голод. Более того, как заметил М. Мосс, даже одна уверенность в своей обречённости (без какого-либо материального воздействия) может повлечь за собой физическую смерть.

Нам представляется, что описанная выше ситуация, сложившаяся с кинофотодокументами конца 1930-х – начала 1940-х годов, свидетельствует о том, что в ряде сфер жизни советского общества, находившегося в тот период на стадии активной модернизации, продолжали действовать архаичные модели сознания, позволявшие воспринимать победу над «нарисованным» на экране кинотеатра противником так же, как аборигены Австралии воспринимали победу над нарисованным на песке кенгуру, и расценивать её как залог будущей материальной победы.

Здесь необходимо подчеркнуть, что, проводя параллели между отдельными практиками, активно применявшимися в советском кино- и фотоискусстве рассматриваемого периода, и магиче-

<sup>13</sup> Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1999.

скими практиками архаических обществ, мы имеем в виду не генетическое, а скорее типологическое их сходство. Если система смыслополагания для людей древности полностью лежала в пустостороннем мире и основывалась на представлениях о сверхъестественном устройстве мира, то большинству граждан СССР 1930–40-х гг. мир представлялся вполне материальным, и все их устремления, соответственно, ограничивались «земной» жизнью. Однако это не мешало зрителям принимать кинематографическую реальность, являвшуюся, по сути, отражением коллективного представления о том, как должен быть устроен мир, за объективное отражение материального мира.

Очевидно, подобные параллели можно экстраполировать на массовое сознание других обществ. Причем не обязательно это должны быть тоталитарные общества, близкие по своему характеру Советскому Союзу 1930–40-х годов (такие, как нацистская Германия или фашистская Италия). Известная нам американская или британская кино- и фотохроника данного периода даёт ряд аналогичных примеров.

Подводя предварительные итоги, можно обратить внимание на то, что советская идеологическая система, активно используя возможности средств массовой информации и различных видов искусства, к числу которых, несомненно, можно отнести кинематограф и фотографию, сумела создать в 1930–40-е годы мир «альтернативной реальности». События и факты этого мира во многом противоречили событиям и фактам мира материального. Тем не менее, овладевая сознанием современников и приобретая для них императивное значение, они не только подменяли собой материальный мир, но и способствовали его трансформации.

А.Ю. Серегина

### МИФЫ О КРЕЩЕНИИ АНГЛИИ В РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЛЕМИКЕ КОНЦА XVI ВЕКА

XVI век – эпоха конфессионального противостояния и развития книгопечатания – стал свидетелем множества памфлетных войн. Способы аргументации, принятые в полемических сочинениях раннего Нового времени определялись принципами построения текстов, разработанными еще схоластами, и апелляция к истории была одним из наиболее важных. В религиозной полемике под «историческими аргументами» понималась прежде всего история церкви; но, при любом обращении к «историческим» доводам (вне зависимости от предмета полемики), авторы XVI в. активно использовали и те исторические сюжеты, которые уже тогда вызывали сомнения в их достоверности, а сегодня относятся к области исторической мифологии. Каковы были функции доводов «от истории» в полемических сочинениях, и как использовались «мифологические» сюжеты в английской религиозной полемике конца XVI века?

Речь пойдет о двух мифах о крещении Британии. Согласно одному из них, впервые страна была крещена еще в I веке, в правление императора Тиберия, а проповедовал здесь христианство Св. Иосиф Аримафейский, посланный в Британию апостолом Филиппом. Св. Иосиф считался также основателем британской монашеской традиции – с его именем связывалось основание первого монастыря (по преданию, находившегося на месте, где позднее возникло знаменитое бенедиктинское аббатство Гластонбери). Крещение I века (при императоре Тиберии) упоминается у хрониста VI века Гильдаса<sup>1</sup>, а позднее рассказ о проповеди Св. Иосифа подробно излагал Уильям Мальмсберийский в XII в.:

«Желая далее распространить слово Христово он [Св. Филипп – А.С.] отправил 12 своих учеников в Британию проповедовать учение жизни.

---

<sup>1</sup> Gildas, *The Ruin of Britain* (Chichester, 1978), 8: 'Intereaе glaciali frigore riganti insulae ... se cessa soli visibili non proxinae ... tempore, ut scimus, summo Tiberii Caesaris, quo absque ullo impedimento euis propagabatur religio, communate senatu nolente a principe morte delatoribus militum euisdem, radios suos primum indulget, id est sua praeeceptu, Christus'.



Говорят, что он назначил их главой своего дражайшего друга, Иосифа Аримафейского, который похоронил Господа. Они прибыли в Британию в 63 г. от Рождества Христова, в 15-й год по вознесении Блаженной Марии, и начали ревностно проповедовать Христову веру<sup>2</sup>.

Именно Уильям Мальмсберийский сделал этот сюжет популярным в английской хронистике. Опираясь на его труд, Полидор Вергилий включил повествование о Св. Иосифе в свою «Историю Англии» (кн. 2)<sup>3</sup>. Позднее этот сюжет был воспроизведен в «Книге мучеников» Джона Фокса<sup>4</sup>. После такого двойного признания со стороны авторитетов в области истории и протестантского богословия повествование о крещении Британии Св. Иосифом прочно вошло в тюдоровский историографический канон. Оно присутствует в трудах всех наиболее популярных историков XVI века, например у Джона Стоу<sup>5</sup> и Рафаэля Холиншеда<sup>6</sup>.

Миф о повторном крещении Британии связан с легендарным королем бриттов Луцием, якобы правившем во II в. Этот миф объяснен своим возникновением ошибке Беда Достопочтенного. В его «Церковной истории народа англвов» присутствует краткое сообщение о том, как в 156 г. король Луций отправил в Рим послание папе Элевтеру с просьбой наставить его в христианской вере и крестить. Как пишет Беда, «эта благочестивая просьба была без промедления удовлетворена, и бритты сохраняли веру в целостности и невредимости, в мире и спокойствии, вплоть до времени императора Диоклетиана»<sup>7</sup>, гонения которого заставили их вернуться к язычеству. Беда при этом опирался на 'Liber Pontificalis'<sup>8</sup>, где действительно упоминался некий правитель по имени Луций. Правда, речь шла о князе Эдесском Луции, который действительно принял христианство в понтификат папы Элевтера (174–189). Но поскольку Беда был признанным авторитетом в истории английской церк-

<sup>2</sup> William of Malmesbury, *The Early History of Glastonbury*, ed. and transl. by J. Scott, (Woodbridge, Suffolk, 1981, 44: 'Volens igitur verbum Christi dilatari, duodecim ex suis discipulis ad evangelizandum verbum vite misit in Britanniam. Quibus, ut ferunt, karissimum amicum suum Joseph ab Arimathia, qui et Dominum sepelevit, prefecit. Venientes igitur in Britanniam anno ab incarnatione Domini LXIII, ab assumptione beate Matie XV, fidem Christi fiducialiter predicabant.

<sup>3</sup> Polidori Vergilii Urbicani Anglicae Historiae libri vigintisex (Basileae, 1546), 34.

<sup>4</sup> J. Foxe, *Acts and Monuments*, (London, 1684), v. 1, pp. 58-9, 117.

<sup>5</sup> J. Stow, *The Annales of England* (London, 1592), p. 34f.

<sup>6</sup> R. Holinshed, *Chronicles* (New York, 1976), v. 1, p. 486f.

<sup>7</sup> Bede's *Ecclesiastical History of the English People* (Oxford, 1969), p. 24: 'et mox effectum piae susceptamque fidem Britanni usque in tempore Diocletiani principis inviolatam integramque quiescentem in pace servabant'.

<sup>8</sup> *Liber Pontificalis*, Roma, 1978, V. II, p. 22: Eleutherus ... Hic accepit epistula a Lucio, Britannio rege, ut christinus efficeretur per eius mandatum'.

ви, все позднейшие авторы воспроизвели сделанную им ошибку, а также расцвели сюжет красочными деталями. Это, прежде всего, относится к Гальфриду Монмутскому, известному тем, что опирался порой не столько на хроники предшественников и документы, сколько на собственную богатую фантазию.

Гальфрид использовал сочинение Беды и «Историю бриттов» Ненния (конец VIII в.). Последний датирует обращение Луция в Рим 167 годом и называет в качестве его адресата папу Эвариста (начало II в.)<sup>9</sup>. Повествование Гальфрида рисует читателю благочестивого короля Луция, еще до крещения прославившегося своей добродетельной жизнью. У Гальфрида же называются имена тех, кого папа Элевтер отправил в Британию проповедовать христианство – Фаган и Дувиан. Он повествует об искоренении язычества и создании системы диоцезов: трех архиепископств, 28 епископств и сети приходов. Крестив Британию, послы вернулись в Рим, но затем их отправили обратно вместе с множеством других проповедников, «через поучение которых бритты... укрепились в Христовой вере»<sup>10</sup>.

Изобиловавший деталями рассказ его потомки сочли вполне достоверным, так как он в основном совпадал со сведениями, приведенными Бедой, хотя хронисты по-разному датировали правление Луция. Полидор Вергилий в своем труде воспроизвел рассказ Гальфрида, но датировал события 182 годом<sup>11</sup>. То же повествование повторяется и у других авторов XVI века, для которых оно служило подтверждением того, что Англия из всех стран первой официально приняла христианство (пусть всего лишь на столетие)<sup>12</sup>.

В богословской полемике XVI века к истории крещения Англии обращались постоянно, так как она была связана с ключевыми для религиозной мысли этого периода вопросами об апостольском преемстве английской церкви (и, соответственно, о божественном происхождении епископата), юрисдикции Римского престола и монарха по отношению к ней и т.п. В рамках одной статьи невозможно охватить всех авторов, затрагивавших крещение бриттов, поэтому в ней будет рассмотрена лишь одна, но весьма показательная «памфлетная кампания», начало которой положила публикация памфлета

<sup>9</sup> Nennius, *Historia Britorum*, 13, 22.

<sup>10</sup> Geoffrey of Monmouth, *Historia Regum Britanniae*, 72.

<sup>11</sup> Polidori Vergilii *Urbinae Anglicae Historiae*, p. 41.

<sup>12</sup> J. Stow, *Annales*, p. 36-37; Стоу датирует крещение Луция 179 годом. Эту дату он, по всей видимости, заимствовал у Фокса (J. Foxe, *Acts and Monuments*, 58), хотя последний приводит и другие варианты – 156, 169, 185 гг., предпочитая при этом версию, близкую Полидоровой – 181 г. Холиншед также воспроизводит разные датировки, но предпочитает 180–182 гг. (R. Holinshed, *Chronicles*, v. 1, p. 511-13).

пуританина Фрэнсиса Хастингса («Предостережение всем верующим и верным англичанам», 1598 г.)<sup>13</sup>.

Хастингс в резкой форме призвал англичан объединиться перед лицом угрозы, исходящей извне (от Испании и Рима) и изнутри (от католиков, составлявших «пятую колонну» в стране). С опровержением ему выступил иезуит Роберт Парсонс, издав на следующий год свой «Скромный ответ»<sup>14</sup>, в котором подробно рассмотрел и постарался опровергнуть все аргументы Хастингса. Помимо прочего, в памфлете Парсонса содержалось утверждение о том, что Англия была дважды крещена из Рима, а потому имеет особые обязательства по отношению к Римскому престолу. Хастингс, конечно, не мог остаться в долгу, и в 1600 г. была опубликована его «Апология»<sup>15</sup>, где Хастингс высказался в том числе и по поводу крещения Англии. В поддержку Хастингса выступил и другой известный полемист, настоятель Эксетерского собора Мэтью Сатклифф, перу которого принадлежат две книги, направленные против доводов Парсонса – «Краткий ответ» и «Новый вызов» (обе изданы в 1600 г.)<sup>16</sup>. Парсонс ответил Хастингсу и Сатклиффу одновременно, издав в 1602 г. трактат под названием «Предостережение»<sup>17</sup>. В полемику с ними вступил и католический священник Томас Фицгерберт, опубликовавший книгу под названием «Защита католического дела»<sup>18</sup>.

Впрочем, поначалу Парсонс коснулся вопроса о крещении лишь вскользь, сочтя необходимым уделить этой теме особое внимание. Спустя год увидел свет трехтомный «Трактат о трех обращениях Англии из язычества в христианство». Трактат писался в течение нескольких лет, и первый его том появился в 1603 г.<sup>19</sup> Фактически он представляет собой католический ответ на протестантскую интерпретацию английской церковной истории, прежде всего, на «Книгу мучеников» Джона Фокса, сочинения Джона Бэйла и другие труды, на которые опирались Хастингс и Сатклифф.

Представления о крещении Англии, отраженные в сочинениях участников полемики не просто выглядят полностью подчиненными полемическим целям. Они четко соотносятся с тем, какой

<sup>13</sup> F. Hastings. A Watchword to all religious and true hearted English-men. 1598.

<sup>14</sup> A Temperate Ward-word. 1599. Памфлет вышел без указания имени автора, скрывшегося за инициалами N.D.

<sup>15</sup> F. Hastings. An Apologie or Defence of the Watch-word. 1600.

<sup>16</sup> A Briefe Replie. 1600; A New Challenge. 1600. В обоих случаях Сатклифф фигурировал под инициалами O.E.

<sup>17</sup> N.D. The Warn-word to Sir Francis Hastings Wast-word. 1602.

<sup>18</sup> A Defence of the Catholyke Cause. 1602.

<sup>19</sup> R. Persons. A Treatise of Three Conversions of England from Paganism to Christian Religion. 1603.

образ «истинной церкви» был сформирован в их сознании конфессиональными пристрастиями, и, соответственно, как они видели ее внешние, исторические проявления. Именно с этим обстоятельством связаны толкования мифов о крещении, а также их репрезентация в текстах.

Для Фрэнсиса Хастингса, близкого по религиозным взглядам к пуританам, истинной церковью была, естественно, древняя церковь апостольских времен. Позднее, согласно разделявшемуся многими английскими протестантами представлению, «видимая» католическая церковь утратила право называться истинной из-за своих многочисленных заблуждений, грехов и искажений первоизданного учения. На этой посылке и строится его аргументация:

«Даже если было бы доказано, что Элевтер, послав проповедников из Рима во времена короля Луция, в самом деле впервые обратил нашу страну в христианство, я скажу, что сейчас в Риме вера не та, что была тогда: не было мессы, ибо тогда ее еще не придумали, не было пресуществления, изображений в церквах, миряне тогда причащались под обоими видами, не было вселенского папы и т.п.»<sup>20</sup>

Однако это – не единственный довод Хастингса, приводится и еще один весомый аргумент:

«Гильдас свидетельствует, что Британия получила Слово Божие во времена императора Тиберия, а Иосиф Аримафейский был послан туда апостолом Филиппом, где и оставался до самой своей смерти. А Беда (также наш соотечественник) подтверждает, что наша страна отмечала Пасху подобно Восточной церкви, из чего можно заключить, что первые проповедники пришли сюда из восточных частей света, а не из Рима»<sup>21</sup>.

Конец фразы – «не из Рима» – оказывается ключевым: легенда о крещении Британии Св. Иосифом Аримафейским нужна Хастингсу, чтобы установить апостольское преемство английской церкви, минуя Рим. В своем стремлении избежать малейшего намека на

<sup>20</sup> F. Hastings, *An Apologia*, p. 192-3: 'though it be granted, that Elutherius sending hither preachers from Rome in king Lucius his time, did first convert this land to the Christian faith; I say there is not now the same faith in Rome, that was then there: there was then no masses said, the partes of it were not then found out, no transubstantiation, no setting up of images in Churches, the communion was then in both kindes administred to the lay people, no universall Pope, etc.'

<sup>21</sup> *Ibid.*: 'Guildas testifieth that Britannia received the Gospell in the time of Tiberius the Emperour, and that Ioseph of Arimathia was sent by Philip the Apostle from France hither, where he remained till his death. And Beda (our countriman likewise) doth testifie that in his time this land kept Easter after the maner of the East Church: by which may be gathered, that first preachers came from the east parts of the world, and not from Rome'. Текст Хастингса представляет собой сокращенный пересказ соответствующего раздела из «Книги мучеников» Фокса (*Foxe, Acts and Monuments*, p. 117)

подчинение Риму Хастингс не останавливается и перед догматически небезупречным обоснованием связи Британии с христианским Востоком – ссылкой на обычай отмечать Пасху одновременно с еврейской пасхой, принятый в некоторых восточных церквях и противоречивший установлениям Никейского собора.

Примечательно также и то, как на текст Хастингса воздействуют свойственные пуританам представления об «истинной церкви» как о месте, где прежде всего проповедуется Слово Божие (а таинства, соответственно, отступают на второй план). В его памфлете посланники Элевтера названы только «проповедниками», тогда как в средневековых хрониках и у Полидора говорится, что они совершали таинство крещения и проповедовали (именно в таком порядке). Однако именно «проповедь» и «проповедники» упоминаются в основном источнике Хастингса – «Книге мучеников» Джона Фокса, и здесь он полностью следует авторитетному образцу.

Мэтью Сатклифф несколько смещает акценты (хотя на первый взгляд нюансы его трактовки не слишком бросаются в глаза). И Сатклифф, и Хастингс разделяли кальвинистские взгляды. Но если Хастингс был пуританином, и в конце жизни даже нажил себе неприятности из-за петиции в защиту священников-нонконформистов, то Мэтью Сатклифф был человеком не столь радикальных убеждений, а главное, – противником пуритан. Неутомимый полемист, основатель колледжа Челси (который специально предназначался для финансирования богословской полемики), Сатклифф в своих сочинениях выступал как против католиков, так и против пуритан. Особенное его раздражение вызывало посягательство наиболее радикальных пуритан на устройство английской церкви и на его основу – епископат. Очевидно, что и его представления об «истинной церкви» и ее истории отличались от мнений пуритан. Прежде всего это касается проблемы апостольского преемства и преемства епископской власти (особенно актуальной в условиях начавшейся полемики по вопросу о божественном происхождении епископата). Умеренные кальвинисты, из числа тех, кто признавал божественность епископской власти, полагали, что и в католической церкви после апостольских времен, несмотря на все ее заблуждения и извращения доктрины, пребывали истинные христиане (а значит, она сама могла считаться истинной церковью, по крайней мере, до появления протестантских церквей)<sup>22</sup>. Поэтому отношение Сатклиффа к крещению Британии из Рима не столь однозначно негативно. Он,

---

<sup>22</sup> A. Milton, *Catholic and Reformed: The Roman and Protestant Churches in English Protestant Thought, 1600-1640* (Cambridge, 1995), 384-435; 448-475.

конечно, тоже оговаривает, что посланцы папы не были первыми проповедниками христианства на Британских островах:

«Это всего лишь басня о том, что наша страна была обращена из язычества одним из них [папами Элевтером или Григорием I – А.С.], так как христианство было известно в Англии задолго до Элевтера, и истории говорят, что он все лишь крестил короля Луция, и то через своих посланников»<sup>23</sup>.

Но основное внимание Сатклифф уделяет другому – отрицанию папской юрисдикции над английской церковью.

«Хотя наша страна была обращена Элевтером и Григорием, это было скорее их личным благодеянием, которое заставляет нас быть признательными им, но не их преемникам. Но этот довод слишком слаб, чтобы доказать, что мы обязаны повиноваться Римскому престолу»<sup>24</sup>.

Таким образом, способ, при помощи которого тот или иной автор апеллировал к истории и использовал исторические и «мифологические» аргументы, непосредственно определялся его представлениями о церкви в целом. При этом тексты хроник, послужившие источниками для полемистов, безжалостно корректируются. Так если сравнить текст Хастингса (=Фокса) с трудом Полидора (написанным до Реформации), становится очевидным, что Хастингс оборвал повествование последнего о Св. Иосифе Аримафейском. Краткость изложения здесь объясняется отнюдь не только стремлением не утомлять читателя излишними деталями – ведь опущен именно тот кусок, где Полидор (и предшествовавшие ему хронисты) обычно говорили об основании Св. Иосифом монастыря на месте будущей обители Гластонбери. Но для протестанта Хастингса креститель Британии не может быть монахом, и этот отрывок вымарывается. И у Хастингса, и у Сатклиффа отсутствует и упоминание о создании посланниками папы Элевтера системы диоцезов – уж очень это напоминает о ненавистой римской юрисдикции.

Католические оппоненты Хастингса и Сатклиффа уделили большое внимание опровержению их доводов. Томас Фицгерберт посвятил несколько глав своего трактата сюжету о крещении Британии при короле Луции<sup>25</sup>, которое рассматривает как первое об-

<sup>23</sup> M. Sutcliffe, A briefe replie, p.185: 'it is a meere fable to say, that this land was converted from paganisme either by the one, or by the other of these two. For Christianity was in England long before Eleutherius time, and stories say, he did onely, and that by his deputies, christen king Lucius'.

<sup>24</sup> Ibid.: 'albeit this land had bene converted by Eleutherius and Gregory, yet this is but a personall favour, rather making us beholding to those two, then to those, that succeed them'.

<sup>25</sup> T. Fitzherbert, A Defence of the Catolyke Cause. 1602, ERL, 1973, v. 146, pp. 17-70.

ращение страны в христианство (о Св. Иосифе Аримафейском он не упоминает). Впрочем, для Фицджерберта сами обстоятельства крещения оказались не слишком важными. Он говорит только:

«Наша католическая религия, которую Св. Августин насадил среди англичан, была за 400 лет до этого проповедована королю Луцию и британтам Фугациусом и Дамианом, или, как некоторые говорят, Донацианом, посланными в Британию папой Элевтером в год Господа Нашего 182»<sup>26</sup>.

С точки зрения католика, эта краткая формула не нуждалась в подробном комментарии. В ней и так все ясно – в случае обоих крещений инициатива исходила из Рима, от папы, а его посланники очевидным образом подчинялись папской юрисдикции. Что требовало обоснования, по мнению Фицджерберта, так это не сам факт проповеди Фунация и Дамиана, а ее содержание, т.е. соотношение проповедовавшегося ими учения и учения католической церкви. Он оговаривается, что точные сведения об этом предмете отсутствуют.

«Ни один древний историограф или писатель (насколько я знаю), не уточняли, какие именно положения вероучения проповедовали перед королем Луцием при его обращении, отчасти потому, что о делах столь глубокой старины упоминается лишь вскользь и неясно, отчасти же – потому, что в те дни (когда повсеместно исповедовали не какую иную, но нашу католическую веру, а о вере протестантов и не мечтали), не было нужды обозначать эти положения, так как невозможно было себе вообразить никакой иной веры, кроме римской»<sup>27</sup>.

Тем не менее, опираясь на труды средневековых авторов, которых он считает наиболее авторитетными (это, естественно, Беда, а также Гильдас), Фицджерберт стремится показать, что, во-первых, до появления в стране пелагианства Англия была не запятнана никакими ересями и сохраняла в чистоте учение апостольской (Римской!) церкви; во-вторых, после искоренения этой ереси страна по-прежнему оставалась верна тому учению, которое здесь проповедовалось изначально, т.е. католическому учению. Конечно, приверженность Британии Римской вере обосновывается не только при помощи исторических аргументов – большой раздел (главы VII–XVII)

<sup>26</sup> Ibid., p.17: 'our Catholyke religion wich sainte Augustin planted amongst the English, was delivered 400 yeres before to Kong Lucius and the Britains by Fugatius and Damianus, or as some say Donatianus, sent into Britany by Pope Eleutherius in the yeare of our Lord 182'.

<sup>27</sup> Ibid.: 'no ancient historiographer or writer (for ought I have seene) do signify particularly, wath poynts of religion were preached to Kong Lucius at his conversion, partly for that matters of so great antiquity are but very breefly and obscurely handled, and partly because in those dayes (when there was no other but our Catholyke religio[n] universally professed, & this of the protestants not so much as dreamt of), it was needlesse to signify the poynts or articles therof, for that it could not be immagined to be any other but the Roman fayth'.

посвящен анализу текстов св. Отцов. Однако здесь интереснее то, как Фицгерберт использует исторические сочинения.

Выдергивая из текстов Беды и Гильдаса краткие фразы, Фицгерберт демонстрирует читателю, что и в древности христиане на Британских островах признавали те положения вероучения и благочестивые обычаи, которые осуждаются современными протестантами: почитание святых и мощей, монастыри и монашеские обеты, посты, использование освященной воды, литургия на латыни<sup>28</sup>. Все это служит одной цели – показать, что Британия со времен Луция была нормальной католической страной, и никаких следов «прото-протестантизма» там не наблюдалось.

Конечно, у читателя легко мог возникнуть вопрос – если это так, то зачем понадобилось крестить страну вторично? Ссылаясь на Гильдаса, Фицгерберт стремится показать, что вторжение язычников-саксов (сделавшее это крещение необходимым) было Божественной карой, постигшей страну из-за «порчи не веры, но нравов» среди мирян и духовенства, которые в этом отношении могут быть сопоставлены с протестантами, как «осквернители алтарей и священных предметов, нарушители обетов целомудрия и отступники, оставившие монашеский образ жизни, какими впоследствии были Лютер и многие из его последователей»<sup>29</sup>.

В изложении Фицгерберта четко очерчена связь британской церкви с Римской. История об Иосифе Аримафейском не очень хорошо вписывается в эту идеальную картину, и, по всей видимости, именно это обстоятельство и обусловило отсутствие данного сюжета в памфлете. Опровержение доводов протестантских полемистов относительно проповеди Св. Иосифа потребовало бы длинного экскурса в историю церкви, к которому Фицгерберт на момент написания своего труда был явно не готов.

Эту задачу выполнил труд его единоверца, Роберта Парсонса. В самом начале своего «Трактата о трех обращениях» он дает понять, что Хастингс и Сатклифф не являются для него достойными противниками, так как их доводы несамостоятельны, и все сведения о крещении Британии, а также способ их подачи заимствованы из «Книги мучеников» Фокса и более раннего по времени публикации протестантского изложения церковной истории – «Магдебургских центурий». Авторы этих трудов стали объектами полемики, а порой и едких насмешек Парсонса. Ссылаясь, подобно Фицгерберту, на

<sup>28</sup> Ibid., p. 19-20.

<sup>29</sup> Ibid., p. 20: 'not corruption of fayth, but of manners'; 'profaners of Altars and holy things, breakerks of vowes, of chastity, and Apostats from religious, and monastical lyfe; such as Luther and many of his followers have ben since'.



отцов церкви II–IV вв.; иезуит опровергает утверждение своих протестантских оппонентов о том, что римская вера, принесенная в Британию во времена Луция, была не той, что в XVI в.<sup>30</sup> Однако здесь более интересны его «исторические» аргументы, связанные с историей о Св. Иосифе Аримафейском и первом крещении Англии.

Парсонс высмеивает невежество Фокса, приписавшего крещение восточным проповедникам на основании сообщения Беды и позднейших авторов об обычае праздновать Пасху, рассчитывая дату ее наступления по восточной пасхалии<sup>31</sup>. Отвечая ему, Парсонс подробно рассматривает текст Беды, а также углубляется в сам предмет расчета пасхалий. Он связывает появление восточной пасхалии в Британии с пелагианской ересью, утверждая тем самым, что до этого пасхалия рассчитывалась по римскому обычаю и одновременно дискредитируя своих оппонентов<sup>32</sup>. Более того, он утверждает, что сам обычай пришел в Британию не с востока, а с запада:

«Кажется более вероятным (я считаю), что этот обычай был принесен бриттам упомянутыми скоттами, в особенности теми, кто жил (как было сказано) в Ирландии или на Гебридских островах. Но как они сами приобрели его, не столь ясно, однако самым правдоподобным кажется то, что либо кто-то из них, путешествовавших в восточные страны, либо люди из этих стран принесли этот обычай»<sup>33</sup>.

Именуя своих оппонентов «еретиками, склонными к обману как в делах веры, так и истории»<sup>34</sup>, Парсонс многократно высмеивает авторов «Магдебургских центурий» и Фокса за неточности в цитировании источников и упрекает их в прямых передержках. Особенно отчетливо это видно из подробного анализа всех свидетельств о крещении Британии в I в. Так, Парсонс показывает, что его оппоненты неправильно перевели слова Гильдаса о крещении Британии в правление императора Тиберия (на самом деле во фразе речь идет о том, что остров Британия «осветило истинное... солнце, которое явилось миру при Тиберии») <sup>35</sup>.

<sup>30</sup> R. Persons. A Treatise of Three Conversions of England from Paganism to Christian Religion. 1603, chs 3-7.

<sup>31</sup> Ibid., p. 31-33ff, 47-54 etc.

<sup>32</sup> Ibid., p. 47-52

<sup>33</sup> Ibid., p. 52: 'it seemeth more probable (I saye) that this custome was imparted to the Britanes by the said Scottish nation, and namely by those that dwelt (as hath byn saied) in Irela[n]d or in the Ilands of Hebredes. But how they themselves gate it, is not cretaine; yet the most probable seemeth that either some of them travailing into the east cowntries; or others of those east cowntries comming to them brought the observation therof.'

<sup>34</sup> Ibid., p. 18: 'heretiks are ... very deceytfull in all matters, as well historicall, as doctrinall'.

<sup>35</sup> Ср. с текстом Гильдаса (прим. 1).

Проанализировав все разрозненные сведения о возможности крещения Британии в I в., Парсонс отвергает их как недостоверные или неправдоподобные, и приходит к выводу:

«Неясно, кто были самые первые учителя в Британии; в частности, проповедники и их помощники, наши древние историки по причине превратности времен и бедствий нашей страны не оставили точных свидетельств об этом»<sup>36</sup>.

Впрочем, было бы ошибкой считать, что Парсонс на страницах своего трактата выступает в роли гуманиста-скептика, очищающего исторические сочинения от недостоверной информации, а также руководствующегося стремлением к точности перевода и понимания текста и принципом *ad fontes*. Остальные его доводы полностью разрушают подобное впечатление.

Так, Парсонс не опровергает сведений о том, что Британия была крещена Св. Иосифом Аримафейским, хотя тот был послан явно не из Рима, и ограничивается лишь замечанием о том, что Св. Иосиф проповедовал в Британии римскую веру (т.е. веру всей церкви)<sup>37</sup>. Да и зачем он стал бы опровергать это утверждение? Ведь, согласно тексту Парсонса, отнюдь не Св. Иосиф открывал перечень проповедников христианства на Британских островах. Первыми в этом списке значатся не кто иные, как Свв. Апостолы Петр и Павел. Таким образом, римское преемство устанавливается самым непосредственным образом.

При этом Парсонс совершенно не смущается тем обстоятельством, что данное утверждение, во-первых, противоречит его собственному мнению о недостоверности всех сведений о первых христианских учителях в Британии, а во-вторых, основывается на столь же произвольном толковании выдернутых из контекста фраз, которое он критикует у своих оппонентов. Так, говоря о проповеди Св. Петра, он опирается на слова из послания папы Иннокентия I: «первые церкви Италии, Франции, Испании, Африки, Сицилии и островов, что лежат между ними, были основаны Св. Петром, либо его учениками и преемниками»<sup>38</sup>. Непредвзятому глазу нетрудно заметить, что во фразе нет прямого указания на то, что речь идет о Британских островах, и именно о проповеди Св. Петра, а не кого-то

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, p. 15: 'Though who indeed were the very first teachers in Britany and preachers in particular or helpers therunto is not so certayne: our auncient historiographers by reason of the variety of tymes and our countreyes calamities having left noe cleere testimony therof.'

<sup>37</sup> *Ibid.*, p. 25.

<sup>38</sup> *Ibid.*, p. 19: 'the first churches of Italy, France, Spaine, Africa, Sicilia, and the Ilands that lay betxit them, were founded by saint Peter, or his schollers, or successors'.

еще из пап, но эти несообразности не смущают Парсонса. Помимо послания, он использует также хронику аббата Альреда, где приводится сообщение о явлении Св. Петра отшельнику – в нем Св. Петр говорит о том, как проповедовал в Британии<sup>39</sup>. Точно так же говорится о Св. Павле: Парсонс цитирует слова Блж. Феодорита о том, что Св. Павел отправлялся проповедовать в Испанию и на острова, лежащие в море рядом с ней<sup>40</sup>.

Такой двойной стандарт, характерный для сочинений эпохи, вполне объясним: применяя против оппонентов все тонкости гуманистического анализа текстов, Парсонс одновременно выстраивал свой текст в соответствии с собственными полемическими целями, которые становятся очевидными из его собственных слов.

«Ведь если первая проповедь и вера, принесенная в Англию первыми проповедниками, была римской верой и исходила в основном из города и церкви Рима через проповедь Св. Петра и Св. Павла... тогда все это еще увеличивает наше подчинение Риму»<sup>41</sup>.

В трактате Парсонс обосновывает свое понимание «истинной церкви» – католической, видимой хранительницы неискаженного апостольского учения. Его «истинной церкви» должны быть подчинены все прочие. Поэтому безусловно необходимым оказывается установление связи английской церкви с Римом. И если для этого было недостаточно старых, средневековых мифов, Парсонс, не колеблясь, приводит другие, творения XVI столетия.

XVI век явился временем рождения национальных историографий, прошедших на пути становления через «мифологическую» фазу – период, когда активно воспроизводятся старые и конструируются новые мифы. То же самое, как представляется, верно и применительно к рождающейся истории церкви, с ее профессиональными пристрастиями, истолкованием и переосмыслением старых мифов и рождением новых.

<sup>39</sup> Ibid., p. 20.

<sup>40</sup> Ibid., p. 21-22.

<sup>41</sup> Ibid., p. 27: 'For yf this first preaching, and first faith taught in England by our first preachers, was the Roman faith & derived principally from the city and church of Rome by the preaching of Saint Peter and Saint Paul.... then all this rather multiplieth our bounds to Rome...'

**И.К. Мироненко-Маренкова**

## **С ПАПЕРТИ В БЕЗУМНЫЙ ДОМ...** **(Из истории юродства в XIX столетии)**

В 1861 г. в московской Преображенской больнице скончался один необычный пациент, Иван Яковлевич Корейша, на чьих похоронах наблюдалось огромное скопление людей. Желавшие проститься с покойным не только с глубокой скорбью и почтением вспоминали о нем, но и запасались бесценными реликвиями: собирали жидкость, истекавшую от гроба, и песок с могилы, пребывая в полной уверенности в их целительной силе. О кончине Корейши сообщили в газетах, многие его почитатели были безутешны. В то же время в печати появились различные публикации, одни из которых восхваляли, а другие резко критиковали покойного. Стоит добавить, что в просторечии Преображенскую больницу именовали безумным домом, а сам Иван Яковлевич был известным на всю Москву юродивым...

Иван Яковлевич Корейша родился в Смоленске в 1770-80 гг., учился в духовной семинарии, затем сам преподавал, а через какое-то время уволился с должности и отправился в паломничество по монастырям. По возвращении в Смоленск он вновь принялся учительствовать, но вскоре оставил привычную жизнь и поселился в лесу. В 1817 г. за непочтительность к властям был отправлен в Москву на лечение, где и пребывал до своей кончины. Таковы сухие факты его биографии. Пожелав рассказать об этом человеке подробнее, мы будем принуждены встать на позицию одной из враждующих сторон – противников или защитников Корейши – ведь трактовка любого события из жизни юродивого зависит от общего взгляда на этого неоднозначного человека.

Действительно, как объяснить предсказания будущего, которыми славился Корейша, – наивной верой почитателей притворству мнимого пророка или реальным духовным прозрением этого человека? Следует ли видеть в его привычке спать на голом полу, не менять одежды и смешивать в одной миске различные кушанья умственное отклонение и желание эпатировать публику или же признать, что он усвоил обычай смирать свою плоть, без которого с древних времен не мыслился юродский подвиг? Или возьмем, к примеру, помещение Корейши в Преображенскую больницу. Про-

тивников юродивого вполне устраивало то объяснение, что неуравновешенный и вздорный Иван Яковлевич нуждался в лечении, в то время как его преданные почитатели были твердо убеждены в том, что заключение юродивого в безумный дом явилось результатом личной мести одного высокопоставленного лица, чья непопорочность была им раскрыта. Ситуация еще более осложняется тем, что при незначительном количестве официальных документов основные сведения о жизни юродивого мы можем почерпнуть только из сочинений авторов, стремившихся либо разоблачить юродивого, либо защитить его от враждебных нападок<sup>1</sup>.

В рамках данной статьи не ставится задача выяснить, был ли Иван Яковлевич Корейша подлинным святым или шарлатаном, наша цель состоит в другом – проанализировать поведение, которое в XIX столетии рассматривалось как юродство, и отношение к нему современников.

Дискуссия об Иване Яковлевиче Корейше разгорелась на страницах московских и петербургских печатных изданий в 1860 г., за год до его смерти. Апеллируя к здравому смыслу, противники юродивого обвиняли его в лицемерии и корысти и отказывались видеть за его экстравагантными поступками какой-либо сокровенный смысл, который неизменно отыскивали почитатели блаженного. Сторонники Ивана Яковлевича обращались к религиозному чувству и интерпретировали все действия своего любимца как элементы духовного служения. В наиболее яркой форме противостояние двух типов мировоззрения выразилось в вопросе об оценке поведения Ивана Яковлевича с религиозной или светской позиции. Если приверженцы блаженного верили в его нравственную миссию и рассматривали его деяния сквозь призму богословских текстов<sup>2</sup>, то их оппоненты решительно отвергали саму возможность появления в современную им эпоху подлинного пророка, а потому считали Корейшу лжепророком, подсудным не церковной, а гражданской власти. В столкновении двух точек зрения на юродивого обнажились глубинные изменения в отношении людей XIX века к проблеме святости и, в целом, к вопросу о возможном влиянии на человеческую жизнь божественных сил. По сути дела, в данной ситуации обозначился раскол общества на два лагеря, в одном из которых утверждали «с дос-

---

<sup>1</sup> К сожалению, архивные материалы Преображенской больницы недоступны для пользования.

<sup>2</sup> Так, например, архимандрит Феодор в статье, помещенной в «Духовной беседе», утверждал, что поведение Корейши нельзя оценивать вне контекста писаний Иоанна Богослова о пророках.

товерностию, что есть истинные юродивые и не только юродствующие»<sup>3</sup>, а в другом твердо знали, что «пророков сейчас нет»<sup>4</sup>.

Особое место в разгоревшейся полемике занимают статьи и книги журналиста и историка Ивана Гавриловича Прыжова, который со всем пылом сторонника Просвещения обрушился на юродивого, воплощавшего в себе, по мнению автора, пережитки древнерусского ханжества и суеверия. Почитание, которым окружили блаженного некоторые московские господа, а по большей части московские барыни и простые горожанки, вызывало его гнев и протест. Отдавая должное страстному темпераменту Прыжова, стоит, впрочем, отметить, что сами сцены в одной из палат для душевнобольных, где знаменитый обитатель лежал на полу, дробил камнями бутылочное стекло или натирал стены сочными фруктами, а покорные обожательницы сидели у его ног, слушая наставления или исполняя какие-либо поручения, всякому современнику, не верившему в сокровенный смысл происходившего, казались каким-то безумно-фантастическим действием.

Согласно Прыжову, современное ему юродство, как и юродство древнерусское (между ними он не делал различия), было «нравственным уродством в высшей степени», так как «около этих существ собирается всякая нечисть; в них верует, ими держится, от них расходится в разные стороны все, что ни есть враждебного народу, христианству, все, что ни есть фанатического, суеверного, грубого, жестокого»<sup>5</sup>. Среди основных упреков, выдвинутых против Корейши со стороны Прыжова и его единомышленников, фигурируют грубость, фамильярность с посетителями, экстравагантные выходы, претензии на пророчества, несоблюдение церковных ритуалов... Но красной нитью через все сочинения, разоблачающие блаженного, проходит тема древнего суеверия, противопоставленного сознанию просвещенного человека. Многочисленные купцы и другие поклонники Корейши и прочих юродивых своими обильными милостынями не только покровительствуют ханжеству и притворству и поддерживают эту общественную заразу, но тем самым лишают даров благотворительности тех, кто действительно в ней нуждается – вдов, сирот, бедняков. А человеку просвещенному нестерпимо видеть, как средства, необходимые для помощи неимущим и развития общественного образования, из щедрых рук жертвователей перетекают в карманы лжепророков.

<sup>3</sup> Сведения о жизни Ивана Яковлевича Корейши. М., 1869. С. 4.

<sup>4</sup> Прыжов И. Г. Житие Ивана Яковлевича известного пророка в Москве. СПб., 1860. С. 29.

<sup>5</sup> Там же. С. 25.

И.Г. Прыжов не был одинок в своих воззрениях на юродство. В журнале «Светоч» за 1861 г. в статье Луки Вариантова с сарказмом описывались паломничества горожан, «страждущих бездельем и любопытством», в сумасшедший дом, который «сделался рассадником идей для Москвы многочиситающей»<sup>6</sup>. Откликаясь на публикацию одной из книг Прыжова, журналист П. Рудный писал:

«Спасибо г. Прыжову, что он вывел наконец на свет этого ханжу и дурака с его братией. Теперь мы видим, насколько правы его защитники и насколько виноваты его противники. Пройдет еще несколько десятков лет, наступит пора сознательной жизни, и мы с трудом поверим, чтоб какой-нибудь юродивый Иван Яковлевич был предметом боязни, уважения и поклонения для русской женщины и русского общества»<sup>7</sup>.

Различные суеверия автор назвал принадлежностью большого общества, под которым подразумевалось общество московское, зараженное праздностью и находящееся, в отличие от Петербурга, в допетровском нецивилизованном состоянии. Те же идеи о недостатках нравственного и интеллектуального развития поклонников юродивого прозвучали в стихотворении Гиацинта Тюльпанова «Похороны Ивана Яковлевича»:

... Того уж нет, к кому полвека напролет  
Питали вы в душе благоговенье,  
И, в слепоте, всему, что ни совет,  
Давали вы глубокое значенье.  
Да, плачьте, бедные, о том, кого уж нет,  
Кто дорог был равно для малых и великих;  
Но плачьте и о том, что просвещенья свет  
Еще не озарил понятий ваших диких!<sup>8</sup>

Но «свет просвещенья» не был чужд и сторонникам знаменитого пророка из безумного дома. Один из защитников Корейши, Я. Горицкий, с искренним недоумением спрашивал, как господин Прыжов может верить в притворство блаженного – ведь известно, что Корейша был сыном священника и учился в духовной семинарии. «Как же после этого можно было думать и нам соглашаться, чтобы Ив. Яковлевич с таким запасом сведений (курсив мой – И.М.), – и при том с истинно религиозным направлением, – мог сбиться на тот опасный и ложный путь, на который поставил его г. Прыжов!»<sup>9</sup> В результате подобных рассуждений Корейша оказал

<sup>6</sup> Лука Вариантов. Опыт окончания истории русской словесности г. Шевырева // Светоч: учебно-литерат. журнал. СПб., 1861. Кн. 1. С. 48.

<sup>7</sup> Рудный П. Житие Ивана Яковлевича, известного пророка в Москве. Соч. И. Прыжова // Русское слово, 1861 февр. С. 95.

<sup>8</sup> Развлечение. Т. VI. 1861. С. 128.

<sup>9</sup> Горицкий Я. Протест Ивана Яковлевича, на господина Прыжова за название его лже-пророком. М., 1861. С. 15.

ся не пророком или лжепророком, а обыкновенным благочестивым человеком, желавшим уединения в лесу, но насильно помещенным в безумный дом, где он давал советы посещавшей его публике.

Поэтому «ставить Ивана Яковлевича в уровень с юродами, взятыми из Древней Руси, совершенно нельзя... Иван Яковлевич принадлежит к другой категории юродов... близко подходит к Христу ради юродивым, т.е. таким людям, которые добровольно, отрешившись от мира и от всего яже в мире, единственно из любви ко Христу и ближним по заповеди Его приняли на себя такой труднейший образ жизни»<sup>10</sup>.

Итак, сторонники блаженного Ивана Яковлевича были убеждены в его духовном служении. Но просто поделить общество на прогрессивных образованных противников юродства и традиционно религиозно настроенных защитников было бы непростительным упрощением. Дело в том, что, как уже отмечалось выше, среди сторонников Корейши также были просвещенные люди. Достаточно отметить, что к речам Корейши прислушивался лечащий врач Преображенской больницы В.Ф. Саблер, а среди посетителей блаженного кроме купчих и крестьянок был профессор по древнерусской истории Классен и другие образованные люди. Да и литературная активность защитников юродивого свидетельствует как об их высоком образовательном уровне, так и о востребованности этой темы у читающей публики. К тому же, не все поклонники блаженного были непримиримыми ортодоксами, среди них встречались и те, кто справедливо признавал относительность различных оценок, ибо Иван Яковлевич «так хитро маскировал свои действия перед народом, что грешно осуждать тех, кто его принимал за сумасшедшего; нужны были и время, и особое настроение души, чтобы видеть в нем истинного подвижника»<sup>11</sup>.

Помимо тех современников, кто видел в Иване Яковлевиче «лжепророка» или «истинного подвижника», были и те, кто пытался объяснить его феномен с научных позиций. Так, князь Алексей Долгоруков в своем сочинении «Органон животного месмеризма» (СПб., 1860) предполагал наличие в юродивых «прозерцания, т.е. бодрственного сомнамбулизма». Я. Горицкий также опирался на научные достижения своей эпохи для характеристики юродивого и, привлекая данные физиогномики, описывал «высокий лоб (признак великого ума)», «лысую голову (знак великих дум, а может быть, только печать болезни, трудов и 80-ти летней старости)», «какое-то придавленное лицо (вероятно изменившееся в такой вид от приближения к нему в то время враждебного духа»<sup>12</sup>).

<sup>10</sup> Там же. С. 11, 17.

<sup>11</sup> Киреев А.Ф. Юродивый Иван Яковлевич Корейша. М., 1898. С. 24.

<sup>12</sup> Речь идет о посещении Корейши И.Г. Прыжковым 28 августа 1860 г.



А вот еще одна точка зрения на проблему юродства и безумия. Неизвестный автор, посетив прославленного обитателя Преображенской больницы незадолго до его смерти, писал:

«Он похож был на старика, пришедшего в детство... У меня не доставало духу говорить с Иваном Яковлевичем. Каждый мой вопрос был бы насмешкою над несчастным стариком. Мне даже странным показалось и то, что окружавшие его люди считались в полном разуме и не имели претензий на вакансии в этой больнице!»<sup>13</sup>

В целом, данные размышления проникнуты духом тихой грусти и некоторой робостью перед тайнами судьбы и природы, созвучными современным взглядам на сумасшествие. В больнице для умалишенных, там, где автор надеялся найти покой и отдохновение от суеты и волнений мира людей умных, он нашел печальных и тревожных пациентов, одержимых каждый своей мыслью и не знающих истинного блаженства свободы от мирских забот. В заключительных словах статьи звучит некоторая растерянность человека, ожидавшего ощутить среди умалишенных, исключенных из земного мира, дуновение божественного покоя, а столкнувшегося с искаженным отражением собственного мира.

Итак, фигура Ивана Яковлевича действительно была заметна на духовном горизонте русского общества середины XIX столетия. Толпы скорбящих на похоронах, дебаты в печати и даже бюсты, продававшиеся еще при жизни героя... Но был ли Иван Яковлевич исключительным явлением для своего времени? Нет. Из тех же заметок Прыжова следует, что в Москве тогда насчитывалось 26 пророков, в той или иной мере пользовавшихся народной любовью. И даже в самой Преображенской больнице до помещения туда Корейши находился блаженный крестьянин Александр Павлович, к которому многие горожане обращались с житейскими вопросами о будущем и получали ожидаемую помощь, а после смерти Корейши, по воспоминаниям современников, еще один юродивый занял место пророка в безумном доме.

Так что же изменилось в сознании людей, если юродивый, с древнейших времен находившийся вне мира, не подчинявшийся ни светской, ни церковной власти и обитавший на улицах города, зачастую на особой сакральной территории – возле церкви, в XIX в. оказался запертым в больничной палате «в кругу людей, лишенных рассудка и смысла человеческого»<sup>14</sup>?

Чем было сумасшествие для средневекового сознания? Почему юродивые в средние века подвергались побоям и поноше-

<sup>13</sup> Больница умалишенных // Развлечение. Т. VI. 1861. С. 136.

<sup>14</sup> Киреев А. Ф. Указ. соч. С. 7.

ниям? Для нас сегодня достаточно сложно объяснить этот факт, ведь призванная определить всю жизнь средневекового человека христианская этика говорила о любви, прощении и сострадании к ближнему. Неужели все дело заключалось в простой жестокости и нетерпимости людей, нарушавших религиозные императивы? На наш взгляд, этот вопрос был гораздо труднее, так как корень проблемы заключался прежде всего в том, что для современников невероятно сложно было отличить юродивых (еще не проявленных в своей святости и тщательно ее скрывавших) от дураков, богохульников и одержимых бесами. Весьма показателен эпизод в «образцовом» для русской агиографии житии Андрея Царьградского<sup>15</sup>, где передается разговор молодых людей, избивших юродивого, а затем, по его предсказанию, висеченных караулом:

«А один из них, завязав разговор, произнес: "Проклятье сатане, братья, как мог юродивый предсказать нам это?" А другой: "Разве ты не знаешь, глупец, что демон передает своему пособнику то, что хочет сотворить? Ведь демон, обуявший того, над кем мы насмеялись, тотчас с нами сотворил такое же." А первый отвечает: "Нет, говорю я вам, мне кажется, это за то, что мы избili его нещадно, Бог отплатил нам." Снова говорит другой: "Выходит, дурень, Богу есть дело до юродивого? Да Бог наслал на него демона, а мы в шутку побили его, и нечему удивляться. Ведь если бы он был святым, ты смог бы убедить меня, что Бог отплатит нам; но раз он сумасшедший, Бога это не волнует"<sup>16</sup>.

Итак, согласно христианским представлениям, подлинными сумасшедшие есть «боголиши», «похабы», лишенные божественного покровительства и достойные презрения и поругания за свои безумные выходки. Точно так же и юродивые, скрывавшие свое духовное служение под маской слабоумия, зачастую подвергались побоям за провокационные действия, вызывавшие возмущение окружающих. Но почему же религиозная мораль предписывала гнать безумцев, а не вразумлять, прощать или просто терпеть их непотребства? Объяснение гонению на убогих, казалось бы противоречащему христианской этике, можно найти в «Слове святого Иоанна Златоустого о христианстве», включенном в популярный в Древней Руси сборник «Измарагд», где говорится следующее:

«Ведь это страшный сатанинский замысел. Он ведь зрелища приду- мал, шутов разных, насмешников обучал, чтобы теми злыми делами погубить и тех, кто смотрит: и смотрящий не то ли же самое делает? Если, кто смотрит на тех шутов, смеясь, то они еще больше глумиться

<sup>15</sup> Житие византийского юродивого Андрея Царьградского (прославился в IX в.) было переведено на русский язык в XII в., снискало большую популярность у читателей и послужило образцом для русских житий юродивых.

<sup>16</sup> Житие Андрея Юродивого. СПб.: Алетейя, 2001. С. 24.

будут. Злословника и шута того следовало бы, побив, прогнать, но глядя на них и дивясь, на зло их подталкивают»<sup>17</sup>.

Таким образом, юродивые, творившие непонятные окружающим кощунства и пакости на глазах у народа, порой вели себя как вышеупомянутые шуты, а потому заслуживали поругания по установленным церковью правилам обращения с бесовскими пособниками, и это поругание носило характер борьбы не столько с самими похабниками, сколько с их тайным господином – дьяволом.

Чтобы понять, как окружающие могли воспринимать юродивых, нужно восстановить тот фон, на котором совершался их духовный подвиг, ведь наряду с юродством существовали такие формы «нестандартного» поведения, как скоморошество, нищенство или выходки подлинных сумасшедших. «Стоглав» (1550 г.) упоминает лживых пророков, которые «наги и босы, и волосы, отростив и розпустя, трясутся и убиваютца, а сказывают, что им являютца с(вя)тая Пятница и с(вя)тая Анастасия и велят им заповедати хр(и)стианом каноны завечивати»<sup>18</sup>. Кроме того, Средневековье знало и многочисленных бесноватых, подпавших под власть дьявола. При такой богатой гамме отклонений от традиционного христианского образа жизни для человека было вполне естественным видеть в поведении юродивого происки дьявола, а потому и преследовать его орудие. Тем более, что юродивые и сами часто вели себя как богохульники. Пример тому – случай с Василием Блаженным, описанный в одном из списков жития. Василий прилюдно разбил чудотворный образ Богоматери, за что был приведен на суд к царю. Позднее выяснилось, что под образом Богоматери соблазненный дьявольскими посулами иконописец написал самого сатану. Однако для нас здесь важно отметить прежде всего то, что не обладавшие духовной прозорливостью Василия простые люди были на житейском уровне совершенно правы, воспринимая его поступок как святотатство.

Таким образом, для окружающих проблема юродства заключалась в невозможности понять, от Бога или от дьявола проистекало непонятное поведение юродивого, и только после его смерти, когда Бог прославлял чудесами своего угодника, церковь могла решить эту проблему, канонизировав нового святого. Но почему юродивые при жизни добровольно принимали вид безумцев, одержимых бесами, провоцируя гнев рядовых соотечественников? А.Л. Юрганов, проанализировав эпизод из жития Андрея

<sup>17</sup> Слово святого Иоанна Златоустого о христианстве // Домострой. СПб.: Наука, 1994. С. 300.

<sup>18</sup> Емченко Е.Б. Стоглав: Исследование и текст. М.: Индрик, 2000. С. 311.

Царьградского, где святой просил Бога уничтожить записи бесов, отмечавших имена гонителей святого для приготовления им посмертных мук, пишет: «юродивый «ругается мируи всему», вызывая огонь на себя. Люди бьют его, как "похаба". Бесы каждый раз радуются, что эти люди погибают. И каждый раз они ошибаются, потому что святой просит Бога не наказывать их. Бесы не получают своей жертвы. Они осмеяны»<sup>19</sup>.

В XIX в. акценты в восприятии юродства и сумасшествия сместились. Проблема борьбы с дьяволом отошла на второй план, уступив место вопросу о просвещенном сознании. Но по существу, мотив борьбы между светом и тьмой, трактованной ранее как борьба Бога и дьявола, святости и греха, добра и зла, всего лишь трансформировался в тему борьбы просвещения и суеверия, разума и дикой необразованности. Потому неудивительно, что вопрос об оценке юродского поведения разжигал нешуточные страсти в общественном мнении середины XIX в. Однако участники споров о И.Я. Корейше в печати, так или иначе отражают умонастроения, царившие в образованных кругах столичного общества. Что же можно сказать об отношении к блаженным простого люда? Прежде всего бросается в глаза то, что Иван Яковлевич при жизни и, в не меньшей степени, после смерти, был окружен трепетным почитанием своих поклонников. Многотысячная процессия желавших проститься с юродивым свидетельствует о глубокой укорененности в сознании простых горожан идей о нравственном подвиге блаженного и его заступничестве за христиан перед Богом. Приведем также некоторые примеры отношения к другим современным Ивану Яковлевичу юродивым, взятые из различных источников:

Монастырское начальство, видя бесконечные причуды Паисия, но не уразумевая духом открывшейся в нем благодати Христовой, стало смотреть на него как на душевнобольного и не в состоянии было придумать никаких мер к предотвращению его дальнейших юродств. Одни считали праздношатающим, другие брезговали из-за нечистоплотности, третьи смеялись, но некоторые издевались и били<sup>20</sup>.

\*\*\*

Простолюдины называли его гадателем, вещуном, пророком, мудрым человеком; а люди образованные – юродивым, помешанным; иные думали и так, что это человек болезненный, носящий в своей крови много магнитной силы, и потому могущий свободно говорить о прошлом и будущем. Некоторые же толковали, что, смолodu испорченный приказчиком, узнает он прошедшее, настоящее и будущее

<sup>19</sup> Юрганов А.Л. Нелепое ничто, или Над чем смеялись святые Древней Руси // Каравашкин А.В., Юрганов А.Л. Опыт исторической феноменологии. Трудный путь к очевидности. М.: РГГУ, 2003. С. 224.

<sup>20</sup> Там же. С. 29, 69.

человека под влиянием духа злобы. (О юродивом Иване Семеновиче Дудычкине 1780-1850)<sup>21</sup>.

\*\*\*

Многие и ныне говорят, что Макар в книгах зачитался, оттого и сделался юродивым<sup>22</sup>.

Как видно, оценки юродства в народной среде в XIX в. были весьма разнообразны. Здесь можно встретить и отголоски научных изысканий, и признание юродства как божественной благодати, и древнюю веру в одержимость бесами. Однако важнее всего отметить, что единый код восприятия юродивого как божьего избранника, скрывающегося под маской бесноватого, в эту эпоху уже утерян, а потому теперь юродивый в качестве душевнобольного может быть локализован в специальном учреждении – больнице, где специалисты гадают не о том, божьим или дьявольским орудием является их пациент, а наблюдают душевную болезнь или ищут научные методы для ее излечения.

Подводя итоги, стоит сказать, что последний из приведенных примеров о чтении как причине юродства, каким бы парадоксальным он ни выглядел на первый взгляд, может пролить свет на глубокие изменения, происходившие в религиозном сознании людей с эпохи Средневековья или, говоря другими словами, на изменение ментальности в XIX столетии. Дело в том, что в «скорбном листе» (истории болезни) Корейши слабоумие больного расценивалось как помешательство на почве чрезмерного увлечения чтением священных книг. История болезни была составлена лечащим врачом, представителем научной интеллигенции, а потому особенно важно отметить, что как в образованных кругах, так и в народной среде в эту эпоху буквальное следование в жизни заповедям священных книг расценивалось уже не как норма христианского поведения, а скорее как отклонение, граничащее с душевным расстройством. Нельзя утверждать, что в XIX в. люди стали менее благочестивыми и набожными, но религиозность развивалась вместе с развитием сознания, и даже Библия в век Наполеона и декабристов была уже не той Библией, которую знал средневековый человек.

<sup>21</sup> Юродивый Иван Семенович Дудычкин // Воронежский епархиальный вестник. 1995. № 1–2. С. 11. Публикуется воспоминание некоего А.Н., современника юродивого, без указания источника.

<sup>22</sup> Колосов В.И. Тверской архив (Михаил Петров. История о юродивом тверском посаднике Макаре Васильеве сыне Гончарове, собранная и виденная самим мною, описателем жития его, и слышанная от достоверных людей) // Дядя Ваня: лит. альм. Чеховского общ-ва. М., 1992. Вып. 3. С. 12.

## ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ ВО ВЛАСТИ

---

Т.Н. Гелла (Орел)

### УИЛЬЯМ ПИТТ СТАРШИЙ ГЛАЗАМИ ЛОРДА РОЗБЕРИ, ПОЛИТИКА И БИОГРАФА РУБЕЖА XIX–XX ВЕКОВ

На протяжении многих веков жанр исторической биографии всегда привлекал внимание исследователей. Биографические труды тем более вызывают интерес, когда в роли исследователей предстают не профессиональные историки, а представители других профессий, в частности политики. Когда политик пишет биографию государственного деятеля другой или же современной ему эпохи, то это в определенной степени позволяет понять и оценить многогранность личности самого автора труда, его взгляды, мироощущение, восприятие прошлого и настоящего. Герой повествования, его жизнь и деятельность предстают в таких произведениях сквозь призму жизни и деятельности автора. Примером может являться биография Уильяма Питта Старшего, написанная известным британским либеральным политическим деятелем рубежа XIX–XX вв., премьер-министром Англии в 1894–1895 г. лордом Розбери.

До появления работы Розбери в свет в 1910 г. биографию лорда Чэтэма уже писали такие малоизвестные и известные авторы, как У. Годвин (1783 г.), Ф. Теккерей (1827 г.), Т.Б. Маколей (1834 г.), У.Д. Грин (1901 г.), Ф. Харрисон (1905 г.) и др. Чем же был обусловлен интерес лорда Розбери к личности У. Питта Старшего, государственного деятеля середины далекого XVIII века?

Возможно, именно в этом человеке Розбери увидел родственную душу, поскольку У. Питт Старший вошел в историю Великобритании как символ английского колониализма, а его «идеалом было мировое могущество Англии и ее безраздельная власть над морями»<sup>1</sup>. Осознание значимости империи для судеб Англии и английского народа, для усиления экономического и политического величия страны на международной арене, с одной стороны, и с другой, придание имперским чувствам англичан патриотической направленности и идеологической обоснованности цивилизаторской мис-

---

<sup>1</sup> Бугашев С.И. Уильям Питт старший: политическая биография. СПб., 1998. С. 4.

сии «белого человека» сближало Розбери, политика и идеолога новой империалистической эпохи конца XIX в., с взглядами У. Питта Старшего, видевшего в борьбе за колонии необходимую «защиту национальных интересов Британии»<sup>2</sup>. Не менее важным моментом, обусловившим интерес Розбери как специалиста в области внешней политики к этому государственному деятелю, является то, что У.Питт сыграл важнейшую роль в истории Великобритании, направляя ее внешнеполитический курс. В связи с этим обращение Розбери к биографии У. Питта Старшего вполне объяснимо.

Другим мотивом, побудившим лорда Розбери приступить к жизнеописанию лорда Чэтэма было то, что оба они в свое время возглавляли британские кабинеты. (Питт был занесен в книгу рекордов Гиннеса как единственный глава кабинета в Великобритании, занимавший пост госсекретаря<sup>3</sup>.) Жесткая, упорная борьба за высший пост в государственной системе Англии была важнейшим фактом биографии обоих политиков. Недаром, внимание Розбери привлекает именно тот период жизни У. Питта, когда он только боролся за то, чтобы стать членом правительства и занять пост госсекретаря Южного департамента (т.е. до декабря 1756 г.). Интриги политических противников, противоборство со стороны своих же коллег по партии, игравшие немаловажную роль позиция и личная симпатия или антипатия монарха (в случае с Питтом – отношение к нему короля Георга II, а в случае с Розбери – королевы Виктории), с одной стороны, а с другой, поддержка друзей и единомышленников, авторитет в политических и общественных кругах как прекрасного оратора и заслуживающего уважения и признания лидера – все это характерно для карьеры как У. Питта, так и лорда Розбери. Возможно, именно эта «схожесть» при наличии все же серьезных расхождений в их биографиях (происхождение и богатство Розбери, его быстрое восхождение в отличие от лорда Чэтэма на политический Олимп) определила интерес Розбери к этому политику на ранних этапах его деятельности (в 1730 – начале 1750-х гг.).

Еще одним менее значимым, заслуживающим внимания фактом является и то, что оба – У. Питт и лорд Розбери – в политических кругах представляли интересы наиболее агрессивной части английской буржуазии и аристократии. И если в XVIII в. слияние деловых интересов и капиталов буржуазии и земельной аристократии только набирало обороты, то к концу XIX в. этот процесс достиг своего апогея, о чем свидетельствовал анализ социального положения

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Там же. С. 67.

депутатов парламента и их принадлежность к деловым кругам<sup>4</sup>. Да и сам Розбери являлся типичным представителем союза родовой аристократии с финансовыми и деловыми кругами (он был женат на Ханне Ротшильд). Оставаясь в душе приверженцем вигских аристократических традиций, Розбери в то же время воплощал в себе новые тенденции быстро развивающегося монополизирующегося промышленного мира. Отсюда его интерес и уважение к человеку XVIII в., который в свое время – время начала бурного промышленного развития – пытался стать выше узких сословных рамок и руководствоваться национальными интересами страны.

Таким образом, у Розбери были причины и мотивы, побудившие его заняться написанием биографии У. Питта Старшего. Сам же автор объяснил свой интерес к жизни и деятельности этого политика тем, что тот прошел сложный путь в своей карьере: он должен был «прислуживать недостойному королю и его дамам», он был объектом «насмешек и оскорблений». Но несмотря на все это, Питт завещал потомству одно из самых прославленных имен в английской истории. Поэтому, по мнению Розбери, задача биографа как раз и состоит в том, чтобы показать, как при неблагоприятных обстоятельствах можно было достичь таких высоких результатов<sup>5</sup>.

Обращаясь к труду лорда Розбери, посвященному ранним годам жизни У. Питта Старшего, необходимо отметить, что автор выступил здесь вполне опытным биографом. Цель своей работы он определял как «описание борьбы и восхождения» У. Питта к вершине политической карьеры, для чего использовал различные виды источников и публикаций. Он утверждает, что достаточно полно описать жизнь Питта «не только трудно, но и невозможно», поскольку отсутствуют необходимые для этого факты<sup>6</sup>. Розбери замечает, что «бумаги Дропмура (Droptmore)» проливают некоторый свет на ранние годы жизни политика, но в то же время высказывает сожаление, что нет материалов о его «личной жизни». С того момента, когда он в 1756 г. занял министерский пост, он делал обычные записи и заметки и «окутал себя тайной», за исключением тех случаев, когда выступал перед публикой. По мнению Розбери, именно в речах во многом проявлялся его характер, «его натура»<sup>7</sup>.

Надо отдать должное Розбери – он проделал большую исследовательскую работу. Им были изучены и проанализированы

<sup>4</sup> Thomas J.A. The House of Commons. 1832–1901. Study of its Economic and Functional Character. Cardiff, 1939. P. 20.

<sup>5</sup> Rosebery, earl. Chatham. L., 1910. P. VIII.

<sup>6</sup> Ibidem.

<sup>7</sup> Ibid. P. IX.



документы из личных архивов Дропмура (Dropmore Papers), Чэтэма (Chatham MSS), лорда Камерфорда (Camerford MS), лорда Гренвилла (Granville Papers), лорда Марчмонта (Marchmont Papers) и др. Широко в работе представлена мемуарная и эпистолярная литература: здесь и воспоминания Самюэля Роджерса, «Автобиография» лорда Дандональда, мемуары леди Эстер Стэнхоуп и т.д., а также письма леди Саффолк, миссис Монтегю, Ораса Уолпола, лорда Честерфилда и др. Также Розбери привлек материалы из сборника документов «Корреспонденция Восемнадцатого столетия» (An Eighteenth Century Correspondence) и рукопись лорда Камерфорда под названием «Семейные характеры и анекдоты». Безусловно, работа не была бы полноценной, если бы в ней не были представлены материалы парламентских дебатов. Поэтому Розбери во многом и строит свое повествование на привлечении и анализе парламентских выступлений как самого У. Питта, так и других политических деятелей изучаемой им эпохи.

Серьезность его подхода к созданию политической биографии характеризуется еще и тем, что он изучил литературу, посвященную международным событиям середины XVIII в. и жизнеописанию различных политических и государственных деятелей того времени. Так, в своей работе Розбери обращается к известным произведениям Ф. Теккерея и Т.Б. Маколея, а также У. Кокса (биографии Г. Уолпола и П. Пельгема), Дж. Харриса (биография лорда Хардвика), Клименсона (биография Э. Монтегю), Р.Дж. Филлимора (публикация мемуаров и переписки Литтлтона), А. Бэллантъюна (биография Картерета). Не обошел своим вниманием Розбери и очерки Темперли об англо-испанской войне конца 1730-х гг., работы Л. Стефена «Английская литература и общество в XVIII веке» и Р.Ваддингтона, посвященную правлению Людовика XV (на французском языке) и т.д. К сожалению, ни в начале своего труда, ни в конце его Розбери не приводит полностью списка использованных им работ. Поэтому восстановить в полной мере источниковедческую и библиографическую базу данного произведения представляется затруднительным. Но несмотря на это, широкое привлечение Розбери источников и литературы придает его труду исследовательский характер и делает его научно значимым.

Интересно, что во вводной главе Розбери пытается определить роль и место биографа и его отличие от историка. Можно легко отразить, замечает он, путь человека как государственного деятеля, его речи и выступления, его триумф, наконец. И это изложение фактов будет называться биографией. Но отражают ли эти факты действительно реального человека, задается он вопросом. Розбери

пишет, что у авторов «наблюдается постоянная тенденция забывать, что сферы истории и биографии, хотя часто они и совпадают, безусловно, различны: для историка – это летопись жизни нации, для биографа – жизнь отдельных людей»<sup>8</sup>. Изложить летопись времени, в которой герой жил, и те контакты, которые он имел с другими людьми – значит показать только часть его жизни:

«Жизнь человека, – пишет Розбери, – это не только общественная жизнь, которая всегда омрачена некоторой необходимой дипломатией и которая иногда только маска; эта жизнь состоит из тысячи соприкосновений множества света и оттенков ...». А люди хотят знать, и биограф, вероятно, должен показать, как человек говорит, и – если возможно – что он думает, какова его точка зрения на важнейшие жизненные вопросы, какой он в часы покоя, как он наслаждается, как он отдыхает, одним словом, «какой он без своего парика и шляги, в своем халате и комнатных тапках», «с другом ли, с книгой или с сигарой»<sup>9</sup>. «Это половина или даже три четверти самого человека...», – заключает Розбери.

Таким образом, задачу биографа он видит в раскрытии и описании различных сторон деятельности своего героя, всестороннем освещении его поведения в повседневной жизни, в показе мира его увлечений. Однако в случае с Чэтэмом Розбери отмечает, что это крайне трудно, поскольку он окружил себя «туманом таинственности», «не раскрыл себя ни словом, ни на бумаге»<sup>10</sup>. Именно ранним годам жизни У. Питта Старшего, о которых, по мнению Розбери, мало известно, и посвящает он свой труд.

Так что же все-таки привлекло политика рубежа XIX–XX вв. в У. Питте, лорде Чэтэме? Чем он ему интересен? Как Розбери объясняет те или иные его поступки и решения? Выступает ли автор беспристрастным рассказчиком или же ему свойственно проявление симпатий по отношению к своему герою? Мы не будем останавливаться на биографии У. Питта Старшего как таковой, в центре нашего внимания – лорд Розбери как биограф, его приоритеты, его интересы, его манера подачи материала.

Написанная Розбери биография – это довольно объемный труд, насчитывающий 516 страниц, с именным указателем в качестве приложения. Структура работы в целом выдержана в традиции хронологического изложения материала, хотя имеются и некоторые отступления. Розбери доводит биографию Питта до декабря 1756 г., когда тот получил пост госсекретаря Южного департамента в формально возглавляемом герцогом Девоншир кабинете.

Поскольку Розбери поставил своей целью показать молодые

<sup>8</sup> Ibid. P. X.

<sup>9</sup> Ibid. P. X–XI.

<sup>10</sup> Ibidem.

годы У. Питта, то, естественно, он обращается к описанию его детства и юношеского возраста, процессу формирования тех черт характера, которые впоследствии проявились в нем уже как известном политике. Поэтому первые главы он посвящает истории семейства Питтов, уделяя достаточно много внимания людям, которые окружали молодого Уильяма. В центре его повествования – взаимоотношения Уильяма с его дедом Томасом Питтом, отцом – Робертом, с братом Томасом и пятью сестрами. Кстати, он проводит некоторую аналогию в характерах Уильяма Питта и его деда, бывшего некоторое время губернатором Мадраса, в частности, пишет «об энергии, высокомерии, уверенности в своей силе, бросающихся в глаза в них обоих»<sup>11</sup>. Он описывает Томаса как «стройного», «грациозного», «увлекающегося охотой и спортом», «любящего музыку и танцы» человека<sup>12</sup>. Но биографу удалось проследить и сложные взаимоотношения между братьями.

Уже в начале своего повествования Розбери стремится обрисовать ту обстановку, в которой шло формирование характера Уильяма. Он описывает его школьные годы, используя для этого различные источники: пару школьных счетов, письма куратора и письмо самого Уильяма к своему отцу. Розбери делает вывод, что учеба в Итоне для мальчика не была счастливым периодом. Будучи инвалидом (с малых лет страдал от подагры), он не участвовал в играх детей. Но именно в этот период «сформировался его характер и интеллект»<sup>13</sup>. В Итонском колледже Уильям проявил себя как способный ученик. Для подтверждения этого Розбери приводит письмо м-ра Бурчетта, итонского наставника, адресованное его отцу – Роберту. Жизнь молодого Питта в Оксфорде (до 1727 г.) Розбери прослеживает по приведенным в работе письмам м-ра Стоквелла (его учителя) и письмам самого Уильяма к отцу и матери<sup>14</sup>.

В 1830 г. У. Питт получил назначение в полк лорда Кобхэма в чине корнета. Как пишет отечественный историк С.И. Бугашев, «судьба Питта сложилась таким образом, что это воинское звание было первым и единственным в его жизни»<sup>15</sup>. Розбери не обошел вниманием этот факт в биографии своего героя. Показательно, что он верит в его многогранный талант и гениальность. Так, он пишет, что если бы Уильям не проявил себя как великий оратор, то можно было бы представить, что «его наклонности и талант

<sup>11</sup> Ibid. P. 3.

<sup>12</sup> Ibid. P. 16.

<sup>13</sup> Ibid. P. 30.

<sup>14</sup> Ibid. P. 28, 31–39.

<sup>15</sup> Бугашев С.И. Указ. соч. С. 13.

лежали бы в направлении военной карьеры». Недаром, его дядя – лорд Стенхом, который сам был солдатом и умер когда Уильяму было 12 лет, обычно называл его «маленьким маршалом». Розбери при этом замечает, что судьба Уильяма заключалась в том, «чтобы планировать, а не проводить военные кампании»<sup>16</sup>.

В отличие от Т.Б. Маколея, в работе которого не уделяется внимание детским и юношеским годам жизни Питта, Розбери посвящает две главы взаимоотношениям своего героя с сестрами, причем останавливается в основном на его отношениях с двумя из них – Бетти и Анной. По мнению Розбери, в первой из сестер «кровь Питтов» проявилась с наибольшей силой. «Лицо ангела и сердце всех фурий», – приводит он сказанные о ней слова лорда Камерфорда<sup>17</sup>. Особое внимание Розбери уделяет Анне, которая занималась общественными делами (получила даже пост фрейлины королевы Каролины), писала о Шекспире. Отношения между братом и сестрой длительное время были довольно теплыми, но затем приобретают неоднозначный характер. Розбери замечает, что «рассматривая ее (Анны – Т.Г.) жизнь, мы думаем, что настоящим и единственным объектом ее любви был ее брат Уильям»<sup>18</sup>. Проследившая сложный клубок этих отношений, Розбери приводит их многочисленные письма друг другу, последнее из которых датировано октябрём 1768 г. Их ссоры и разрывы он пытается объяснить поведением самой Анны и в этих конфликтах оправдать Уильяма. Разрыв с Анной в 1746 г. Розбери объясняет тем, что она сблизилась в это время с леди Болинброк, тогда как Питт не хотел усиления влияния Болинброков в своей семье. Причину же обострения отношений между ними в конце 50-х – начале 60-х гг. он видит в том, что Анна хотела получить пенсию, а ее брат не желал чтобы его имя значилось в пенсионном листе<sup>19</sup>. Фактически, биограф оправдывает Питта, замечая, что Анна не имела оснований «притворяться несчастной или заниматься угрызениями совести»<sup>20</sup>. Объясняя свой интерес к истории их отношений, Розбери замечает, что это проливает свет на склонности и привязанности Питта. Подробно осветив эту историю, он приходит, на наш взгляд, к интересным выводам. В конце 4-й главы, рассуждая о судьбе государственных мужей, Розбери пишет, что они «имеют дело с массами, но никогда – с отдельными личностями; они имеют последователей, обожателей и мно-

<sup>16</sup> Ibid. P. 46, 47.

<sup>17</sup> Ibid. P. 49.

<sup>18</sup> Ibid. P. 53–55.

<sup>19</sup> Ibid. P. 85, 116.

<sup>20</sup> Ibidem.

жество завистливых врагов, редко друзей»<sup>21</sup>.

Остальные семнадцать глав своей работы Розбери посвящает рассказу о восхождении У. Питта Старшего к вершине власти. На страницах биографии нашло отражение его сближение с лордом Кобхэмом и вхождение в вигскую группировку «молодых патриотов», начало парламентской карьеры (с 1735 г.) и оппозиционная деятельность в отношении Р. Уолпола по вопросам внешней политики Англии. Розбери подробно останавливается на отношении короля Георга II к Питту и причинах нелюбви монарха к нему. Розбери-биограф уделяет внимание взаимоотношениям Питта со своими товарищами по вигской партии и политическими противниками.

Одно из центральных мест в работе занимают парламентские речи Питта по важнейшим вопросам внешней политики Англии конца 30-х – начала 50-х гг. XVIII в. (англо-испанской войне, политике Англии в период Войны за австрийское наследство и накануне Семилетней войны), когда, по мнению Розбери, шло формирование Питта как политика и оттачивалось его мастерство оратора. Биограф шаг за шагом прослеживает продвижение своего героя вверх, останавливаясь на важнейших эпизодах в его политической карьере, например, на назначении Питта на пост вице-казначея Ирландии, а затем военного казначея в кабинете Пельгэма (1746 г.). Розбери не обошел вниманием и вопрос о расстановке сил в самой вигской партии, борьбу различных группировок за власть, не забывая давать при этом характеристики виднейшим их представителям: лорду Пельгэму, лорду Ньюкастлу, Г. Фоксу, Дж. Литтлтоу и др. Как уже отмечалось, Розбери доводит свое повествование до 1756 г. и завершает его назначением У. Питта на пост госсекретаря Южного департамента.

Для показа процесса формирования У. Питта как политика Розбери-биограф прибегает к различным приемам. Во-первых, он стремится обрисовать ту историческую обстановку, в какой жил и действовал его герой. При этом, Розбери подчас дает интересные оценки и свое видение тех или иных исторических событий. Так, подробно освещая вопрос о Войне за австрийское наследство<sup>22</sup>, он критикует действия прусского короля Фридриха II и австрийской императрицы Марии-Терезии. Насчет последней он замечает, что несмотря на все ее «материнское обаяние», она не столь уж «восхитительна». «Естественно, – пишет он, – что она обязана была сама бороться за свои права и заставить всех, кого могла, сражаться за нее; естественно, что она должна была быть удовлетворена тем,

<sup>21</sup> Ibid. P. 127.

<sup>22</sup> Ibid. P. 203–213.

что вся Европа истекала кровью за то, чтобы она смогла сохранить свои территории». Но мы не обязаны забывать, замечает Розбери, что именно Мария-Терезия готова была пойти на то, чтобы десятки тысяч людей, и не только австрийцев или мадьяр, а всех наций должны были погибнуть за то, чтобы она смогла заручиться поддержкой ее политики, обеспечивающей сохранение ее прав на Силезию<sup>23</sup>. Розбери приходит к выводу о «бесстыдном и неприкрытом цинизме восемнадцатого столетия», когда соперничество между государствами сводилось к борьбе «за добычу» и личную выгоду монарха. Эта картина изменяется после Французской революции, когда Наполеон открыл путь для войны народов<sup>24</sup>.

Вызывает интерес и трактовка Розбери причин Семилетней войн. Во-первых, он описывает международную ситуацию в 1755 г. в Европе и рассказывает о столкновении английских и французских колониальных сил в Северной Америке. Причем, осуждает последних за то, что для достижения своих целей они использовали религиозный фанатизм, распространяемый ими среди «варварских воинов»<sup>25</sup>. Касаясь европейских событий, Розбери подробно анализирует политику ведущих держав (Пруссии, Франции, Австрии, России, Англии) и переговоры их правителей в целях привлечения союзников, дает оценки англо-русскому договору (январь 1756 г.) и франко-австрийскому (май 1756 г.)<sup>26</sup>. Он обращает внимание читателей на позицию России и отношение императрицы Елизаветы к прусскому королю. Розбери пишет, что Фридрих II обнаружил, что «круг вокруг него сжимается. Три оскорбленные женщины (императрица Елизавета, императрица Мария-Терезия и мадам Помпадур – Т.Г.) направили силы трех империй против него». Ему ничего не оставалось, как противопоставить им «свою собственную страну, Британию и самого себя». Зная о «заговоре против себя», он решает использовать преимущества внезапного нападения. «Подобно леопарду он совершил прыжок на Дрезден», – образно характеризует он политику Фридриха. И прежде чем саксонцы поняли что случилось, он имел «деньги, армию и компрометирующие документы, оправдывающие его действия»<sup>27</sup>.

Весной 1756 г. отношения между Англией и Францией обостряются, одной из причин чему послужил захват 28 июня французами о. Минорка, являющегося важнейшей стратегической базой англи-

<sup>23</sup> Ibid. P. 214–215.

<sup>24</sup> Ibid. P. 215.

<sup>25</sup> Ibid. P. 395–397.

<sup>26</sup> Ibid. P. 400–401.

<sup>27</sup> Ibid. P. 402.

чан на Средиземном море. Британский флот под командованием адмирала Джона Бинга, прибывший в Средиземное море с опозданием, не смог оказать существенную помощь английскому гарнизону острова и вынужден был отойти к Гибралтару. Эти события стали известны в истории как «дело Бинга»; лондонское правительство обвинило адмирала в потере Минорки и он был казнен.

Историки по-разному трактуют эти события. Маколей, например, считал «наказание адмирала и несправедливым, и нелепым»<sup>28</sup>. Розбери дает свое видение событий. С одной стороны, он пишет, что Бинг, будучи смелым военным, отплыл к Гибралтару, думая, что Минорка уже потеряна, и исходя из этого, он соответственно и действовал, без должной «энергии и средств». Но, по мнению Розбери, в этом больше виновны правители Англии. С другой стороны, строительством форта на Минорке занимался лорд Кадоган и делал это недостаточно хорошо. Поэтому Розбери приходит к выводу, что вина за потерю Минорки, «потерю, которая никогда не будет забыта или прощена», должна пасть на голову Кадогана, а не Бинга<sup>29</sup>.

Характерно, что Розбери-биограф стремится дать собственную трактовку тем или иным событиям и оценки действиям известных государственных и политических деятелей, не забывая при этом анализировать взгляды и позиции самого У. Питта. Наглядным примером могут служить сюжеты, посвященные взаимоотношениям короля Георга II и Питта.

Восьмую главу своей работы Розбери полностью посвящает личности английского короля и дает интересную характеристику Георгу. Он отмечает, что на первом месте были его амбиции «ловеласа», на втором – солдата. Розбери не соглашается с Р. Уолполом (тот отозвался о Георге как о «труссе»), поскольку считал его одним из храбрейших воинов среди принцев своей нации. Он пытается оправдать поведение и политику Георга, его «политическую неосторожность» системой воспитания, в частности, тем, что он не покидал Германии до 31 года, а вступил на английский престол только в возрасте 44-х лет, и тем, что он оказался в чужой стране. Поэтому Розбери не упрекает Георга в пренебрежении английскими интересами, поскольку в первую очередь он был ганноверцем и британцем во вторую. В связи с этим в глазах англичан его вина – а в других обстоятельствах это рассматривалось бы как достоинство – заключалась в его приверженности к Ганноверу<sup>30</sup>. И еще не раз Розбери обращается в своей работе к вопро-

<sup>28</sup> Маколей Т.Б. Полн. собр. соч. Т. 2. СПб., 1861. С. 297.

<sup>29</sup> Ibid. P. 452.

<sup>30</sup> Ibid. P. 193–195, 198.

су о ганноверских позициях Георга II.

Как известно, на протяжении XVIII в. в развитии внешней политики Англии наметились две тенденции. Первая – борьба за колонии, вторая – за утверждение в Европе с целью защиты Ганновера (владения королей Георгов которые одновременно являлись и его курфюрстами). Именно в дискуссиях по второму направлению в 40-х – начале 50-х гг. столкнулись позиции Георга II и его партии, с одной стороны, и оппозиционно настроенных политиков, одним из лидеров которых являлся У. Питт Старший, с другой. Розбери неоднократно обращается к его выступлениям в парламенте по «ганноверской» политике Англии, проводимой королем и его министрами<sup>31</sup>. Во время этих дискуссий в 1744 г. Питт выдвинул тезис: «Мы должны оказывать помощь своим союзникам деньгами и действиями флота, так как море есть наша естественная основа и опасно для наших свобод вооружать большое количество людей»<sup>32</sup>. Но такая политика приходила в противоречие с позицией Георга II и его министра Дж. Картерета, который сменил на посту главы кабинета Р. Уолпола. Противоборство между королем и Питтом, по мнению Розбери, непосредственно отразилось на политической карьере последнего. Как известно, Георг II постоянно вплоть до 1756 г. тормозил вопрос о включении Питта в состав кабинета на пост военного министра, на который он претендовал, или же на другой политически значимый.

Розбери задается вопросом, почему Питт, еще молодой, далеко неопытный политик, придерживался такой критической, даже жесткой линии в отношении монарха, для которого «честь и благосостояние Ганновера и ганноверцев – это все» (Речь идет о выступлении Питта в парламенте в 1742 г.). Если он мечтал о министерском poste, а он действительно мечтал, то тогда он действовал «как самоубийца». С другой стороны, он действительно был обижен на короля за то, что его обошли при формировании правительства лорда Картерета. Розбери пытается объяснить тактику Питта его патриотическим настроением. В своих речах он обращался не ко двору, который был «иностраным, аморальным и непопулярным», а к народу. И хотя не все высказывания Питта доходили до него, но все же «эхо» разносилось по трем королевствам о том, что в стенах парламента есть оратор, который защищает интересы нации<sup>33</sup>. При этом Розбери не может не указать все же на личностные мотивы, которыми руководствовался Питт в борьбе с Картеретом. Так, он

<sup>31</sup> Ibid. P. 218, 224–226, 241–242, 444–447 etc.

<sup>32</sup> Цит. по: Бугашев С.И. Указ. соч. С. 64.

<sup>33</sup> Ibid. P. 191.



замечал, что, стремясь сместить его с министерского поста и удалить из «дворцовой камарильи», он действовал, исходя «не из низменных» побуждений, поскольку единственной целью борьбы с ним было стремление показать собственную силу путем уничтожения видного политика, советчика короля<sup>34</sup>.

Лорд Розбери – представитель высшей английской аристократии, и его приверженность к институту монархии объясняется и самим его происхождением, и воспитанием. Возможно, именно это мешало Розбери более объективно охарактеризовать личность Георга II, поскольку несмотря на проскальзывающие сожаления по поводу его привязанности к Ганноверу в ущерб английским интересам, в целом он высоко оценивает этого британского монарха, заявляя, что Георг II «не был плохим королем в условиях того времени». «Возможно, – заключает автор, – он был лучшим из Георгов; лучше, чем Георг I или Георг IV, и как король лучше, чем Георг III<sup>35</sup>. А в отношении взглядов англичан относительно своих королей, он пишет, что они выбирали «своих голландских и ганноверских правителей с открытыми глазами» и поэтому не имеют право выражать недовольство по поводу того, чего те «желают и что приобретают»<sup>36</sup>.

В своей работе Розбери, следуя установившейся в биографической литературе традиции, дает ряд портретов политических и государственных деятелей Англии рассматриваемой эпохи. Так, он характеризует членов семейства Гренвилл, выделяя особо Ричарда и Джорджа, с которыми особо тесно был связан Питт. Показательно, что в подходе Розбери к оценке материального положения их семьи, ее доходов, роли ее представителей в политической жизни страны (среди них было два премьер-министра)<sup>37</sup> проявляется его явное преклонение перед значимостью английской аристократии в обществе в целом.

Вигский аристократизм Розбери прослеживается и в его оценке роли в английской истории XVIII в. крупнейшего политического деятеля – Р. Уолпола. Непопулярность Уолпола в общественно-политических кругах страны автор объясняет самой личностью политика. «С начала до конца он в первую очередь был бизнесменом», – пишет Розбери. Если бы он не стал политиком, то несомненно был бы крупнейшим торговцем или финансистом. Розбери также замечает, что «ключ к пониманию характера Уолпола как премьер-министра лежит в его инстинктах» и способностях «как

<sup>34</sup> Ibid. P. 219.

<sup>35</sup> Ibid. P. 200.

<sup>36</sup> Ibid. P. 198.

<sup>37</sup> Ibid. P. 133–135.

человека дела»<sup>38</sup>. Отсюда – ведение государственных дел экономно и мирно. Но если страна желает войны (в данном случае Розбери имел в виду англо-испанскую войну 1739 г.), то Уолпол согласен на ее ведение, хотя и вопреки собственным желанием, при этом он «постарается вести ее дешево»<sup>39</sup>. Однако аристократический снобизм Розбери не мешает ему в целом довольно высоко оценить Р. Уолпола и его деятельность. Непоследовательность его политического курса он пытается объяснить моралью того времени, и, кстати, тем самым оправдывает и Питта, который первоначально осуждал Уолпола за медлительность в испанских делах, а впоследствии утверждал, что тот был прав. По мнению Розбери, Уолпол – «много работающий человек с практическими знаниями дел и сильным здравым смыслом, дальновидный человек, который ненавидел крайности». И в то же время, он обладал «высочайшими способностями парламентского лидера». Упомянув о его смерти в 1744 г., Розбери пишет: «...его постоянство, его смелость, его темперамент, его неисчерпаемый запас энергии, его любовь к миру, его способность управлять и вести дискуссии, его долгое правление процветания – всегда сохранят имя Уолпола среди английских политиков наивысшего ранга»<sup>40</sup>.

При характеристике тех иных государственных и политических деятелей Розбери нередко прибегает к резким эпитетам. Можно без труда определить, вызывает ли этот человек у автора симпатию или же, наоборот, антипатию. Наглядно это проявляется при оценке личности Джорджа Литтлтона. Питт был дружен с ним с детства. Литтлтон входил в группу «молодых патриотов» и был одним из членов вигской оппозиции правительству Уолпола и Картерета. Однако в 1754 г. во время очередного парламентского кризиса он покидает ряды сторонников Питта и входит в состав правительства лорда Ньюкасла, преследуя свои личные цели<sup>41</sup>. Розбери подробно описывает разрыв Питта и Литтлтона и дает последнему следующую характеристику: Литтлтон был многообещающим молодым человеком, но когда пришло время платить по счетам, то оказалось, что «он стал второстепенным политиком, второстепенным поэтом, второстепенным историком». Как политик, он был больше известен «произнесением заранее подготовленных напыщенных речей». В заключение Розбери называет его «педантом»<sup>42</sup>.

<sup>38</sup> Ibid. P. 144.

<sup>39</sup> Ibid. P. 145.

<sup>40</sup> Ibid. P. 145–146, 229.

<sup>41</sup> Бугашев С.И. Указ. соч. С. 36–37.

<sup>42</sup> Ibid. P. 413–414.

Один из приемов, к которым прибегает Розбери как биограф, — это сравнение. Автор использует его при противопоставлении деятельности У. Питта и других британских политиков. При этом, симпатии Розбери, как правило, относятся к его герою. Так, характеризуя отношения между Питтом и Г. Фоксом (начало 50-х гг.), он пишет, что последний «имел все, чего не имел Питт». Фокс был тем, кем никогда не был Питт, — «человеком мира» (a man of world), и он был тесно связан с «избранной аристократической кровью» (т.е. с высшей аристократией), так как женился на дочери герцога Ричмонда. Питт же оставался сельским джентльменом, и, хотя женился на сестре лорда Темпля, смог приобрести только ограниченные и не столь высокие связи. Розбери замечает, что помимо этого между ними было еще одно существенное различие, а именно: «...цели Фокса были низменны и материальны..., и помимо денег он имел и другую слабость. Он страстно желал стать лордом». Ну, а Питт, как писал Розбери, это «рупор народа», «постоянный», «неподкупный» хранитель политики и традиций своей партии<sup>43</sup>.

Интересное сравнение Розбери проводит и между Р. Уолполом и Р. Пилем, известным политиком середины XIX в. Он замечает, что этих деятелей «отличала одинаковая предусмотрительность и миролюбие, практический ум». Они были разными по темпераменту: Уолпол принадлежал к людям с «холодной кровью», тогда как Пиль — с «горячей». Пиль отличался чувствительностью, тогда как Уолпол был ему прямой противоположностью. Но у них была схожесть в политической карьере: оба достигли политических высот, пройдя через «падение» на политической арене; получили всеобщее признание, когда покинули парламент и т.д. Розбери считает, что лучшими годами жизни Уолпола и Пилля были «годы, которые пролетели между окончательной их отставкой и их смертью». Для Пилля это был период поддержки слабого правительства лорда Дж. Рассела (начало 50-х гг. XIX в.) с целью защиты фритреда, который он считал «жизненно важным» для страны, а для Уолпола — время борьбы с якобитским движением в защиту не менее важного для него вигизма<sup>44</sup>.

Говоря о приемах сравнения, которые использует в своей работе Розбери, необходимо остановиться и на сопоставлении XVIII века и рубежа XIX–XX столетий. Он поднимает этот вопрос когда касается эпизода занятия У. Питтом поста главы военного казначейства. Он пишет, что «сейчас» (т.е. в начале XX в.), если человек является смелым политиком и популярным оратором в

<sup>43</sup> Ibid. P. 295–296, 185.

<sup>44</sup> Ibid. P. 230–231.

парламенте и особенно на предвыборной площадке, то он сразу же с радостью соглашается войти в состав кабинета. «Все остальное он презирует», и пост заместителя казначея, например, первоначально предложенный Питту, он бы рассматривал как оскорбление. В XVIII в. было иначе. Политик сам делал себя популярным в стенах парламента, но этого было недостаточно для занятия правительственного поста. Именно монарх «осуществлял контроль», «не совсем абсолютный», «но достаточной эффективный» в отборе министров. Большие посты отдавались преимущественно пэрам, хотя, замечает Розбери, сейчас пэрство рассматривает службу больше как помеху. В те далекие дни ловкий герцог мог иметь все, что выберет. А монархи предпочитали окружать себя «приспешниками» или подчиненными людьми из парламента и таким путем они образовывали «важнейший элемент правительства» того времени<sup>45</sup>.

Каким же видит Розбери У. Питта Старшего-политика? Как политик, У.Питт – выразитель интересов народа. Биограф пишет, что Питт «видел, что его сила происходит от народа, что она основана не только на его гении и красноречии, но и вере в его государственный ум и щепетильную честность». В какой-то степени он был актером и играл на чувствах публики и в стенах парламента. Встав во главе военного казначейства (1746 г.), он сблизился со своими противниками и оппонентами (например, с Ньюкастлом и его окружением), но всегда пытался дать понять народу, что он несколько в стороне «от них и над ними»<sup>46</sup>. Должность военного казначея, хотя и являлась второстепенной, предоставляла хорошие возможности для личного обогащения: через военное ведомство проходили большие суммы денег. И предшественники Питта на этом посту широко использовали открывавшиеся возможности для улучшения своего финансового положения. Как пишет Маколей: «Обычай этот не был тайным и не считался бесславным»<sup>47</sup>. Питт Старший же зарекомендовал себя человеком, отказавшимся от практики получения подношений от иностранных правителей, заинтересованных в военных субсидиях<sup>48</sup>.

Одно из главных достоинств Питта Розбери видит в том, что он был «патриотом», получившим не столь значимый министерский пост. И хотя его друзья в 1746 г. вошли в правительственный кабинет (Джордж Гренвилл и Генри Легг стали членами Совета

<sup>45</sup> Ibid. P. 263–264.

<sup>46</sup> Ibid. P. 258–259.

<sup>47</sup> Маколей Т.Б. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 284.

<sup>48</sup> Бугашеев С.И. Указ. соч. С. 30–31.

Адмиралтейства, а Джемми Гренвиллу было предложено стать членом Совета торговли), для Питта, по мнению Розбери, невозможно было присоединиться к ним, не потеряв при этом части своей популярности, поскольку он зарекомендовал себя как политик, выступавший против короля и его министров – Уолпола и Картрета, и поскольку народ видел в нем «неподкупного героя»<sup>49</sup>. При этом он пишет, что любой политик желает получить государственную должность, и Питт не был исключением: он мечтал стать членом правительства, и даже знал, что будет лучшим министром, чем кто-либо другой<sup>50</sup>. Как видим, Розбери не отрицал честолюбивых планов своего героя.

Важнейшим качеством Питта-политика Розбери считает его ораторское искусство. «Его огромная и единственная сила лежала в его красноречии, – пишет он<sup>51</sup>. Розбери неоднократно превозносит ораторское мастерство Питта, приводит много высказываний современников о его выступлениях, о силе его убеждений и о том впечатлении, которое производили на публику произнесенные Питтом речи<sup>52</sup>. Так, анализируя его выступления в феврале 1745 г. по вопросу о ганноверских солдатах, Розбери пишет, что он проявил себя не как «неистовый герой», но как «ловкий дипломат, уговаривающий и убеждающий»<sup>53</sup>.

Не обошел вниманием Розбери и тактику политической борьбы Питта, которую он сводил к следующему: «бить противника непрестанно с тем, чтобы не дать ему перевести дух или прийти в себя, но в то же время днем и ночью представлять его стране побитым, сбитым с толку и беспомощным до тех пор, пока он не станет жертвой истощения и пока страна не будет настаивать на смещении побежденного противника и на замене его победителем»<sup>54</sup>. Биограф пытается подвести читателя к мысли, что те или иные действия У. Питта Старшего во многом были обусловлены несостоятельностью и слабостью тогдашнего английского правительства, будь во главе его Р. Уолпол, или лорд Картерет, или лорд Ньюкасл. Питт, пишет Розбери, всегда стремился вести свою игру, поскольку верил, что сделает лучше, чем министры, с которыми он вынужден был работать<sup>55</sup>.

<sup>49</sup> Ibid. P. 259–260.

<sup>50</sup> Ibid. P. 261–262.

<sup>51</sup> Ibid. P. 492.

<sup>52</sup> Ibid. P. 494–498.

<sup>53</sup> Ibid. P. 243.

<sup>54</sup> Ibid. P. 449.

<sup>55</sup> Ibidem.

С одной стороны, Розбери рисует Питта как принципиального человека, отстаивающего свои убеждения и охраняющего традиции вигской партии. Но с другой, он не может обойти вниманием и личностные мотивы в его поведении. Примером тому могут служить сюжеты, посвященные истории формирования правительства в 1756 г.<sup>56</sup> Он пишет что Питт понимал определенную слабость своих парламентских позиций, но он также понимал и необходимость разрыва отношений с лордом Ньюкастлом и его министрами. Он должен был, если хотел сохранить уважение народа, отстраниться от этих политиков и их традиций. Розбери замечает, что на это у Питта были свои причины, известные только ему, а сам Розбери и его современники не располагают достаточными для этого сведениями. Тем более, что Питт лучше чем представители другого поколения знал расстановку политических сил при дворе и парламенте<sup>57</sup>. Питт, как отмечает Розбери, понимал, что если он сам не предпримет усилий по урегулированию вопроса о формировании нового правительства, то это сделает кто-то другой, и тогда можно будет оставить идею стать «всесильным министром»<sup>58</sup>.

Таким образом, как бы Розбери ни старался показать У. Питта Старшего выразителем общественного мнения и «глашаемым» народа, он не смог обойти вопрос о том, что этот человек стремился сделать политическую карьеру и занять самый высокий пост в стране. Личностные мотивы играли, следовательно, немаловажную роль в формировании Питта как политика.

Но Питт интересует Розбери не только как политик, но и как человек. Примечательно, что автор в отличие от, например, Маклея, пытается раскрыть и мир увлечений своего героя. Касаясь его личной жизни, автор сожалеет, что о ней известно очень мало, хотя и замечает, что «первое место в его занятиях, без сомнения, занимала подагра». Как известно, Питт с детских лет страдал этой болезнью. Розбери по этому поводу замечал: «Его подагра становится частью истории Англии». И поскольку он нуждался в постоянном лечении, Бат (известный английский курорт в XVIII в.) являлся его вторым домом. Болезнь отражалась на его характере. Значительную часть своей жизни он провел в прострации и в уединении, а его общественная и политическая жизнь в основном проходила в интервалах между приступами болезни<sup>59</sup>.

В начале 30-х гг. Питт совершил путешествие в Европу, посе-

<sup>56</sup> Ibid. P. 456–487.

<sup>57</sup> Ibid. P. 475.

<sup>58</sup> Ibid. P. 486.

<sup>59</sup> Ibid. P. 303, 507–508.

тив Францию и Швейцарию, о чем свидетельствуют приведенные Розбери письма из этих стран<sup>60</sup>. Лишенный возможности заниматься спортом, Питт увлекается планированием и разбивкой парков, посадкой различных насаждений<sup>61</sup>.

Важным событием в жизни Питта была его женитьба в 1754 г. в возрасте 46 лет на 36-летней леди Хестер Гренвилл, сестре Джорджа Гренвилла. Розбери пишет, что очень мало известно о сердечных делах Питта. «Это кажется необъяснимым, но любовные дела часто кажутся необъяснимыми»<sup>62</sup>. Женитьба благотворно отразилась на Питте, "...казалось, любовь преобразила его: всегда энергичный и убедительный, он становится возвышенным»<sup>63</sup>.

Подводя итог своему повествованию, Розбери с восхищением отзывается о У. Питте Старшем. Он находит героические моменты в его жизни и в его карьере. Все было против него: бедность, болезнь, презрение, сложные отношения в семье. Его постоянно обижали, долгое время он должен был хранить молчание, и только в 48 лет он получил власть<sup>64</sup>. В то же время Розбери замечает, что карьера Питта похожа на карьеру других политиков, знающих взлеты и падения.

Чем руководствовался Питт в своей политической деятельности? Розбери считает, что в основе его борьбы лежал патриотизм. Им двигали благородные чувства. Если бы Питт стремился лишь к получению какого-либо правительственного поста, то он бы присоединился в лорду Ньюкастлу или Г. Фоксу. «Но в это время он мечтал — как никто из них — о правительстве, свободном от презрения или недоверия, которое смогло бы вызывать к уважению народа на возвышенной и чистой основе, — констатирует биограф<sup>65</sup>.

В заключение лорд Розбери пишет, что люди склонны создавать себе кумиров, забывая о темных пятнах в их биографии. Но в карьере любого политика они есть. Счастливы те из них, чьи недостатки затмеваются их высокими достижениями<sup>66</sup>. Именно такая судьба была уготовлена У. Питту Старшему.

<sup>60</sup> Ibid. P. 40–46.

<sup>61</sup> Ibid. P. 307–310.

<sup>62</sup> Ibid. P. 352.

<sup>63</sup> Ibid. P. 356.

<sup>64</sup> Ibid. P. 509.

<sup>65</sup> Ibid. P. 510–511.

<sup>66</sup> Ibid. P. 511.

**В.В. Романов**

## **"PAX ANGLO-AMERICANA" УОЛТЕРА ПЕЙДЖА**

Важной особенностью президентства Вудро Вильсона (1913–1921) стало активное привлечение интеллектуалов к разработке и практической реализации политического курса США. Это нашло свое выражение, прежде всего, в приглашении целого ряда видных ученых и авторитетных журналистов на государственную службу. Тем самым Вильсон, без всякого сомнения, сумел усилить потенциальные возможности исполнительной власти.

Из числа интеллектуалов, оказавшихся в кругу ближайших советников президента, особое место следует отвести Уолтеру Пейджу, которому президент поручил возглавить посольство США в Великобритании. Пейдж не был профессиональным дипломатом, всю свою жизнь он занимался журналистикой. Тем не менее, он обладал собственной, вполне оригинальной внешнеполитической концепцией. Он был не только убежденным сторонником активной мировой политики США, но и решительным приверженцем идеи американско-английского сближения. Все это могло сделать Пейджа незаменимым проводником вильсоновского стремления к поиску путей, которые укрепили бы либерально-демократические устои международных отношений. Новый посол США в Лондоне, со своей стороны, имел в распоряжении чрезвычайно важный канал влияния на президента: на протяжении долгих лет он поддерживал постоянную личную переписку с Вильсоном. Отменно владея словом, Пейдж сумел наполнить свои письма в Белый дом разносторонними и талантливими размышлениями по поводу приоритетов американской дипломатии. Его послания были настолько оригинальны и интересны, что Вильсон зачастую читал их в кругу семьи и, естественно, использовал как источник для своих раздумий по международным проблемам. В настоящей статье предпринята попытка анализа внешнеполитических взглядов Пейджа и их воздействия на процесс формирования дипломатического курса США.

Уолтер Хайнс Пейдж (1855–1918) – уроженец штата Северная Каролина. Его отец был родом из семьи крупного плантатора, но по образу жизни и мысли не являлся типичным южанином. В частности, он находился в оппозиции к сецессии и выступал за сохране-



ние союза. Все это, конечно, наложило свой отпечаток на убеждения Уолтера Пейджа. По мнению американского историка Дж. Купера, происхождение сделало Пейджа «южанином в роли американца». Эти слова перекликаются с оценкой другого историка, А. Линка, назвавшего Вильсона «американцем в роли южанина»<sup>1</sup>. Тем самым и Купер, и Линк сумели выявить важную точку соприкосновения мировоззрений Пейджа и Вильсона, которых объединяла вера в универсальность базовых принципов американизма. Сохранение единства севера и юга США во всем их многообразии стало для них наглядным образцом в последующей борьбе за формирование нового многонационального миропорядка.

Еще в студенческие годы Пейдж занялся журналистикой, а после окончания университета при финансовой поддержке отца в одном из небольших городков Северной Каролины он начал издавать собственную газету "State Chronicle", одновременно сотрудничая в столичной прессе. Вероятно, молодого журналиста быстро заметили, поскольку уже в 1885 г. он перебрался в Нью-Йорк, где получил постоянную работу в нескольких престижных журналах. В условиях беспрецедентного увеличения тиражей американских периодических изданий в 1880-90-е гг. Пейдж быстро добился успеха. Он стал сначала редактором, а затем и совладельцем ряда популярных журналов США (1890-1895 - "The Forum", 1896-1899 - "The Atlantic Monthly", 1900-1913 - "World's Work"), партнером крупной издательской фирмы Doubleday, Page and Co.

Внешнеполитические взгляды Пейджа, как и многих других его современников, начали формироваться в условиях начавшейся американско-испанской войны. События 1898 г. найдут отражение в целой серии статей, опубликованных им на страницах "The Atlantic Monthly". Пейдж в тот период полностью поддержал действия администрации США, назвав начавшуюся войну «необходимым хирургическим актом для здоровья цивилизации». Выступая в поддержку аннексии Филиппин, его журнал принял участие в пропагандистской кампании, направленной против антиимпериалистов<sup>2</sup>. Главные проблемы, которые Пейдж затрагивал в своих публикациях, находились тогда в центре «великих дебатов», развернувшихся по всей стране. Нужна ли американцам экспансия на новые территории? Какие опасности для Америки может нести империализм? Однако он сумел привнести в эту общенациональ-

<sup>1</sup> Cooper J.M. Walter Hines Page: The Southerner as American, 1855-1918. Chapel Hill, 1977. P. XVI. Link A.S. The Higher Realism of Woodrow Wilson and Other Essays. Nashville, 1971. P. 21.

<sup>2</sup> Hendrick B.J. The Life and Letters of Walter Page. 2 vs. L., 1930. V. 1. P. 63.

ную дискуссию ряд нюансов, которые высветили существенную оригинальность его внешнеполитических представлений.

Говоря о причинах, толкнувших США к войне, Пейдж, на первый взгляд, отталкивается от известного тезиса о том, что вся история Соединенных Штатов связана с продвижением американцев на запад континента. По его словам, именно в этой экспансии всегда заключался источник сил народа. Добившись же господства на континенте, американцы должны задать себе вопрос:

«Будем ли мы удовлетворены мирной индустрией или в нас еще таится дух приключений наших англосаксонских предков? Подошли ли мы ко времени, когда мы не можем больше ожидать предприимчивости у нас дома и будем ли мы способны добиваться этого за границей?».

Как видим, обоснование экспансии Пейдж находил не только в американских традициях, но и в «духе англосаксонских предков». Но, совсем не настаивая на следовании за великими державами Европы в их соревновании за обладание колониями, он призывал лишь к тому, чтобы США, расширяя свою «предприимчивость», стали частью единого мира. По его словам, участие американцев в различных заморских предприятиях будет способствовать совершенствованию этого мира. В этой связи Пейдж вновь апеллировал к опыту англичан. Оценивая сущность британского колониализма, он указывал, прежде всего, на его цивилизаторские устремления и, видя в этом некий образец, говорил, что США в войне с Испанией действуют под влиянием тех же гуманитарных целей. В письме, которое Пейдж направил своему английскому знакомому, лорду Дж. Брайсу, эта мысль будет выражена еще отчетливее: «Испанская война наглядно проявила, что англоговорящие люди являются друзьями... [в борьбе] за цивилизацию»<sup>3</sup>.

Опираясь на этот вывод, Пейдж в одном из выступлений в 1898 г. подчеркнул, что в современных условиях предостережения Вашингтона и Джефферсона против заключения каких-либо союзов уже оказываются старомодными. Вместо традиционных призывов к изоляции журналист предлагал пойти на подписание договора между двумя англоговорящими народами, который объединил бы их для совместной работы по распространению «цивилизации» в тропиках.

Анализируя позицию Пейджа в период американо-испанской войны, нельзя не согласиться с заключением ряда исследователей о том, что его взгляды ничем не отличались тогда от точки зрения «американских империалистов». Как точно подметил

---

<sup>3</sup> Цит. по: Gregory R. Walter Hines Page, *Ambassador to the Court of St. James's*. Lexington, 1970. P. 14–15.

Дж. Купер, споры между империалистами и антиимпериалистами в США были своеобразным конфликтом поколений: если старые люди видели в империализме в основном его опасности, то молодежь – открывающиеся возможности. Очевидно, что Пейдж относился к последним, размышляя главным образом о новых перспективах, которые открываются перед Соединенными Штатами. Ему, как и многим другим современникам, хотелось быть причастным к чему-то «великому». К примеру, он, несмотря на плохое здоровье, очень хотел принять участие в деятельности комиссии по Филиппинам. Испано-американская война, как и все, что было с ней связано, рассматривалась Пейджем как некая «персональная ответственность». Кстати, примерно ту же логику мышления демонстрировал тогда и Теодор Рузвельт<sup>4</sup>.

Таким образом, базовый принцип внешнеполитических убеждений, разделяемых Пейджем на рубеже XIX–XX вв. («экспансия во имя прогресса») вполне можно считать типичным для того круга людей, который составит ко времени Первой мировой войны политическую и интеллектуальную элиту США.

Важнейшим основанием для «призвания» Пейджа на дипломатическую службу в 1913 г. стала давняя дружба, которая связывала его с Вильсоном. Их знакомство началось еще в 1882 г. в г. Атланте, где молодой репортер "New York World" помог будущему президенту США выступить на выездном заседании тарифной комиссии конгресса. Поэтому вполне закономерно, что в период президентской кампании 1912 г. Пейдж, ставший к тому времени известным публицистом, оказался в команде кандидата от демократической партии. Он консультировал Вильсона по вопросам сельского хозяйства, участвовал в пропагандистской кампании, сборе финансовых средств. После победы демократов многие политические аналитики прочили Пейджа на должность министра внутренних дел или сельского хозяйства<sup>5</sup>. Однако он неожиданно для себя получил предложение занять пост посла в Лондоне.

Такой выбор Вильсона вряд ли был случайным. Он довольно долго искал на этот пост кандидата, способного расширить возможности американо-английского сотрудничества. Дж. Брайс, беседовавший с Вильсоном в феврале 1913 г., выделил слова нового американского президента о том, что, по его мнению, только тесная дружба между Великобританией и Соединенными Штатами может стать самым серьезным условием для поддержания мира на зем-

<sup>4</sup> Cooper J.M. Op. cit. P. 136–138; Белявская И.А. Теодор Рузвельт и общественно-политическая жизнь США. М., 1978. С. 76, 104–105.

<sup>5</sup> Hendrick B.J. Op. cit. V. 1. P. 108–113.

ле<sup>6</sup>. Поэтому Вильсон тщательно искал кандидата на должность посла США в Лондоне. Он предлагал этот пост, например, Ч. Элиоту, президенту Гарвардского университета, Р. Олни, бывшему госсекретарю США. Объединяющей характеристикой этих людей была их отчетливо выраженная проанглийская позиция. Правда, по разным обстоятельствам они поочередно отказались от такого предложения. В результате внимание президента и его ближайших советников было обращено на Уолтера Пейджа, так же широко известного своим англофильством. Уже 26 марта 1913 г. Хауз, занимавшийся дипломатическими назначениями, приветствовал его по телефону обращением «Ваше превосходительство»<sup>7</sup>.

Насколько Пейдж был готов к исполнению новых обязанностей? Несмотря на отсутствие дипломатического опыта, его трудно назвать новичком во внешней политике. Пейдж, как редактор "World's Work", одного из ведущих внешнеполитических журналов США, не только имел широкие иностранные связи, но и свое видение международных проблем. Так, например, после избрания Вильсона президентом Пейдж изложил ему интересное предложение относительно принятия дальнейших внешнеполитических решений (в частности, по Филиппинам). Он рекомендовал создать группу доверенных лиц, которые могли бы подбирать все необходимые материалы, касающиеся того или иного вопроса. Затем, по мнению Пейджа, эти материалы следует передавать для изучения нескольким экспертам (политикам и ученым). Таким образом, подчеркивал он, в распоряжении президента окажется более полный спектр информации, неременной для принятия квалифицированных решений<sup>8</sup>. Другими словами, Пейдж рекомендовал поднять «интеллектуальную планку» американской внешней политики.

После приезда в Лондон Пейдж сохранил тесные контакты с президентом. Практически каждую неделю посол направлял Вильсону личное и очень длинное письмо. Как правило, это было рукописное послание, которое никогда не проходило через какие-либо официальные посольские каналы. Имея такую возможность, Пейдж надеялся добиться личного влияния на президента. Но с другой стороны, именно в этих письмах он видел своеобразный литературный памятник своему посольству. При этом Пейдж всегда стремился говорить Вильсону все, что считал нужным. Однажды Хауз, находясь в Лондоне, увидел письмо, которое посол подготовил для

---

<sup>6</sup> J. Bryce to E. Grey, Feb. 21, 1913 // The Papers of Woodrow Wilson / Ed. A.S. Link. V. 1–69. Princeton, 1966–1994. (Далее – PWW). V. 27. P. 125.

<sup>7</sup> Архив полковника Хауза. Т. 1–4. М., 1937–1944. Т. 1. С. 8.

<sup>8</sup> W. Page to W. Wilson, Jan. 1, 1913 // PWW. V. 27. P. 5.

Вильсона, и нашел, что многие идеи, изложенные в нем, не слишком соответствуют президентской точке зрения. Пейдж отреагировал на это замечание так: «Почему я не могу сказать ему правду? Это то, ради чего я здесь». Интересен и комментарий Хауза по этому поводу. Он отметил, что «нет другого человека в мире, кто отважился бы разговаривать так с ним (Вильсоном – *V.P.*)»<sup>9</sup>. Хауз, видимо, лучше всех знал, что Вильсон не очень жалуется тех советников, которые говорят ему то, что расходится с его собственным мнением. Следовательно, можно заключить, что личная переписка Пейджа с президентом и проявляющаяся независимая позиция посла по многим вопросам, конечно, несли большой потенциал, способный оказать влияние на дипломатию США. Однако в этом крылась и весьма серьезная опасность, поскольку посол, имевший особый взгляд на вопросы внешней политики, мог рано или поздно разойтись во мнениях с главой администрации.

Возглавив посольство США в Великобритании, Пейдж столкнулся с двумя серьезными проблемами, которые грозили испортить американо-английские отношения. К началу президентства Вильсона резко обострился вопрос о взимании сборов при прохождении судов через Панамский канал и ситуация вокруг мексиканских событий. Пытаясь разрешить эти проблемы, Пейдж наглядно продемонстрировал направленность своего внешнеполитического мышления.

Напомним, что с середины XIX в. вопрос о Панамском канале становился предметом нескольких американо-английских соглашений. Как правило, все эти договоренности становились результатом определенных компромиссов, закреплявших возможность совместного использования межокеанских коммуникаций. В частности, договор Хэя-Паунсфота (1901 г.) содержал положение о равенстве сторон при прохождении через канал. Однако в 1912 г. конгресс США принял закон, сокращавший сборы с американских судов. В результате англичане выразили свое крайнее недовольство тем, что американские законодатели односторонне нарушили принятые Соединенными Штатами обязательства. Пейдж разделял эту позицию. В своем письме из Лондона от 28 августа 1913 г. он подчеркивал «нечестность» и «мелочность» американских действий. Отказ от дискриминации в Панамском канале, по его мнению, позволил бы США приобрести даже экономические выгоды и на деле «распоряжаться английским флотом, английскими фабрикантами»<sup>10</sup>. На самом деле эти выгоды были, видимо, сильно преувеличены, но Пейдж прекрасно понимал главное – панамские сборы совсем не стоили того, чтобы

<sup>9</sup> *Hendrick B.J.* Op. cit. Vol. 2. P.22.

<sup>10</sup> Архив полковника Хауза. Т.1 С. 18.

из-за них серьезно ссориться с англичанами. Другими словами, дружбу с главным стратегическим партнером США он ставил выше каких-либо конкретных и сиюминутных преимуществ своей страны.

Пейдж имел особую точку зрения и на решение мексиканской проблемы. Как известно, в данном случае претензии к Лондону выдвигала уже администрация Вильсона. В центре американо-английских противоречий находилась тогда фигура президента (а фактически диктатора) Мексики Витторио Уэрты. Захватив силой власть в стране, он так и не получил официального признания от правительства США. Однако руководство Великобритании, и особенно английский посол в Мексике сэр Лайонел Карден, всячески поддерживало Уэрту и тем самым реально противостояло вильсоновской политике непризнания. Американцы не без оснований подозревали, что за политическим курсом Лондона стоит стремление укрепить свои позиции в Мексике, получив там преимущества в нефтяной сфере<sup>11</sup>. Но Пейдж оценил мексиканскую ситуацию несколько с другой позиции: он увидел в ней предмет для совместных американо-английских действий.

С одной стороны, он разделял убеждение Вильсона в законности силовых действий США во имя демократии в Мексике:

Например, в беседе с министром иностранных дел Великобритании Э. Греем американский посол отметил: «Соединенные Штаты должны прийти в Мексику и провести [там] выборы со штыками вокруг каждого избирательного участка, чтобы быть уверенными, что народ голосует тайно и свободно». Проводя параллель с Кубой, Пейдж заявил, что в Латинской Америке США должны осуществлять интервенцию так часто, как это «необходимо для гарантирования демократического общества». Английский дипломат в ответ высказал опасение, что мексиканцев придется учить демократии, по меньшей мере, двести лет. Реакция Пейджа оказалась весьма однозначной: «В таком случае Соединенные Штаты будут оставаться там два столетия»<sup>12</sup>.

Вместе с тем, суждения посла не были простым отражением точки зрения официального Вашингтона. Он шел значительно дальше, предложив главе администрации США обдумать предложение о возможности общих англо-американских действий по наведению конституционного порядка в Мексике. При этом он указывал, что совместная интервенция может стать перспективной и «единственно необходимой политикой», поскольку «только использование британского и нашего флотов заставит мир понять, что пришло время для подчинения закону и миру, для честного развития отсталых и беспокойных земель и народов». Вспоминая

<sup>11</sup> Там же. С. 19, 22–23.

<sup>12</sup> *Hendrick B.J.* Op. cit. V. 1. P. 186.

политику великих держав в Китае во время боксерского восстания, Пейдж теоретически не исключал участия в предлагаемой им экспедиции и других стран (Франции, Германии). Главным условием для таких действий является, по его мнению, непременное соблюдение европейскими державами доктрины Монро<sup>13</sup>.

Одновременно Пейдж попытался сформулировать и свою программу, направленную на решение глобального противостояния, назревавшего в стане великих держав. В августе 1913 г. он подготовил и разослал американским знакомым (например, Хаузу, Хаустону и др.) меморандум, содержащий план сохранения мира через сотрудничество в неразработанных тропических регионах. Суть своих предложений Пейдж сформулировал в одной короткой фразе: «завоевания для общей выгоды». По его мнению, главная опасность международных отношений начала XX в. таится в усиливающейся с каждым днем гонке вооружений и сформированных на этой основе огромных и прекрасно оснащенных европейских армиях. Пейдж однозначно заявляет, что в современных условиях совершенно невозможно добиться поворота к разоружению, к «новой Гааге». Следовательно, продолжает он, для европейских армий необходимо «найти какую-нибудь общую и полезную работу». В очередной раз апеллируя к «кубинскому опыту» США, Пейдж подчеркивал, что тропики могут стать наиболее перспективным полем совместного действия. Исходя из этого, он делает вывод: Соединенным Штатам в такой работе должна быть предоставлена роль лидера. Ссылаясь на мексиканскую ситуацию, Пейдж указывает, что совместными усилиями там возможно «очистить страну от бандитов, лихорадки, малярии» и, таким образом, сделать ее здоровой, безопасной для жизни, инвестиций и для цивилизованного самоуправления. Тем самым, заключает он, начнется «новая эпоха в истории», в которой «завоевания для исключительных выгод завоевателей будут заменены санитарными реформами». В результате произойдет «оздоровление и подъем тропиков». Однако осуществить задачу, о которой «взывают тропики» можно, по мнению Пейджа, лишь «с помощью военной силы»<sup>14</sup>.

Весьма показательно, что важнейшим теоретическим обоснования первых глобальных построений Пейджа было своеобразное сочетание двух концепций – «американской исключительности» и англосаксонского единства. С одной стороны, он был, видимо, убежден в близости так называемого «века Америки». Неслучайно в одном из писем, направленных Вильсону в июле 1913 г., посол на-

<sup>13</sup> Ibid. P. 194–196.

<sup>14</sup> Ibid. P. 272–273.

стойчиво призывал президента Вильсона посетить Европу для того, чтобы весь мир наконец-то осознал, «кому он принадлежит»<sup>15</sup>. При этом Пейдж нередко противопоставлял внешнеполитические традиции США и Европы. Например, в одном из писем Хаузу он написал: «В европейском видении нет будущего, нет взгляда вперед»<sup>16</sup>. Но с другой стороны, Пейдж верил, что величие Америки покоится все же на «расовом родстве» с британской нацией. Исходя из этого, он считал, что британцев следует пригласить к построению нового мира по американскому образцу. Союз с Великобританией, писал Пейдж Хаузу, откроет перед США дорогу к «лидерству в мире». Понимая авторитет и силу современной ему Великобритании, он заключает, что американцам уже сейчас следует обдумать, «как лучше использовать британский флот, британскую империю, и британскую расу для улучшения человечества»<sup>17</sup>.

Таким образом, в размышлениях Пейджа по поводу первых внешнеполитических проблем, с которыми он столкнулся, оказавшись на посту американского посла в Лондоне, наглядно проявились не только его прежний «империалистический энтузиазм», но и вера в англо-американский союз как первооснову нового демократического миропорядка.

Видимо, первоначально точка зрения Пейджа относительно перспектив сотрудничества с Великобританией представлялась в Вашингтоне вполне приемлемой. В этот период была разработана обширная программа мероприятий к столетию окончания англо-американской войны 1812 г. и подписания Гентского договора 1814 г. Показательно, что в центре торжеств по замыслу должна была находиться демонстрация англо-американской идентичности. В частности, предполагалось открыть монумент А. Линкольну в Вестминстере, восстановить дом, принадлежавший английским предкам Дж. Вашингтона. В этом же контексте Пейдж убеждал президента Вильсона посетить Англию. По его мнению, такой визит неизбежно приведет к «дружественному перевороту во всем мире», предотвратив опасность англо-германской и американо-японской войн «всего лишь простой демонстрацией дружбы» двух англоговорящих народов<sup>18</sup>. К сожалению, начавшаяся вскоре мировая война расстроила все эти планы.

Правда, нельзя забывать и о том, что настойчивые призывы Пейджа к приоритетному расширению англо-американской соли-

<sup>15</sup> W. Page to W. Wilson, July 20, 1913 // PWW. V. 28. P. 54.

<sup>16</sup> Hendrick B.J. Op. cit. V. 1. P. 271.

<sup>17</sup> Ibid. P. 189–191.

<sup>18</sup> W. Page to W. Wilson, July 20, 1913 // PWW. V. 28. P. 53–54.



дарности не в полной мере разделялись всеми внешнеполитическими советниками Вильсона. В частности, полковник Хауз в конце 1913 – первой половине 1914 г. был сторонником создания более широкого союза великих держав. Поэтому во время своего европейского визита летом 1914 г. он пытался найти основу для трехстороннего соглашения, которое объединило бы США, Великобританию и Германию. Разрабатывая свои предложения, Хауз опирался на тезис о законности стремления Германии к созданию большого военно-морского флота и обретению новых колоний.

В отличие от него Пейдж (как и Т. Рузвельт) исходил из убеждения, что Германия является наиболее опасным конкурентом США на международной арене. Такой вывод он обосновывал, прежде всего, особенностями немецкого государственного устройства. Пейдж глубоко сомневался в том, что «кайзеризм» может действовать по демократическим стандартам, и потому вновь возвращался к идее союза «демократических» англоговорящих народов. Конечно, Пейдж не отрицал, что демократия есть и во Франции, но в письме Хаузу кратко и не без иронии заметил по этому поводу: «надолго ли». Более того, он считал, что разоружение для многих европейских стран (исключая «безусловно богатую» Англию) будет означать реальную перспективу банкротства. Поэтому лучшим выходом для них по-прежнему остается большая война<sup>19</sup>.

Его логика вела к заключению, что в мире лишь США и Великобритания являются не только реальными защитниками мира, но и своеобразными «оплотами свободы и демократии». При этом Пейдж был полностью уверен, что только американо-британское взаимопонимание может стать основой любого, даже самого широкого, союза в мире. По его мнению, стоящие вместе англосаксонские народы будут представлять такую силу, что ни одна нация не решится на войну без их одобрения<sup>20</sup>.

Начавшаяся в 1914 г. мировая война, на первый взгляд, не привела к какой-либо существенной трансформации внешнеполитических взглядов Пейджа. Он подошел к ее оценке, прежде всего, с позиций своего американизма. Как и большинство соотечественников, Пейдж, считая войну «европейской», полностью поддержал решение Вильсона об объявлении нейтралитета. В письмах, направленных в Вашингтон, он говорит в те дни о «мудрости» американского дистанцирования от противоборствующих союзов. 28 августа 1914 г. посол выразил свои чувства в таком, почти восторженном, восклицании: «Какую величавую картину представ-

<sup>19</sup> Hendrick B.J. Op. cit. V. 1. P. 285.

<sup>20</sup> Ibid. P. 282–283.

ляет наша страна! Мы избежали кровопролития, мы избежали «орубения». Уже в первые дни войны Пейдж высказал и свои самые общие соображения по поводу посредничества США<sup>21</sup>.

Размышления Пейджа относительно войны отличались характерным для него националистическим подходом. По его мнению, это была, прежде всего, борьба «славян против тевтонов». Он с заметным пренебрежением говорил о том, что «русские, германцы и даже французы находятся еще на такой стадии эволюции, когда «слава» войны находит [у них] еще значительную привлекательность». Поскольку и Великобритания оказалась втянутой в конфликт, то США стали, по его убеждению, единственной великой державой, которая может способствовать его урегулированию. «Улаживать все это придется нам, — заключает Пейдж в письме Хаузу, — и в любом случае мы выиграем». Одновременно он указывает и на новые возможности, которые могут открыться для США в области торговли: неважно, кто победит в этой войне, но мир в любом случае будет истощен, и поэтому «обанкротившаяся Европа будет умолять американцев об экономической помощи»<sup>22</sup>. Другими словами, Пейдж был полностью уверен, что и с практической, и с моральной точки зрения Америка после войны сможет расширить свое влияние в мире, сделав его «таким, каким он должен быть».

Но очень быстро в оценках европейской ситуации у Пейджа появились и другие свойственные ему мотивы. Уже с сентября 1914 г. войну он стал называть столкновением между британской демократией и германской автократией «борьбой за спасение мира от германского доминирования»<sup>23</sup>. Победа немцев, по его мнению, будет крайне опасной для США, и поэтому Пейдж предостерегает американское руководство от равного отношения к воюющим. «Ради бога, — пишет он Хаузу 15 сентября 1914 г., — пусть миролюбивые старые бабы не думают, что мы можем или должны остановить войну до того, как с кайзером окончательно не расправятся. ... Цивилизация должна быть спасена. А это невозможно, пока жив германский милитаризм». Соответственно англичан Пейдж квалифицировал как «средство демократии и гуманизма, не империалистов в уничижительном смысле слова»<sup>24</sup>.

<sup>21</sup> Архив полковника Хауза. Т. 1. С. 84; Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. (Далее — FRUS). 1914, Supplement. P. 19, 24–25, 37.

<sup>22</sup> W. Page to W. Wilson, July 29, 1914 // PWW. V. 30. P. 316; Архив полковника Хауза. Т. 1. С. 84; Hendrick B.J. Op. cit. V. 1. P. 310–311.

<sup>23</sup> Hendrick B.J. Op. cit. V. 1. P. 339.

<sup>24</sup> Архив полковника Хауза. Т. 1. С. 120.

При этом французов с положительной точки зрения он упоминал крайне редко, а русских в этом контексте не упоминал вообще.

Думается, что не совсем правы американские историки Р. Грегори и Дж. Купер, считающие, что переворот во взглядах Пейджа произошел под влиянием англичан и, главным образом, британского министра иностранных дел Э. Грея<sup>25</sup>. Скорее всего, американский посол раньше других увидел реальную опасность для всего мира, которая исходила именно от германского милитаризма. Кроме того, он вновь попытался сделать ставку на традиционную для него веру в англосаксонское превосходство.

В первые дни войны Пейдж подтвердил и свою приверженность идеям интернационализма. В письме Хаузу от 22 сентября 1914 г. он указал на то, что начавшийся в Европе конфликт при любом финале обязательно будет иметь глобальные последствия, которые не смогут не отразиться на США. Победа Германии, считал он, будет означать, что миром станет править «жесточая сила», которая обязательно попытается завоевать Соединенные Штаты. Следовательно, «мы все должны будем вернуться к зре войны как главного занятия людей». Победа Англии, по мнению Пейджа, сделает ее сильной и сплотит вокруг нее не только Британскую империю, но и ее союзников, прежде всего Россию. В результате, Англия не будет нуждаться в американской дружбе так сильно, как она нуждается в ней сейчас. Поэтому Соединенным Штатам во имя своих национальных интересов необходимо как можно быстрее подключиться к войне. «Мы стали частью мира, — заключает Пейдж, — хотим мы того или нет»<sup>26</sup>.

Очевидным предвидением Пейджа можно считать и его письмо Вильсону от 6 октября 1914 г. В нем он убеждал президента в том, что Америке нельзя останавливаться, до тех пор, пока с войной не будет покончено и не будет принята программа действительного разоружения и ограничения власти милитаризма. Этого, по его словам, нельзя добиться, только говоря о мире и занимаясь посредничеством. Если Антанта выиграет самостоятельно, утверждает Пейдж, то это не приведет к реальному ограничению вооружений. Разоружена будет лишь Германия и ее союзники. Великобритания при этом продолжит строительство ее гигантского флота, а Россия сохранит свою бесчисленную армию. И самое главное, что США в этих условиях, по словам Пейджа, не будут иметь голоса при разработке условия мира. Только союз с Антантой, продолжает

<sup>25</sup> Gregory R. Op. cit. P. 56; Cooper J.M. Op. cit. P. 287.

<sup>26</sup> Hendrick B.J. Op. cit. V. 1. P. 327–328, 334–335.

он, сможет обусловить направленность внутрисоюзнических договоренностей на послевоенные международные реформы<sup>27</sup>.

В этих заключениях проявился не только призыв Пейджа к скорейшему вступлению США в войну, но и явное противопоставление американских и общеантантовских внешнеполитических целей. Именно такой логики, как известно, будет в дальнейшем придерживаться президент Вильсон. Таким образом, Пейджу уже тогда было ясно, что и в стратегическом, и в тактическом плане для Соединенных Штатов нет иного выбора, кроме тесных союзнических отношений с Антантой и, прежде всего, Великобританией. Как видим, данный вывод был сделан Пейджем на основе его собственного понимания американских национальных интересов.

Однако на начальном этапе мировой войны в Белом доме многие внешнеполитические вопросы оценивались совсем по-другому. В результате у Пейджа появляется критическое отношение к «вектору» политического курса администрации Вильсона. В частности, посол категорически не принимал идеологию брайановской дипломатии «виноградного сока». Именно этим термином Пейдж обозначал стремление главы госдепартамента любыми способами избежать какого-либо серьезного противодействия германской политике. Позицию Брайана он оценивал как «национальную опасность», поскольку она была проявлением «крайнего выражения иррационального сентиментализма», способного подорвать «американский характер»<sup>28</sup>.

Американский посол в Лондоне не понимал логику действий своего правительства по отстаиванию принципов Лондонской декларации. По его мнению, Великобритания, отказываясь от соблюдения ее положений, поступает вполне резонно. Как и любое другое государство, она всего лишь желает не допустить поставок военных материалов на территорию своих противников. При этом английская блокадная политика, считает Пейдж, вполне дружественна нам. Тем не менее, госдепартамент, по словам посла, «обращается с Великобританией как будто она преступник и [наш] оппонент». Завершая свои размышления, он спрашивал: «Где же "нейтралитет" в действиях такого рода?»<sup>29</sup>.

Скептически Пейдж относился и к попыткам посредничества. По его мнению, мира нельзя добиться без каких-либо крупных военных поражений Германии. «Изобретательные лазейки, которые находит Хауз, – заключает он, – есть всего лишь фантазия».

<sup>27</sup> Cooper J.M. Op. cit. P. 287.

<sup>28</sup> Hendrick B.J. Op. cit. V. 2. P. 9.

<sup>29</sup> Ibid. V. 1. P. 381–382.

Резкие оценки Пейджа получила, например, идея о «свободе морей» во время войны. Продолжая логику подобных рассуждений, следовало бы дополнить ее еще и требованием «свободы земель», а это уже, говорит он, «полная бессмыслица»<sup>30</sup>.

Самые серьезные претензии Пейдж предъявлял тогда к дипломатическому ведомству США. Например, в письме Хаузу от 4 августа 1915 г. он выступил против приверженности государственного департамента исключительно «юридическому подходу» («lawyer way») к взаимоотношениям США и Великобритании. Пейдж пишет о том, что посольство за последнее время получило из Вашингтона более 500 официальных протестов по различным поводам. «Иногда мне хочется, — подчеркивает он, — чтобы в мире не было больше юристов»<sup>31</sup>.

Действия Пейджа в период американско-английских споров порой совершенно не согласовывались с его дипломатическими обязанностями. Например, в ноябре 1915 г., после представления лондонскому правительству очередной ноты по поводу расширения контрабандных списков, посол фактически дезавуировал ее содержание. В частной беседе с английским министром по делам блокады лордом Р. Сесилем Пейдж заявил, что нота написана якобы «для домашнего потребления». Р. Грегори, оценивая поведение Пейджа в этих условиях, резонно заметил, что его позиция, может быть, и была «реалистичной», но в любом случае ее никак нельзя считать «дипломатичной»<sup>32</sup>.

Все указанные примеры демонстрируют, что Пейдж и Вильсон по-разному подходили к оценке перспектив окончания войны. Пейдж, в отличие от президента, полностью разделял позицию Великобритании и искренне желал ей скорейшей победы. Он был убежден, что именно от этого будет зависеть будущее США. В частности, в одном из писем, направленных в госдепартамент в январе 1916 г., Пейдж убеждал госсекретаря Р. Лансинга в опасности окончания войны «незавершенным» миром. В этом случае, подчеркивал посол, Великобритания будет вынуждена сосредоточить свое внимание на европейских делах, а Соединенным Штатам придется столкнуться один на один и с неудовлетворительной ситуацией в Европе, и с японской экспансией на Дальнем Востоке. Только победа Антанты и американско-английское сотрудничество во имя этого, полагал Пейдж, смогут стабилизировать международную ситуа-

---

<sup>30</sup> Ibid. V. 2. P. 414.

<sup>31</sup> Ibid. P. 56.

<sup>32</sup> Gregory R. Op. cit. P. 136, 145.

цию<sup>33</sup>. Однако Вильсон придерживался другого мнения. Он глубоко сомневался в необходимости победы какой-либо из воюющих группировок и считал, что интересы США и мирового сообщества связаны со скорейшим завершением войны на «ничейной позиции».

Одновременно Пейджа настораживала инертность Белого дома по поводу германских действий. Особенно остро на эту тему он писал после потопления немецкой подводной лодкой английского лайнера «Лузитания». По мнению Пейджа, законным ответом на это «преступление» должно стать объявление Соединенными Штатами войны Германии, что неизбежно «приведет к быстрейшему заключению мира и даст возможность США способствовать... реорганизации мира для предотвращения подобного рецидива»<sup>34</sup>. В письме сыну Артуру 6 июня 1915 г. Пейдж высказал опасение, что бездействие администрации в этих условиях станет причиной «феминизации» американцев: «Я не хочу войны, кто не знает ее ужасов». Но она все-таки нужна для того, что бы избавиться от возможной «деградации» народа<sup>35</sup>. Итак, участие США в войне на стороне Антанты стало для Пейджа некой панацеей, способной решить не только геополитические, но и морально-психологические задачи, стоящие перед Америкой. Однако в Вашингтоне вновь не захотели «услышать» своего посла в Лондоне. Поэтому в сентябре 1915 г. Пейдж с досадой пишет Хаузу, что президентский курс полностью потерял уважение как со стороны британского общественного мнения, так и со стороны британского правительства<sup>36</sup>.

Пик разногласий между Пейджем и Вильсоном приходится на начало 1916 г. В этот период, как известно, президент с помощью Хауза попытался реализовать очередной план посредничества, предусматривающий готовность США при определенных обстоятельствах вступить в войну на стороне Антанты и принять участие в послевоенном урегулировании<sup>37</sup>. Пейдж не поддержал намерения Вашингтона из-за многочисленных оговорок, которые сопровождали американские предложения. 11 февраля 1916 г. он записал в своем дневнике, что считает план Хауза «чисто академическим и неискренним очковитирательством». В этой связи Пейдж всерьез задумался об отставке с дипломатической службы. Вспоминая свою беседу в эти дни с послом, Хауз пишет, что

<sup>33</sup> FRUS. Lansing Papers. V. 1. P. 306–307.

<sup>34</sup> FRUS. 1915, Supplement. P. 385–386.

<sup>35</sup> Hendrick B.J. Op. cit. V. 2. P. 10.

<sup>36</sup> Ibid. P. 37.

<sup>37</sup> История внешней политики и дипломатии США. 1867–1918. М., 1997. С. 306–309.

ему пришлось весь вечер «выслушивать нападки [Пейджа] на президента, на Лансинга, на правительство вообще». У Вильсона, якобы сказал тогда Пейдж, «нет никакой политической линии», он попросту был не способен проводить «энергичную политику». В одном из писем, направленных тогда же в государственный департамент, посол использовал образную оценку президентского курса. Объясняя общественные настроения в Великобритании, он достаточно смело написал, что английские солдаты в окопах окрестили неразорвавшийся снаряд кличкой «Вильсон»<sup>38</sup>.

Как видно из приведенных документов, точка зрения Пейджа вполне соответствовала позиции той части американцев, которые обвиняли Вильсона в том, что он «предоставил союзникам самим спасать цивилизацию от угрозы варваров-гуннов, в то время как США из трусости и корыстолюбия оставались в стороне»<sup>39</sup>. Разумеется, у Пейджа была своя альтернатива официальной политике Белого дома. Его предложения сводились к немедленному разрыву с Германией и подготовке американского флота и армии к войне. Только такие действия, по мнению Пейджа, могут привести к быстрому окончанию войны, победе Антанты и «урегулированию вопроса о дальнейшей безопасности мира». В случае возможного промедления он предвидел перспективу международной изоляции США. В этой связи Пейдж критиковал и преждевременность разговоров о создании Лиги по поддержанию мира. Да, писал он в одном из писем президенту, такая Лига нужна, но только не сейчас: «Ее час наступит лишь после заключения мира»<sup>40</sup>.

Из числа видных политических фигур США, которые были близки к этой точке зрения, в первую очередь можно назвать, конечно же, Т. Рузвельта. Это позволило Дж. Куперу метко назвать Пейджа «невольным рузвельтанианцем в вильсоновском лагере»<sup>41</sup>.

Вильсон, естественно, осознавал, что его посол в Лондоне, нарушая все правила, выступал почти открыто против официальной позиции администрации. 17 мая 1916 г. Вильсон пишет Хаузу о целесообразности вызвать Пейджа на каникулы в США, чтобы тот «подышал американской атмосферой»<sup>42</sup>. Однако пребывание посла на родине в августе-октябре 1916 г. не принесло каких-либо существенных изменений в его взглядах. Более того, во время

<sup>38</sup> Архив полковника Хауза. Т. 2. С. 136, 155.

<sup>39</sup> Там же. С. 154–155.

<sup>40</sup> W.H. Page to W. Wilson, Feb. 15, 1916 // PWW. V. 36. P. 181–182; W.H. Page to W. Wilson, June 1, 1916 // Ibid. V. 37. P. 146.

<sup>41</sup> Cooper J.M. Op. cit. P. 325.

<sup>42</sup> W. Wilson to E.M. House, May 17, 1916 // PWW. V. 37. P. 61.

бесед в Вашингтоне Пейдж фактически не сумел найти общего языка ни с Вильсоном, ни с сотрудниками государственного департамента. Особенно негативное впечатление на него произвели разговоры с Лансингом. Как видно из дневниковых записей Пейджа, госсекретарь показался ему всего лишь «рутинным клерком», человеком, состоящим исключительно из «юридических книжных прецедентов» ("law-book-precedent man"). У него, замечает Пейдж, «нет воображения, нет конструктивных способностей»<sup>43</sup>.

Однако с дипломатической службы Пейдж уходить не собирался, поскольку был убежден, что все трудности американо-английских отношений не были связаны «с большими различиями по принципиальным вопросам». Они коренились, по его словам, лишь в некотором «непонимании», да еще в «ошибочных методах», взятых на вооружение некоторыми чиновниками в США<sup>44</sup>. Поэтому в дальнейшем, оставаясь на своем посту, Пейдж будет отстаивать свою точку зрения, с надеждой «разбудить» симпатию Вильсона к Великобритании. Например, в одном из писем, направленном в Белый дом 24 ноября 1916 г., он будет доказывать необходимость вступления США в войну на стороне Антанты, опираясь на понятную президенту «либеральную идею». Только автократии, в очередной раз повторит Пейдж уже известный аргумент, ведут агрессивные войны. Следовательно, желая ограничить милитаризм, Америка, как ни одна другая страна, должна защищать «высокие идеалы» и встать на сторону «либерального мира». «Мы должны сделать для Европы в значительно большем масштабе то, что мы сделали для Кубы, — пишет он, — и посредством этого войти в новую эру человеческой истории»<sup>45</sup>.

Тем не менее, многие практические шаги президента по-прежнему не встречали понимания у Пейджа. В частности, резкое неприятие у него вызвало программное выступление Вильсона, призвавшего в январе 1917 г. к заключению «мира без победы». Посол был заранее проинформирован о содержании предполагаемой речи. В письме, направленном Вильсону, он высказался против ключевой формулировки, предложенной президентом. Фраза «мир без победы», по словам Пейджа, в странах Антанты может быть расценена как попытка американского вмешательства в войну на

---

<sup>43</sup> *Hendrick B.J.* Op. cit. V. 2. P. 171–176. Совершенно прав Купер, подметивший, что в эти дни Пейдж был похож на фронтовика-солдата, оказавшегося в отпуске и осознавшего, что он уже не в состоянии вернуться к нормальной мирной жизни. — *Cooper J.M.* Op. cit. P. 340.

<sup>44</sup> *Memoranda by W.H. Page.* [c. Sept. 23, 1916] // *PWW.* V. 38. P. 257.

<sup>45</sup> *W.H. Page to W. Wilson,* Nov. 24, 1916 // *Ibid.* V. 40. P. 64–66.



стороне Германии, что обязательно приведет к «шторму критики». Вместо нее он рекомендовал воспользоваться, например, словами «мир без завоеваний»<sup>46</sup>. В дневнике Пейдж более детально объяснил свою позицию относительно президентской инициативы: Вильсон «не понимает (а если понимает, то тем хуже для него), что антантовские державы, особенно Великобритания и Франция, не смогут заключить «мир без победы». Если они сделают это, то превратятся в вассалов Германии. Одним словом, президент не знает немцев, и его мысль бессознательно находится под их влиянием». По оценке Пейджа, речь Вильсона является всего лишь «академическим заявлением», в то время как Великобритания и Франция ведут настоящую борьбу за свое существование»<sup>47</sup>.

После обнародования телеграммы Циммермана начинается наиболее драматический эпизод дипломатической карьеры и, наверное, всей жизни Пейджа. Он оценил этот документ как новую возможность для США немедленно вступить в войну. Однако Вильсон, по словам посла, продолжал «бесполезно тратить время». 1 апреля 1917 г. удрученный Пейдж записал в своем дневнике: «Президент не является лидером, он просто упрямый фразер»<sup>48</sup>.

В эти дни посол попытался проанализировать важнейшие ошибки, допущенные Вильсоном при разработке внешнеполитического курса США. В меморандуме, подготовленном «для себя» Пейдж вспоминает о своей встрече с президентом в сентябре 1916 г. По его словам, Вильсон продемонстрировал тогда большую толерантность к немцам. Он, в частности, говорил о том, что на самом деле «было много причин, по которым Германия начала войну». Кроме того, по мнению президента, конфликты США с Великобританией были столь же значимы, как и ее противоречия с Германией. Именно на этой основе, пишет Пейдж, Вильсон сформировал свою политику нейтралитета. В равном отношении США к обеим противоборствующим сторонам Пейдж видит первую ошибку президента. Вторая ошибка заключалась, по его мнению, в том, что президент был глубоко уверен в своей способности стать миротворцем, «прийти и осчастливить этих грешных детей» (европейцев – В.Р.). В итоге Вильсон «заключил себя в эти две идеи и занимался тем, что он называл «мыслью», не проветривая свой ум «воздухом текущего мира». Назвав такую позицию Вильсона «неактивной», посол заметил, что все это имело негативное воздействие на

<sup>46</sup> W.H. Page to W. Wilson, Jan. 20, 1917 // Ibid. P. 532.

<sup>47</sup> Hendrick B.J. Op. cit. Vol. 2. P. 213.

<sup>48</sup> Ibid. P. 223.

американский народ, который под влиянием президента сохранял «безразличие» к европейским событиям<sup>49</sup>.

В этот период Пейдж активно обдумывает аргументы, которые могут обосновать участие Америки в войне. Например, в послании в госдепартамент от 5 марта 1917 г. он анализирует сложившуюся финансово-экономическую обстановку. Важнейший вывод посла: мир находится на пороге серьезных проблем, которые связаны с наметившимся дисбалансом золотовалютных и сырьевых ресурсов. Если в Западном полушарии этих ресурсов еще вполне достаточно, то в Европе их катастрофически не хватает. Следовательно, в интересах американской экономики предоставить антантовским державам большой кредит, который, по мнению Пейджа, возможен лишь при условии вступления Соединенных Штатов в войну. Другими словами, альтернативой участию своей страны в войне посол видит, прежде всего, «коллапс американской торговли, экономическую панику в США и во всем мире»<sup>50</sup>.

1 апреля 1917 г., Пейдж направил письмо министру сельского хозяйства Хаустону, в котором изложил программу первостепенных внешнеполитических действий, необходимых, по его мнению, для Соединенных Штатов. Среди них посол, прежде всего, называет приведение в надлежащее состояние силовых средств, находящихся на страже американской безопасности, а именно, военно-морского флота и армии. В один ряд с ними Пейдж ставит финансы. Но главное, по его словам, заключается все же в другом. Готовясь к войне, американское руководство должно делать упор на моральные факторы, которые заставили США воевать. К их числу Пейдж относит гуманитарные вопросы, проблему демократии и т.п. Последнее время, пишет он, официальный Вашингтон говорил в основном о зле, которое причинили нашим кораблям или гражданам. Но самый глубокий урон, отмечает Пейдж, был принесен «нашим моральным ценностям и нашим идеалам». Вполне естественно, что виновником тому он считает Германию. Ее победа в войне, заключает посол, была бы «менее желательна, чем победа зулусов над миром». Вывод, который был сделан в этом письме, еще раз подкрепляет логику внешнеполитической мысли Пейджа. Соединенным Штатам, подчеркивает он, следует идти с Антантой, подписав договор об отказе от сепаратного мира с немцами. «Мы не должны больше мечтать о мире, о Лиге по поддержанию мира или о свободе морей». Все это Пейдж назвал «всего лишь интеллектуальными развлечениями ума, не имеющими связи с реальностью».

<sup>49</sup> Ibid. P. 222–223.

<sup>50</sup> W.H. Page to W. Wilson, March 5, 1917 // PWW. V. 41. P. 336–337.

Мы должны осознать, пишет он, что под угрозой находятся все американские идеалы. «Если мы сделаем их безопасными, то мы спасем от разрушения и Европу, и самих себя»<sup>51</sup>.

Таким образом, Пейдж, используя разнообразную аргументацию, в феврале-марте 1917 г. пытается довести до сведения Белого дома свою точку зрения – США должны немедленно подключиться к войне на стороне государств Антанты. Поэтому вполне понятна фраза из его письма, написанного сыну Артуру сразу же после объявления Соединенными Штатами войны Германии: «Я чувствую, что теперь моя работа завершена»<sup>52</sup>.

В последующий период внешнеполитические размышления Пейджа были сосредоточены на перспективах формирования нового миропорядка. В многочисленных публичных выступлениях он не раз подчеркивал свой вывод о том, что его основой должно стать американско-английское сотрудничество. Отныне две великие англоговорящие страны, отметил он 12 апреля 1917 г., объединились в «нерушимую компанию», которая станет «моральным союзом для новой эры в международных отношениях». Фундаментом этому «союзу двух великих народов», указал Пейдж в другом выступлении, могут служить их одинаковые «расовые и национальные характеристики»<sup>53</sup>.

Надеясь на претворение в жизнь своих идей, он разрабатывает предложения по расширению американско-английского понимания. В частности, он писал Хаузу о целесообразности направить в Великобританию представительную общественную делегацию, способную «объяснять американский дух и цели». Главой этой делегации он предлагал назначить У. Тафта<sup>54</sup>. Вильсон, однако, высказался против такой поездки. По мнению президента, Соединенным Штатам не стоило демонстрировать полное единение с Великобританией, поскольку английское руководство пока что не разделяло «бескорыстность» американских военных целей<sup>55</sup>.

На заключительном этапе войны Пейдж продолжал критиковать многие шаги официального Вашингтона. Например, его совсем не воодушевили «14 пунктов» Вильсона, которые, по словам посла, высветили пацифистскую направленность мышления президента. Не нравилась Пейджу и медлительность американского подключения к активным боевым действиям. Оценивая опасность,

<sup>51</sup> Hendrick B.J. Op. cit. V. 2. P. 228.

<sup>52</sup> Ibid. P. 239.

<sup>53</sup> Цит. по: Cooper J.M. Op. cit. P. 375.

<sup>54</sup> Hendrick B.J. Op. cit. V. 2. P. 388.

<sup>55</sup> Ibid. P. 345–348.

нависшую над Парижем в июне 1918 г., он написал: «Соединенные Штаты слишком опаздывают, слишком опаздывают, слишком опаздывают: что будет, если все повернется не так?»<sup>56</sup>.

25 августа 1918 г., под влиянием серьезных проблем со здоровьем, Пейдж попросил Вильсона о своей отставке. Но прибыв в США, он так и не смог преодолеть свои недуги и 21 декабря умер.

Какое место следует отвести Пейджу в истории американской внешнеполитической мысли? Не вызывает сомнения, прежде всего, тот факт, что на рубеже XIX и XX в. он принадлежал к числу наиболее авторитетных сторонников интернационализма в США. И журналистская деятельность Пейджа, и, тем более, его дипломатическая служба на посту американского посла в Великобритании показывают, что он неизменно ратовал за самую активную роль Соединенных Штатов в мировой политике. При этом его представления об идеальном миропорядке традиционно сводились к концепции "Pax Anglo-Americana".

Базисом внешнеполитических воззрений Пейджа была идея американско-английской идентичности. Сначала он говорил о необходимости применения британского опыта в имперской политике США. Позднее он выдвигал планы совместных американско-английских акций в слаборазвитых регионах. В годы Первой мировой войны Пейдж решительно требовал оказать всестороннюю поддержку английской цивилизации, которая, по его мнению, вела непримиримую борьбу с германской автократией. В этой борьбе, как он считал, только Соединенные Штаты могут стать единственным и надежным союзником Великобритании. Идентичность американско-английских интересов Пейдж выстраивал, прежде всего, на так называемом «природном созвучии» двух народов. В то же время он был уверен, что идеалы, которые они разделяют, носят общечеловеческий характер. Поэтому реорганизация глобального порядка на основе "Pax Anglo-Americana" является важнейшей гарантией не только для реализации внешнеполитических целей США, но и для демократического развития всего мирового сообщества. Интересную трактовку этих убеждений Пейджа дал Купер. Он полагает, что идея американско-английского сближения была для Пейджа неким аналогом «секционального примирения» в США, в котором Соединенные Штаты и Великобритания выступали в качестве прообразов Севера и Юга<sup>57</sup>.

Насколько внешнеполитическая концепция Пейджа была продуктивной для своего времени? Как правило, американские истори-

<sup>56</sup> Ibid. P. 392.

<sup>57</sup> Cooper J.M. Op. cit. P. XXVII.

ки говорят о том, что его суждения страдали «дипломатической наивностью», которая, якобы, вела к неправильному пониманию им многих аспектов английской политики. Зачастую о Пейдже говорят как об «излишне пробританском политике», который оценивал международную обстановку главным образом через призму английских интересов<sup>58</sup>. Думается, что эти оценки не совсем справедливы. Ход событий во время Первой мировой войны показывает, что характерной особенностью внешнеполитических взглядов Пейджа является скорее не наивность, а политический реализм. Все, к чему он призывал еще в 1914 г., рано или поздно становилось частью дипломатии официального Вашингтона. США не только оказали финансово-экономическую помощь Антанте, но и вступили в войну против Германии, а после ее окончания попытались реорганизовать миропорядок, основываясь, по сути, на американско-английских принципах. Может быть, именно Пейдж предугадал идею «атлантического сообщества», ставшую с 1940-х г. краеугольным камнем американской внешней политики. Кроме того, трудно возразить, что все это полностью отвечало тогда американским национальным интересам. В этой связи очень точно, на наш взгляд, выразился Б. Хендрик, отметивший, что Пейдж, так любивший Англию, «никогда не отказывался от проповеди своего американизма»<sup>59</sup>.

Тем не менее, "Pax Anglo-Americana" Пейджа не всегда и не во всем соответствовала внешнеполитической концепции Вильсона. Президент, в отличие от своего посла, в годы Первой мировой войны не сбрасывал со счета эгоистические мотивы английского поведения на международной арене и, следовательно, не отождествлял американские стратегические интересы исключительно с победой Великобритании. В этой связи он, видимо, не желал делить с кем бы то ни было (даже с почитаемой им Великобританией) роль «морального лидера» нового мира. Тем самым Вильсон не принимал перспективы американского участия в простом восстановлении мирового «баланса сил», за что фактически выступал Пейдж. Это обстоятельство привело к различиям между ними в подходах к программе создания Лиги Наций. Поэтому советы своего посла в Лондоне он чаще всего рассматривал всего лишь как рассуждения талантливого американского интеллектуала, не сумевшего, однако, осознать необходимую субординацию во внешнеполитических приоритетах США.

<sup>58</sup> Gregory R. Op. cit. P. 211–212, 216; Osgood R.E. Ideals and Self-Interest in America's Foreign Relations. Chicago – L., 1961. P. 160.

<sup>59</sup> Hendrick B.J. Op. cit. V. 2. P. 308.

## ЭСТЕТИКА И ТВОРЧЕСТВО

---

*В.В. Кирюшкина (Саратов)*

### АНТИЧНЫЕ ИДЕИ О ПРИРОДЕ ТВОРЧЕСТВА И ЭСТЕТИКА И.В. ГЕТЕ: ОПЫТ АНАЛИЗА ИСКАЖЕНИЙ

Эпоха с 1770 по 1830 гг. уже современниками часто обозначалась как время Гете (Goethe-Zeitalter). И дело здесь не только в огромном влиянии личности и творчества Гете на взгляды и эстетические пристрастия современников. Важнее – знаковость образа Гете для германской литературы того времени. Гете репрезентативен даже известной противоречивостью своего мировоззрения, в которой находили сублимированное выражение сложность и пестрота этой порубежной эпохи европейской истории. Картину усложняет и неординарность личности Гете, позволявшая ему предчувствовать новые идеи, и специфика немецкой культуры XVIII века и самобытность литературы “Sturm und Drang”, опровергающей многие культурные формы Просвещения и Классицизма.

Неоднозначность взглядов Гете порождает вечные споры исследователей, пытающихся приписать его тем или иным тенденциям эпохи. Гете-просветитель, Гете-классицист, Гете-романтик – вот основные из этих идентификаций. В западном гетеведении господствует традиция противопоставления классицизма Гете романтическому искусству и мироощущению в целом. В. Хофман, Х. фон Айнем отмечают принципиальное неприятие им всего романтического. Словацкий исследователь Т. Намович, напротив, подчеркивает, что Гете «относился к искусству романтизма с живым интересом». В советском гетеведении излюбленным мотивом был реализм Гете. Н. Вильмонт именно реализм считал самой ценной чертой творчества Гете<sup>1</sup>.

Стремясь упорядочить сложный внутренний мир Гете, большинство исследователей пришли к практике периодизации вре-

---

<sup>1</sup> *Hofmann W.* Zu Friedrichs geschichtlicher Stellung // Kunst um 1800: Caspar David Friedrich. Hrsg. W. Hofmann. München, 1974. S. 77.; *von Einem H.* Deutsche Malerei des Klassizismus und der Romantik 1760–1840. München, 1978; *Namowicz T.* “Via antiqua” und “via moderna”. Zu Goethes Auseinandersetzung mit der Kunst der Romantik // Goethe und die Romantik / ACTA Universitatis Wratislaviensis № 1329. Germanica Wratislaviensia XCV. Wrocław, 1992. S. 92.; *Вильмонт Н.* Гете. Историко-биографический очерк. М., 1951.

мени его творчества. Еще В.М. Жирмунский выделял период раннего классицизма, штюрмеровский страссбургский период и период веймарского классицизма, подчеркивая, что в 1775 г., с переездом в Веймар, в мировоззрении поэта намечается существенный перелом<sup>2</sup>. От этой схемы отталкиваются и многие современные толкователи Гете. Получается, что от одного периода своей жизни к другому Гете, подобно античному Протею, трансформировался в новый тип художника и мыслителя: просветитель – штюрмер – классицист. Но возможно ли такое? При любой, самой серьезной смене мировоззрения, ценностных установок у любого человека должны сохраняться некие устойчивые представления. Иначе – личности грозит разрушение. И, конечно, живой Гете не укладывается в исследовательскую схему. В штюрмеровском 1771 г. он изображает греческую трагедию образцом искусства – искусства в полной мере реализующего принцип «чистой простоты совершенства» и пробуждающего «в душах величие чувства»<sup>3</sup>. Далеко ли до винкельмановской формулы искусства: "edle Einfalt und stille Grösse" («благородная простота и спокойное величие»)? И тогда же, в 1771 г. Гете-художник проповедует принцип самоограничения в творчестве<sup>4</sup>. С другой стороны, в 1811 г. в личной беседе с неким Зульпицем Бойсзерее Гете восхищается арабесками художника-романтика Отто Рунге как «одновременно прекрасными и дикими» ("schön und toll zugleich")<sup>5</sup>, что, казалось бы, «взрывает» эстетику классицизма.

Автор данной статьи не претендует на окончательное решение проблемы, но предлагает один из путей, ведущих к созданию более адекватного реальности образа Гете. Помочь здесь нам может концепция диалога культур.

Ситуация культурного диалога в данном случае складывается благодаря той роли, которую античность играла в эстетике и искусстве Европы XVIII века и суть которой замечательно сформулировал сам Гете, так характеризую своих современников: «кто с юности воспитывался и обучался у греков и римлян уже никогда не станет отрицать своего в известной мере античного происхождения»<sup>6</sup>. Себя Гете несомненно ощущал «родом из Греции». И, уж

<sup>2</sup> Жирмунский В.М. Опыт стилистической интерпретации стихотворений Гете // Он же. Из истории западноевропейских литератур. Л., 1981.

<sup>3</sup> Гете И.В. Ко дню Шекспира // Он же. Об искусстве. М., 1975. С. 336.

<sup>4</sup> Goetes Sämtliche Werke. Jubiläums-Ausgabe. Bd. 33. S. 41.

<sup>5</sup> Цит. по: Namowicz T. "Via antiqua" und "via moderna"... S. 93.

<sup>6</sup> Гете И.В. Классики и романтики Италии в ожесточенной борьбе // Он же. Об искусстве. М., 1975. С. 444.

конечно, по важнейшим для него вопросам творчества, его истоков, природы не раз обращался к текстам античных авторов и находил множество созвучных своим идеям мыслей.

Гете воспринимает античное слово через призму своего сознания – сознания человека XVIII столетия. И все искажения (что очень важно – большей частью неосознанные) мыслей своих древних собеседников ярко высвечивают базовые идеи его собственного мировоззрения, оказываясь для нас бесценным источником знаний о Гете, о его эстетических приоритетах, его мировоззрении, знаний более точных и объективных, чем те, которые он прямо сообщает нам в своих сочинениях.

Обратимся к наиболее ярким примерам таких искажений. В 1826 г. Гете публикует в журнале «Искусство и древность» статью «Платон как сопричастный христианскому откровению», где дает свое толкование диалога «Ион». Странное название статьи объясняется тем, что она представляла собой отклик на вышедший ранее в Кенигсберге сборник диалогов Платона, в котором платонизм подавался как ответвление иудейско-христианского религиозного сознания (еще одно искажение, но не оно нас сейчас интересует).

Напомню, что в этом диалоге Сократ беседует с Ионом – популярным рапсодом, победителем общеэллинских состязаний. В ходе диалога выясняется, что талант Иона странного свойства. Этот рапсод ничего не знает и не умеет исполнять, кроме гомеровских поэм. Гете в своей статье трактует «Ион» как насмешку, издевательскую пародию (*Persiflage*), считает, что Платон хотел продемонстрировать дурного рапсода, плохой вкус публики, ценящей его творчество, и потому «озаглавить диалог следовало бы: «Ион, или Посрамленный рапсод» («*Ion oder beschämte Rhapsode*»): ведь «до поэзии всему диалогу нет никакого дела»<sup>7</sup>.

Обратим внимание на то, насколько в духе XVIII века этот заголовок, которым Гете выдает в себе человека не только века разума, но и бесконечного морализирования, века авторов, категорично полагающихся на собственное суждение и любящих расставлять все точки над «и», тогда как Платон – вообще философ более рассуждающий, чем склонный формулировать окончательную истину. Ясно, что этот ранний диалог Платона Гете мог воспринимать только как издевательскую пародию, так как, с одной стороны, слишком почитает философа, а с другой – оценивает его по своим критериям.

---

<sup>7</sup> Там же. С. 501.



Сам Гете оговаривается в одном месте о «свойственном» ему «как немцу убеждению, будто все, выходящее из рук греческого поэта является чистой монетой, тогда как в иных случаях мы имеем дело лишь с выкупом и платежом до срока»<sup>8</sup>. Так Гете и у Платона не может допустить достаточно наивную форму изложения мысли, а ведь «Ион» – один из ранних диалогов, в которых Платон еще не сформировался ни как философ, ни как писатель. Гете необходимо как-то объяснить и, прежде всего, самому себе, «невероятную глупость персонажей» (*die unglaubliche Dummheit*) Платона.

Гете не может допустить и искреннюю веру Платона во величностный источник творчества, в божественное вдохновение как путь создания художественного произведения. Такие понятия как *göttlicher Eingebung*, *Inspirationen* (вдохновение), *Offenbarung* (откровение), Гете использует в контексте, подчеркивающим его негативное отношение к ним. И когда Платон сравнивает состояние истинного творчества с плясками вакханок, Гете остается либо принять это за злую шутку, «аристофановскую злобность», либо вычеркнуть Платона из своих авторитетов. Он предпочитает первое: «...зачем нужно прибегать к божественному вдохновению, если только не желая кого-то мистифицировать?»<sup>9</sup>.

«Даже признанный поэт способен лишь в определенные моменты проявлять свой талант в высшей степени; такое *действие человеческого духа* может исследоваться психологически, вместо того, чтобы прибегать к чудесам и необычным силам нужно обладать достаточным терпением, чтобы следовать за *явлениями природы*»<sup>10</sup>, – так Гете как бы проговаривает то, на что, по его мнению, намекает Платон.

Между тем несомненно, что для Платона концепция энтузиазма (*ἐνθουσιασμός*) была очень важна. Он постоянно обращается к ней в своих диалогах (Пир, Федр, Менон). Более того, такая трактовка творчества была магистральной для греческой эстетической мысли (даже Демокрит оказался среди ее приверженцев). Не случайно присутствие в греческих текстах вообще и в платоновских, в частности, разнообразной терминологии, отражающей именно этот источник творчества: *μανία*, *θεία δύναμις*, *θεία μοῖρα*.

Но это – не гетевская античность. Гете до последнего момента старается сохранить свой образ дорогой древности – чистого источника мудрости и красоты. Эта античность несет в себе отпе-

<sup>8</sup> Гете И.В. О пародии у древних // Он же. Об искусстве. М., 1975. С. 472.

<sup>9</sup> Goethe J.W. Plato als Mitgenosse einer christlichen Offenbarung // Goethe J.W. Werke. Hamburger Ausgabe: in 14 Bd. Bd. 12. Schriften zur Kunst und Literatur. München, 1998. S. 247.

<sup>10</sup> Ibid. S. 248.

чатки гетевского сознания – сознания человека, привыкшего видеть в себе существо самодостаточное, которое в себе самом содержит потенциал для своего развития, своих деяний, своего творчества. Если античный человек погружен в космос, мыслит себя и все, что делает, космологически, то человек XVIII века живет по законам, единожды созданным Богом для всей природы (деизм), по общим законам природы как ее часть (естественная религия), и внеличностные, иррациональные источники творчества ему ни к чему.

Поэтому понятия «талант», «гений», «вдохновение» не предполагают у Гете ничего сверхличностного, как и у всех просветителей. О последних, лишь немного упростив дело, можно сказать, что «гений» Дидро и Шефтсбери – это наиболее удачная комбинация аффектов и разумного начала, заложенная природой и усовершенствующаяся в процессе саморазвития творческой личности<sup>11</sup>. Просветительская трактовка гения, вдохновения не несет в себе иррационального элемента; она оставляет художника вполне самостоятельным субъектом творчества. То же можно сказать и о гетевском понимании таланта, несмотря на его «штюрмеровскую» юность. Талант для Гете – это явление, возникающее в силу действия природных законов: законы искусства «...с такой же несомненностью заложены в природе творящего гения, с какой вся великая природа в целом сохраняет вечно действенными свои органические законы»<sup>12</sup>. Талант для Гете – это оптимальное сочетание «чистой чувственности с интеллектом»<sup>13</sup>.

Но обратим внимание на еще один пример искажения античной идеи в эстетической мысли Гете. Анализ этого случая окажется не менее плодотворным. В своей статье 1824 года «О пародии у древних» Гете обращается к одному явлению древнегреческой культуры, которое порождает некий внутренний конфликт в его сознании. Здесь Гете размышляет о факте заключения афинских театральных представлений «шутовским фарсом», факте о котором ему, по собственному признанию, «было досадно читать и слышать»<sup>14</sup>. Досаду Гете понять легко. Эстетика классицизма, которую он в основном разделяет, ориентирована на изображение

---

<sup>11</sup> Подробнее см.: *Кирюшкина В.В.* Трактовка человеческой личности в европейской культуре XVIII в. и просветительские суждения о природе творчества // *Синергия культуры: труды всероссийской конференции.* Саратов, 2002. С. 176–181.

<sup>12</sup> *Гете И.В.* «Опыт о живописи» Дидро // *Он же.* Об искусстве. Л.-М., 1936. С. 88. Ср.: там же. С. 91.

<sup>13</sup> *Гете И.В.* Искусство и ремесло // Там же. С. 24.

<sup>14</sup> *Гете И.В.* О пародии у древних // *Он же.* Об искусстве. М., 1975. С. 472.

величественного, благородного, совершенного, ведь искусство должно давать человеку наслаждение, должно «просвещать и возвышать»<sup>15</sup>. Как же могли любезные сердцу греки после возвышенной трагедии ставить и смотреть сатирическую драму?

Гете находит выход в категоричном разведении греческих «комических пьес» с фарсом и травести и ставит знак равенства между сатирической драмой и комедией аристофановского типа.

По его мнению, греческий поэт «...обращаясь с подлинно художественным умением к изображению низменных предметов, создавал произведения высокого стиля, нечто непонятное и вызывающее в нас удивление». «Мы поражаемся здесь величию искусства – ибо недостойное перестает быть таковым... У древних... все грубое, дикое, низменное, все, что составляет противоположность божественному началу, благодаря мощи искусства возвышается...»<sup>16</sup>.

Таким образом, для Гете не существует экстаических культов, народной «карнавальной» эстетики Греции. Для него как почитателя Винкельмана, наследника христианской традиции тема телесного низа несовместима с божественным, сакральным. И, конечно, открывающаяся в сатирической драме античность идет вразрез с его классицистскими эстетическими установками. Поэтому и античную гротескную живопись Гете снисходительно одобряет как «экономичный» способ украсить помещение<sup>17</sup>.

Проанализируем еще один пример: на этот раз мы имеем дело не только с искаженной трактовкой текста, но с искаженным переводом. Это перевод известного отрывка из «Поэтики» Аристотеля, который Гете приводит и комментирует в статье «Примечание к "Поэтике" Аристотеля», опубликованной в 1827 г. У Аристотеля речь идет о трагедии как действии, совершающем «... посредством сострадания и страха *очищение* (*κάθαρσις*) подобных страстей»<sup>18</sup>. Гете переводит так: «свое воздействие она (трагедия – В.К.) *заканчивает* только после длительного чередования страха и сострадания – *уравновешиванием* (*Ausgleichung*) этих страстей».

На этой характерной ошибке Гете строит свою трактовку аристотелевского понятия искусства поэзии:

«под катарсисом он (Аристотель – В.К.) подразумевает именно эту примиряющую завершенность (*aussöhnende Abrundung*), которая требуется... от всех, в сущности, поэтических произведений»<sup>19</sup>. И далее:

<sup>15</sup> Гете И.В. «Опыт о живописи» Дидро // Он же. Об искусстве. Л.–М., 1936. С. 84, 91.

<sup>16</sup> Гете И.В. О пародии у древних // Он же. Об искусстве. М., 1975. С. 473.

<sup>17</sup> Гете И.В. Об арабесках // Там же. С. 83–88.

<sup>18</sup> Аристотель. Поэтика // Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. М., 1984. С. 651.

<sup>19</sup> Goethe J.W. Werke. Hamburger Ausgabe. Bd. 12. S. 342–343.

«Аристотель говорит о построении трагедии как об объекте, над которым работает поэт, желая создать нечто законченное, достойное восторгов, созерцания и слушания». Гете не может признать, что у Аристотеля речь идет о чем-то большем, чем эффекте законченности, завершенности произведения, что он сам, в духе эстетики классицизма, очень ценит: «... примиряющая ... развязка разрядит его (зрителя – В.К.) тревогу; но домой он уйдет ни в чем не исправившимся»<sup>20</sup>.

Между тем, Аристотель не случайно использует слово «катарсис», которое в греческой традиции кроме бытового имело религиозно-магическое значение (очищение человека, места жертвоприношением, огнем и т.д.). Аристотель доводит эту традицию до нового космологически-нонологического смысла<sup>21</sup>. Для Гете все это неактуально и он понимает и даже переводит слова Аристотеля в духе своего времени, своей эстетики.

Итак, Гете читает Платона и Аристотеля как человек XVIII века, хотя «за окном» уже девятнадцатый! Конечно, Гете то сочувственно, то с тревогой следит за набирающими силу новыми тенденциями в литературе и искусстве Европы. Миновала уже четверть нового века. За это время в среде романтиков активно формируется новый образ античности. Шеллинг, Фр. Шлегель, Гельдерлин видят «орфическую Грецию», находят там «те силы брожения, которые много позднее истолкователи античности поставят под знак Диониса»<sup>22</sup>. Конечно, Гете не мог этого пропустить, и отпечаток его сложного отношения к новому образу античной эстетики мы находим в «Фаусте». Известно, что при работе над своей Классической Вальпургиевой ночью (1826 г.) он пользовался трактатом по античной мифологии Крейцера, в значительной мере разрушающим винкельмановский образ Греции.

Мне кажется, что свои сложные чувства и мысли по отношению к «новой» древней эстетике поэт выражает словами Мефистофеля (духа сомнения):

«На группы у огней смотреть мне тяжко:/ Нет ни рубашки ни на ком,  
ни лифа/ Все голы, все наружу, нараспашку,/ Бесстыдны сфинксы,  
непристойны грифы./ То спереди, то сзади, без прикрас/ Хвосты и  
крылья тычут на показ./ По сути, правда, и у нас стыда нет, Но древ-  
ность лишней жизненностью ранит.»<sup>23</sup>

<sup>20</sup> Ibid. S. 344.

<sup>21</sup> См.: Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. Кн. 2. М., 1994. С. 76–80.

<sup>22</sup> Берковский Н.Я. О романтизме и его первоосновах // Проблемы романтизма. М., 1971. С. 12.

<sup>23</sup> Гете И.В. Фауст: Трагедия. М., 1982., С. 275

Важно заметить, что искажения античных трактовок творчества у Гете касаются именно тех мест, где эстетика греков смыкается с их космологией, когда те или иные эстетические идеи укоренены особенно глубоко в мировоззрении: это концепция о внеличном истоке творчества; это идея очищения человека под воздействием искусства, которое рассматривается как момент космического процесса очищения; это вакхическая и гротескная сопричастность человека космосу.

В то же время античные формально-эстетические идеи Гете воспринимает адекватно. Здесь эстетические установки древнего и нового времени вполне могут совпадать. То же можно сказать и о концепции подражания. Гете разделяет «простое», «непрочувствованное» подражание природе<sup>24</sup> и то, что он называет «стиль», — это тоже подражание, но не формам, а самим законам природы. Стиль — высшая форма творчества, когда художник действует через познание «свойства вещей, их состояния», «разнообразного назначения» цвета, формы изображаемого предмета, «взаимодействия» различных его частей. Такой художник «оказывается в состоянии проникнуть как в глубину вещей, так и в глубину самого себя»<sup>25</sup>.

Эти высказывания чрезвычайно напоминают то понятие мимесиса (μίμησις), которое мы находим в «Физике» Аристотеля. В аристотелевском понимании искусство (τέχνη) подражает природе (φύσις) по способу действия, и по функции («ради чего»), а не по форме<sup>26</sup>. То есть, когда античный автор рассматривает творчество как процесс субъективно-личностный (есть наблюдающий художник и есть природа и никаких сверхличностных сил), не возникает и потребность «подгона» античной идеи под собственное сознание у Гете, а соответственно, не возникает и искажений.

Проведенный анализ искажений выявил наиболее устойчивые черты мировоззрения Гете, которые оставались доминирующими в ситуации поиска, апробирования новых идей, сомнения — это рационализм, восприятие человека как существа самодостаточного, самоценного и свободного, это приверженность эстетике классицизма в базовых ее понятиях.

---

<sup>24</sup> Гете И.В. Искусство и ремесло // Он же. Об искусстве. Л.—М., 1936. С. 24; Гете И.В. Простое подражание природе, манера, стиль // Там же. С. 12.

<sup>25</sup> Там же. С. 14–16; Введение в «Пропилеи» // Там же. С. 36.

<sup>26</sup> Аристотель. Физика // Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. М., 1981. С. 98.

*Л.Ю. Лиманская*

## МАГИЯ ПАМЯТИ: ОБ АНТИЧНЫХ ИСТОКАХ ТВОРЧЕСКОЙ ИНТРОСПЕКЦИИ

Человек осмысливает себя в проекции воспоминаний. Воспоминание избирательно, основано на механизме самоактуализации. Мы можем сфокусировать внимание и вспомнить те явления, которые волнуют и представляют значимость с точки зрения судьбы. Память – это вторая жизнь в рефлексии, которая развивается параллельно с хаотическим потоком обстоятельств.

В различные периоды культурного развития существуют специфические личностные ориентации, из которых складывается совокупность психических особенностей человека. Не случайно уже у пифагорейцев, а затем у Платона воспоминание трактуется как внутренний диалог, который душа ведет с собой о том, что она наблюдает. Истоки интроспективного анализа прослеживаются в текстах Сократа, Платона и получают последовательное развитие у стоиков. Платон писал: «человек должен понимать видовое обозначение, складывающееся из многих чувственных восприятий, но сводимое разумом воедино» (Федр 249 bd). При этом особое значение он уделяет памяти, ибо в процессе воспоминания мысль становится прикосновенной к Богу. Вспомогательным средством, которым пользуется Бог, дабы в меру возможности осуществить идею высшего совершенства, является зеркало. В его отражении мир фокусируется, так как зеркало: «воедино сливает и многообразно перестраивает отражения» (Тимей 49d).

В целом процесс самопознания, напоминает игру зеркальных отражений, в которых мелькает, проступает, но всем до конца не открывается высшая истина индивидуальной экзистенции.

Обращаясь к платоновской концепции зеркального (суммирующего) видения, Ж. Лакан обращает внимание на эстетический аспект интроспекции. Самосозерцание основано на зачарованности и торможении, которые свойственны любованию. Эта функция зачарованности, даже ужаса, дает о себе знать уже у Фрейда, именно там, где он пишет о построении Я<sup>1</sup>.

«Я» существует в диалогическом единстве отражения и опознания, двух познающих потенций человека, мышления посредст-

---

<sup>1</sup> Лакан Ж. Семинары. Кн. 2. М., 1998. С. 76.

вом четких смыслов и представления, орудием которого являются размытые ощущения. Стадия зеркала основана на соотношении повседневных насущных устремлений, проявляющих себя в виде разрозненных, бессвязных, несогласованных моментов жизни и определенного единства, которое можно сравнить с маской Теофраста. Через слово устанавливается внутреннее единообразие, субъект опознает себя, надевая маску опознания.

В современной психологии термин «характер» предполагает акцент на личной особенности индивида, которая сообщает ему печать неповторимости, исключительности, для грека же это «тип», «застывшая маска». Греческое слово «характер» происходит от глагола *χαράσσω* – «царапать», «писать на камне, дереве, или меди». Сначала оно обозначало инструмент, которым прикладывают штамп, отпечаток, чекан, оттиск. У Геродота характер – это черты лица. Аристотель термин «характер» употребляет в значении «штамп». Греческое слово, соответствующее понятию «личность» – *πρόσωπον*, *persona*, означает театральную маску и театральную роль. «Внутренняя “маска” человека, т.е. его внутренний мир, в принципе подобен внешней “маске”»<sup>2</sup>. Согласно учению стоиков, каждый человек носит четыре маски: маску человека, маску конкретной индивидуальности, маску общественного положения и маску профессии. Профессия понималась как изначально уготовленная маска, ролевая функция мастера.

Анализируя парадоксы зрительной перцепции в истории портретного жанра, Э. Гомбрих пришел к выводу, что маска – это попытка выявить в облике человека те устойчивые черты, которые проявляют его индивидуальность независимо от ее изменений, связанных с настроением или возрастом. Маска – это черты индивидуальности, которые могут быть узнаны даже через поколения<sup>3</sup>. То, чем теперь занимается психология, в античном представлении составляло предмет этики – учение о душевном складе, нраве человека – и входило в область физиогномики, науки, которая пыталась делать заключения о характере и поведении человека по внешности. Античная физиогномика устанавливала связи между врожденными элементами структуры тела (черты лица, форма головы, строение ушей, форма глаз и т.д.) и свойствами характера и темперамента. Современная антропология частично подтверждает то, что физиономические черты обладают знаковым содержанием и, представляя совокупность морально-психологических характери-

<sup>2</sup> Аверинцев С.С. Греческая литература и ближневосточная «словесность» / Типология и взаимосвязь литератур древнего мира. М., 1971. С. 217.

<sup>3</sup> Gombrich E.H. The Image and the Eye. Further studies in the Psychology of Pictorial Representation. N.Y. 1982. P.124.

стик, отражают принадлежность человека к определенной социально-психологической группе<sup>4</sup>.

Исследования в области культурно-исторической психологии показали, что любая социальная структура предлагает человеку свои правила игры. И античный, и современный индивид подобно актеру исполняют те роли, которые возлагает на них общество. Но любые правила имеют исключения, и яркая талантливая личность всегда превышает «среднестатистическую норму». Не случайно, что поведение выдающихся творческих личностей часто занимает особое место в жизненном сценарии эпохи и вызывает пристальное внимание со стороны современников.

Человеку свойственно обостренно реагировать на непривычный ход развития событий. Но, вместе с тем, представления о характере, его оценка и интерпретация во многом определены смысловой направленностью культуры. Поиск физиономического сходства, представление об индивидуальности – результат слияния и осознания множества факторов. Как показывают психологические эксперименты, многие из нас неспособны воспроизвести в точности внешний облик близких и друзей, но это не снижает ощущение близкого знакомства с ними. Мы можем узнать человека по интонации голоса, по почерку, по походке, по быстрому наброску на листе бумаги. Однако в какой степени в пластическом или живописном образе предстает психология модели, насколько авторское Я проникает в структуру произведения? В чем состоит историческое своеобразие механизмов художественного творчества? Какая роль отводится творческому Я художника в жизненном сценарии той или иной эпохи? Важную роль в прояснении структурной организации личности играет проблема памяти. Общеизвестно, что человек осознает себя таким, каким он себя помнит. Частичная или полная утрата памяти ведет к утрате личности.

В рамках религиозно-мифологического сознания память понималась как место хранения сакральной информации. Способность памяти отбирать и хранить, а воспоминания – возрождать освоенный опыт культурно-чувственных представлений воспринималась через призму действующих демидургических потенций. *Воспоминание* понималось как медитативный акт приобщения Я к сфере сакрального. Память являлась формой хранения и передачи опыта и знания. Многообразные культурно-исторические функции психологии памятных процессов нашли отражение в этимологии понятий: латинский термин *memoria* («память», «воспоминание») имеет ряд дополнительных значений. *Memoro* – являлось определением благодарности, при-

<sup>4</sup> См. *Илюшечкин В.Н. Античная физиогномика // Человек и общество в античном мире. М., 1998. С. 442.*



знательности, задумчивости, благоразумия, созерцательности, *mneme* – обозначало свойства человеческого сознания; понятие *anamnesis* – способность памяти оживлять события и образы прошлого, *commemoratio* – литургическое поминовение, *commemorabilis* – способность сознания фокусировать внимание и свойства памяти сохранять сакрально важные события и образы. Личностная дифференциация была ориентирована на тончайшие оттенки переживания мифологического прошлого. Миф не отделялся от настоящего и зримо проявлял свое присутствие в деятельности природных сил и человеческого характера. Подражая действительности, античный мастер видел в ней не внешний мир сотворенных вещей, а скрытую игру, творческий и производящий принцип вселенной. Античное понимание реальности, представление о «настоящем времени» – это припоминание о божественном устройстве мира, «детской игре богов».

Осознание обратимости мифологического прошлого наделяло память магическими свойствами. Художественно воплощенные образы богов и героев олицетворяли их незабвенность (*commemorabilis*) и оживали в процессе созерцания благодаря чудесным свойствам *anamnesis*. Пластическое или словесное воплощение мифа обозначало его «настоящее» или «реальное присутствие». Творческое самосознание существовало в игровом пространстве памяти: пластические образы оживляли слово, словесные описания имитировали визуальную достоверность пластически-осязаемого мира. Ситуация разыгрывания мнимого под настоящее являлась экзистенциальным принципом бытия культуры. Аристотель писал: «На изображение смотрят с удовольствием потому, что взирая на него приходится узнавать при помощи созерцания и рассуждать, что каждый предмет значит»<sup>5</sup>.

Среди искусств Платон выделял «пятый род», в который включал искусство украшения, живопись, музыку. Весь этот род он охватывал единым именем – «игра», так как все вышеуказанное делается всерьез ради забавы. Игровая соотнесенность музыкального и поэтического ритма основывалась на сочетании прекрасного и приятного в слове и имела определенные аналогии с живописью, скульптурой и резьбой, этому учила художника сама действительность. Каждая душа получала свою роль от создателя вселенной, он раздавал маски и костюмы. Художник, как и любой другой участник игры природных сил, обладал ролевой свободой действия. Его характер, определял своеобразие его творческого я.

Отношения между поэтом и живописцем, музыкантом и танцором, словом и изображением были предопределены общностью

---

<sup>5</sup> Лосев А.Ф. Эстетика символической выразительности у Аристотеля // Искусство слова. М., 1974. С. 303.

жизненного сценария. И хотя связь изобразительного искусства с игрой менее наглядна, игровой фактор присутствовал в самых разных его элементах. Это объяснялось тем, что, произведение искусства было причастно к миру сакрального, заряжено его потенциями: магической силой, священным смыслом, репрезентативной идентичностью с космическими явлениями. Освященность и игра пребывали в близком родстве, поэтому игровое качество культа проявлялось в восприятии и оценке произведений.

Показательно семантическое родство между понятиями культа, искусства и игры в греческом слове *ἄγαλμα*, имеющем значение «статуя», «кумир» и происходящем от глагольного корня с целым кругом значений типа «ликовать», «резвиться» и т.д.<sup>6</sup>. Например, реальные спортивные игры отождествлялись с мифическими боевыми поединками и преображались для утверждения их в художественном бытии, а реальные соперники-ровесники, уподобленные персонажам мифов или героических сказаний, позволяли победителю самоутвердиться в роли носителя абсолютной победы. Функциональные особенности восприятия произведений искусства определялись их встроенностью в структуру агональных представлений. Особый интерес представляют посвятельные надписи атлетов.

Агонистические игры впервые были узаконены в начале VIII в. до н.э. и вначале предназначались лишь для пелопоннесских городов, а позднее сделались общегреческими. Жители новых поселений чрезвычайно дорожили правом посылать своих представителей в Олимпию. Поэтому у них с особой тщательностью велись списки победителей; любая очередная победа земляка воспринималась как свидетельство преданности традициям предков и своего величия; все вместе составляло те узы, благодаря которым колония связывалась с далекой метрополией. Одержав победу в дискотетании на острове Кефаллении юноша Эксид посвятил Диоскурам медный диск. Текст посвятельной надписи ведется от имени диска, к которому применен формульный эпитет доспехов и боевого оружия:

Эксид меня посвятил сыновьям великого Зевса;  
Бронзовым мной победил он отвагой могучих кефаллян.

Возможно, к очень ранним агонистическим надписям относится текст на пьедестале маленького изображения курсы из знаменитого святилища Аполлона на острове Книде:

Еварх меня посвятил Диоскурам обоим<sup>7</sup>

Агонистические игры сочетались с исполнением гимна в честь бога, которому они посвящались. Как отмечает

<sup>6</sup> См. Хейзинга Й. Homo ludens в тени завтрашнего дня. М., 1992. С. 190.

<sup>7</sup> См. Чистякова Н.А. Греческая эпиграмма VIII–III вв. до н.э. Л., 1983. С. 66.

Н.А. Чистякова, в эпиграмматическом творчестве архаического периода был синтезирован весь разносторонний опыт художественного мышления, зафиксированный одновременно в памятниках материального и словесного творчества. Эпigramмы составлялись и воспринимались как голоса мемориальных предметов, которым надлежало, согласно их функции, увековечивать событие или деяние и непрерывно сообщать о них. Первоначально предполагалось, что текст надписей произносят сами предметы. Со временем к именам посвятителю или умерших, к именам богов, чаще замененных их культовыми эпитетами, присоединялись имена создателей мемориальных вещей – гончаров, скульпторов, художников. Личность сочинителя текста, который не воспринимался ее создателем, автором, нигде не фиксировалась. В этих случаях утверждал свою личную причастность к оформлению предметов мастер – гончар, скульптор, живописец.

Не случайно, что имена мастеров, создавших то или иное произведение, появляются в период архаики в виде авторских записей на сосудах, статуарной скульптуре, надгробиях. Наряду с простыми клеймами, которые свидетельствовали о сознательной конкуренции в среде ремесленников, авторские имена указывали на личную причастность художников к сфере сакрального. Например, на постаменте вотивного дара из храма Аполлона вблизи Милета посвятителю остались анонимами, сообщив только имя своего отца; скульптор же не только полностью назвал свое имя, но и поместил его на почетном месте – в конце надписи. Такие записи адресовались богам в ожидании их милости за богоугодное деяние; мастер как бы соперничал с посвятителем. Встречались случаи, когда мастер и посвятитель были одним лицом. Как правило, посвятитель лишь называл свое имя, все остальное удостоверял дар. Ранние посвятительные надписи не предусматривали индивидуализированных портретов дарителей<sup>8</sup>.

Художник (как подражатель) следовал за мудрецами, поэтами, ремесленниками. Руководствуясь магической силой *anamnesis*, он оживлял миф, воплощая логос в пластических и живописных образах. Платон рассматривает поэзию как третий вид одержимости и неистовства от Муз, который охватывает душу, пробуждает ее, заставляет выражать вакхический восторг в песнопениях и других видах творчества (Федр 245а). Симонид, описывая статую Вакханки Скопаса, задается вопросом, кто внушил ей священный экстаз, Вакх или Скопас? И отвечает – Скопас<sup>9</sup>.

<sup>8</sup> Там же. С. 63–64.

<sup>9</sup> Симонид. Вакханка // Античные поэты об искусстве. СПб., 1996. С. 46.

Особое умение, оформив предмет, наделить его «голосом» связывалось с творческой способностью мастера к медитации и прозрению. Эти свойства даровала художнику прародительница Муз, Мнемозина. Представления об особом даре художника созерцать сферу божественного и, подобно поэту, придавать «голос» своему творению, отражены в многочисленных экфрасисах. Филипп, воспевая Фидия, пишет:

Бог ли на землю сошел и явил тебе, Фидий, свой образ,  
Или на небо ты сам, бога чтоб видеть, взошел?<sup>10</sup>

Парменион говорит о том, что только Поликлет мог созерцать Геру:

Только один Поликлет своими видел глазами Геру и,  
Как увидал, так ее нам изваял,  
Смертным, насколько лишь можно, открыв красоту;  
Но под платьем  
Нам недоступных красот Зевсу дары сохранил<sup>11</sup>.

Мемориальная значимость экфрасиса определялась сходными с эпиграммой функцией. Творческое воображение приравнивалось к мнемоническому зеркалу, особой способности творческой памяти отражать предвечные образы. Закономерным представляется, что образы Зевса, Геры, Афины, Афродиты в произведениях Фидия, Поликлета, Скопаса предстают как пластические отражения сакрального.

Цель описания понималась как *словесное отражение божественной сути произведения*. Для его создания необходимы не только живописцы или ваятели, но и философы. Функции словесных отражений определялись культом *тетогія*. Лукиан, подчеркивает, что только философы способны создать из всех изображений единый образ, и, дав его в книге, *передать потомкам*. В этом прослеживается восходящая к Платону концепция мифического зеркала, воедино сливающего и многообразно перестраивающего чувственное зрение в сверхчувственное, умосозерцаемое.

Словесный образ, по Лукиану, более совершенен и долговечен, чем сами произведения Аппелеса, Паррасия и Полигнота потому, что сделан не из дерева, воска или красок, но создан внушением Муз. А это и есть изображение самое верное, являющее взорам в едином целом и красоту тела, и высокие качества души<sup>12</sup>.

Словесные отражения строились на основе актуализации ассоциативной памяти, путем использования зрительных императивов от глаголов с различной интенсивностью действия и других слов, связанных со зрением, видением, чудесами. Пластическая

<sup>10</sup> Филипп. Зевс Фидия // Там же. С. 44.

<sup>11</sup> Парменион. Гера Поликлета // Там же. С. 44

<sup>12</sup> См. Лукиан. Изображения // Соч. в 2-х тт. Т. 1. СПб., 2001. С. 179.

наглядность текста формировала у читающего мимесис-состояния, разыгрывала иллюзию реальности.

Описывая статую Праксителя «Дионис», Каллистрат сравнивает его с мифологическим скульптором Дедалом, умевшим оживлять статуи. Приписывая художнику способность наделять мертвую материю жизнью, он пишет:

«Был Дионис цветущим, исполненным нежности; страсть от него истекла; таким его нам представил Еврипид в своих "Вакханках", рисуя нам его образ. Как живой плющ, сгибалась медь в лозах и поддерживала кольца кудрей, спадавших со лба. Он полон был смеха, но что вызывало величайшее удивление, это то, что в мертвой материи были заметны проявления удовольствия, и медь решилась в себе воплотить выражение сильных чувств...»<sup>13</sup>. Согласно Каллистрату Пракситель сумел «вложить в эту статую вдохновенный и бурный восторг»<sup>14</sup>.

Опыт культурно-чувственных представлений строился на способности памяти визуально оживлять образы и ощущения посредством *anamnesis*. В художественной практике античности отдавали отчет в том, что чувства и ощущения оживают в памяти в ином качестве. Они похожи на настоящие, но отличны тем, что являются мнимыми. Театр памяти позволял инсценировать мифологическое прошлое, представить легендарные образы и события как настоящие.

Статуя Диониса Праксителя в оценке Каллистрата совершенна тем, что способна *разыграть чувства, обмануть ощущения*:

«Он стоял, опираясь левой рукой на тирс, и тирс обманывал чувства нашего зрения: он был сделан из меди, а казалось, что, превратившись в естественный свой материал, он источает блеск свежей зелени. Глаза у Диониса пылали огнем, в них можно было увидеть безумный восторг; это вдохновенное состояние стремилась выразить также и медь; казалось, она сама была охвачена божественным духом...»<sup>15</sup>.

В тексте очевидно желание воспроизвести атмосферу драмы, передать дионисийский экстаз, дифирамбический восторг. Подобно тому, как актер, находящийся по отношению к зрителю за пределами обычного мира, благодаря надетой маске словно перемещается в иное Я, которое он уже не представляет, а воплощает, статуя Диониса и ее создатель – Пракситель, включены писателем в универсальное мифологическое действо.

За счет образных ассоциаций, возникающих при чтении текста, словесная статуя эмоционально оживает. Предметный мир и его художественные превращения двоятся. Стилистика текста строится как сценарий чуда, зрительная лексика скрывает и от-

<sup>13</sup> Каллистрат Дионис. Описание Статуй // Филострат (старший и младший). Картины. Каллистрат. Описание Статуй. Томск, 1996. С. 140.

<sup>14</sup> Там же. С. 140.

<sup>15</sup> Там же. С. 141.

крывает смысл видимого. Пластическая репрезентативность и эмоциональный пафос описания целиком соответствуют священному характеру образа, из него проистекает и его игровое начало.

В античном самосознании жизненная роль художника – это физиогномическая маска, характер, который разворачивается в соотнесении жизненных обстоятельств и судьбы. Творческое Я – смешение случайности и закономерности, таланта и гордыни, успеха и поражения, ума и заблуждений.

Важным этапом в развитии античного самосознания становится идея, провозгласившая человека как меру всех вещей. Подобное утверждение стало особенно популярным в период классики и принадлежало представителю учения софистов Протагору из Абдеры (480–410 в. до н.э.) Под этим тезисом Протагор подразумевал индивидуальный характер разума и чувственного восприятия. Личностный опыт трактовался как основа суждений о природе бытия и знания этики. Исходя из этого, суть явлений рассматривалась как предмет субъективной детерминации. Как справедливо заметил Д. Политт<sup>16</sup>, этот, на первый взгляд эпистемологический прием, на самом деле прослеживается достаточно широко, и не только применительно к политике или морали (как в *Тээтете* Платона 151e–179b), но и к сфере искусства. Показательно в этом отношении сравнение поэтического стиля Софокла и пластических новаций Фидия. В греческой скульптуре периода классики, в частности в сохранившихся фризах Парфенона, очевиден интерес к субъективному пониманию композиции, рисунка, ритмической организации движения. Пластические образы не ограничены пределами формы, они словно перетекают один в другой, воплощая понимание постоянной изменчивости и подвижности индивидуального чувственного опыта.

Идея культурной эволюции человека прослеживается и в поэме Софокла «Антигона». Написанная в 442 г. до н.э. поэма могла быть создана под влиянием Протагора, который в эти годы проповедовал в Афинах свое учение о человеке и обществе и был привлечен Периклом для составления юридических документов. В этом же 442 г. до н.э. группа скульпторов под руководством Фидия приступает к работе над фризами Парфенона, которые по многим направлениям занимают в изобразительном искусстве то же место, что и хоральные оды Софокла в литературе.

В классическом самосознании творческий темперамент – это печать характера, игра случая и воля рока:

Наш нрав – вот кто наш Бог!  
И счастье и беда – все от него зависит,  
Его и ублажай, не делая притом

<sup>16</sup> Politt J.J. Art and Experience in Classical Greece. Cambridge, 1972. P. 69.

Ни зла, ни глупости,  
коль хочешь быть счастливым  
(Менандр. Третейский суд).

Античные наблюдения в области физиогномики гласят, что внешние физические приметы человека, в конечном счете, выражают индивидуальные наклонности ума и души. Суммируя опыт своих предшественников<sup>17</sup>, Теофраст в известном сочинении «Характеры» (319 г. до н.э.) констатировал наличие тридцати главных типичных характеров, которые даруются природой. Описывая физиогномические маски, он связывает их поведением реальных современников и таким образом дает их портреты. «Характер» – это сумма душевных свойств, проявляющихся в поступках и словах<sup>18</sup>.

Прослеживая жанровую эволюцию жизнеописаний в период эллинизма можно отметить сохранившуюся со времен классики традицию построения образа на основе сочетания характера (*tropos*), природы (*physis*) и случая (*tychē*). Образ Я художника анализируется с точки зрения естественной игры природных сил – свойств характера. Теория и принципы физиогномики широко использовались в I–II вв. в греко-римской литературе и были, видимо, хорошо известны Плинию Старшему и Плутарху. В биографических очерках Плиния (23–77 г.), жизнеописаниях Плутарха (40 – около 120 г.) сохраняется связь с бытописательной моралистикой раннего эллинизма. Смелость прогрессивного субъективизма, требовала учитывать не только добродетели, но и зло в природе личности<sup>19</sup>.

Описание и анализ творческого темперамента художников у Плиния включает перечень добродетелей и пороков. Живописец Протоген изображается волевым, но честолюбивым и амбициозным. Ограничивая себя в еде и питье, чтобы не притуплять чувств во время работы, он подчас впадал в неистовство.

«Терзаемый душевными муками, так как он хотел, чтобы в картине была правда, а не правдоподобие, он очень часто стирал написанное и менял кисть, никак не удовлетворяясь. Придя, наконец, в ярость от того, что искусство продолжало ощущаться, он швырнул в ненавистное место губкой, она наложила обратно стертые краски именно так, как к тому были направлены его усилия, и счастливый случай воссоздал в картине природу»<sup>20</sup>.

Взаимосвязь характера, творческого метода и счастливого случая осмысливается Плинием как органическое проявление умной

<sup>17</sup> Вопросами физиогномики занимались Пифагор, Гиппократ, Гален, Порфирий, отчасти Платон, Аристотель и др.

<sup>18</sup> См. Фрейденберг О.М. Характеры Теофраста / Ученые записки ЛГУ. 1941. № 63. В. 7. С. 138.

<sup>19</sup> См. Лосев А.Ф. Плутарх. Очерк жизни и творчества / Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Трактаты и диалоги. М., 1998. С. 35.

<sup>20</sup> Плиний Старший. Естествознание. Об искусстве. С. 99.

деятельности природных сил. Элемент случайности особенно укрепляется с развитием культа новой богиней Түхе<sup>21</sup>. Будучи дыханием высшего разума и абсолютно нелогичной в органическом человеческом представлении, она управляет жизнью и ее процессами.

Античная идея художественного прогресса во многом основывалась на *techné*. Это понятие переводится как «искусство», но в расширенном переводе означает правильное использование знания и навыков для создания определенного, заранее продуманного продукта. Не случайно, создавая творческий портрет живописца Паррасия, Плиний рисует образ высокообразованного мастера, внесшего значительный вклад в использование симметрии, добившегося особой выразительности лиц, стяжавшего пальму первенства в контурных линиях. Характер мастера рисуется на сочетании трудолюбия, плодовитости и непомерного тщеславия.

Античные жизнеописания не только создают панораму психологических типов, но и детально перечисляют, какие аспекты *techné* были завоеваны мастером. Владение мастерством – результат творческого темперамента. Достоинства понимаются как средняя величина, некая норма или правильная середина между двумя крайностями, недостатками. Добродетель, это способ достижения блага, недостатки ведут к его утрате.

Очевидно, что влияние физиогномического сознания было укоренено в художественной практике эллинизма. Плутарх превозносит художников за способность проникать в характер, за то, что они «...добиваются сходства благодаря точному выражению лица и глаз, в которых проявляется характер человека»<sup>22</sup>. Показательны частые ссылки Плутарха на портретные изображения описываемых им героев. Следуя за скульптурными и живописными изображениями, он стремится «...углубиться в изучение признаков, отражающих душу человека»<sup>23</sup>. Физиогномика характера в «Жизнеописаниях» неоднократно опирается на существующие изображения описываемых персонажей:

«Внешность Александра лучше всего передает статуя Лисиппа, и сам он считал, что только этот скульптор достоин ваять его изображения. Этот мастер сумел точно воспроизвести то, чему впоследствии подражали многие из преемников и друзей царя, легкий наклон шеи влево и томность взгляда. Аппелес, рисуя Александра в образе громовержца, не передал свойственный царю цвет кожи, а изобразил его темнее, чем он был на самом деле»<sup>24</sup>.

<sup>21</sup> См. Тахо-Годи А.А. Жизнь как сценическая игра в представлении древних греков. С. 309.

<sup>22</sup> Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Трактаты и диалоги. С. 43.

<sup>23</sup> Там же.

<sup>24</sup> Там же. С.45.



Следуя учению о физиогномике, и Плиний, и Плутарх каждое душевное свойство соотносят с соответствующим поступком в жизни, в творчестве, в политике.

Важным аспектом проявления индивидуальных свойств личности является мотив состязания в искусности, умение разыгрывать мнимое под настоящее. Конкурсы, состязания в древнегреческой культуре явление широко распространенное. Описывая творческую биографию Фидия, Плиний подробно перечисляет выдающихся мастеров того времени, определяя их как его *соперников*: «...изображениями и статуями прославилось почти неисчислимое множество художников, а превыше всех Фидий из Афин Юпитером Олимпийским...»<sup>25</sup>. Длинный перечень имен художников, с которыми вступал в состязание и которых побеждал Фидий, – свидетельство его индивидуального превосходства над другими. Мастерство исполнения в пластическом искусстве, равно как и почти во всех других завоеваниях человеческого опыта, отражало агональный импульс. В первородных слоях культуры лежала естественная потребность вызывать друг друга посостязаться и померяться силами в умении. Это – не что иное, как эквивалент всех агональных испытаний, которые встречаются на поприще мудрости, поэзии или отваги<sup>26</sup>.

Своеобразие творческого дарования, поиск средств художественной выразительности, стремление к профессиональному самоусовершенствованию – весь путь к творческому Олимпу строится на умении представить, разыграть мнимое как настоящее. Особое место в этом спектакле отводится мемориальным функциям искусства. Суть живописных и пластических образов, жизнеописаний, экфрасисов и эпиграмм – это овеществление памяти. Автор, движимый агональным импульсом, изначально включен в правила предвечной игры богов. Знание правил – *techné*, свидетельство личного превосходства над временем. Не случайно, идея, провозгласившая человека как меру всех вещей, заключала в себе род всеобщего, превалирующего во всех сферах жизнедеятельности антропоцентризма. Подобное широко распространение антропоцентризм получил в XV–XVI вв. в Италии, где гуманистическое движение охватило все сферы политической, религиозной, художественной жизни общества, поглотив собой средневековый интерес к космологическим абстракциям. Одним из важнейших результатов развития антропоцентрических идей была вера в гуманистический прогресс, в наступивший «золотой век» человечества.

---

<sup>25</sup> Плиний Старший. Естественное знание. Об искусстве. С. 64.

<sup>26</sup> См. Хейзинга Й. Homo ludens... С. 192.

Юрген Кляйн (ФРГ)

## ЭСТЕТИКА ХОЛОДНОСТИ: ОСКАР УАЙЛД

Выбор двух последних слов из оперы Рихарда Штрауса «Электра» – «молчание» и «танец»<sup>1</sup> – в качестве ключа к данной статье, скорее всего, вызовет непонимание. «Молчание» напоминает о последнем предложении в «Трактате» Витгенштейна<sup>2</sup>, и намекает на тот хорошо известный факт, что в начале XX в. трансцендентальные ответы и основополагающие эпистемологические и, следовательно, главные человеческие вопросы устарели. «Опустошенная земля» Т.С. Элиота (1922)<sup>3</sup> может быть рассмотрена как свидетельство потери метафизического фона в литературе, а «Бытие и время» (1927) Хайдеггера – в философии. Отрицая расхожие эпистемологические категории, Хайдеггер расчищает место для исключительно имманентного «бытия в мире» (Passmore 1980, 477ff). Подобно «молчанию», «танец» можно считать указанием на бессмысленное обращение к самому себе – последний динамический признак, с точки зрения совершенного формального и эстетического выражения. Это, помимо прочего, относится и к «Саломее» Оскара Уайлда (Pfeiffer 1999, 499-515). По мнению Ф. Кермоуда, У.Б. Йейтс первым перестал говорить о «единстве бытия», потому что в жизни это было уже невозможно, – «только в искусстве и в том, что называют символическим, избегающим механического интеллекта и дихотомии формы и смысла, это еще может быть достигнуто» (Kermode 1972, 54). Кермоуд суммирует представление Йейтса о красоте в связи с символом танцора – «тела с совершенными пропорциями», которое «как обозначение произведения искусства или образа» порождает «культ говорящего тела», где Малларме обнаружил исток «арабе-

---

<sup>1</sup> В постановке Хуго фон Хофманшталя, подчеркивающей одновременный триумф и смерть индивида.

<sup>2</sup> 'Worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen' (Wittgenstein 1963, 115; cf. 3.221, 4.113-115, 4.1212, 5.6, 5.61, 6.53).

<sup>3</sup> 'What are the roots that clutch, what branches grow / Out of this stony rubbish? Son of man, / You cannot say, guess, for you know only / A heap of broken images' (Eliot, 1963, 63).

сок желания»<sup>4</sup> (Nicholls 1995, 40). Существует только совершенное движение, и ничего больше, так как лицо танцора остается «лишенным интеллектуального смысла» (Kermode 1972, 56-68; 85).

Кризис смысла в философии и искусстве модерна, начавшийся едва ли не с пост-гегельянской и пост-романтической мысли (к чему все это [жизнь, мир] см. Lowith 1988), имел предшественника в эстетике холодности, которая влиятельна и сейчас. Кризис интеллектуальной и эстетической ориентации должен быть помещен между романтизмом и эстетизмом. Поэтому любое обращение к вкладу Уайлда в эстетику холодности должно происходить в контексте культурного и литературного конфликта, характерного для развития английской литературы XIX в. Признанные механистические, идеалистические и романтические концепты потеряли свою самоочевидность, или, как отметил Бертран Рассел: «Существуют некоторые устаревшие концепции, представляющие веру человека в ограниченность человеческих возможностей; основными из них являются Бог и истина... Эти концепции постепенно исчезают; если их не отрицают прямо, они теряют свое влияние, становящееся поверхностным» (Russell 1975, 699).

Любое рассуждение о «холодности» как концепте или образе в контексте эстетики и литературы отрицает использование физического знания: согласно утверждению Б.К. Ридли: «Совершенный порядок соотносится с абсолютным температурным нулем»<sup>5</sup> (Ridley 2000, 165). Хотя это предложение искушает нас прочесть его в метафорическом смысле, как формулу эстетики модерна, его научное значение состоит лишь в том, что при абсолютном нуле любое молекулярное движение заканчивается. И холод, и жара исключают органическую жизнь и, следовательно, человеческое существование. Эстетический конфликт между романтизмом и эстетизмом, однако, требует размышления о различии между холодностью во внешнем и во внутреннем мире. Внешний мир соотносится с эстетическими теориями трансцендентной философии и романтизма, которые включают холодность в свойства возвышенного, – например, в «Монблане» П.Б. Шелли, «Тьме» и «Манфре-

<sup>4</sup> Согласно Морису Бланшо, «сочинительство без цели» принадлежит поэзии, сила которой «заключается в ее не-существовании, а ее слава состоит в том, чтобы своим отсутствием порождать отсутствие всего. Язык нереального, фиктивный язык, который ведет нас к вымыслу, происходит из тишины и в нее возвращается» (цит. по Nicholls 1995, p.41).

<sup>5</sup> Уже в XVII в. считалось, что тепло порождается движением атомов, составляющих физические тела. Холод, следовательно, должен был пониматься как обратная ситуация, замедляющая это движение (Symonui 1995, 356ff.).

де» Байрона, или в «Песне старого моряка» Кольриджа. Холодность как субъект ведет нас к эстетизму и модернизму. Интеллектуальная холодность художника выходит на первый план, вместе с его отстраненностью от предмета изображения, концентрацией на форме, бесстрастным удовольствием и, следовательно, эстетической холодности, отражающей его творчество.

Мой тезис относительно эстетики холодности Оскара Уайлда состоит в том, что переход от эстетики конца XVIII в. и романтизма к эстетизму предполагает изменение позиции: старый взгляд на эстетику присваивал ей лишь ранг «низшего знания» (*gnoseologia inferior*) по отношению к высшему знанию – эпистемологии (*gnoseologia superior*)<sup>6</sup>, но самое позднее с 1850 г. в связи с онтологическим, метафизическим и эпистемологическим кризисом первое место стали отдавать *gnoseologia inferior*.

Хотя XVIII век, как и романтизм, на свой лад преодолел проблему декартовского разделения между *res cognitae* и *res extensa*, и даже отверг предложенную Ньютоном модель универсума, устроенного, как часы, критикуя и разделяя рационалистическую, онтологическую и этическую концепции, совершенный Кантом коперниканский переворот, сочетавший субъективность интеллекта и объективность природы в трансцендентной философии, все еще предполагал существование костяка априорных категорий для понимания и объяснения мира (Pfeiffer 2000, 314-315). Даже если какая-либо вещь была бы отброшена как непознаваемая, неподвижное положение познающего (трансцендентное самосознание и категории), с одной стороны, и серия феноменов, с другой, приводили к возникновению квази-онтологического объяснения мира, хотя и созданного при помощи «как будто». Кантовская «Критика чистого разума» с ее разделением телеологического и эстетического суждения придавала воображению функцию источника, порождающего образы мира, которые не соответствуют параметру «общего установления».

Холодность в природе, с ее горами и безднами, хаосом ледяных нагромождений в Арктике и Антарктике, вызывает ощущение величественного. Даже если природа как таковая остается вещью в себе, она пробуждает человеческие способности: воображение и понимание, если речь идет о красоте, воображение и разум, если мы имеем дело с возвышенным. Оно порождается соотношением воображения и разума, когда первое начинает свою работу с (видимых объектов) природы и доходит до крайности, распространяя их

<sup>6</sup> Эти идеи были сформулированы в *Aesthetica* (1750) Александра Готлиба Баумгартена (см. Baumgarten 1961; Klein 1975, 14-20).

как корреляты всеобщности идей, отражая бесконечность, которая никогда не будет понята эмпирически (Kant 1968, 244-276). Возвышенное, в конце концов, есть относительная концепция, оценивающая *sensibilia* через восприятие природы, и функционирующая в контексте возможного использования (267). Возвышенное основывается не на позитивной оценке физического объекта, но на эстетическом суждении, оценивающим величие объекта, опираясь на субъективное сознание бесконечного (249).

По контрасту с Кантом, абсолютные идеалисты отвергли вещь в себе и перенесли разделение между «Я» и «не-Я» на действия «Я» (как у Фихте). Они пошли и дальше, отождествив сознание с его объектом и с самосознанием. Следовательно, была выработана идея всеобщего самосознания (*absoluter Begriff*), отождествленная с реальностью (Hamlyn 1995, 386-388). Хорошо известно, что немецкий абсолютный идеализм оказывал огромное воздействие на английскую литературу и философию в течение, по крайней мере, двух десятилетий. Достаточно упомянуть Кольриджа, Карлейля (в его ранние годы), Шелли и Вордсворта. Английские романтики, хотя и в разной степени, работали «в духе природы, развивая зародыш при помощи силы воображения, в соответствии с идеей» (Coleridge, цит. по Pater 1927, 79). Сила воображения, однако, предполагает аналогию по структуре или образу действия между творящим художником и Богом: оба они создают мир<sup>7</sup>. Кольриджу потребовалось много времени для построения своей идеалистической теории воображения, которую он представил в *Biographia Literaria* (1817) (Coleridge 1971; см. Klein 2000). Спекулятивная философия Кольриджа и его теория литературы основаны на акте познания, исходящего из отождествления природы и интеллекта (Coleridge 1971, 145). Все его теории, даже его философия истории, связаны с принципом Единого, соотносящего истину и сущее (149). Следовательно, утверждение Кольриджа «Я есть» или 'sum quia sum' (152) отражает абсолютную сущность, идею, заимствованную из континентального идеализма. Мой довод опирается на тот факт, что уже около 1840 г. отождествление сущего с должным (Sollen) в абсолютной идее и, следовательно, истории, идущей к соединению с абсолютной реальностью, было подвергнуто сомнению. Это верно для учеников Гегеля (Lowith 1988, 70-71), но также и для английских и француз-

<sup>7</sup> Кольридж рассматривает «органическую форму» как внутренне присущее, т.е. структурное, средство создания произведений искусства; исходя из этого, следует провести аналогию между божественным творением и творчеством художника. Можно пойти еще дальше, оценивая теорию Кольриджа с точки зрения *Identitätsphilosophie* Шеллинга (Abrams 1974, 119-124).

ских эмпиристов, позитивистов и утилитаристов. Тем не менее, идеализм оказал сильное, хотя и не исключительное воздействие на таких влиятельных английских писателей, как Т. Карлейль и П.Б. Шелли<sup>8</sup>. Шелли придал идеализму налет революционности, а Карлейль, зная о «Признаках времени» (1829), критиковал крайнюю спекулятивность немецкого идеализма (Carlyle 1903, 11-14; 43-48)<sup>9</sup>.

Уже стало трюизмом утверждать, что промышленная революция в Англии принесла с собой всеобъемлющую трансформацию общества, когда новое знание и методы (в науке, технологии, экономике) широкомасштабно применялись на практике. Ее последствия обнажили структурную слабость и конфликты. Для многих английских интеллектуалов стало очевидно, что проблемы индустриального общества не могут быть разрешены через идеалистическую или христианскую доктрину. Если идеализм был убежден в тождественности реальности и истины, то он и не мог предложить ничего для решения проблем английского общества XIX века, сформулированных Фридрихом Энгельсом и другими. Ложность «высоких идей» вышла наружу, и христианство столкнулось с наиболее опасным кризисом в своей истории. Когда разрушение идеализма нельзя было больше отрицать, тезис о том, что «любое эстетическое суждение неизбежно влечет за собой также и моральное и онтологическое суждение» (Abrams 1974, 127) потеряло убедительную силу.

Эстетика холодности в традиционной форме может включить тенденции романтизма к абсолютному при помощи возвышенного. Этот тезис находит выражение в абсолютной страсти (меланхолия, восстание, энергия) и в проявлении абсолютной воли (эгоистический, романтический герой, стремящийся к свободе). Если попытаться рассмотреть соотношение между холодностью и возвышенным, полотно С.Д. Фридриха «Ледяное море» (Die Gescheiterte Hoffnung) может служить прекрасным примером для визуализации. Репрезентация холодности позволяет зрителю про-

---

<sup>8</sup> О Карлейле см. *On Heroes and Hero-Worship* (1838-41) и *Past and Present* (1843); о Шелли см. *Defence of Poetry* (1821) и *Prometheus Unbound* (1818-19). См. Abrams 1973, 299-307.

<sup>9</sup> «'Философ', говорит мудрейший человек своего времени, 'должен стремиться к середине'. Как это верно! Философ - тот, к кому спустилось Величайшее и возвысилось Низкое; кто равен всем и всем брат» (Carlyle 1903, 57). Но абсолютный идеализм оставался для него полезным, когда он начал работу над проектом преобразенной философией истории, в которой - в учении о непрестанном труде на благо общества - он склонялся к секуляризованной версии кальвинизма. - См. первую лекцию о «героях и почитании героев» (*On Heroes and Hero-Worship*) от 15 мая 1841 г.

читать картину как взаимозависимость между ледяным морем и катастрофой человеческой рациональности (кораблекрушение). Человек и его технические достижения практически незаметны. Крушение среди гигантских масс полярного льда – это картина внешнего мира; она показывает поражение человека в «природном окружении» – или, точнее, в экстремальных и отрицающих жизнь физических условиях. Произведение Фридриха следует особой эстетической тенденции в том, что его формальное качество определяется не представленным на картине контрастом во внешнем мире, но противоречиями или проблемами, которые зритель должен домыслить, опираясь на эстетическую теорию романтизма. Аналогичным образом приоритет, отдаваемый Шелли «творческой силе» воображения, примененный к науке, показывает «отсутствие» поэтических способностей и связывает ее поражение стихий с эффектом бумеранга – поражение человека «индустриальным разумом»<sup>10</sup>.

Хотя эстетика холодности могла охватить стремление романтизма к абсолютному, она должна была столкнуться с важным изменением. Когда онтологические и телеологические идеи потеряли значение, возрождение эмпиризма и материализма обозначило ее недостаточность для объяснения космического миропорядка и исторического процесса. Скептицизм и новые научные исследования (геология, химия, металлургия и др.) материального мира положили начало изменению перспективы, которое затронуло и искусство, и культуру. Наука восприняла релятивистские тенденции, так что элементарные концепты, такие, как «истина» и «ценность», были подвергнуты сомнению. Изданная в 1855 г. рецензия Джорджа Элиота на немецкую книгу по философии открыто демонстрирует свой анти-метафизический характер, когда рецензент суммирует основные доводы, одобряя их: «Изолировать эти выражения, оперировать ими в отрыве от опыта, превращать их относительную ценность в абсолютную, выводить знание только из них, ставить их выше, чем опыт – значит пытаться удержать мир на своей голове» (Eliot 1992, 135)<sup>11</sup>.

Неудивительно поэтому, что «онтологическую» эстетику холодности романтизма сменил «методологический» преемник. Эдгар Алан По и Шарль Бодлер очень четко выразили новые пред-

---

<sup>10</sup> См. Shelley 1965, 134. На полотне Фридриха невозможно усмотреть никакого разделения между экспрессией и смыслом; см. Iser 1960, 35.

<sup>11</sup> Джордж Элиот, рецензия на книгу Otto Friedrich Gruppe, *Gegenwart und Zukunft der Philosophy in Deutschland* (1855), в *Leader* 6 (28 July 1855) 723-724; переизд. в Eliot (1992).

ставления. Их пример дал импульс английской литературе конца XIX в., прежде всего Уильяму Пейтеру и Оскару Уайлду.

Говоря о своем стихотворении «Ворон» (1845) в эссе «Философия композиции», По заметил: «В мои намерения входит показать, что ни одна точка в нем не поставлена случайно или по наитию. Работа шла к завершению шаг за шагом, с точностью и жесткой обусловленностью математической задачи» (Рое 1964, 504). По мнению По, хороший литератор должен проявлять в своем творчестве высокий профессионализм, хладнокровно используя квазинаучные методы. Такой подход был воспринят последователем По, Шарлем Бодлером, чьи размышления об экзистенциальном кризисе индивида и поисках своего «я» привели его к созданию эквивалента «многообразных комбинаций» По (correspondences). По концентрировал свои усилия на чистой лирической глубине, придаваемой им изображаемому сюжету, и это уже указывало на аналогию между литературой и музыкой. По считал музыку искусством, обладающим величайшей функциональной формой. Бодлер, обнаруживший уродство внутри красоты, особенно смерть, связал свое художественное кредо не с жизнью, а с ее противоположностью. Красота может быть достигнута лишь через отделение искусства от жизни, так что холодность художника связывается с идеей контроля. Если текст подчинен контролю, включается еще один его вид: поэту необходимо контролировать себя и свои страсти. В поэзии и теоретических рассуждениях Бодлера отчетливо проявляется антиромантизм. Он по-новому связывает реальность и идеал, исключая природу как высшее проявление абсолюта: «Я никогда не поверю, что божественная душа существует в растениях» (цит. по Taylor 1989, 435). «Тени извращенной природы заслоняют свет естественной красоты. Красота искусственна: поэтический синтез сплавляет воедино высокое и низкое, включая в себя очарование сексуальности, жестокость и зло. Манихейство Бодлера выходит за рамки христианского добра, преобразая фрагменты реальности в стихотворения, совершенные, как кристалл» (Eliot 1980, 426). Этот поэтический подход хорошо сочетается с дендизмом Бодлера, его маской сфинкса, иронической отстраненностью от общества, так что сам поэт становился произведением искусства. Холодность сохраняла смысл в искусстве и в жизни (в аристократической точности и ритуалах пунктуальности).

Дендизм Бодлера включает в себя глубокую ненависть к нечестивому союзу торгашества, индустрии и капитализма. Он разделяет такое критическое отношение с романтиками, а также Пейтером и Уайлдом. Денди провоцирует нарушение установленных норм. Он испытывает шок и порождает его. Склонность Бодлера к



моде и праздности подразумевает, что он предпочитает наслаждение моментом в противоположность традиционной иерархии идей и ценностей. В то же самое время он, однако, осознает, что действительность прекрасного мгновения порождает мечты о прошлом. Это чувство действительности, проявляющееся в моде, по мнению Ханса Роберта Яуса, подразумевает двойную привлекательность: поэтического в историческом и вечного в преходящем (Jauss 1970, 54). Именно поэтическое сохраняет внешнее, или преемственность, так что Бодлер очерчивает перспективу, вполне характерную для модерна: временность и историчность становятся взаимозависимыми через его рефлексивный стиль мышления (Habermas 1970, 65). Принадлежность Бодлера модерну оказывается между искусством и полу-религиозным символизмом, при помощи *correspondences*, гармонизируя и идеализируя силы памяти (Jauss 1970, 65). Эти не-природные символы функционируют как знаки успешно пережитого моментального опыта, шокируя и передавая вызванные им страдания и хладнокровный анализ (Eliot 1980, 423). *Correspondences* обеспечивают два неподражательных соединения между двумя половинами искусства: миром мимолетных вещей, событий и действий, часто «совершенно извращенным и невыносимым», и вечным и нерушимым духовным миром. Это – пересечения действительности и вечности (Habermas 1986, 17). Знаменитый сатанизм Бодлера невозможно представить без *correspondences*; эстетические *'frissons galvanique'* сочетаются с бегством от банальности, инертного времени и обыкновенного уродства. Поэт организует элементы текста так же строго, как военачальник разрабатывает стратегию. Сам Бодлер не затронут ужасом своих стихов (например, *'Le Léthé'*, *'Le Chat'*, *'Le Balcon'*): он дистанцируется от органического. Воображение прорывает фактическое и естественное, чтобы представить новый поэтический стиль. Прекрасное проблескивает в аутентичной поэтической структуре (Eliot 1980, 426).

Согласно Бодлеру, прекрасное существует в современных одеждах, хотя действительность не может устранить минувшее. Его стихотворения подобны городу: они представляют собой искусственную и рукотворную тотальность. Благодаря высокой степени самосознания поэт способен справиться с хаотическим опытом городской жизни, который преобразуется в поэтическую форму, так что моменты времени оставляют следы в стихотворениях как выражения «тотальной самодостаточности» (Taylor 1989, 441). Величие романтической природы переносится на городской пейзаж. Таким образом бодлеровское смешение действительно-

сти и истории выходит далеко за рамки классического идеала вечной красоты, ведь оно благоволит моменту и, следовательно, относительной красоте современности. Искусство у Бодлера ни в коем случае не является полезным или прогрессивным, оно демоническое, негативное и ироническое (Nicholls 1995, 8ff); оно вступает в область независимой эстетики.

Ричард Элман не только указал, что Бодлер восхищался предшественником Оскара Уайлда, Шарлем Робером Матюреном, написавшим «Мельмота-Скитальца», он также отметил, что самообразование Уайлда в сфере декадентского искусства включало в себя изучение Бодлера. Поездка Уайлда в Париж в 1882 г. усилила его тягу к Бодлеру, и он стал интересоваться смешением яда и совершенства, поэзии и тайны (Ellmann 1991, 21, 58, 71f., 300-318, 375-382). Однако нам нужно принять во внимание другого влиятельного писателя, который оказал решающее воздействие на формирование эстетики Уайлда – Уолтера Пейтера. В беседе с У.Б. Йейтсом, посвященной «Возрождению» Пейтера, Уайлд признался: «Это моя любимая книга; я никогда не путешествую без нее, но это – цветок декаданса; последняя труба прозвучала в тот момент, когда эта книга была написана» (Yeats 1997, 456). В знаменитом сборнике эссе Пейтера, посвященном Возрождению, где речь идет, помимо прочих, о Пико делла Миандола, Боттичелли, Микеланджело, Леонардо да Винчи и Винкельмане, «Заклучение» (1868 г.) озаменовало рождение новой эстетики, часто неверно называемой «импрессионизмом». Теоретический очерк Пейтера описывает редукционистский и скептический поворот в эстетике, который в весьма специфической форме предлагал выход из философского и эпистемологического кризиса XIX века. И идеалистическая система Гегеля, и позитивизм Конта равным образом были поставлены под сомнение.

В то время как Мэтью Арнольд, имевший, по замечанию Т.С. Элиота (Eliot, 1980, 431), «невеликий дар быть последовательным или давать определения», смело защищал культуру в «Культуре и анархии» (1869) от невежества, вульгарности и предрассудков своего времени, со всей его верой в технологический и экономический прогресс, справедливо утверждая, что культура стала «изучением совершенства» (434), Уолтер Пейтер демонстрировал большую глубину в анализе викторианской эпохи. Он не мог принять уравнения Арнольда «религия равна морали и искусству», так как отчетливо видел «деградацию философии и религии». Пейтер считал, что распад великих систем влиял на развитие философского

редукционизма и аскетизма, которые играли основополагающую роль в его размышлениях об эстетической культуре.

Возрожденный Пейтером эпистемологический скептицизм Юма предоставил ему исходную точку для построения собственной эстетики. Принимая критику Юмом априорного знания (Hume 1955, 72-89), Пейтер вернулся к эмпиризму. Он был поглощен идеями движения, времени и относительности. Он сумел избежать интеллектуального кризиса, представив невозможное как аналог абсолютного. Краткий анализ человеческих чувств вел его от волны субъективных ощущений и потока внешних объектов (Pater 1925, 248) к скептическому отношению к личности, к узлу восприятий, совпадающему с персональным конструированием мира монадической субъективности. Текущее время обуславливает постоянное исчезновение и распад впечатлений, образов, ощущений, так что мы лишены стабильности. Для Пейтера не существует иной стабильности, кроме как в виде эстетики – моментальном состоянии, немедленном замораживании преходящего в прекрасную форму. Эстетическое совершенство переживается как цель в себе, огнеподобное совпадение жара и холода: «Хотя все смешивается под нашими ногами, мы вполне можем ухватить исключительную страсть, или новое знание, которое, расширяя горизонты, на мгновение освобождает дух, или возбуждение чувств, странные оттенки, цвета, любопытные запахи, плод труда художника, или лицо друга» (Pater 1925, 250). «Каждый момент некая форма достигает совершенства в труде рук или в лицах; ...проявление страсти, озарение, интеллектуальное наслаждение непреодолимо реально и привлекательно для нас – но только на один момент» (249).

Ввиду смерти мифа Пейтер подчеркивает, что современное искусство нуждается в чувстве свободы. Это очень трудно, принимая во внимание сложность и универсальность закона природы. Современный мир охвачен магической сетью (электромагнитным полем Максвелла), «проникающей в нас, как сеть более тонкая, нежели чувствительнейшие нервы, однако несущая в себе основные силы мира» (244). Пейтер утверждает, что развитие наук «состоит в постоянном анализе фактов, полученных грубым и обобщенным наблюдением, и их преобразовании в группы фактов более точных и значительных» (Pater 1927, 66). Мы не можем сомневаться в «сложности нашей жизни», поскольку человеческий «организм совершенствуется», и «нервная система [благодаря эволюции] превращается в интеллект» (ibid.). Когда во время онтологического кризиса появилась на свет новая эстетика холодности, проблемы «кажимости» и «реальности», «персональной иден-

тичности» и «я» не могли уже затмить тот важный факт, что эстетика холодности породила структурный подход в литературе. А все структурные подходы должны быть основаны на пейтеровском сочетании скептицизма и эмпиризма (Iser 1960, 19-31), отрицающем догматические и абстрактные системы: «Современному духу ничего не может быть известно, кроме как относительно и условно» (Pater 1927, 65). Если абсолютные философии даже не рассматриваются современным человеком, тогда неуместность систематических и категориальных объяснений реальности приводит к возможным мирам и истинам, которые возникают через дифференциацию и интеграцию опыта. Так происходит в случае, когда множество начинает рассматривать истину уже не как предмет онтологии, но как возможный результат процесса. Для Пейтера возможная истина исходит из опыта, но не из направляющих идей философских систем. Эмпирическая чувствительность тем самым становится важной для не-нормативного и не-телеологического структурирования знания, а также для литературы.

Даже когда философский кризис затрагивает литературную деятельность – как у Пейтера и Уайлда – наиболее важной является структура текста: Пейтер говорит об «архитектурной композиции сочинения» (Pater 1927, 18) и определяет структуру как «необходимость думать о стиле» (19-21). Итак, сомнения Пейтера относительно науки и ее стремления изменить мир при помощи технологии не заходят столь далеко, чтобы исключить приспособление аналитическо-синтетической модели для конструирования литературных образов. Что может сделать искусство, в конце концов? Оно не может отменить или изменить законы природы, но художник может выработать благородный взгляд на «их фатальные комбинации» (Pater 1925, 245). Пейтер предвидит растворение культуры в стиле; остальное – молчание, или «окончательное решение». В своем скрупулезном исследовании пейтеровской идеи искусства, Вольфганг Изер показал, что его не-субстанциальная перспектива, соединенная с изучением опыта, привела к открытию Пейтером эстетического настроения и атмосферы (Iser 1960, 31). Магия субъекта приобретает настроение и «эстетическое выражение» из единого опыта, что приравнивается к «подлинной и осмысленной свободе» (37). Внутри времени эстетический опыт предоставляет художнику бесконечные возможности, которые невозможно разнести по категориям идеальными упорядоченными системами. Пейтер ищет новое в сопоставлении прошлого и настоящего, но не может дать ему определение. Неудивительно, что он был заморожен переходными периодами, когда старый образец и новые формы взаимодействовали между

собой. Искусство действует как гармонизирующая сила; оно не может предоставить решения, но выступает как посредник. Именно соединение противоположностей создает эффект дистанции; таким образом, настроение как относительное состояние освобождается от феноменов и других объектов. Результатом являются структуры, абстрактные, но без идеальной составляющей (54-57ff).

Не только «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайлда дает представление о его концепции эстетики. Во всех его трудах – за исключением, возможно, социальной критики, – *basso continuo* Уайлда явно относителен и, следовательно, напоминает о Пейтере. Но он сочетается с его учением об автономной эстетической форме, с одной стороны, и идеей индивидуализма – с другой. И то, и другое можно рассматривать как аспекты эстетики холодности Уайлда. Автономная эстетическая форма основывается на выражении, «точное естественное чутье относительно истинной ценности и силы слов» (Pater 1910, 1:94), что является условием «моральности искусства как совершенного использования несовершенного средства» (Wilde 1985, 21). Уайлд отвергает реализм за его вульгарность, а идеализм за бесплодность, позволяя Бэзилу Холворду восхвалять красоту Дориана Грея как «мечту формы во времена мысли» (32), что заставляет живописца стремиться к «новой школе» изобразительного искусства, которая «должна содержать в себе всю страсть романтического духа, и все совершенство духа греческого. Гармония души и тела» (33). В последующей беседе с лордом Генри, однако, Холлард жалуется, что современное искусство лишено «абстрактного чувства красоты». Для Уайлда произведение искусства – лишь результат уникального темперамента. Его красота отражает внутреннюю красоту художника (Wilde 1948, 36). Он отвергает смесь художественного идеала с моральным суждением и отрицает переоценку эмоций, так что плохая поэзия рассматривается как проявление свободных эмоций (Flake 1947, 48).

Хотя «я» больше не рассматривалось как единство<sup>12</sup>, но как множество, или, по крайней мере, как серия перспектив в духе Уол-

---

<sup>12</sup> Противоположность такому представлению о «я» высказана в «Appearance and Reality» Ф. Бредли (1893); см. F.H. Bradley 1978, 64-126. По мнению Бредли, отношения между мыслью и реальностью весьма сложны, так как гегельянское их отождествление невозможно, как и любые материалистические объяснения (Passmore 1980, 62). Реальность как таковая нам неизвестна, хотя мы имеем доступ к «непосредственному опыту», роду непосредственного чувства, которое исключает различие между субъектом и объектом. В своей общей критике отношений Бредли утверждает, что «относительный способ мышления порождает кажимость, а не

тера Пейтера или даже Ф.Х. Брэдди, оставался еще один источник создания совершенных произведений искусства, а именно, сам художник. Уайлд выработал антимиμηетическую концепцию искусства и не делал уступок дурному вкусу публики. Он исключает популярность искусства как цель художника, но требует вместо этого, чтобы публика приобрела чувствительность художника (Wilde 1947, 37). Если говорить о сравнении между наукой и искусством, для Уайлда очевидно, что никто не просит ученого проверять свои теории, основываясь на картине мира рядового человека.

Согласно эстетической концепции литературы Уайлда, следует допустить по крайней мере, частичное выведение за скобки этического измерения. Моральные установки внешнего мира не имеют нормативной силы. Хотя сочинения Уайлда, особенно «Портрет Дориана Грея», затрагивают конфликт между эстетикой и этикой (отличаясь тем самым от знаменитого Предисловия к этой работе) его нельзя понимать как возрождение эстетизма. Манфред Пфистер убедительно показал, что в «Дориане Грее» Уайлда одновременно присутствует утверждающий и критикующий эстетизм (Pfister 1986, 103-105), так что не стоит утверждать, что судьбу Дориана надо оценивать как окончательное банкротство эстетизма (Lenz 1983, 328). В своем эссе «Критик как художник» Оскар Уайлд потребовал полного разделения «сферы искусства и сферы этики». Итак, мы имеем существенную причину усомниться в том, что сочинения Уайлда предполагают репрезентацию реальности<sup>13</sup>. Подобно Пейтеру, концепция стиля Уайлда предполагает субъективность художника, порожденную удивительными нарративными структурами, насыщенными атмосферой, и определен-

---

истину»; хотя интеллект нуждается в единстве опыта, «в то же самое время рассекая его на абстрактные элементы» (65). Брэдди утверждает, что мир, в котором наука мыслит себя, не вполне реален. Он критикует концепцию «я» в том виде, в каком она была определена трансцендентальным идеализмом, и предполагает вместо этого, что интеллектуальный аппарат вещей, качеств и отношений должен быть помещен в мир кажимостей. Когда метафизика стремится доказать отсутствие противоречий в экзистенциальных утверждениях, абсолют не может быть помыслен, так как мышление неотделимо от противоречий. «Я» - всегда кажимость, а не реальность, и поэтому жизнь - это только «серия «я». Все онтологические теории были поставлены под сомнение британской философией конца XIX века. Фрагментация «я», согласно Брэдди, выделяет человеческий опыт как нечто непосредственное в море теоретических сомнений.

<sup>13</sup> «Нет, Эрнест, не говори о действии. Оно слепое, зависит от внешних воздействий и приводится в движение импульсом, природа которого бессознательна ... Его основа - отсутствие воображения. Это последний выход для тех, кто не умеет мечтать» (Wilde 1997, 835).

ную отбором, которые предполагает ослабление объективной взаимосвязи вещей (Iser 1960, 82).

Не только в «Дориане Грее» но и в пьесах Уайлда эстетизм выражает состояние общества. Контроль над страстями демонстрирует своего рода эстетизм, но в то же время мы можем найти крайние проявления страстей, например, в «Дориане Грее». Однако герои прозы и пьес порождены видением автора, так что даже текстуальная репрезентация преступления по контрасту с изысканностью красоты и стиля должна рассматриваться по законам художника: «Художник находится вне своего субъекта, и при его посредстве создает несравненные художественные эффекты. Называть художника мрачным потому, что он имеет дело с мрачным в качестве предмета, так же глупо, как называть Шекспира сумасшедшим из-за того, что он написал «Короля Лира»» (Wilde 1997, 911). Нам вновь следует вернуться к формальному аспекту искусства. Уже в 1882 г. Уайлд писал: «все соподчинение в нашем эстетическом движении из всех исключительно эмоциональных и интеллектуальных мотиваций, стоящих за основным поэтическим принципом, есть явный знак нашей силы» (Wilde 1908, 35). Только искусство может породить совершенство во внешнем мире. «С точки зрения формы, образцом искусства является музыкант. С точки зрения чувства, образцом является ремесло актера» (Wilde 1985, 21). Дориан Грей настолько впечатлен изящными выражениями лорда Генри, что восклицает: «Это не новый мир, но скорее изначальный хаос, который (музыка)... во мне порождает. Слова! Всего лишь слова!.. Они, кажется, способны придать пластичную форму бесформенным вещам» (42).

Уайлд возвеличивал совершенство в жизни и искусстве. Производство искусства начинается внутри себя самого и ограничено им же, заключено в нем, как все, что стремится к совершенству: «Для Уайлда идеалом является не человек неукротимых страстей, но человек, чьи страсти, укрощенные и утонченные, превратили его в иную личность, полностью искусственную, созданную. Мерой величия героя Уайлда является та степень, на которую он изменил сырой материал жизни во что-то совершенно другое» (Ellmann 1989, 74).

В человеке есть двойственность: один аспект дан от природы, другой создан. Множественность *personae* относится либо к артефакту, либо к художнику. Исходя из данной посылки, мы можем обнаружить вариацию проблемы истины. Если принять изменчивый взгляд художника, истина и неискренность смешаны, когда маски, фикция, роли используются для того, чтобы «развить

движение, начать ту или иную сцену» (Eliot 1963, 17). Целью художника – Пейтера и Уайлда – состоит в «попытке достичь разреженного, синтетического «я» (Ellmann 1989, 75). Художник использует маски для того, чтобы выразить свою личность и в то же время избежать ее (Thornton 1989, 269-274), так что маска одновременно подразумевает реальность и фикцию. Уайлд сказал: «Ни один великий художник не видит вещи такими, какие они есть» (Wilde 1966, 988). Это подчеркивается высказыванием Торнтон: «Внутреннее зрение находит новые абстракции, в которых и через которые можно выразить себя, и из них маска – самая важная» (Thornton 1989, 272).

Защита Уайлдом эстетического удовольствия содержит в себе интеллектуальный, если не духовный элемент, поскольку она включает в себя основополагающую формалистическую позицию в сочетании со всеобъемлющей критикой пустоты английской цивилизации XIX века. В нечестивом обществе не остается ничего, кроме эстетического совершенства. Если такой художник, как Оскар Уайлд, возводит компетентность творца в высочайшую степень, то его эстетика холодности самодостаточна. Не имеет значения, был ли сам Уайлд холодным или бесчувственным человеком. Факты об этом не говорят. Его эстетика холодности, тем не менее, в конце концов, предстает как вид достоинства, а именно «смелость и яркость человеческой позиции художника в бессмысленном мире» (Taylor 1989, 94).

#### Литература

Abrams M.H. (1974). *The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition*. London: OUP.

— (1973). *Natural Supernaturalism: Tradition and Revolution in Romantic Literature*. New York: Norton.

Baudelaire, Charles (1971). *Les Fleures du Mal / Die Blumen des Bosen*. Trans. Friedhalm Kemp. Frankfurt / Main: Fischer.

Baumgarten Alexander Gottlieb (1961). *Aesthetica*. Hildesheim: Olms. Orogonal edition, 1750.

Bradley F.H. (1978). *Appearance and Reality: A Metaphysical Essay*. Oxford: Clarendon Press. Original edition 1893.

Carlyle, Thomas (1903) *Sartor Resartus: The Life and Opinions of Herr Teufeldsrock*. London: Grant Richards.

Coleridge, Samuel Taylor (1971). *Biographia Litararia*. Ed. George Watson. London: Dent and Dutton.

Eliot, George (1992). *Selected Critical Writings*. Ed. Rosemary Ashton. Oxford: OUP.

Eliot T.S. (1963). *Collected Poems 1909-1962*. London: Faber and Faber.

— (1980). *Selected Essays*. London: Faber and Faber.

Ellmann, Richard (1989). *Yeats: The Man and the Masks*. Hardmondsworth: Penguin.



- (1991). Oscar Wilde. Transl. Hans Wolf. Munich: Piper.
- Flake, Otto (1947). Versuch über Oscar Wilde. Munich: Verlag Kurt Desch.
- Habermas, Jürgen (1986). Der philosophische Diskurs der Moderne. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Hamlyn D.W. (1995). 'Philosophical idealism'. In Ted Honderich (ed.), Oxford Companion to Philosophy. Oxford: OUP, 386-388.
- Heidegger Martin (1957). Sein und Zeit. Tübingen: Niemeyer. Original edition, 1927.
- Hume, David (1955). An Inquiry Concerning Human Understanding. Ed. Charles W. Hendel. Indianapolis: Bobbs-Merrill.
- Iser, Wolfgang (1960). Walter Pater: Die Autonomie des Ästhetischen. Tübingen: Niemeyer.
- Jauss Hans Robert (1970). Literaturgeschichte als Provokation. Frankfurt / Main: Suhrkamp.
- Kant, Immanuel (1968). Kants Werke: Akademie-Textausgabe. Vol. 5. Berlin: Walter de Gruyter.
- Kermode Frank (1972). Romantic Image. London: Routledge.
- Klein Jürgen (1975). Der Gotische Roman und die Ästhetik des Bösen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- (2000). 'Samuel Taylor Coleridges Theorie des Imagination in seiner Biographia Literaria zwischen Empirismus and Idealismus'. In Monika Fludernik (ed.) Romantik. Trier: WVT, 119-146.
- Lenz, Bernd (1983). 'Oscar Wilde: Der Asther als sozialer Rebell'. In Manfred Pfister and Bernd Schukte-Middelich (eds.), Die Nineties: Das englische fin de siecle. Munich: Framcke, 316-324.
- Lowith Karl (1988). Von Hegel zu Nietzsche. Stuttgart: J.B. Metzler.
- Nicholls Peter (1995). Modernism: A Literary Guide. London: Macmillan.
- Passmore John (1980). A Hundred Years of Philosophy. Harmondsworth: Penguin.
- Pater Walter (1910). Marius the Epicurean. 2 vols. London: Macmillan.
- (1923). The Renaissance. London: Macmillan.
- (1927). Appreciations. London: Macmillan.
- Pfeiffer K. Ludwig (1999). Das Mediale und des Imaginäre. Frankfurt / Main: Suhrkamp.
- (2000). 'Modernization and Sophisticated Archaism': The Case (Amongst Others) of A.S. Byatt and the Cultural State of the Novel'. In Walter Gobel et al. (eds.), Modernisierung und Literatur. Festschrift für Hans Uniruch Seeber. Tübingen: Gunter Narr.
- Pfister Manfred (1986). Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray. Munich: Funk.
- Poe Edgar Allen (1967). Tales, Poems, Essays. London: Collins.
- Ridley B.K. (2000). Time, Space and Things. Cambridge: CUP.
- Russell Bertrand (1975). History of Western Philosophy. London: Allen and Unwin.
- Shelley P.B. (1965). The Complete Works of Percy Bysshe Shelley. Ed. R. Ingpen and W.E. Peck. Vol.7. London: Benn.
- Simonyi Karoly (1995). Kulturgeschichte der Physik von den Anfängen bis 1990. Thun: Deutsch.

Taylor, Charles (1989). *Sources of the Self: The Making of Modern Identity*. Cambridge: CUP.

Thornton R.K.R (1989). 'The mask in Wilde and yeats'. In Pfister (ed.), *Die Modernisierung des Ich: Studien zur Subjektconstitution in der Vor- und Frumoderne*. Passau: Pichard Rothe, 269-274.

Wilde Oscar (1908). *The First Collected Edition of the Works of Oscar Wilde*. Ed. Robert Ross. Vol. 10. London: Methuen.

———— (1947). *Der Mensch, die Gemeinschaft und die Kunst*. Ed. Heinrich Kastner. Reinbek: Parus.

———— (1966). *Complete Works of Oscar Wilde*. Intro. Vyvyan Holland. London: Collins.

———— (1985) *The Picture of Dorian Gray*. Harmondsworth: Penguin.

———— (1997). *Collected Works of Oscar Wilde*. Ware: Wordsworth Editions.

Wittgenstein Ludwig (1913). *Tractatus logico-philosophicus*. Frankfurt / Main: Suhrkamp.

Yeats W.B. (1997). *W.B. Yeats: The Oxford Authors*. Ed. Edward Larissy. Oxford: OUP.

## АРТЕФАКТЫ В ИСТОРИИ

---

*В.В. Петров*

### КИННОР, КИФАРА, ПСАЛТЕРИЙ В ИКОНОГРАФИИ И ТЕКСТАХ

(к истолкованию одной англо-саксонской глоссы)

#### 5\*. Средние века

Рассмотрев текстологические свидетельства, вновь возвратимся к иконографии, от символических репрезентаций музыкальных инструментов к историческим<sup>146</sup>. Напомним, что обсуждаемая нами глосса составлена в англо-саксонской школе VII в. и поэтому мы распространим наш иконографический обзор на западноевропейское Средневековье.

#### 5.1. Раннее Средневековье (VII–XI вв.)

Собственно, к предмету нашего исследования прямое отношение имеет лишь иконография раннего средневековья (до XI в.)<sup>147</sup>, с нее и начнем.

---

\* Начало статьи см.: Диалог со временем. Вып. 11. 2004. С. 293-343.

<sup>146</sup> Эволюция музыкальных инструментов на изображениях может существенно отставать от их реальной эволюции. Когда разрыв становится очень велик мы можем говорить о том, что изображение инструмента является символическим. Отмечалось, что тенденция к копированию и воспроизведению «древней», канонической формы инструментов преобладает в Византийском искусстве. Напротив, в искусстве средневекового Запада струнный инструмент царя Давида претерпевает существенные трансформации, которые мы и попытаемся очертить ниже.

<sup>147</sup> См.: *Chadwick S.* The Harp in Early Britain and Ireland // <http://www.simon-s.net/asmus/asharps.html>; *Williamson R.*, Music and Verse in Anglo-Saxon and Viking Times // <http://www.regia.org/music.htm>; *Morrisson D.-H., Sharptooth T.* The Saxon Lyre: History, Construction, and Playing Techniques // <http://www.cs.vassar.edu/~priestdo/lyre.html>. См. также *Bruce-Mitford R. & M.* The Sutton Hoo Lyre, Beowulf, and the Origins of the Frame Harp // *Antiquity* 24. 1970. P. 7-13. Plates I-VIII; *Montagu J.* The World of Medieval and Renaissance Musical Instruments. Newton Abbot (England): David & Charles, 1976; *Page C.* Instruments and Instrumental Music before 1300 // *The Early Middle Ages to 1300*. Ed. R. Crocker & D. Hiley (New Oxford History of Music II). Oxford, New York: Oxford University Press, 1990. P. 445-484; *Panum H.* The Stringed Instruments of the Middle Ages: Their Evolution and Development. Rev. ed. J. Pulver. Norbury (England): The New Temple Press, 1939, reprinted

### 5.1.1. Лирьы

В Западной и Северной Европе вплоть до VIII в. арфы практически не встречаются. Для Галлии древнейшие свидетельства указывают на то, что кельты музицировали на лирах. Сохранилась деревянная фигурка музыканта, –



барда или бога, – который держит перед собой 7-струнную лиру, причем под струнами возможно различить то, что считают передвижным порожком, позволяющим изменять длину струн<sup>148</sup>. Корпус резонатора лиры полукруглый в основании, рукояти слегка вогнуты внутрь, а поперечина параллельна корпусу (Рис. 49).

На Британских островах и на севере континентальной Европы самым распространенным струнным тоже была лира, чаще всего 6-струнная, которая на древнеанглийском именовалась *hearpe* (лира, арфа) или *citere* (кифара). Слово *hearpe* упоминается в поэмах *Видсит* (VII в.) и *Беовульф* (VI–IX вв.)<sup>149</sup>. В Германии лирообразные инструменты обнаружены в Кельне, Oberflacht, Kerch и Хедеби; на Британских островах – в таких королевских погребениях, как Таплоу и Саттон Ху, а также в более скромных захоронениях в Bergh Apton, Morning Thorpe и Абингдоне. Находки датируются периодом V–X вв.<sup>150</sup>

В Англии среди наиболее известных находок – фрагменты 6-струнной гуслеобразной лиры из захоронения начала VII в. в Саттон Ху. Реконструкция этой лиры<sup>151</sup> экспонируется в Британском музее. Её струны снизу лежат на неподвижном порожке, а в верхней части инструмента накручиваются на колки (Рис. 50).

---

1971 by Da Capo Press; Buckley A. Harps and lyres on early medieval monuments of Britain and Ireland // *Harpa* 7 (3/1992).

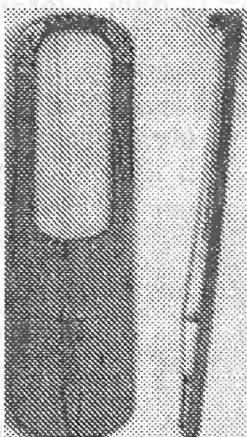
<sup>148</sup> Frick R. The musical instruments of the ancient Celts // *Harpa* 30. Spring 1999; он же. The statue of Paule: Celtic god or bard? // *Harpa* 4. 1991.

<sup>149</sup> См. слово "hearpan": Widsith 103-105; Beowulf 89, 2107, 2262, 2458, 3023. Большинство исторических событий, описанных в Беовульфе, может быть датировано нач. VI в. См.: Chadwick H.M. The Cambridge History of English and American Literature in 18 Volumes. 1907–1921. Vol. I. §3. Beowulf; §6. Widsith.

<sup>150</sup> Crane F. Extant Medieval Musical Instruments: A Provisional Catalogue by Types. Iowa City: University of Iowa Press, 1972. P. 10.

<sup>151</sup> Выполнена с оглядкой на изображения в манускриптах той эпохи. См. рис. 51-52.

Точно такую же лиру можно увидеть на иллюстрации «Давид слагает псалмы» из *Псалтири Веспасиана*, изготовленной в 730–740 г. в Кенте (теперь London British Library, Cotton MS Vespasianus A.I, fol. 30v)<sup>152</sup>. Это самый ранний англо-саксонский манускрипт с изображением Давида, слагающего псалмы, и что особенно интересно для нас,



50.

51.

он создан в Кентербери всего через несколько десятилетий после того, как Феодор составил искомую глоссу (Рис. 51).

Давид, сидящий на троне в окружении своих музыкантов, правой рукой перебирает шесть струн лиры. Инструмент поставлен вертикально у него на коленях. В верхней половине резонаторной доски проделано окно, достаточно большое для того, чтобы открыть доступ к струнам для левой руки. В длину игровое окно достигает половины длины струны, что позволяет музыканту использовать левую руку для извлечения флажолет<sup>153</sup>. Струны изображены схематично, так что непонятно как они крепятся сверху и внизу. Они расходятся кверху веером под небольшим

<sup>152</sup> MS произведен в Кентербери или в Минстере. Миниатюра находится на левой стороне разворота, на правой – латинский текст 26-го псалма, между строк которого в IX в. для каждого латинского слова был вписан англо-саксонский эквивалент. Это самый ранний пример перевода библейского текста на древне-английский. Орнаментальная рамка вокруг миниатюры содержит спирали кельтского происхождения, подобные таковым в *Ландисфарнских Евангелиях*. На правой стороне разворота инициал D (*Dominus inluminatio mea...*) заключает в себе фигуры Давида и Ионафана. Это самый древний из повествовательных инициалов. Псалтирь написана унциалом.

<sup>153</sup> Флажолеты извлекаются правой рукой, когда левая касается открытой струны на 1/2 её длины (обертон звучит октавой выше основного тона открытой струны), на 1/3 длины (дуодецимой выше), на 1/4 длины (квинтдецимой выше) и т. д.

углом и кажутся параллельными. Сходство с лирой из Саттон Ху практически полное.

Изображение Давида из *Псалтири Веспасиана* типологически близко иллюстрации в кодексе из Нортумбрии – «Даремском Кассиодоре», 720–800 гг. (Кассиодор, *Комментарий на Псалмы*, Durham. Cathedral Library. В. II. 30)<sup>154</sup> (Рис. 52).



52.

Итак одна и та же гуслеобразная лира присутствует в Англии и до, и после составления Феодором его глоссы. Как она могла называться? На древне-английском, видимо, *hearpe*. Конечно, Феодор не был глух к культуре англосаксов: он даже выучил древне-английский. Но он преподавал на латыни и хотел воспользоваться словом, имеющимся в Вульгате. А тогда в его распоряжении оставалось только два именованья – *cithara* и *psalterium*<sup>155</sup>. В греческой Псалтири эти два музыкальных инструмента упоминаются почти равное количество раз<sup>156</sup>. Но «псалтерий» Феодор именует треугольным, и в этом случае Давиду из *Псалтири Веспасиана* остается *cithara*, один из видов лиры. Характерно, что когда Беда Досточтимый упоминает о пирах, на которых веселились его соотечественники, он употребляет слово *cithara*<sup>157</sup>.

Если Феодор действительно мыслил так, как мы только что

<sup>154</sup> См.: Bailey R.N. The Durham Cassiodorus. Jarrow, 1979.

<sup>155</sup> Как мы видели выше (у Иеронима, Храбана Мавра), именование *paulum* считалось собственностью иудеев, тогда как *lyra*, *barbitos*, *chelys*, *testudo* – принадлежали эллинам.

<sup>156</sup> Псалтерий – 10 раз: Пс 32:2; 48:5; 56:9; 80:3; 91:4; 107:3; 143:9; 149:3; 150:3; 151:2 Sept; кифара – 10 раз: Пс 32:2; 42:4; 56:9; 70:22; 91:4; 97:5; 107:3; 146:7; 150:3; 80:3. Всего же в греческом Ветхом Завете псалтерий упоминается 21 раз, тогда как кифара – 24. Кроме того, кифара четырежды упомянута в греческом Новом Завете (из них трижды в Апокалипсисе), тогда как псалтерий там вовсе не упоминается. Несколько раз в Вульгате упоминается и «лира», этим словом переводится греческое «псалтерий» (Ис 5:12), «инструмент» (Ам 5:23), «киннор» (1 Пар 16:5; 3 Цар 10:12; 2 Цар 6:5).

<sup>157</sup> Беда. *Historia ecclesiastica* IV, 24 // PL 95, 213A.

предположили, то исторически для этого есть основания. На наш взгляд, подобная гуслеобразная лира возникла не независимо, но в результате эволюции кифары.

В самом деле, очень похожий инструмент можно увидеть на позднеримской мозаике «Орфей приручает диких зверей» из германского Ротвейля, которая датируется II–III вв. (Dominikaner-Museum, Баден-Вюртемберг, Германия)<sup>158</sup>



(Рис. 53). Орфей сидит, поставив вертикально на левое колено струнный инструмент. Внешне лира похожа на ту, что изобразил кентерберийский мастер. Тем не менее, налицо принципиальные отличия. Ротвейльский инструмент – это все еще кифара, хотя и упрощенная. У неё плоский корпус, возможно, утолщающийся книзу, но, похоже, не пустотелый. Сверху в корпусе сделан глубокий вырез достигающий до половины длины струны. Вырез перекрыт поперечиной (которая пока еще не составляет с корпусом одного целого), так что образуется игровое отверстие, как у гуслей. Пять струн, расходящихся веером сверху, лежат внизу на стационарном порожке, а сверху накручены на поперечину (а не на колки, как в реконструированной лире из Саттон Ху). Через игровое окно пальцами левой руки Орфей касается струн. В правой его руке зажат плектр, отсутствующий у Давида из *Псалтири Веспасиана*.

53.

Разумеется, и инструменты типа ротвейльского, и англосаксонские образцы представляют собой разные ветви эволюции целого семейства позднеримских и ранневизантийских лир,

<sup>158</sup> Римляне основали Ротвейль (Arae Flaviae, «алтарь Флавиев») как военный форпост в Agri Decumates – недавно завоеванном регионе между Рейном и Дунаем. Город получил статус *муниципия*, т. е. его община обладала всеми римскими правами. Были построены форум, общественные бани, театр, городские здания типовой постройки. Планировалось, что Ротвейль разовьется в большой город, поскольку он контролировал перекресток важных дорог. Однако, уже через десять лет император Домициан (81–96 н.э.) продвинул границу дальше, так что Ротвейль утратил свое стратегическое положение, оставшись небольшим городком, см. <http://home.t-online.de/home/bernd.hummel/histeng.htm>.

формы и устройство которых существенно отличались друг от друга. В VI в. н.э. такие инструменты варьировались от изысканных образцов «феодосиевского стиля» в Италии, –

– диптих «Поэт и муза», 530-550 гг., Монца, Музей при Соборе Иоанна Крестителя (Рис. 54, также см. прим. 49);

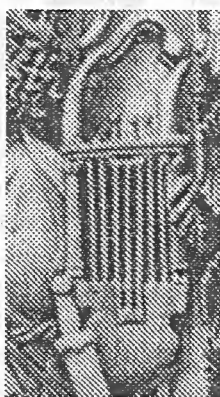
– актриса с тремя масками. VI в. Берлин. Гос. музей (Рис. 55), –

до примитивных лир на азиатском Востоке, вроде той, что держит в руках царь Давид на иллюстрации из сирийского кодекса:

– *Евангелие Раввулы*, f. 4v, 586 г. (теперь – Флоренция, Biblioteca Mediceo Laurenziana, cod. Plut. I, 56)<sup>159</sup> (Рис. 56).



54.



55.



56.

Напротив, на крайнем Западе, в Ирландии, через полтора-два века после лир из Кентербери и Дарема мы видим струнный инструмент иного типа. Его изображение вырезано на кресте из песчаника в Дурроу (X в., Durrrow Abbey, гр. Оффали). Форма инструмента напоминает 8-струнную лиру из Каратеппе (см. Рис. 34), поперечина которой тоже дугобразна. Однако, если музыкант из Каратеппе держит лиру длинной стойкой к себе, то музыкант из Дурроу – наоборот (Рис. 57). У обоих инструментов струны слегка расходятся кверху веером.

Еще через два столетия изображение похожей лиры встречается во Франкии: в *Тройной Псалтири* (Psalter Triplex) из аббатства св. Ремигия в Реймсе, XII в. (теперь – Кембридж, St. John's

<sup>159</sup> Создано сирийским монахом-писцом Раввулой в монастыре св. Иоанна в Загбе («Бейт Мар Иоанн» в «Бейт Загба»), т. е., предположительно, в северной Сирии, между Антиохией и Аламеей. Возможно, Раввула принадлежал группе писцов из Эдессы (теперь Урфа, Турция), работавших в этом регионе в VI в.



College)<sup>160</sup>. Здесь в окружении других музыкантов на 8-струнном инструменте играет царь Давид (Рис. 58). Формой лира напоминает описанную выше ирландскую. Одна из стоек (ближайшая к музыканту) крепится к основанию под прямым углом, тогда как вторая, более короткая, несколько отклонена от вертикали наружу. Концы стоек соединяются дугообразной поперечиной, к которой с помощью колков крепятся струны. Давид держит руки по обе стороны арфы и, как кажется, играет пальцами, без плектра. Формой инструмент несколько напоминает византийскую лиру Орфея с терракатовой печати (см. Рис. 29).



57. 58.

От лир той эпохи сохранились не только изображения. В трактате каролингского ученого Хукбальда *De Harmonica Institutione* (ок. 880) обсуждается таблатура 6-струнной лиры и даются инструкции по её настройке. Хукбальд комментирует трактат Бозэция *О музыке* и приводит пример того, как музыкальная система Бозэция может быть приложена к лирам. Он замечает, что интервалы между струнами лиры должны составлять тон-тон-полутон-тон-тон<sup>161</sup>.

<sup>160</sup> См. Swarzenski H. *Monuments of Romanesque Art: The Art of the Church Treasures in Northwestern Europe*. 1954. P. 60-61 и Plate 126. No. 288. Давид окружен музыкантами с монохордом и колокольчиками, флейтой, дудкой и органом. Этой группе противопоставлены «бесовские» игрища с игрой на ребекe (аналог русского гудка), пляшущим медведем, бьющим в бочкообразный барабан, и акробатами.

<sup>161</sup> Hucbald, Guido, and John on Music: Three Medieval Treatises. Ed. and introd. C.V. Palisca. Trans. by W. Babb // *Music Theory Translation Series*. III. New Haven and London: Yale University Press, 1978. P. 22-23.

### 5.1.2. Арфы

Современное европейское слово «арфа» (англ. – “harp”, нем. – “Harfe”, фран. – “harpe”, итал. – “arpa”) имеет корреляты в англо-саксонских, древне-немецких и древне-норвежских словах, с основой, означающей «щипать»<sup>162</sup>. К XIII в. термин начинает использоваться исключительно в отношении треугольной арфы. Самый ранний гэльский термин для струнного инструмента – *crúit*. К 1200 г. он также начинает применяться исключительно к треугольной арфе. Впоследствии в Шотландии и Ирландии арфа стала именоваться *clarsach* или *cláirseach*.

#### Арфы континентальные (каролингские)

Хронологически и эволюционно каролингские арфы предшествуют «островным» (т. е. произведенным на Британских островах). Вот три арфы, датируемые периодами правления трех поколений каролингских правителей – Карла Великого (742–814), Людовика Благочестивого (778–840) и Карла Лысого (823–877).

- Арфа без колонны. Переплёт *Псалтири Дагульфа*, дворцовая мастерская Карла Великого, 790-е гг., слоновая кость. Композиция следует поздне-античным образцам<sup>163</sup> (Рис. 59).
- Давид-псалмопевец, несущий арфу-«треугольник» (у которой ещё отсутствует колонна), цитру и измерительный прут, *Утрехтская Псалтирь* (теперь – Утрехт, Bib. Rijksuniv., Codex 32, f. 63v). Кодекс изготовлен в 816–834 гг. в Отвийе (Altumvillare). До этого в манускриптах Давид изображался только с лирой (Рис. 60).
- На фронтисписе псалмов в *Библии Вивиана*<sup>164</sup> (845 г., Тур) приплясывающий на облаке Давид правой рукой (без плектра) играет на маленькой 14-струнной арфе-«треугольнике»<sup>165</sup> (Рис. 61). Од-

<sup>162</sup> Хотя в германские языки слово попало, возможно, из греческого (ср. ἄρπαξω, «хватать», или ἄρπη, лат. harpe, «серп»), что подтверждается его наличием в языках романской группы. См.: Frick R. “Harpa – Root of a global word” // Harpa 1 (1/1991); “The origin of the word harp: Origin unclear circulation worldwide” // Harpa 6 (2/1992).

<sup>163</sup> Карл Великий поручил своему писцу Дагульфу иллюстрировать Псалтирь для папы Адриана I. Когда в 795 г. Адриан умер, Псалтирь осталась в королевской сокровищнице. Это единственная сохранившаяся резьба по кости, выполненная по прямому поручению Карла Великого.

<sup>164</sup> MS Paris Bibliothèque Nationale, lat. 1, f. 215v. Это первая Библия Карла Лысого, внука Карла Великого. Кодекс изготовлен в монастыре св. Мартина в Туре и преподнесён королю графом Вивианом, по всей видимости, в 845 г. См.: P.E. Dutton, H.L. Kessler. The Poetry and Paintings of the First Bible of Charles the Bald. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1997. P. 25.

<sup>165</sup> Над головой царя надпись – DAVID REX ET PROP<НЕТА>. Давида окружают еще четыре музыканта. Это иллюстрация к 2 Цар 6:5: «А Давид

ной стороной Давид прижимает треугольник к себе, держа арфу левой рукой за острый угол (от которого отходит декоративный отросток в форме шишечки).



59.



60.



61.

Струны арфы натянуты почти вертикально от горизонтального катета рамы к диагонали-резонатору, поперек которого прикреплены большие колки, напоминающие современные скрипичные. В полном соответствии с тем, что говорил о псалтерии Феодор, этот инструмент «треугольный». Отвечает он и прочим описаниям псалтерия: его форма напоминает греческую «дельту», он имеет резонатор сверху и типологически является не лирой, но арфой. Замечено<sup>166</sup>, что художник ориентировался на позднеантичный манускрипт – на так называемого *Ватиканского Вергилия* (Biblioteca Apostolica, Cod. lat. 3225, IV–V вв.)<sup>167</sup>, который, как указывает одна из схолий, в IX в. находился в Туре. Тем не менее, инструменты, на которых играет Давид и его музыканты могут быть скопированы и с более поздних, византийских, манускриптов.

и весь Израиль играли пред Господом на всяких деревянных инструментах: и на кифарах, и на лирах, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах» (in omnibus lignis fabrefactis et citharis et lyris et tympanis et sistris et cymbalis), а также к 2 Цар 6:14-22: «Давид скакал изо всех сил пред Господом; одет же был Давид в льняной ефод... Мелхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала: как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня пред глазами служанок рабов своих!...».

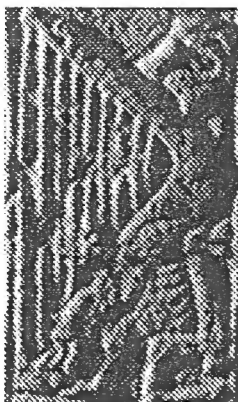
<sup>166</sup> Dutton P.E., Kessler H.L. Op. cit. P. 59-60. Также см.: Koehler W. Die Karolingischen Miniaturen. Band I, 2. Die Schule von Tours. Die Bilder. Berlin 1933, <sup>2</sup>1963. P. 214-215.

<sup>167</sup> Vergilius Vaticanus Commentarium. Ed. Graz. 1984; Wright D. When the Vatican Vergil Was in Tours // Studien zur mittelalterlichen Kunst 800–1250. Festschrift für Florentine Mutherich zum 70. Munich: Geburtstag, 1985. P. 53-66; и The Vatican Vergil: A Masterpiece of Late Antique Art. Berkeley, 1993.

### Арфы «островные»

В Шотландии изображения арф-«треугольников» фиксируются с IX в. на восточном побережье на каменных плитах и крестах пиктов. Практически всегда это арфа с колонной. Можно прочесть, что колонна, соединяющая концы рамы и резонатора арфы, появляется именно в Британии и Шотландии, однако её можно увидеть на шести из десяти изображений арф в *Утрехтской Псалтири* (Франкия, IX в.), которая, в свою очередь, воспроизводит позднеантичные образцы<sup>168</sup>.

В Англии собственно арфа (О.Е. *hearpe, gamenwudu*), а не лира, фиксируются с конца IX – нач. X вв. В Ирландии в X в. появляются четырёхугольные арфы, а наиболее раннее изображение треугольной датируется 1100 г. Треугольные европейские арфы отличаются от своих предшественниц тем, что их рамы являются составными, будучи сложены из трех частей по числу сторон. Самих инструментов того периода не сохранилось. Можно указать на ряд изображений ранне-средневековых арф:



62.



63.

– арфист, играющий на 8-струнном инструменте, конец IX – начало X вв. (согласно другой, менее вероятной, датировке 780–820 гг.), крест из песчаника, Далплин, Пертшир, Шотландия<sup>169</sup> (Рис. 62);

– арфист, играющий на 8-струнной треугольной арфе, ок. 900 г., Монифит, Ангус, Шотландия<sup>170</sup> (Рис. 63);

<sup>168</sup> Хотя для каролингских изображений не исключено и «островное» влияние, поскольку в IX в. поток эмигрантов с Британских островов претерпевает качественные изменения и в нем начинают преобладать учёные скотты (ирландцы).

<sup>169</sup> См.: *Sutherland E.* In Search of the Picts. A Celtic Dark Age Nation. London: Constable, 1994. P. 213; прорисовка из кн.: *Allen J.R.* Early Christian Monuments of Scotland. Edinburgh, 1903. Fig. 334B.

<sup>170</sup> См.: *Sutherland.* Op. cit. P. 213. Это прототип или копия изображения с креста из Dupplin Castle (в зависимости от датировки последнего).

– арфист, флейтист и кошка. Резьба по камню. Летенди (Lethendy), Пертшир, Шотландия, X в. (Рис. 64);

– сидящий на стуле музыкант с маленькой треугольной арфой. Игральная фишка с вырезанным на ней арфистом, Глочестер, Англия. Арфист обращен влево и согнутой левой ногой упирается в рамку, обрамляющую изображение. Арфа поставлена на левую голень и левой рукой музыкант бряцает по струнам<sup>171</sup> (Рис. 65);



64.



65.

У «треугольных» арф более позднего периода колонна получает некоторую выпуклость наружу, см.:

– стоящий музыкант с треугольной арфой на левом плече – *Псалтирь Харли*, ок. 1000 г. (теперь – Британская библиотека, MS Harley 603, f. 55v)<sup>172</sup>;

– Йувал, «отец всех играющих на арфе», музицирует на 12-струнной треугольной арфе (MS Оксфорд, Bodleian Library, MS Junius 11, f. 54r. *пс.-Кэдмон. Метриче-*

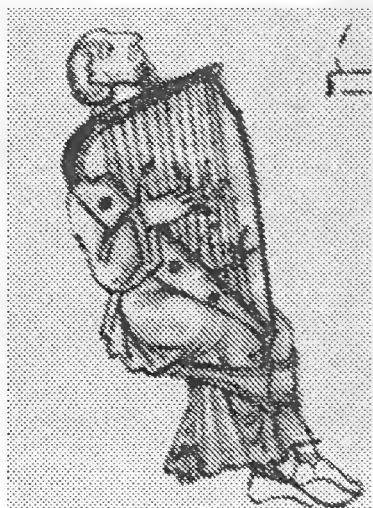
*ский парафраз Священной Истории*, кодекс иллюстрирован в конце X – начале XI в. в Кентербери). Резонатор инструмента нижним краем зажат между колен музыканта, а в верхней части поддерживается на сгибе правого локтя (Рис. 66);

– царь Давид с 12-струнной арфой в окружении музыкантов, *Winchcombe Psalter*, ок. 1030–1050 гг. (теперь – Кембридж, Университетская библиотека, f. 23)<sup>173</sup> (Рис. 67). Арфы Давида и Йувала практически идентичны;

<sup>171</sup> Tablesman T10: Harpist // <http://www.gloucester.gov.uk/libraries/templates/page.asp?URN=1236>.

<sup>172</sup> Rensch R. The harp: Its History, Technique and Repertoire. New-York: Praeger Publishers, 1969. Pl. 7. Harley Psalter был скопирован с *Утрехтской Псалтири*. В ряде иллюстраций английский копиист добавил к угловой арфе *Утрехтской Псалтири* колонну и выделил плечо рамы. Стало быть, он работал с оглядкой на современные ему инструменты. Книга рисовалась в две стадии – ок. 1000 г. и ок. 1040–1070 гг.

<sup>173</sup> Ed. V. Ford. The Cambridge Cultural History of Britain. Vol. I: Early Britain. Cambridge, 1992.



66.

67.

- 11 девушек с арфами (Рис. 68). Миниатюра из Ветхозаветного Шестикнижия, переведенного на древне-английский проповедником Элфриком, втор. четв. XI в., Кентерберн (теперь – Cotton MS Claudius B. IV, f. 92v). Отмечают, что миниатюра, предположительно, следует византийскому прототипу. В самом деле, на этом наиболее позднем из рассмотренных нами изображений, арфа начинает трансформироваться, напоминая византийские инструменты того периода (ср. ниже Рис. 97).



68.

## 5.2. Высокое Средневековье (XII–XIV вв.)

### 5.2.1. Псалтерий

"And al above ther lay a gay sautrie,  
On which he made a-nyghtes melodie  
So swetely that all the chambre rong;  
And 'Angelus ad virginem' he song..."<sup>174</sup>

Несмотря на то, что круг инструментов, которые могли соответствовать «кифаре» и «псалтерию» у Феодора уже очерчен, мы продолжим наш обзор на более поздний период. Это объясняется, во-первых, тем, что последующие века являются периодом наибольшего распространения средневекового псалтерия<sup>175</sup>. Многочисленные разновидности, которые он приобретает в этот период, обильно представлены в иконографии вплоть до XVIII в., и в настоящее время при упоминании «псалтерия» обыкновенно указывают на инструменты, возникшие только после XI в. Во-вторых, иконография этого позднего периода содержит важные образцы, которые могли иметь прототипы в более ранней, интересующей нас эпохе, изображений от которой не сохранилось.

При чрезвычайном разнообразии форм все псалтерии высокого Средневековья имеют нечто общее. В отличие от арфы струны у таких инструментов натянуты поверх плоского резонаторного корпуса и чаще всего приводятся в движение посредством плектра. Уже достаточно рано по струнам стали ударять с помощью маленьких деревянных молоточков. В иконографии такие инструменты возникают в период музыкального ренессанса второй четверти XII в.

Трапецевидный псалтерий в текстах XIII в. определяется как *canon*, «канун» (от греческого κανών, «мера»). Треугольный псалтерий, составлявший как бы половину кануна, с некоторого времени стал именоваться *micanon* (*mi-quanun*). А еще позже инструмент получает имя *salterion* и *sautier*. В настоящее время псалтериями называют вообще все настольные *цимры*, от кануна до различного рода цимбал и тимпанов.

#### Прямоугольный псалтерий

Можно указать на следующие изображения прямоугольных псалтериев:

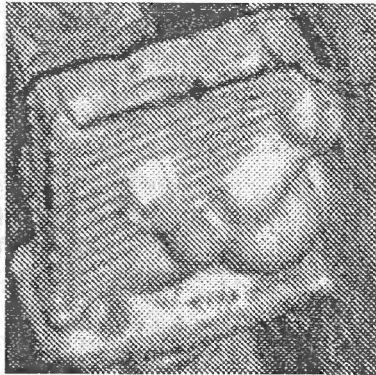
<sup>174</sup> Чосер Дж. Кентерберийские рассказы. Рассказ мельника 105-108.

<sup>175</sup> Аутентичные изображения музыкальных инструментов высокого Средневековья (XII–XIV вв.) см.: Cantigas de Sancta Maria // <http://membres.lycos.fr/cbrass/psalter/psaltjacob.html> или <http://www.pbm.com/~lindahl/cantigas/images> и <http://apemutam.free.fr/instrsculpt.html>. О псалтерии см. также *Paniagua C. Salterio. The History* // <http://www.hacbrett.at/English/Salterio.htm>.

- декор собора в Хаке, XI в. (Арагон, Испания); это одно из первых испанских изображений (Рис. 69);
- церковь в Таске (Арманьяк, Франция) XII в. (Рис. 70);



69.



70.

- прямоугольный псалтерий на иллюстрации к *Cantiga 80 (De graça e d' amor...)* в *Cantigas de Santa Maria (Песни св. Марии)*, богато иллюминированном кодексе, выполненным (до 1255 г.) по заказу Альфонсо X Премудрого, короля Леона и Кастилии (Рис. 71)<sup>176</sup>.

### Треугольный псалтерий

На изображениях треугольный псалтерий подчас трудно отличить от арфы-«треугольника». Так, на иллюстрациях из *Cantigas de Santa Maria* нет сомнения, что речь идет о треугольных псалтериях (см. ниже Рис. 74 и 75). Однако, в ряде случаев (Рис. 80) с уверенностью сказать, что перед нами не арфа, невозможно. Уже в XI в. стали появляться многочисленные разновидности псалтерия, такие, например, как «рота» – арфоподобный псалтерий со струнами, натянутыми по обе стороны резонирующего короба (см. Рис. 78-79). *Рота* часто встречается



71.

<sup>176</sup> По поручению короля Альфонсо было подготовлено собрание 427 «песен», большая часть которых прославляет Деву Марию. Манускрипт *Cantigas de Santa Maria*, хранящийся в Мадриде (Библиотека Эскуриала, Codex T. I. 1) – это кладезь изображений средневековых инструментов. На 40 иллюстрациях изображены 40 инструментов, формы которых демонстрируют синтез западноевропейских и арабо-андалузских влияний. См.: [http://www.3to4.com/Cantigas/e\\_index.html](http://www.3to4.com/Cantigas/e_index.html).



ся в иконографии с X по XIII вв.<sup>177</sup>. Вначале исполнитель держал псалтерий в вертикальном положении у груди, но по мере того как число струн росло и инструмент становился все более громоздким, его стали размещать горизонтально на столике или на коленях.

- базилика Нотр-Дам-де-ла-Дорад (Daurade от Deaurata, «позолоченная»), XII в. (теперь Музей августинцев, Тулуза, Франция) (Рис. 72);
- музыканты Давида, аббатство святой Фуа (Fou, от лат. Fides) в Конке, XII в., Франция (Рис. 73);
- илл. к *Cantiga 40 (Deus te salve, gloriosa...)*, 1255 г. (Рис. 74);



72.



73.



74.

– илл. из *Cantigas de Santa Maria*, 1255 г. (Рис. 75)<sup>178</sup>;

– царь Давид, Псалтирь, XII в., Мантуя, Городская библиотека, Италия (Рис. 76);



75-76.

<sup>177</sup> Как и в случае с псалтерием, *ротой* называли разные инструменты: в XII в. – крут, в XIII в. – кифару, лиру или арфу.

<sup>178</sup> Panel 1. *Cantiga de loor* No. 120: «Король Альфонсо наставляет музыкантов и танцоров хвалить Деву и Младенца», согласно <http://faculty.washington.edu/petersen/alfonso/alfonsox.htm>.

– церковь св. Винцента (Викентия) в Авиле (Испания), XII в. (Рис. 77);



– аббатство Нотр-Дам, Сюржер (Приморская Шаранта, Франция), XII в. (Рис. 78);

– церковь св. Мартина во Фромисте (Кастилья, Испания), XII в. (Рис. 79);

– церковь св. Исидора в Леоне (Испания), XII в. (Рис. 80, ср. Рис. 61);

– церковь св. Иакова (Santiago) в Агуэро (Арагон, Испания), XII в. (Рис. 81)<sup>179</sup>;

– церковь в Реболledo-де-ла-Торре (Кастилья, Испания), ок. 1186 г. (Рис. 82)<sup>180</sup>

77.

### Трапецевидный псалтерий

Последним по времени в Европе появляется трапецевидный псалтерий, именовавшийся у арабов «кануном» (qanûn). Инструмент был принесен ими в Испанию, а христианские изображения (начиная с XI в.) показывают, что на нём играли плектром или молоточками. Согласно аль-Секунди (1231 г.), канун был широко распространен в Андалусии, а центром его изготовления была Севилья.



78-79.

<sup>179</sup> См.: <http://www.fut.es/~espada/arra/mindex.html>.

<sup>180</sup> Iglesia románica de Rebolledo de la Torre // [http://www.artequias.com/romanico\\_rebolledo.htm](http://www.artequias.com/romanico_rebolledo.htm).



80.

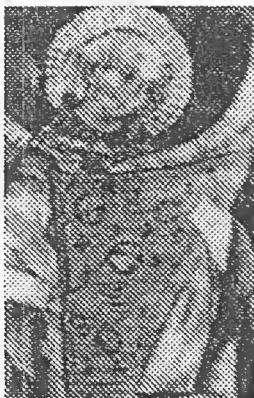
81.

82.

В конце XV в. трапецевидный псалтерий видоизменяется (сначала в Северной Европе) в «барочный псалтерий», «timpanon» или «dulcema», на котором играли молоточками. Самый ранний из дошедших до нас инструментов был изготовлен в Болонье в 1514. Он выходит из употребления с концом эпохи барокко, уступая место клавишину, но сохранился под именем *сантура* там, где была сильна традиция, например, в Греции и Иране. Изображения трапецевидных псалтериив:

– церковь св. Антонина, монастырь якобинцев в Тулузе (1229–1350) (Рис. 83)<sup>181</sup>;

– панель работы Турино ди Ванни (1348-1438) «Дева, младенец и ангелы», 1390-е гг., Лувр (Рис. 84);



83-84.

<sup>181</sup> Saint Dominique à Toulouse // <http://www.jacobins.mairie-toulouse.fr/accueil/acciaco.htm>.



Псалтерий могли держать боком, так что струны располагались вертикально (Рис. 85-86), или в перевернутом положении:

85-86.

– иллюстрация к *Cantiga 50* (*Non deve null' ome desto per ren dultar...*) (Рис. 87).



В какой-то момент боковые линии трапецевидного псалтерия приобретают изгиб и возникает подвид, именуемый «свиной мордой» (*hog-nose psaltery*, *Groin de Porc*).

– иллюстрация к *Cantiga 70* (*Eno nome de Maria...*) (Рис. 88);

– фрески церкви в Бюрен-ан-дер-Арен (кантон Берн, Швейцария), XV в. (Рис. 89);

– церковь Нотр-Дам в Кодебек-ан-Ко (*Caudebec en Saux*, Нормандия, XV в. (Рис. 90);

87.

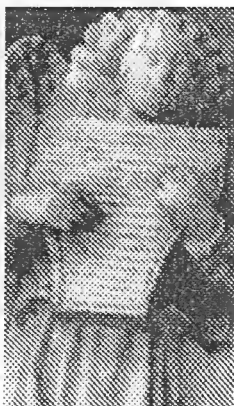
Псалтерий мог походить на шлемовидные гусли, как на французской иллюстрации XIII в. (Рис. 91). А фрагмент картины фламандца Яна ван Эйка «Благодатная весна» (ок. 1423–1426, Музей Прадо, Мадрид) изображает ангела, играющего пером-



88.



89.



90.

плектром на крыловидном псалтерии, иначе называемом «миканоном», что значит «половина кануна» (Рис. 92).

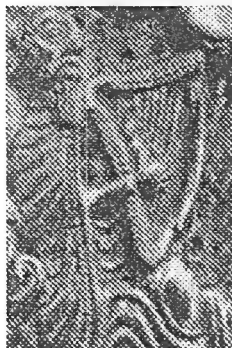


91-92.

### 5.2.2. Арфы

Арфы позднего Средневековья (XII–XV вв.) представляют собой переносные инструменты. Инструмент приобретает более изысканные формы. У него появляется «плечо», поскольку верх рамы теперь прогнут, чтобы сделать струны в середине чуть короче и достичь более равномерного натяжения. См. Рис. 91, а также:

- царь Давид с 9-струнной арфой, с. 1100, бронзовая пластина на реликварии св. Мэдока (Breac Moedoc), Ирландия, Национальный музей<sup>182</sup> (Рис. 93);
- иллюстрация к *Cantiga 380 (Sen calar nen tardar...)*, Рис. 94;
- миниатюра из «Всемирной хроники» Рудольфа фон Эмса, XIV в. (Рис. 95).



93.



94.



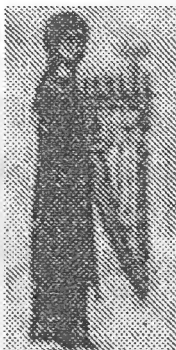
95.

Царь Давид теперь не просто исполняет псалмы. Зажатым в левой руке ключом он подстраивает одну из струн, тогда как правой продолжает играть. См.:

<sup>182</sup> Yeats G. The Harp of Ireland. Belfast Harpers' Bicentenary Ltd., 1992. P. 2.



96.



97.

– *Hunterian Psalter*, ок. 1170. MS U.3.2, f. 21v, Глазго, University Library (Рис. 96);

– настроечный ключ, как кажется, виден у арфы и в более раннем манускрипте, византийской *Псалтири Феодора*, изготовленной в 1066 г. в Студийском монастыре (Константинополь) монахом Феодором из Кесарии (Лондон, Британская библиотека, MS Additional 19352, f. 191), Рис. 97.

Позже Давид с арфой начинает изображаться внутри большого инициала «В» из слова «*Beatus*», начинающего первый псалом: *Beatus vir qui non abiit in concilio impiorum...* (Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых...). Подобный инициал называют «обитаемым» (*ihhabited*) или «повествовательным» (*historiated*)<sup>183</sup>. Ср.:

– инициал из *Псалтири Лутрелла*, 1340-е гг., *Luttrell Psalter*, f. 13r., Британская библиотека, Лондон<sup>184</sup> (Рис. 98);

– инициал из MS Оксфорд, Bodleian Library, Lat. bib. e. 7, f. 176v (Рис. 99);

– инициал из псалтири, созданной в восточной Англии после 1320 г. (теперь – Сиракузы, США, Университетская библиотека, Отдел спец. коллекций, MS 27, f. 1), Рис. 100.



98.



99.



100.

<sup>183</sup> См. инициал "Д" из рукописи "Повесть о белоризце-человеке и монашестве" Кирилла Туровского. Внутри буквы изображен торс музыканта (его голову венчает корона, так что это – царь Давид), играющего на шлемовидных гусях. Иллюстрация взята из: *Лаеров Г. И.* История древнего инструмента // <http://www.metakultura.ru/kalik/history.htm>.

<sup>184</sup> Кодекс принадлежал сэру Джеффри Лутреллу (Geoffrey Luttrell) из Ирнэма (Irnham, Линкольншир).

### 5.2.3. Необычные инструменты

Наконец можно указать на инструменты, которые сопротивляются классификации:

– Давид, играющий на лире. *Парижская Псалтирь*, 950–970 гг. Париж, Национальная библиотека, MS gr. 139, f. 1v<sup>185</sup>. 10-струнная лира по отношению к коробке-резонатору занимает положение похожее на таковое у крышки рояля. Между лирой и крышкой имеется подпорка, за которую Давид держится левой рукой. Лира представляет собой прямоугольную раму<sup>186</sup> (Рис. 101);



101.

– иллюстрация к *Cantiga 290 (Maldito seja quen non loará...)* из *Cantigas de Sancta Maria* изображает женщину на троне, держащую в руках нечто вроде лирообразного псалтерия, «большую кифару». Формой ин-



струмент напоминает описывавшиеся выше лиры с неравной высоты стойками и дугообразной перемычкой, однако теперь лира представляет собой сплошную резонаторную доску, вдоль которой натянуты струны. Последние сгруппированы по четыре и у каждой четверицы есть свой порожек. Музыкантша держит инструмент так, как если бы это была гитара. Указательным (и, возможно, большим) пальцем правой руки женщина перебирает струны. Левая рука поддерживает инструмент (Рис. 102);

102.

– на уже рассматривавшейся миниатюре из «Всемирной хроники» Рудольфа фон Эмса (XIV в.) один из окружающих Давида музыкантов-иудеев держит перед собой 7-струнную лиру, рама которой представляет собой прямой угол, концы которого соединены дугообразной перемычкой. Музыкант играет на лире

<sup>185</sup> См.: Лазарев В.Н. История Византийской живописи. М. Искусство, 1986. Т. 2 – Таблицы. Илл. 101. Как указывает Лазарев, миниатюры *Парижской Псалтири* представляют собой свободные копии с некоего александрийского образца. Видно стремление художников приблизиться к прототипу, сочетающееся с непониманием копируемых образцов и схематизмом. См. Там же. Т. 1. С. 69.

<sup>186</sup> Подле Давида, как подле пастыря, расположилось небольшое стадо баранов и овец, а также сторожевая собака. За его спиной сидит женщина, рядом с которой по-гречески написано: "ΜΕΛΟΔΙΑ" (sic!). В правом нижнем углу – увенчанная венком мужская фигура, обхватившая левой рукой засохшее дерево, и подпись: ΟΡΟΣ ΒΗΘΛΕΕΜ, «гора Вифлеем».



103.

жены вертикально<sup>108</sup>. Эта иллюстрация к Исх 15:20 сопровождается подписью: «и взяла Мариам-пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан (tympanum), и вышли за ней все женщины с тимпанами и плясанием (tympanis et choris),... хвала Господа, который вывел их из Египта чрез Черное море» (Рис. 104).

#### 5.2.4. Андалусия

Большинство средневековых инструментов, которые кажутся необычными, имеют неевропейское происхождение, будучи завезёнными из Се-



104.

верной Африки, Ближнего Востока и Передней Азии. Например, миниатюра из *Парижской Псалтири* (см. выше) копирует некий

пальцами левой руки (Рис. 103);

– фрагмент рисунка из *Библии Велислава* (*Velislav biblia picta*, «Велиславова Библия в картинках»), изготовленной в перв. пол. XIV в. в Праге (Национальная библиотека, Чехия)<sup>107</sup>. Четыре девы играют на струнных инструментах: первый сложно идентифицировать (струнный тимпан?), второй – лира, которая по форме почти приблизилась к лютне; третий – смычковый, 4-струнный (ребек?), четвёртый – псалтерий «свиная морда», развернутый боком, так что струны располо-

<sup>107</sup> Одна из самых известных средневековых книг Центральной Европы. Принадлежит к классу так называемых *Библий для бедных* (*Biblia pauperum*): латинский текст в ней сводится к коротким титулам, сопровождаемым рисунками пером и чернилами. Первая подобная Библия была изготовлена во Франции ок. 1322 г. *Кодекс Велислава* содержит 747 рисунков к текстам Ветхого и Нового Заветов, сочинениям об Антихристе, житиям святых, особенно Венцеслава и Людмилы. Манускрипт, над которым работало много авторов, был изготовлен для каноника Велислава († 1367), нотариуса сначала Жана (Слепого) Люксембургского, а затем императора Карла IV. Сам Велислав изображен на последнем листе (f. 188). Библия произведена не монастырской мастерской, но в мирской, скорее всего, в пражской. На рисунках, что покрывают (почти везде в две полосы) все листы, изображены тысячи фигур людей, ангелов, животных, птиц, рыб, растений. Рисунки являются ценным источником сведений о жизни средневековой Богемии.

<sup>108</sup> См. Instruments pour jouer les musiques du Moyen Age // <http://www.instrumentsmedieviaux.org/galerie/peintur/Velislav.html>.



александрийский прототип, иллюстрации к *Cantigas* демонстрируют инструменты, созданные в арабо-андалусской культуре. Мы завершим наш обзор ещё раз обратившись к Андалусии.

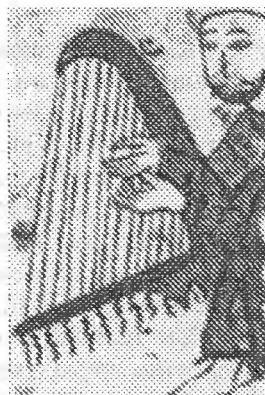
Там вплоть до XIII в. в иконографии фиксируются струнные инструменты, которые, как кажется, восходят к древним прототипам. Речь идет о треугольных арфах, описанных в разделе 2.3.2. Эти инструменты подпадают и под определение «псалтерия» (не средневекового, но древнего).

– Подобная треугольная арфа изображена на рисунке из «Книги игр» (“*Libro de los Juegos*” или “*Libros de Axedrez, Dados et Tablas*”) – еще одного манускрипта, изготовленного по заказу и под руководством Альфонсо X (над книгой работали с 1251 по 1283 гг.) (Мадрид, Библиотека El Escorial, MS T.I.6)<sup>109</sup>. Два мавра играют в шахматы, а их слух улаживает музыкант в бурнусе. На его коленях – треугольная 14-струнная арфа, имеющая сверху объемный резонатор, который оканчивается внизу характерными зубцами<sup>110</sup> (Рис. 105);

– схожая 14-струнная арфа изображена в средневековом арабском манускрипте, содержащем трактат аль-Фараби по музыке. Резонатор этого инструмента тоже находится сверху и тоже внизу имеет зубцы. Подобно современной виолончели, арфа ставится на землю при помощи штыря-упора, выходящего из нижней, зубчатой части резонатора. Конец этого упора виден между ступней музыканта<sup>111</sup> (Рис. 106);



105.

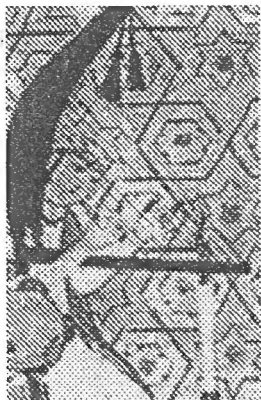


106.

<sup>109</sup> Это один из первых памятников европейской литературы, написанных на национальном разговорном языке. В книге запечатлено эхо традиции, восходящей к мусульманской культуре Андалусии X века, которой увлекались король Альфонсо Премудрый (1221–1284) и его придворные. Книга состоит из 98 листов и содержит 149 (100 + 7x7) рисунков. Илл. см.: <http://games.rengeekcentral.com/prblms/F22R.html>, или [http://www.pbm.com/~lindahl/cantigas/images/libro\\_2.gif](http://www.pbm.com/~lindahl/cantigas/images/libro_2.gif), а также в кн. *Игнатенко А.А.* В поисках счастья. Общественно-политические воззрения арабо-исламских философов средневековья. М.: Мысль, 1989. С. 55.

<sup>110</sup> Существует специальное исследование, в котором обсуждается вид струнных инструментов, изображенных на миниатюрах “Книги игр”, а именно, двух арф на ff. 9r и 22r, лютни на ff. 18r и 68r, и двух скрипок на f. 31v. См.: *García P. B.* Los instrumentos de cuerda en el *Libro de ajedrez // Reales Sitios XXIII/90* (1986). P. 25-36.

<sup>111</sup> См.: *Игнатенко А.А.* Цит. соч. С. 67.



107.

– подобный упор имеет и 12-струнная арфа на средневековой персидской миниатюре<sup>112</sup>. Её резонатор также под углом направлен вверх (Рис. 107).

Подведем итог. Опираясь на рассмотренный выше материал, мы можем вывести два рода заключений. Сначала мы попытаемся ответить на вопрос о том, что объективно представляли собой киннор, невел/набл, кифара и псалтерий, и уже после этого предложим интерпретацию глоссы Феодора, в которой эти инструменты упомянуты.

Совокупность свидетельств позволяет предположить, что *киннор* древних евреев представлял собой небольшую ручную лиру. Он имел прямоугольный корпус, исполнитель держал его под углом или горизонтально, как это демонстрируют египетские изображения (Рис. 15-17). На каком-то этапе облик древнего инструмента оказался забыт: в начале нашей эры евреи начинают изображать свои храмовые инструменты в виде римских кифар. Это делают и националисты (монеты Бар Кохбы, Рис. 19-20), и религиозные иудеи (пол синагоги в Газе, Рис. 28).

*Невел* был больше киннора. Возможно, он изображен на печати царевны Мааданы (Рис. 18) и в этом случае это гибрид лиры и арфы. В качестве аналога невели христианские авторы называли псалтерий.

Мы полагаем, что *псалтерием* с некоторого времени стали именовать арфы с верхним резонатором, зародившиеся в Вавилоне (Рис. 38) и распространившиеся в Малой Азии и на Ближнем Востоке. Эти инструменты проникли в Египет (Рис. 6-10) и много позже – в Грецию (Рис. 44-48). Он был известен в Риме (арфой его считает Цицерон). У Ипполита Римского и Афанасия Александрийского псалтерий – это арфа с верхним резонатором, аналог еврейского невели. Иероним добавляет, что формой псалтерий напоминает греческую букву «дельта». В XII–XIV вв. верхне-резонаторные арфы были распространены от Андалусии до Средней Азии (Рис. 105-107). В то же время, в Средние века псалтерием начинают именовать цитрообразный инструмент со струнами, натянутыми вдоль плоского резонирующего корпуса (Рис. 69-90).

<sup>112</sup> Источник иллюстрации – Покровская Н.Н. История арфы. Тема 1 // <http://harpa.newmail.ru/Tema1.htm>.

Отправной точкой эволюции кифары были классические образцы, известные нам по греческой вазописи. В римской империи появляются ее многочисленные разновидности, из которых для нас важны только три. Один из типов – «восточный» – представлен на рис. 21-27; к нему принадлежит и кифара, изображенная на мозаике III в. н.э. из Тарса (Рис. 27). Иной, «поздний римский» или «византийский», тип кифары имел прямоугольную раму, а его изображения были распространены от Иерусалима до Италии (Рис. 28-31, 54-55). Наконец, кифара на мозаике из Ротвейля (Рис. 53) представляет тип инструментов, развивавшихся в направлении цитр<sup>113</sup>. Для таких латиноязычных авторов ранне-средневековой Англии, как Беда Досточтимый, кифара – это гуслеобразная лира, подобная той, что изображена в *Псалтири Веспасиана* (Рис. 50-52), хотя на англо-саксонском языке такой инструмент именовался *hearpe*, «арфой»<sup>114</sup>. Небольшие треугольные арфы изображались в каролингских манускриптах (Рис. 59-61). Мы полагаем, что их должны были именовать *psalteria*, «псалтериями»<sup>115</sup>. После XI в. псалтериями станут называть цитрообразные инструменты (Рис. 72-80). Важно, что на многих иллюстрациях изображен именно царь Давид (Рис. 28, 51-52, 56, 58-61, 66-67, 73, 76, 93, 95-100). По тому, какой инструмент художник вкладывал в руки псалмопевца, можно с определенной долей уверенности судить о том, каким представляли псалтерий в тот или иной период.

Таким образом, в процессе эволюции одно и то же имя присваивалось различным инструментам. Так произошло с киннором, кифарой, псалтерием. В родном для Феодора Тарсе кифарой именовалась модифицированная греческая кифара, а у англо-саксов – вертикальная цитра. На какую традицию ориентировался Феодор? Иконография не позволяет дать точный ответ. В Византии в руки

<sup>113</sup> Само немецкое слово *Zither* происходит от лат. *cithara* (греч. *κιθάρα*).

<sup>114</sup> Для русских читателей любопытно отметить, что давидова лира из *Псалтири Веспасиана* отдаленно напоминает новгородские крыловидные гусли. Правда, у славян такие гусли во время игры держались горизонтально (в некоторых случаях вертикально располагались только шлемовидные гусли). О гусях см. сайт В.И. Поветкина «Древнерусский музыкальный инструментарий» // <http://soros.novgorod.ru/projects/Toolkit/toolkit.htm>. См. также *Salmen R. Playing positions of harps in the Middle Ages* // *Harpa* 16 (Winter 1994).

<sup>115</sup> Хотя рис. 61 является иллюстрацией к 2 Цар 6:5, где Вульгата говорит только о «кифарах и лирах». Если предположить, что изображение восходит к византийскому прототипу, то можно учесть чтение Септуагинты – «на киннорах и наблах», но это мало что проясняет. Скорее всего, художник изобразил царя Давида, автора Псалтири, с псалтерием.

Давида вкладывалась и небольшая лира (Рис. 56), и большая треугольная арфа (Рис. 97). В Европе Давид играет и на упомянутой выше гуслеобразной лире (Рис. 51-52), и на небольших треугольных арфах (Рис. 59-61). С точки зрения музыковеда – это различные инструменты, с позиции христианского аллегориста все они, как инструменты псалмопевца, должны считаться «псалтериями».

Это подводит нас к следующему вопросу. В своей глоссе Феодор выступает как музыковед или как экзегет? Пытается ли он объяснять библейскую строку «согласно истории», и тогда для него важны физические особенности музыкальных инструментов? Или материальные детали для него не важны, а искомые струнные представляют собой культурные, религиозные символы?

Рассмотрим оба варианта, начав с «символической» (и наименее вероятной) интерпретации. Наставник хочет объяснить своим англо-саксонским студентам семитское слово «киннор». При этом физический облик инструмента для него не имеет значения. У самого Феодора, как сирийца, киннор мог ассоциироваться не только с библейским текстом, но и с повседневной речью на улицах Тарса, Эдессы и Антиохии, с юностью, проведенной в этих городах, где киннор, сколь бы сильно он не отличался в VII в. н.э. от одноименного инструмента ветхозаветных евреев, безусловно, упоминался, а может быть, и использовался в музицировании. Поэтому, когда Феодору требуется объяснить, что такое киннор, он не пытается воспроизвести его физическую форму – для этого проще было бы нарисовать инструмент на воощенной дощечке. Для мышления той эпохи часто был важен не столько сам объект («обозначаемое»), сколько его имя («обозначающее»): операции производились не с первым (эмпирическое исследование), но со вторым (этимологические, герменевтические и пр. изыскания)<sup>116</sup>. Имена становились символами. Феодор обращается к авторитетной традиции (см. выше цитату из Иеронима), согласно которой у евреев псалмы исполнялись на «набле», у греков «наблу» соответствует «кифара», а христиане славят Бога на «псалтерии». Если это так, то в параллель к киннору Феодор выстраивает цепочку слов-меток, обозначающих символические артефакты, отсылающие к соответствующим культурам. Для его целей несущественно то, что Септуагинта упоминает все перечисленные струнные – киннор, невел, кифару и псалтерий – и, стало быть, они должны как-то

<sup>116</sup> См.: Петров В.В. Имя и сущность: грамматика и онтология у Фридриха // Историко-философский ежегодник '96 (далее ИФЕ). М.: Наука, 1997. С. 100-105.

отличаться друг от друга. Напротив, речь идет об ипостасях *одного* инструмента, по-разному воплощающегося в разных странах и у разных народов.

Второе толкование нашей глоссы – «историко-филологическое». Оно же и представляется нам единственно правильным. Мы имеем цепочку *cinyra* – *nablum* – *cithara* – *psalterium*. Первые два слова – редчайшие в Вульгате: *cinyra* встречается 3 раза<sup>117</sup>, *nablum* – 4 раза<sup>118</sup>. Таким образом, после одного малоупотребительного латинского слова вводится другое, которое не объясняет первое, но само представляет проблему. Наше предположение состоит в том, что *nablis* не есть объяснение *supergis*. Дело обстоит иначе. В ходе своих школьных занятий Феодор наталкивается на нуждающийся в истолковании латинский термин, обозначающий ветхозаветный музыкальный инструмент, и тут же приводит студентам ещё один – тоже редкий, тоже имеющий семитский корень, и тоже употребляющийся в Вульгате только в форме *ablativus pluralis*. Самому наставнику оба понятия хорошо знакомы – во-первых, будучи уроженцем Тарса, Феодор был слышан в арамейском, а во-вторых, и главным образом, грекоязычный Феодор мысленно оперирует текстом Септуагинты, где *κινύρα* и *νάβλα* встречаются многократно. В Вульгате и Септуагинте оба слова преимущественно калькируются, но Феодор хочет подобрать латинские эквиваленты для этой пары, для чего обращается к той же Вульгате, которая почти всегда словом *cithara* передаёт греческие *κιθάρα* (22 раза)<sup>119</sup> и *κινύρα* (15 раз)<sup>120</sup>, а словом *psalterium* – греческие *ψαλτήριον* (12 раз)<sup>121</sup> и *νάβλα* (9 раз)<sup>122</sup>. Если отбросить очевидные и тавтологичные кальки *cithara/κιθάρα* и

<sup>117</sup> Всякий раз в форме *abl. pl.* – *cinyris*, ср. 1 Макк 4:54: *citharis et cinyris*; 13:51: *cinyris... et nablis*; Сир 39:20: *cinyris*.

<sup>118</sup> Всегда в форме *abl. pl.* – *nablis*, ср. 1 Пар 15:16; 15:20; 15:28, 1 Макк 13:51.

<sup>119</sup> См.: Быт 31:27; 2 Пар 9:11; Иов 21:12; 30:31; Пс 32:2; 42:4; 56:9; 70:22; 80:3; 91:4; 97:5 (дважды); 107:3; 146:7; 150:3; Ис 5:12; 16:11; 23:16; 24:8; 30:32; Дан 3:5; 1 Макк 4:54.

<sup>120</sup> См.: 1 Цар 10:5; 16:16; 16:23; 2 Цар 6:5; 1 Пар 13:8; 15:21; 15:28; 25:1; 25:3; 25:6; 2 Пар 5:12; 20:28; 29:25; Неем 12:27; 1 Макк 3:45. Дважды Вульгата передает словом *cithara* греческое *ψαλτήριον* (Быт 4:21; Иез 26:13) и один раз – *νάβλα* (3 Цар 10:12).

<sup>121</sup> См.: Неем 12:27; Пс 32:2; 48:5; 56:9; 80:3; 91:4; 107:3; 143:9; 149:3; 150:3; Сир 40:21; Дан 3:5.

<sup>122</sup> См.: 1 Цар 10:5; 1 Пар 13:8; 16:5; 25:1; 25:6; 2 Пар 5:12; 9:11; 20:28; 29:25.

*psalterium*/ψαλτήριον, то получится, что в Вульгате греческое κινύρα переводится словом *cithara*, а νάβλα – словом *psalterium*. Таким образом, третье слово объясняет первое, а четвертое – второе, и тогда глоссу можно интерпретировать следующим образом:

Cyneris. nabilis. id est citharis longiores quam psalterium. nam psalterium triangulum fit. Theodorus dixit.

На киннорах. [И] на невеликах. [То есть] на кифарах, которые длиннее чем [невел]-псалтерий, ведь псалтерий делают треугольным.

Здесь мысль Феодора – и вслед за ним наша – переходит из филологической плоскости в историческую. На этом этапе становятся важными материальные детали, оставшиеся за текстом. Что значат слова «кифара длиннее псалтерия»? Что такое длина? Платон в *Тимее* 43b говорит о шести «движениях», упоминая их в таком порядке: вперед-назад, направо-налево и вверх-вниз. Латинский комментатор *Тимея* Калкидий (V в.) дает этим движениям следующие наименования: «в длину, то есть вперед-назад, в ширину, то есть вправо-влево, в глубину, то есть вверх и вниз»<sup>123</sup>. Напротив, византийский богослов Максим Исповедник (VII в.) пишет в *Ambigua ad Iohannem*: «длина ограничивается сверху и снизу, ширина – справа и слева, глубина – пределом спереди и сзади»<sup>124</sup>. Того же мнения придерживается его каролингский последователь – Иоанн Скотт (IX в.)<sup>125</sup>. Таким

<sup>123</sup> *Тимей* Платона в латинском переводе Калкидия см.: Timaeus a Calcidio translatus commentarioque instructus. Ed. J.H. Waszink // Corpus platonicum medii aevi. London, Leiden: The Warburg Institute, E.J. Brill, 1962. P. 38, ll. 20-22: "six sinve ratione raptaretur motibus, ulro citro, dextrorsum sinistrorsum et item sursum deorsum". Ср. *Калкидий*. Комментарий к 'Тимею' Платона (Там же. P. 165, ll. 16-19): "Etenim oculares motus septem sunt, opinor: duo quidem iuxta longitudinem, id est ante et post, duo item alii per latitudinem, in dextram et sinistram, duoque alii iuxta profunditatem, sursum et deorsum, et ultimus supra memoratae circumactioni similis, qui fixo circumvolat cardine".

<sup>124</sup> *Максим Исповедник*. *Ambigua ad Iohannem* // PG 91. 1229. Латинский перевод Иоанна Скотта см. в кн.: *Ambigua ad Iohannem* XIII, 160-164 // Corpus Christianorum. Series Graeca 18 // Turnhout, Leuven: Brepols, University Press, 1988. P. 128: "longitudo quidem desuper et deorsum, latitudo dextra et sinistra, profundum vero ante terminatur et retro".

<sup>125</sup> Он перевёл *Ambigua ad Iohannem* на латинский язык и, кроме того, даёт парафраз цитируемого отрывка в своем собственном трактате, говоря: «всякое «количество» простирается по трем протяжениям – длине, ширине, глубине. А эти три протяжения опять же разворачиваются на шесть [направлений]: длина – вверх и вниз, ширина – вправо и влево,

образом, «длина» – это либо «толщина» инструмента (что маловероятно), либо высота, то есть кифара выше псалтерия «в высоту». Напомним, что в эпоху Феодора кифарой именовались лиры. А *треугольным псалтерием* на протяжении тысячи лет именовалась треугольная арфа с верхним резонатором. Камнем преткновения при истолковании глоссы является слово «длиннее». Кифара с некоторой долей условности – это всегда прямоугольник, а псалтерий (по крайней мере в ранний период) – треугольник. Не вполне понятно, как можно сравнивать по высоте предметы столь сильно различающиеся формой. Логично предположить, что речь идет о длине струн.

Итак, в глоссе Феодора леммой, требующей пояснения, являются два слова: «киннор» и «невел». Детали их конструкции предполагаются неизвестными. В качестве знакомых аналогов Феодор предлагает студентам «кифару» и «псалтерий», указывая на два параметра: «кифара выше псалтерия, поскольку тот изготавливают треугольным». Таким образом, мы можем сформулировать окончательный вывод. На основании данных, которыми мы располагаем в настоящий момент, «кифарой» следует считать инструмент, изображенный в *Псалтири Веспасиана* (Рис. 51). На роль «псалтерия» подходит инструмент, близкий к изображенному в *Библии Вивиана* (Рис. 61), то есть небольшая арфа-тригон с верхним резонатором, скорее всего имеющая прототип среди византийских моделей.

## ДИАЛОГ КУЛЬТУР В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ

Г.А. Мухина

### ШАТОБРИАН И ЛЕОНТЬЕВ – РОМАНТИКИ XIX ВЕКА

Полстолетия разделяет этих мыслителей и пространственно – пол-Европы, но во многом они оказались близки как аристократические романтики. Оба явились свидетелями наступления индустриально-капиталистической эпохи, которая порвала с патриархально-аграрным обществом, установила приоритет экономики и экономического человека, создала невиданные формы национализма и подвергла мир универсализации, унификации, индивидуализации. Их объединяло чувство катастрофичности современного мира, столь характерное для романтиков, ощущение гибели цивилизации европейской и своей собственной: их лексикон переполнен словами – упадок, разложение, гниение, развращенность, оскудение, безумие... Ведь они прошли через большие потрясения: Шатобриан – через Революцию (1789–1799), Наполеоновские войны, Реставрацию, Июльские дни 1830 года; Леонтьев – через унижительную для России Крымскую кампанию, либеральные реформы 1860-х, которые были равноценны революции, русско-турецкую войну 1878 г., обострение внутреннего противостояния в России и европейский опыт революций 1848 года, национально-объединительных движений. Оба искали спасения для своих стран в решении геополитических задач: Шатобриан, будучи ярким противником венских соглашений, боролся за расширение пределов Франции и восстановление равновесия сил, чтобы не быть под пятой у Европы<sup>1</sup>; Леонтьев – за создание новой двуцентральной цивилизации (с культурным центром в Константинополе и политическим – в Киеве) на религиозно-культурной основе разных миров (славян, греков, азиатов) – для противостояния Западу<sup>2</sup>.

Торжествующему либерализму, буржуазному прогрессу, антиклерикализму оба консерватора противопоставили уважение к традиции, монархическому правлению, аристократии (сословно-

<sup>1</sup> *Chateaubriand. Mémoires d'outre-tombe. P., 1973. Т. 1–3. Т. 3. P. 14, 35.*

<sup>2</sup> *Леонтьев К.Н. Письма о восточных делах // Он же. Восток, Россия и Славянство. М.: Республика, 1996. С. 371.*



сти) и верность христианству. Оценивая либерализм как бесконечную эгалитарную, космополитическую революцию, они отвергали демократический индивидуализм и Европу средних состояний, средних людей, средних способностей, с господством денег и малой учености, искали спасение от нее в устоях сильной монархии и уважении к религии. Будучи государственниками, они опасались демократии (демократического деспотизма и анархии). Леонтьев сокрушался: будущее Европы – федеративная республика под знаменами «безумной религии эвдемонизма», «материального и морального блага человечества». Надо же «меньше думать о благе, а больше о силе»<sup>3</sup>.

«Государство обязано всегда быть грозным, иногда жестоким и безжалостным, потому что общество всегда и везде слишком подвижно, бедно мыслью и слишком страстно». Он признавал необходимость принуждения: «Без насилия нельзя. Насилие не только побеждает, оно и убеждает многих, когда за ним ... есть идея»<sup>4</sup>.

Его Левиафан сродни гоббсовскому: абсолютное государство – «живая воля, живая душа», что «стоит выше деревянного закона». Если же так случится, предполагал он, что в России к власти придут нигилисты, то не либеральные, а охранительные учения им понадобятся: «им понадобятся страх, дисциплина, предания покорности, привычка к повиновению»<sup>5</sup>.

Шатобриан был глубок своей историко-культурной памятью: почитал французских королей (не отдельных, а династию Бурбонов в целом, которым присягал), гордился своим родом Брианов и Шатобрианов, знал свое генеалогическое древо и любил католицизм. В отличие от Леонтьева он был антиабсолютистом. В «Истории Франции до революции», которая являлась историей монархии, историей королей, он находит важный рубеж – переход от монархии сословной к абсолютной, а могильщиком первой называет Ришелье: именно при нем все свободы «умерли в раз» – и политическая, и религиозная, и литературная. Правда, между ними оказалась еще промежуточная – парламентская монархия, которую прикончил Людовик XIV, войдя в парламент с кнутом и скипетром. Так умерла аристократическая свобода, и век Людовика XIV стал «катафалком наших свобод». А после него, при слабых королях остались только два монумента абсо-

<sup>3</sup> Леонтьев К.Н. Византизм и славянство // Там же. С. 152.

<sup>4</sup> Леонтьев К.Н. Передовые статьи «Варшавского дневника» // Там же. С. 221, 243.

<sup>5</sup> Леонтьев К.Н. Передовые статьи «Варшавского дневника»; Г. Катков и его враги на празднике Пушкина // Там же. С. 221; 287.

лютой монархии: памятник разврата Людовик XV и плаха Людовика XVI<sup>6</sup>.

Леонтьев ценил в монархах «великий государственный инстинкт», необходимый для поддержания стабильности, ибо признавал «истину общественной статики»<sup>7</sup>. В 1878 г. он писал: «Я люблю Россию царя, монахов и попов, Россию красных рубашек и голубых сарафанов, Россию Кремля и проселочных дорог, благодушного деспотизма»<sup>8</sup>. Поскольку он был далек от идеализации русских нравов: в 1879 г. (находил еще в России «много добрых чувств» и отсутствие энергии и твердости, а в 1890 г. уже начинал «своих ненавидеть» за пьянство, малодушие, неумение довести до конца ни одного дела), то отсюда делал вывод: пороки вызывают «потребность деспотизма, неравноправия и разной дисциплины», которые и делают Россию малоспособной к буржуазно-либеральной цивилизации<sup>9</sup>.

Связывая порчу Европы с изменениями политической системы: во Франции шло медленное «сжигание» государства (Леонтьев), слабел легитимизм (Шатобриан), они размышляли над проблемой отношения между религией и общественным развитием – главной проблемой для консервативных романтиков. В этом вопросе Леонтьев занимал более правую позицию: он отстаивал византизм, т.е. единство двух начал – православия и самодержавия. Шатобриан же склонялся к либеральному консерватизму, выдвигая триаду: король – религия – свобода. Христианство он воспринимал как явление развивающееся, будущее его связывал с превращением в философию и только его считал основанием социального равенства и человеческой свободы, способным корректировать демократические инстинкты. Он хоть и чувствовал себя обломком великого кораблекрушения, однако, наблюдая революционные трансформации во Франции (от абсолютной монархии она шла через политические эксперименты к либеральной системе), смог принять умеренный вариант соединения старой Франции с новой – религиозного общества с представительным правлением (в виде

<sup>6</sup> Chateaubriand. Histoire de France jusqu'à La Révolution de 1789. P., 1872. Т. 1–2. Т. 2. P. 232–234, 237, 238, 244.

<sup>7</sup> Леонтьев К.Н. Плоды национальных движений на православном Востоке // Он же. Восток, Россия и Славянство. С. 543.

<sup>8</sup> Е.С. Карцевой. 3.07.1878 // Леонтьев К. Избранные письма 1854–1891. СПб.: Пушкинский фонд, 1993. С. 211.

<sup>9</sup> М.Я. Соловьеву. 20.06.1879; И.И. Фуделю. 1–2.05.1990; А.А. Александрову, 3.05.1990 // Леонтьев К. Избранные письма... С. 240, 497, 505.

Реставрации с Хартией)<sup>10</sup>. Но, как легитимист, не смог признать Июльской монархии с ее «баррикадным» королем.

Русский же писатель ненавидел сам дух европейского мира, вместе со средним классом и даже с улучшениями. «Запад культурно истощился», – заключал он, и потому России следует быть «религиозно и житейски» от него независимой. Европейская демократия отвращала его самым мещанским видом: в котелке и скруточной паре<sup>11</sup>. Идеалом для России он считал сословный строй, построенный на триаде: богатое дворянское имение, богатая, сытая община неотчуждаемых участков – без равенства, вольные разночинцы. Именно дворянское сословие казалось ему признаком силы и условием культурного цветения, опираясь на которое, можно было «обособиться от бессословной Европы», поскольку России необходимы «суровые нравственные законы, смягченные личным христианством и тонкой образованностью высших классов»<sup>12</sup>. Он признавал, что крестьянская реформа превратила привилегированное сословие в обыкновенную европейскую трудовую «интеллигенцию», даже буржуазию, но, сохраняя в провинции первенствующую роль, оно оставалось в массе своей хранителем «приобретений прежних веков» в быту, в чувствах, вкусах, идеалах, готовое идти за Государя на войну и посылать сыновей на смерть за родину<sup>13</sup>. Поэтому для него «вечный и лучший идеал человека в земной жизни» – «молодой, красивый, храбрый и знатный и богатый воин», как князь Болконский и граф Вронский – которые есть только у Толстого. Воин – это «самый лучший гражданин», «честный в своем призвании», который может стать всем: дипломатом, администратором, министром, хозяином сельским, мировым судьей, художником, ученым, не переставая быть военным и обладая умением «повелевать и умением терпеть и подчиняться». Это к ним, воинам, общество простирает руки в трудные времена. И только поэт и монах может с ним равняться<sup>14</sup>.

Их отличало отношение к свободе. Шатобриану было ненавистно равенство, но свободу он любил, как аристократическую при-

<sup>10</sup> *Chateaubriand. Mémoires...* Т. 1. P. 535; *Idem. De la monarchie selon la Charte.* P., 1816. P. 257, 269.

<sup>11</sup> *Леонтьев К.Н.* Византизм и славянство. С. 128, 134, 142.

<sup>12</sup> А.А. Фету. 3.02.1888., А.А. Александрову. 12.05.1888., И.И. Фуделю. 9.03.1889. // *Леонтьев К.* Избранные письма... С. 336–338, 362, 428.

<sup>13</sup> *Леонтьев К.Н.* Передовые статьи «Варшавского дневника», Чем и как либерализм нам вреден? // *Он же.* Восток, Россия и Славянство. С. 228, 271.

<sup>14</sup> В.С. Соловьеву. 18.06.1879. // *Леонтьев К.* Избранные письма... С. 238; *Леонтьев К.Н.* Передовые статьи «Варшавского дневника». С. 243.

вилегию, как необходимую потребность собственного Я, но не свободу для всех. Он был в этом отношении последователем Локка, ибо считал, что неприкосновенная наследственная собственность и есть не что иное, как свобода. У Леонтьева свобода – синоним распущенности в обыденном представлении, а как правовая ценность – вещь совсем ненужная, потому что вообще «великий опыт эгалитарной свободы» не подходит России, которая охотнее подчиняется палке<sup>15</sup>. Он искал корень этого в психологии человека: «человек ненасытен, если дать ему свободу»<sup>16</sup>. К тому же русская распущенность, безалаберность требуют, по его мнению, «благоустроенного деспотизма», насилия «над личной волей граждан». Свободе, подчиненной мнению большинства, он противопоставлял «свободу самоуправства, считая, что «приятнее и полезнее повиноваться» отцу Амвросию, Д.А. Толстому, К.П. Победоносцеву, «даже здешнему исправнику, чем своей будто бы воле»<sup>17</sup>. Резко негативное отношение к свободе подчеркнуто этим соединением слов: свободы и равенства. В год столетия Французской революции (в 1889 г.) он писал: «с XVIII века безумное движение охватило старый мир, разрушаемый эгалитарной свободой», которая, правда, все больше теряет «прежнее неотразимое обаяние», и называл равенство «кровожадным хамством», а Францию – «шайкой хамов»<sup>18</sup>.

Им было невозможно принять происходящую унификацию европейского общества – прежде всего потому, что оба дорожили ценностью самой личности. Шатобриан даже время измерял Личностью: Шекспиром, Данте, Наполеоном. Романтический культ личности не обошел и Леонтьева: не зря же С.Н. Булгаков называл его «самым свободным и независимым русским писателем», выразителем духовного кризиса новоевропейской культуры, как и Ницше, который сам стал «симптомом развития духовной катастрофы»<sup>19</sup>. Он был готов стать барьером на пути «безбожного Запада», «буржуазной мерзости». Он находил, однако, в истории той же Франции

<sup>15</sup> К.Л. Гагарину. 22.09.1886. // Леонтьев К. Избранные письма... С. 295.

<sup>16</sup> Леонтьев К.Н. Византизм и славянство. С. 146.

<sup>17</sup> И.И. Фуделю. 10.08.1888, А.А. Александрову. 3. 05. 1990, О.А. Новиковой. 30. 05. 1889 // Леонтьев К. Избранные письма... С. 400, 502, 461. Леонтьев К.Н. Византия и славянство. С. 143.

<sup>18</sup> К.А. Губастову. 15.03.1889, 5–7.06.1889, Е.А. Гагарину. 24.09.1889. // Леонтьев К. Избранные письма... С. 438, 467, 443, 467.

<sup>19</sup> Булгаков С.Н. Победитель – побежденный. (Судьба К.Н. Леонтьева) // К. Леонтьев. Pro et Contra. Личность и творчество Константина Леонтьева в оценке русских мыслителей и исследователей, 1891–1917 гг. Антология. Кн. 1. СПб: Изд-во Русского Христианского Гуманитарного Института. 1995. С. 378, 379.

(как самой европейской по своей сути) крупные поместья с родовыми преданиями и носителей «самого крайнего белого консерватизма», которые смягчали левизну, любил французскую литературу – «умы редкого охранительного стиля» – де Местра, Шатобриана, католических писателей, романтиков, Бальзака. Шатобриана он предпочитал за силу аристократического духа, томительную тоску разочарования, за сердечность религиозного мистицизма, которую считал чертой русской ментальности<sup>20</sup>. Это было романтическое ощущение, романтическая близость авторов. При этом Леонтьев порицал европейских поэтов, особенно Байрона и Гете, которые, по его мнению, были «глубоко развратны и в высшей степени чувственны», и которые эротически развратили его самого. Поэтому он заключал: «только поэзия религии может вытравить поэзию изящной безнравственности», и выделял Шиллера, Жуковского, Тютчева, что были к христианству ближе всех<sup>21</sup>.

Во многом мыслители сформировались под влиянием культуры Просвещения, а также ее преодоления: оба прошли через искушение атеизма. Обратившись к вере, Шатобриан стал сражаться с Вольтером, лидером антиклерикализма, надеясь подорвать его авторитет «Гением христианства». Русский писатель тоже обвинял вольнодумцев, в том числе, «разрушителя» Вольтера, разрушителя старой Франции, сословной и монархической.

Оба с недоверием относились к предтече французского романтизма Руссо, хотя, как и он, сомневались в примате разума над чувством. Леонтьев видел в преобладании сознательного над бессознательным признак близости конца для человечества. Однако сентиментализм Руссо казался им наивным, детским (по Леонтьеву), а его эгалитаризм – отвратительно-плебейским (по Шатобриану). Болезнью российского организма считал Леонтьев эгалитарный либерализм, которую можно лечить только испытанным средством – христианством, чтобы с его помощью укрепить государство, сохранить культуру, сберечь традицию.

Они были больше художниками мысли и находили красоту в самом христианстве, которое считали ядром европейской цивилизации, не мыслили без него современное общество и хотели сберечь его для потомков. Шатобриан был очарован католичеством, особенно готическими храмами, в которых сливалось природа (храмы, подобные лесу) и искусство, и сама церковная служба). Эстетика для Леонтьева – наилучшее мерило для истории и жизни. Эстетика жиз-

<sup>20</sup> Леонтьев К.Н. Письма о восточных делах... С. 389, 390.

<sup>21</sup> И.И. Фуделю. 1–2.05.1890, А.А. Александрову. 20–24.07.1889. // Леонтьев К. Избранные письма... С. 496, 318, 317.

ни – это разнообразие в единстве, признак внутренней творческой силы, признак жизнеспособности человечества. Эстетика его включала и религию. Он писал Вс. Соловьеву: «Православие – это нервная система нашего славянского организма, и как хранить и лелеять художественную красоту и государственную силу этого организма»<sup>22</sup>.

Их меньше всего интересовали экономические успехи, экономический прогресс, они утверждали приоритет культуры и главное внимание обращали на мифологему: человек – общество – цивилизация. Более того, Леонтьев был врагом прогресса, так как считал, что технические усовершенствования «убивают всю органическую жизнь на земле», и вообще «Древу познания» он предпочитал «Древо жизни» и был убежден, что усиление движения не есть усиление жизни<sup>23</sup>. Он предпочитал термину «прогресс» (т.е. разложение, гниение, уничтожение особенностей) термин «развитие», понимая его так: целое общество в деспотических объятиях, которые ограничивают его разбегающиеся стремления<sup>24</sup>.

Настоящей бедой Европы Леонтьев считал национализм, правда, различал национализм культурный и политический. В отличие от его современников, которые часто воспринимали освободительные движения того времени в романтическом ореоле, писатель принимал только культурную самобытность. И Шатобриан ценил прежде всего культурное начало – нравы, считая их основным рычагом истории и главным основанием для политических изменений, и просто не мог допустить, чтобы исчезло богатство личной жизни, с семейным очагом, дружбой, возможностью ощутить тайную мелодию в себе – на лоне природы, вдали от общества, наедине с собой. Правда, верный преемственности, он не претендовал на создание какой-то новой цивилизации, он удовлетворился бы, если бы христианство стало философией общества, в то время как Леонтьев выдвигал «идеал сложной византийской культуры», который, по Вс. Соловьеву, был «только преходящим свиданием», «сложной принудительной организацией общества»<sup>25</sup>.

Здесь писатели расходились: Леонтьев считал Россию культурно-религиозной наследницей византизма (раннего лица Европы), Шатобриан корни европеизма находил в христианстве как таковом, сравнивал его с языческой античностью – в пользу первого (при этом его привлекала греческая, а не римская цивилиза-

---

<sup>22</sup> И.И. Фуделю. 6.07.1889, Вс. Соловьеву. 1.03.1879 // *Леонтьев К. Избранные письма...* С. 394, 230.

<sup>23</sup> В.В. Розанову. 30.07.1891 // *Леонтьев К. Избранные письма...* С. 582.

<sup>24</sup> *Леонтьев К.Н. Византизм и славянство.* С. 130.

<sup>25</sup> *Соловьев Вс. Памяти К.Н.Леонтьева // К. Леонтьев. Pro et Contra...* Кн. 1. С. 24, 25.

ция), и конечно, ему дороже всего было католичество. Эстетическое переживание христианства у обоих мыслителей позволяло исследователям их творчества делать крайние выводы: подозревать Шатобриана в христианском дилетантизме, а в эстетических порывах Леонтьева разглядеть отсутствие православия, считать их «тончайшим» и «предельным» выражением «безбожного гуманизма», «люциферовского мятежа человека» и определить его историческое мироощущение как декадентское – вплоть до того, чтобы «стать лишним своему веку» и ощутить «выброшенным из культуры» (С. Булгаков)<sup>26</sup>. В этом-то и проявилось его романтическое Я, способное на вызов всему миру. «Романтическая тоска по красоте и сложности старых форм жизни» дошла до эстетического изуверства, и он превзошел в демоническом ощущении прекрасного и насилия даже Бодлера и Ницше (С.Л. Франк)<sup>27</sup>.

Именно Бодлер романтизм определял как манеру чувствовать. Вот и Шатобриану удалось создать новую эмоцию: *vague*. В его эстетике присутствовало «неуловимое, что чарует», порыв к неведомому, скрытое беспокойство, сердечная тоска, отвращение к земной жизни, тяготение к монашеской келье, прелесть одиночества, упоение несчастьем. Чистилище католичества становилось источником чудесного на границе страдания и радости, где сливались смутные ощущения блаженства и горя, превосходя поэтичностью рай и ад<sup>28</sup>.

Шатобриан был другим, более мечтательным, не столь резким, способным подчас к компромиссам, принимавшим ход истории (как промысел Божий), неуютно чувствующим себя в новой Франции, но проявлявшим терпимость к своей либеральной и католической стране. Леонтьев же не понимал французов, которые умеют любить всякую Францию и всякой Франции служить, его ужасало, как можно любить «глубоко опошленную равенством нацию», ибо он мог любить только сословную и абсолютистскую, в крайнем случае – только ее обломки<sup>29</sup>.

<sup>26</sup> Moreau P. Chateaubriand. P., 1965. P. 84; Булгаков С.Н. Победитель – побежденный... С. 380, 383, 384.

<sup>27</sup> Франк С.Л. Мирозерцание Константина Леонтьева // Там же. С. 336, 338, 384.

<sup>28</sup> Франсуа Рене де Шатобриан. Гений христианства // Эстетика раннего французского романтизма. М.: Искусство, 1982. С. 153-154, 167.

<sup>29</sup> Леонтьев К.Н. Чем и как либерализм нам вреден? // Он же. Восток, Россия и Славянство. С. 269; Он же. Моя литературная судьба // Андронов Ю.В., Мячин А.Г., Шириняц А.А. Русская социально-политическая мысль XIX – начала XX века: К.Н. Леонтьев. М., 2000. С. 87.

Несмотря на различия, оба мыслителя печально, даже трагически, воспринимали свое время и ужасались прогрессом. Шатобриан, умом принимая наступление демократии (как порождение июля 1830 года), говорил о всеобщей революции, связанной с нивелированием наций «в равном деспотизме», за которым последует длительное социальное разложение. Только в традиционности он видел спасение для Франции и Европы: через объединение «людей порядочности и талантов» в монархическую систему. Не народный суверенитет, а легитимная монархия, в которой династия сливается с нацией<sup>30</sup>, была его отрадой. Леонтьев, ценивший европейскую культуру, которую считал богаче всех других цивилизаций (в ней больше разнообразия, больше лиризма, больше страсти, больше разума, чем у других миров), негодовал, что она поверила в демократический прогресс, в смешение, уравнивание, возбуждая «слепые надежды на земное счастье и земное полное равенство». Сравнивая Россию с европейскими странами, он надеялся на русский народ, расположенный к мистическому подчинению, и считал, что народ, «выносящий и страх Божий, и насилие, есть народ будущего». Он не был сентиментален и отрицал иллюзии Достоевского: «Гармонии» à la Достоевский, «всеобщей любви» – не будет. Но любил Россию, «как государство... сугубо православное, как природе даже, и как красную рубашку». При этом православие он ценил больше, чем принадлежность к племени: православные греки, православные немцы, православные турки, православные черкесы, православные евреи – «все лучше скверной славянской отрицательной крови», ибо опасаясь разложения славян по примеру остальной Европы, он предрекал для них возможность быть поглощенными китайским нашествием<sup>31</sup>.

Оба были искренними патриотами, были преданы национальной культуре, но не замыкались в ней, судили о развитии мира, исходя из европейского и национального опыта, и с позиций дворянского гуманизма отрицали капитализм, жестокий, торгашеский, заурядный. Можно даже назвать их аристократическими антиглобалистами, приверженцами культурного своеобразия своих социумов, понимавшими альтернативность их развития. К тому же, они не любили столиц, предпочитали провинцию, из которой вышли, питали особое пристрастие к природе, к родным ланд-

<sup>30</sup> *Chateaubriand. Mémoires...* Т. 3. P. 265; *Chateaubriand. Œuvres complètes.* P., 1826–1831. Т. 1–28. Т. 3. P. 240.

<sup>31</sup> *Леонтьев К.Н. Византизм и славянство.* С. 141, 147; И.И. Фуделю. 19–31.01.1891, 1–2.05.1890, В.В. Розанову. 8.05.1891 // *Леонтьев К. Избранные письма...* С. 538, 497, 503, 567.



шафтам. Обладая глубокой историко-культурной памятью, они являлись носителями и хранителями национальной традиции, но, вместе с тем, их историзм не замыкался на прошлом, а облекался в футурологические искания: это придавало их мысли пророческий жар. Озабоченные будущим своих стран, своих культур, они смело раскручивали ленту времени, предостерегая современников и потомков – не увлекаться новациями и сберечь все, созданное предками. Леонтьев звал помещиков отказываться от выгодного места, не покидать своих усадеб, идти в мировые судьи, в учителя, в монахи, в земство, на военную службу, чтобы, влияя на общество, подольше сохранять в быту полупатриархальность и полуутонченность вкусов, служить прекрасному, пробуждать добрые чувства и быть полезным стране и людям<sup>32</sup>. Верные своему сословию, оба романтика чувствовали, что дворянство угасает, однако не считали его роль исчерпанной: они понимали по-новому миссию дворянства – быть интеллигенцией. Это понимание не было отвлеченным, ибо культура Просвещения вдохнула в них стремление к активной публичной деятельности, они не мыслили свою жизнь без служения обществу и немало потрудились как политические писатели и романтические эстетики. Именно в период свой творческой зрелости они обратились к публицистике и к неустанному эпистолярному труду. Их стиль отличался острой полемичностью, особенно беспощадной – у Леонтьева (дух тогдашнего нигилизма, несомненно, придал его языку особую категоричность и язвительность). Индивидуализация европейского общества не могла не коснуться их личной судьбы: оба писателя воспринимали себя как уникальную личность, хотя, скорее всего, эти представления можно объяснить и сословной идентичностью, ибо они находили именно в аристократах свойство быть неповторимыми творческими единицами. И, сопротивляясь процессу унификации, атомизации общества, они хотели продлить культурную жизнь своего сословия и настаивали на необходимости сохранения структурированности социума. Только тогда они находили место и для самих себя – во имя высокой культуры быть верными благородным ценностям и романтическому чувству.

<sup>32</sup> Леонтьев К.Н. Передовые статьи «Варшавского дневника». С. 228–229.

**Н.С. Креленко (Саратов)**

## **ДВА ВЗГЛЯДА НА СТАРЫЙ СВЕТ ИЗ-ЗА ОКЕАНА**

XIX век, породивший как особую разновидность странствий туризм, путешествия ради отдыха, развлечения и удовлетворения любознательности, дал много интересного материала для понимания того, как формируются представления о «другом» и о «чужом», об иных культурах, совершенно чужих или близких, имеющих общие корни<sup>1</sup>. Сопоставление характеристик одного и того же объекта, данных в разное время представителями одной культурной среды, чрезвычайно поучительно и любопытно.

Два знаменитых американских писателя XIX века – Вашингтон Ирвинг (1783–1859) и Марк Твен (1835–1910) – с интервалом в сорок лет посетили район Средиземноморья и написали об увиденном ими книги, принесшие им огромную известность. Речь пойдет об «Альгамбре»<sup>2</sup> Ирвинга и о «Простаках за границей» Твена. К сожалению (с точки зрения чистоты эксперимента), речь не идет о полном тождестве рассматриваемого объекта. Ирвинг посвятил свою книгу испано-мавританскому югу Пиренейского полуострова, куда С. Клеменс только «заглянул» краем глаза, – в его путевых очерках главное внимание уделено другим землям, окружающим Средиземное море. Но весь этот регион можно рассматривать как некое цивилизационно-культурное целое, именуемое понятием «мир Средиземноморья». На этом перекрестке в тесном общении существует несколько культурных традиций, в их числе христианско-романская и арабо-мусульманская. Именно эти две культуры стали объектом внимания указанных авторов.

В. Ирвинг посетил Гранаду весной 1829 г. Он уже несколько лет находился в Старом Свете по делам дипломатической службы, а в Испании жил с 1826 г. Целью его поездки было изучение доку-

---

<sup>1</sup> Для удобства в нашем случае «другой» культурой именуется культура, родственная той, с позиций которой ведется рассмотрение. «Чужой» будет считаться культура, далекая по своим истокам (прежде всего этническим и религиозным) от той, которая выступает субъектом изучения.

<sup>2</sup> Испанское название «Alhambra» произносится «Альамбра», но в цитируемом издании использован другой вариант – «Альгамбра», ему и придется следовать.

ментов, связанных с деятельностью Х. Колумба и необходимых ему для написания книги. К тому времени Ирвинг был известен как автор нескольких работ, очень различных по тематике и характеру. Оказавшись «мимоходом» в Гранаде он был очарован этим южным городом, главным украшением которого является старинная мавританская крепость-дворец Альгамбра и задержался там на несколько месяцев. Плодом этих «гранадских каникул» и стала «Альгамбра», книга, жанр которой трудно определить: лирические путевые заметки, собрание легенд и сказок, зарисовки быта и нравов, рассуждения о природе прекрасного, исторические очерки... Зато настрой книги оценить довольно просто – это объяснение в любви к чудесам непохожей, непривычной, чужой жизни.

Для Ирвинга мавританские древности, подлинные и фантастические (суровые крепостные башни, нарядное убранство внутренних покоев дворца Насеридов, изящные колоннады, окружающие внутренние дворыки-патио, фонтаны и цветники садов Хенералифе, заговоренные клады и волшебные лютни, призрачные всадники и красавицы, стихотворные надписи и отрывки из летописей), являются стержнем, организующим все повествование. Персонажи древних преданий появляются среди героев более поздних историй, а оба легендарных пласта вплетаются в зарисовки современной писателю жизни обитателей Гранады. При этом создается особая картина мира, где реальное и призрачное тесно соседствуют друг с другом, где опозитизированное прошлое определяет облик настоящего.

Несколько иные обстоятельства способствовали появлению на свет книги Марка Твена «Простаки за границей». В июне 1867 г. из порта Нью Йорк в путешествие по странам Средиземноморья отправился пароход «Квакер Сити». Эта длительная экскурсия, продолжавшаяся с 8 июня по 19 ноября 1867 г., имела в качестве основных две цели: посещение Всемирной выставки в Париже и паломничество в Палестину. Кроме того, по пути следования экскурсанты могли побывать в Испании, Италии, Греции, Турции, России, Египте. В качестве корреспондента газеты «Альта Калифорния» на его борту находился молодой литератор С.Н. Клеменс, вошедший в историю литературы как Марк Твен. По ходу путешествия он посылал письма, которые публиковались в газетах «Альта Калифорния» и «Нью-Йорк трибун». Спустя год европейские впечатления Марка Твена в отредактированном виде были опубликованы отдельной книгой, принесшей автору широкую известность.

Красноречиво и многозначно название книги – «Простаки за границей, или путь новых паломников». Первая часть названия указывает, что предлагаемый читателю текст содержит свежее,

незамутненное книжным умствованием восприятие увиденного. Думается, не только желание посмеяться над банальными красотами описаний в путеводителях, руководило автором при выборе названия, но и более глубинное желание отмежеваться от традиционных взглядов и оценок.

Еще важнее вторая часть заглавия «путь новых паломников». У читателей Твена это сразу вызывало ассоциации с сочинением английского пуританского автора «Путь паломника», где жизнь человека изображалась в аллегорической форме как путь через торжище, полное искушений, соблазнов и страданий. «Паломничество» Сэмюэля Клеменса и его попутчиков к Святой земле через искушения и соблазны стран католического и мусульманского мира, подано в юмористической форме, и это снижает пафос заглавия.

Объединяла оба произведения та культурная среда, которая сформировала их авторов. Только один, старший по возрасту был истово религиозен, а младший отличался вольнодумством. Но и С. Клеменс, при всех своих антиклерикальных выпадах, был типичным представителем взрастившей его протестантской (в форме английского пуританизма) традиции. И для того и для другого Св. Писание – это основа, на которой базируется все мировоззрение. Большинство примеров, сравнений, ассоциаций возникающих у них – по разным поводам, в разной связи – основывается на Библии. Пуританские идеалы, перенесенные в XVII–XVIII вв. на почву Нового Света, в условия общества, вступившего на путь «модернизирующегося» развития почти без груза традиций, обеспечили формирование своеобразного (можно сказать «эталонного» для данного типа общества) менталитета. Апелляции к тексту Священного Писания присутствуют как в «Альгамбре», так и в «Простаках за границей» – это то, что является общим.

Зато существенно различаются те оценки, те характеристики увиденному, которые давали оба автора, хотя смотрели они на сходные объекты. Думается, что в немалой степени картину восприятия определял такой фактор как время появления интересующих нас книг. «Альгамбра» Ирвинга была опубликована в 1832 г. Для западной (включая и американскую) культуры это – время, следовавшее за «романтической битвой», время торжества романтизма как культурно-исторического движения.

«Простаки за границей» были изданы отдельной книгой в 1869 г. В это время завершался процесс вытеснения одной культурно-исторической парадигмы другой. В условиях активно формирующегося национального самосознания североамериканского общества этот переход приобрел характер решительного отказа от романтизма (с его идеализацией бытовой и художественной

культуры традиционных обществ) в пользу «положительной философии». В творчестве Марка Твена этому имеется немало примеров, из которых самые известные «Принц и нищий», «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура».

Принимая во внимание все отмеченное, попытаемся проанализировать и сопоставить увиденное каждым из наших авторов в далеком и экзотическом для них Старом Свете. Прежде всего, сравним две исходные установки, с которыми отправлялись они в странствие. Свое повествование В. Ирвинг начинает с замечания: «мы хорошенько запаслись добродушием и были искренне готовы довольствоваться малым»<sup>3</sup>. Другими словами, путешественники не ожидали и не рассчитывали на удобства и привычность условий жизни в тех краях, которые собирались повидать, их увлекала возможность побывать в «местах, освященных историей»<sup>4</sup>, погрузиться в атмосферу непривычной жизни, остаться наедине с людьми, живущими по другим обычаям и законам.

С. Клеменс отправился в путь в составе большой группы соотечественников на корабле, то есть, имея возможность «прихватить» с собой привычные условия жизни. Во время путешествия «пилигримы» большей частью ночевали на своем судне, общались между собой, совершали более или менее длительные (от нескольких часов до нескольких дней, как при подъеме на Везувий, поездке в Париж, экскурсии по Палестине) набеги на достопримечательности и поглядывали со стороны на жизнь обитателей стран, мимо которых проплывали. Домом для них оставалась привычная обстановка судна, где все было предусмотрено для комфортной по понятиям американцев того времени жизни. Характеризуя удобства «Квакер Сити» автор не забывает отметить наличие помещения для богослужения. В качестве одного из развлечений, наряду с писанием дневников (письменная исповедь) и попытками организовать танцы, отмечается шуточный судебный процесс, устроенный пассажирами, как характерное проявление культуры, базирующейся на «юридическом мировоззрении».

Стоит сопоставить два подхода к путешествию – в одном случае желание не просто заглянуть в чужой мир, но проникнуться непривычной атмосферой, поселиться в заброшенных покоях пустующего дворца, общаться с людьми, иначе думающими, говорящими, чувствующими, людьми, обитающими на дне жизни. В другом, все подчинено стремлению побольше увидеть, узнать, но

<sup>3</sup> Ирвинг В. Альгамбра. Новеллы. М., 1989. С. 17. Спутником его в этом путешествии был сотрудник русского посольства в Мадриде князь Долгоруков.

<sup>4</sup> Там же. С. 35.

оставаясь при этом в условиях жизни максимально приближенным к привычным.

Проводить сравнительный анализ рассматриваемых работ представляется предпочтительнее, разделив материал на несколько «блоков». Один из них, пожалуй, наиболее обширный, озаглавим так: отношение интересующих нас писателей к увиденным достопримечательностям (природным и созданным людьми) и их понимание прекрасного.

Отправляясь в эту поездку, В. Ирвинг стремился погрузиться в прошлое, почувствовать «очарование осыпающихся стен»<sup>5</sup>. Приметы старины, древности, свидетельства былых времен казались ему притягательными и с познавательной, и с эстетической точки зрения. Только в первой главе «Альгамбры», описывающей путешествие в Гранаду, автор, отмечая места, мимо которых он и его спутники проезжали, где они останавливались на ночлег, упоминает три раза «руины», шесть раз «развалины». Но руины и развалины, это не обстановка распада, вызывающие чувство неприятия и страха. Читатель вводится в обстановку зачарованного мира, где все в прошлом, все наполнено следами человеческой памяти. Это мир, оставленный «в наследство нынешнему роду, промышленяющему на развалинах». Для истинного романтика, каким был этот американский писатель, «патина времени» только добавляет прелести красоте пейзажа, архитектурного памятника, любой вещи.

Когда он бродил по покоям, садам и патио заброшенного, пустынного, ветшающего мавританского дворца, он с удовлетворением отмечал: «в нем была особая красота, большая, чем, если бы я наблюдал их первоначальную пышность, блестящую и мишурную»<sup>6</sup>. В облике окружающих памятников арабской старины его особенно привлекает их соразмерность, гармоничность, уютная приспособленность к потребностям человеческого быта: «Архитектура, как и вообще внутри дворца, скорее изысканная, нежели величественная»<sup>7</sup>.

Посещение Гранады затянулось много дольше, чем он первоначально рассчитывал. Трехмесячное пребывание практически на одном месте, медленное и внимательное узнавание, изучение объекта своего интереса, стремление вжиться в окружающую атмосферу отличает им избранный подход.

Совсем иначе воспринимает и преподносит увиденное в Европе младший коллега Ирвинга Марк Твен. «Пилигримы» ведь

<sup>5</sup> Там же. С. 11.

<sup>6</sup> Там же. С. 72.

<sup>7</sup> Там же. С.44.

совершают большой вояж с целью получить максимум впечатлений самого разного рода. Посещение Пиренейского полуострова было мимолетным. Группа путешественников, отделившись от своих, отправилась во Францию через Испанию, но С. Клеменс не был в их числе. Некоторые впечатления отмечены по поводу Гибралтара, основательно «англизированной» территории Пиренейского полуострова. Большую часть стоянки в Испании писатель потратил на поездку в Африку в Танжер, где все – базарная сутолока, нелепая, с точки зрения западного человека одежда, очевидные признаки отсутствия санитарно-гигиенической службы, – вызывало его удивление, недоумение, усмешку и насмешку.

Как это отличается от позиции Ирвинга, преисполненного умиления по отношению к миру старой арабской культуры, отзвуки которой слышатся ему в убогой современности. Гранадскую Альгамбру Ирвинг воспринял как памятник культуры этого исчезнувшего народа, а свою книгу «Альгамбра» – как памятник этой культуре. Страницы книги исполнены восхищения перед арабами, жившими тогда, в средние века. Отталкиваясь от подлинных фактов и легенд, Ирвинг, пропустив полученные им сведения через призму романтического восприятия, создал обаятельный миф об одном историко-культурном феномене.

В отличие от Ирвинга, как бы случайно набредшего и погрузившегося в «затерянный мир» Альгамбры, паломники с «Квакер Сити» целенаправленно отправились «открывать» Старый Свет (весь и сразу). А С. Клеменс, по долгу журналистской службы, должен был информировать Америку о том, как протекал этот процесс.

Показательно, что главными, ключевыми объектами для американских пилигримов являлись всемирная выставка в Париже и святые места в Палестине. Последовательность посещения и осмотра объектов подчинена была объективно-географическому фактору: сначала на пути следования находился веселый Париж с павильонами выставки, канканом, Лувром, строящимися бульварами и прочими приметами цивилизации, а потом дикие пустыни, окружающие Гроб Господень. Впрочем, там, в Святой земле экскурсанты путешествовали в обстановке почти привычного комфорта.

По мере продвижения в глубь Старого Света экскурсанты имеют возможность взглянуть на достопримечательности самого разного рода, в том числе на прославленные художественные памятники старины. Разнообразные путеводители объясняют им, чем и почему им следует восхищаться. С. Клеменс, а в данном случае речь идет именно о типичном молодом североамериканце, видит и судит обо всем с позиций той шкалы прагматических протестантских ценностей, в которых он был воспитан. Поэтому для него «ста-

ринное» – это «старое», а «старое» – это ветхое и бесполезное, не заслуживающее не только восхищения, но имеющее сомнительное право на существование. Вот как описывается посещение Нотр Дам в Париже: «Часа два мы бродили по величественным пределам, глазели на многоцветные витражи... и пытались восхищаться бесчисленными огромными картинами в капеллах»<sup>8</sup>.

В отличие от многих своих спутников, готовых повторять штампованные восторги, заполняющие путеводители, герой «Простаков» честно признается в неспособности восхищаться согласно предлагаемым рекомендациям. Ему неприятна фальшь восторженных возгласов по поводу той или иной картины, скульптуры, церкви, возгласов, исходящих от людей, «которые с трудом постигают разницу между росписью и распиской»<sup>9</sup>. Сам герой Марка Твена (думается, что между героем и автором в данном случае можно поставить знак равенства) не претендует на звание квалифицированного знатока прекрасного и не скрывает этого. Поэтому, давая оценку тому или иному памятнику культуры, он честно ссылается на здравый смысл или признанный авторитет.

На взгляд «простого парня» огромное число картин и скульптур, да еще зачастую потускневших или поврежденных, может вызвать только чувство раздражения, часто проскальзывающее в отчетах о посещении соборов, музеев, картинных галерей. По поводу увиденного в музеях повторяются такие обороты: «целые мили собранных там произведений старых мастеров», «слишком много реликвий», «мили ее картинных галерей», «сумасшедший хаос остальных галерей» и т.д. Положение обязывает, и корреспондент калифорнийской газеты честно отчитывается обо всем, что полагается увидеть путешественнику в Париже, Риме, Флоренции, Милане, Венеции. Действительно, трудно поглотить все в такой «обзорной экскурсии», даже будучи фанатичным поклонником искусства.

Слишком много достопримечательностей обрушилось на непривычного к таким нагрузкам экскурсанта. Любопытно гастрономическое сравнение при сопоставлении впечатлений, оставшихся от посещения не слишком богатой в ту пору и не слишком обширной нью-йоркской картинной галереи и музеев Старого Света: «академия – это бобы со свиной в сорокамильной пустыне, а любая европейская галерея – банкет из тринадцати блюд»<sup>10</sup>. Это звучит трезво, забавно и метко, хотя и не слишком почтительно. И

---

<sup>8</sup> Твен М. Простаки за границей, или путь новых паломников / Твен М. Собр. соч. Т. 1. М., 1959. С. 158.

<sup>9</sup> Там же. С. 352.

<sup>10</sup> Там же. С. 304.



каждый читатель легко может вспомнить собственные чувства, испытанные при попытках поглотить слишком большие порции культурно-просветительских впечатлений.

В эпизодах посещения Франции присутствует любование увиденными пейзажами, особенно их ухоженностью, обжитостью, уютностью, попытки восхищаться средневековой архитектурой. Всемирная выставка, реконструкция Парижа, проводимая в те годы Наполеоном III, – все это вызывает искренний восторг. Из памятников «старорежимной» Франции только Версаль удостоился безоговорочного одобрения американца:

«Версаль увлекает, как военная музыка. Уходящий вдаль изукрашенный фасад, эспланада перед ним, где можно было бы собрать войска целой империи; кругом радужное море цветов и колоссальные статуи – статуй великое множество, но кажется, что они только кое-где разбросаны по огромному пространству, ...большие фонтаны, ...просторные аллеи, устланные ковром травы, ...ветви смыкаются над головой в безупречно симметричные... арки... И везде... гуляют... тысячи людей,... придавая картине ту жизнь и движение без которой ее совершенство было бы не полным... Прежде я ругал Людовика XIV... теперь я его простил»<sup>11</sup>.

Пространность цитаты в данном случае необходима, чтобы понять смысл того, чем восхищается автор, – восторг от размаха и множественности. Ироничность замечания насчет прощения Людовика не меняет общей восторженной интонации. Большое организованное пространство, заполненное людьми и делами рук человеческих. Думается, что Людовик XIV в значительной степени остался бы доволен такой оценкой: он ведь стремился создать нечто грандиозное по масштабам и рукотворное, сделанное, а не природное. Пожалуй, замыслу Короля-Солнце не соответствует в этом описании многолюдность на аллеях версальского парка, которую наблюдал американец. Людей должно было быть немного, дабы подчеркнуть грандиозность искусственно созданного ландшафта.

Как человек, ценящий добротность, основательность и пригодность предметов любого назначения и размера, Твен относительно доброжелательно воспринимает памятники старой культуры, если расстояние или освещение скрывает приметы разрушительного времени. Так, повозмущавшись неухоженностью и некомфортностью Венеции при дневном свете, он благосклонно замечает, что «...под милосердными лучами луны ее грязные дворцы снова становятся белоснежными... и старый город снова обретает величие»<sup>12</sup>. Он находит слова восхищения при виде да-

<sup>11</sup> Там же. С. 304.

<sup>12</sup> Там же. С. 230.

леких египетских пирамид, которые «словно парят, окутанные дымкой, и кажется, что это не бесчувственный камень, а воздушное видение, греза», но разочарован более близким знакомством с ними: «это просто некрасивый уступчатый каменный исполин»<sup>13</sup>.

Краткое посещение Греции запечатлено в нескольких восторженных зарисовках. В центре их – описание Парфенона. Возможно, что в данном случае на бойкого ниспровергателя кумиров повлияло то, что они видели Акрополь ночью, когда «патина времени», столь раздражающая его, была не видна? А возможно, он невольно воспринимал этот древний памятник частью пейзажа, а не творением человеческих рук. Парфенон издалека и под утро: «Таким он и остался в нашей памяти – торжественный, величавый и прекрасный... Небо на востоке зарумянилось и колоннада Парфенона, будто сломанная арфа, повисла над жемчужным горизонтом...»<sup>14</sup>.

Исходя из сказанного выше очевидно, что представления о прекрасном в понимании Твена и Ирвинга существенно различаются. Ирвинг был изначально готов принять все увиденное им одобрительно, а затем сравнительно неспешно вживался в изучаемый им культурно-исторический феномен. Тогда как Марк Твен каждое собственное мимолетное впечатление должен был корректировать априорно предложенной оценкой. Судя по его отдельным замечаниям, восторженные штампы, данные в путеводителях, вызывали в его критическом уме чувство протеста, который заставлял его оценивать все с изрядной долей иронии.

Предметом самого искреннего и глубоко эстетического восторга Твена оказываются мраморные скульптуры на генуэзском кладбище: «Они совсем новые, белоснежные, каждая линия безупречна, лица в полной сохранности... нам эти уходящие вдаль ряды... понравились гораздо больше попорченных грязных статуй, ...которые выставлены в галереях Парижа для всеобщего поклонения...»<sup>15</sup>.

С явным одобрением описывается облик строящейся Одессы, более того, из всего увиденного им, именно этот свежестроенный город вызывает в его душе самое теплое чувство своей похожестью на молодые города родной Америки. «По виду Одесса точь-в-точь американский город: красивые широкие улицы... дома и все вокруг новенькое с иголки, что так привычно нашему глазу»<sup>16</sup>. С облегчением он отмечает, что памятника там всего два.

<sup>13</sup> Там же. С. 574.

<sup>14</sup> Там же. С. 341-343

<sup>15</sup> Там же. С. 189.

<sup>16</sup> Там же. С. 372.

Людам, воспитанным в классической традиции европейской культуры особенно непривычными кажутся рассуждения Твена по поводу «старых мастеров», которых он энергично низводит с пьедестала. Не сразу, но все же удается понять, что он имел в виду, употребляя этот термин: речь идет об итальянских художниках того периода, который в нашем искусствознании принято именовать Высоким и Поздним Возрождением. На основании отдельных реплик складывается представление о том, что не нравится нашему критически настроенному автору в живописи «старых мастеров».

Прежде всего, ему непонятно, как может считаться красивой почти осыпавшаяся фреска. О «Тайной вечере» Леонардо да Винчи: «копия всегда красивей. Может быть, оригиналы были красивыми, пока были новыми, но это время давно прошло»<sup>17</sup>. Эта претензия, можно сказать, временная. Автор допускает, что когда эта живопись была новой и неповрежденной, она, возможно, была прекрасной. Исходя из того же критерия, он вполне доброжелательно оценивает «Преображение» Рафаэля, потому что «краски свежие и яркие»<sup>18</sup>, да и висит картина в отдельной зале, а значит разглядеть ее можно спокойно, без суеты.

Гораздо серьезнее другое замечание. Художники, создававшие сцены из Ветхого и Нового Завета, изображали свои персонажи похожими на своих соотечественников, пренебрегая столь ценимой в эпоху «положительных ценностей» достоверностью факта. Твену кажется неправильным, что, изведя столько краски на изображение святых и мучеников, «старые мастера» не удосужились воссоздать подлинные исторические события, например, гладиаторский бой или цезаря Нерона, наблюдающего пожар Рима. В этих рассуждениях особенно отчетливо проявляется качество, присущее той молодой культуре, от лица которой писал Марк Твен, – признание собственной точки зрения единственно возможной.

Насмешливый ум Твена заставлял его критически смотреть и на собственные оценки и мнения. Неумение совместить свои впечатления с авторитетом общепризнанных оценок заставляет его размышлять: «Если бы меня не приводили в восторг чудесные картины, которые... разворачивает передо мной царица всех художников – природа, я почти поверил бы, что не умею ценить красоту»<sup>19</sup>.

Природа каждым из авторов воспринимается в том же ключе, что и творения человеческих рук. Ирвинг, остро чувствуя красоту запустения, заброшенности, замечает во время путешествия

<sup>17</sup> Там же. С. 205.

<sup>18</sup> Твен М. Простак за границей. С. 303.

<sup>19</sup> Там же. С. 247.

через пустынное плоскогорье Месты: «Нескончаемые равнины Кастилии и Ла Манчи красит именно их нагота и нескончаемость»<sup>20</sup>. Такой подход вполне соответствовал эстетике романтизма, ценившего превыше всего размах и выразительность в любом их проявлении. И потому, хотя «Испания по большей части лишена природного убранства и не пленяет мягкой прелестью возделанных земель, все же в суровом испанском ландшафте есть свое особое благородство»<sup>21</sup>.

Иначе воспринимал природу Марк Твен. Ему более всего импонировали пейзажи, которые так или иначе сформированы человеческим трудом: ухоженные поля и перелески, регулярный парк Версаля. Поэтому природа Франции, самая окультуренная, самая обустроенная человеком нравится ему: «Повсюду замечая присутствие чистоты, изящества, вкуса к благоустройству и красоте во всем – вплоть до местоположения дерева...»<sup>22</sup>.

Остальные увиденные им пейзажи вызывают более или менее критическое восприятие, поскольку находятся на территориях стран, «отсталых» с точки зрения позитивистского представления о прогрессе. Так красоты итальянской природы испорчены для него нескрываемыми приметами нищеты и неустроенности жизни людей. Всюду, где природа не приспособлена для удовлетворения потребностей человека, она представляется Твену печальной, а потому некрасивой. Для него (в отличие от романтика Ирвинга) печаль не может быть привлекательна. Поэтому «современная Греция – это унылая, безрадостная пустыня, там, видимо, нет ни сельского хозяйства, ни промышленности, ни торговли»<sup>23</sup>.

Очень трудно Твену искренне передать то впечатление, которое произвела на него природа Палестины. Его читатели (думается, и сам он) ожидали восторженного описания Святых мест, но увиденное было совершенно не похоже на то, что можно было считать уютным, обустроенным, удобным для жизни (по европейским меркам). Дневной палящий зной, ночной холод, камни, песок, мало зелени. Твен вынужден констатировать: «составные части картины сами по себе нехороши и, как ни складывай, ничего хорошего не получится»<sup>24</sup>. И тут же он оправдывается: внешняя некрасивость не исключает исторической значимости и святости этих мест. Для понимания представлений автора «Простаков» эти

<sup>20</sup> Ирвинг В. Указ. соч. С. 14.

<sup>21</sup> Там же. С. 13.

<sup>22</sup> Твен М. Простаки за границей. С. 141.

<sup>23</sup> Там же. С. 344.

<sup>24</sup> Там же. С. 477.

страницы дают ценные сведения. Твен протестует против попыток изображать пустынные ближневосточные пейзажи живописно прекрасными. По его мнению, нет нужды их приукрашивать, важнее суметь донести точную информацию, передать их своеобразие, их историческую ценность. Вспоминается кромвелевское обращение к художнику, работающему над его портретом: «Пишите меня со всеми бородавками».

Другой блок материалов, отражающий восприятие «других» и «чужих», относится к характеристике людей и нравов, наблюдаемых Ирвингом и Твенем. Причем, в рамках этого блока можно выделить, во-первых, восприятие людей «другой», но сравнительно близкой культурной традиции – романских народов, а во-вторых, «чужих», представленных народами исламской цивилизации.

Для В. Ирвинга люди, обитающие в крепости, их нравы, стиль жизни, являются частью того культурно-исторического памятника, который пленил его. Поэтому ему интереснее общаться с теми, кого он вслед за одним из своих персонажей назвал «детьми Альгамбры»: бедный люд, обитающий близ заброшенной крепости. Попутчик по путешествию русский аристократ князь Долгоруков, губернатор Гранады упоминаются на страницах книги доброжелательно, но мимолетно. Большую часть времени круг общения Ирвинга составляют обитатели заброшенной крепости, представители общественного «дна». Он отмечает их бедность, их жизнестойкость и жизнерадостность, чувство собственного достоинства. Ирвинг рассказал об их нравах без обличительных или соболезнующих комментариев. Это их жизнь, а он заглянул в нее, но не берет на себя право судить.

Не просто за рубищем рассмотреть человеческое достоинство, еще труднее воспринять без насмешки стремление таких людей «сохранить лицо», но Ирвингу это удастся. Он добродушно отмечает характерное в поведении нищих «детей Альгамбры» – «всякий из них кабальеро и не поступится достоинством ради подачки»<sup>25</sup>. С одобрительным удивлением восклицает он: «На что они живут, ведомо лишь Тому, для кого нет никаких тайн... однако же, они существуют и даже, по-видимому, радуются жизни»<sup>26</sup>.

Тут особенно разительно отличаются позиции двух авторов. Твена нищета ужасает и возмущает, а бедняки вызывают смешанное чувство брезгливости и сочувствия. Пребывание на Азорских островах открывает череду язвительных замечаний по поводу «безалаберного, сонного и ленивого» быта обитателей островов, тле-

<sup>25</sup> Ирвинг В. Альгамбра. С. 24.

<sup>26</sup> Ирвинг В. Указ. соч. С. 56.

творного влияния на их нравы и вкусы католицизма, особенно отцов-иезуитов. Последнее проявляется, по мнению автора, в изобилии «позолоченной мишуры и «пряничных» украшений» в оформлении церковных интерьеров. Находясь на территории, прилегающей к Риму, он возмущается: «Как могут люди, называющие себя людьми, пасть так низко и быть счастливыми»<sup>27</sup>.

Твен вольно или невольно пытается согласовать все увиденное с привычной системой ценностей. Наблюдаемые «простоками» бедность, грязь, отсталость, лень являются для него следствием того, они оказались «в стране, которая шестнадцать столетий бродила во тьме суеверий»<sup>28</sup>, во всех бедах итальянцев и соседних стран он видит «плутни иезуитов».

Оба писателя – протестанты, и католическая церковь для них – чужая и неправедная, средоточие заблуждений. Однако один из них вполне уважительно отмечает все детали непривычных проявлений религиозности, другой – обличает и поучает. Чуть иронизируя насчет чистоты «породы» *Cristianos Viejos* (истинных, исконных христиан), Ирвинг вполне нейтрально и почтительно высказывается по поводу обычаев, связанных с отправлением культа «...колокола возвестили молитвенный час. При этом звуке прохожие... останавливались, обнажали головы, крестились и читали вечернюю молитву; сей благочестивый обычай донине строго соблюдается в глубине Испании»<sup>29</sup>.

Один из авторов принимает чужой мир таким, каков он есть, другой – пристрастно отбрасывает все, что кажется ему связанным со старым, по его представлениям вредоносным, реакционным прошлым. Зато с каким энтузиазмом отмечает он – в чем только можно – признаки надвигающегося прогресса. Достаточно вспомнить, как он расхваливал достоинства недавно построенной в Италии железной дороги, превосходящей своим комфортом американские, или как одобрительно отозвался об итальянском правительстве, рискнувшем покуситься на церковные сокровища для помощи бедноте. «Какой смысл всем этим богатствам лежать без пользы»<sup>30</sup>, – удовлетворенно замечает он.

Зато умение европейцев наслаждаться жизнью, получать удовольствие от нее вне зависимости от наличия или отсутствия банковского счета вызывают единодушное одобрение наших героев. Только Марк Твен сформулировал это более компактно и

<sup>27</sup> Твен М. Указ. соч. С. 220.

<sup>28</sup> Там же. С. 260.

<sup>29</sup> Ирвинг В. Указ. соч. С. 30.

<sup>30</sup> Твен М. Указ. соч. С. 262.

четко: «в умении отдыхать – главная прелесть Европы. В Америке, ...покончив с дневными трудами, мы продолжаем думать о прибылях и убытках»<sup>31</sup>.

Относительно восприятия «чужих» цивилизаций позиции Ирвинга и Твена резко расходятся. Организующим началом «Альгамбры» Ирвинга является восхищение культурой мавританского средневековья, «блистательного Востока», влияние которого стало определяющим для всего последующего развития Пиренейского полуострова:

«С арабами-завоевателями в готскую Испанию вторглась иная, высшая образованность чувства и ума. Арабы тогда были смышленным, хитроумным, горделивым и мечтательным народом, вскормленным восточной наукой и литературой... Мусульманская Испания сияла островком света в христианской, но помраченной Европе; извне она виделась хищной и воинственной державой, внутри же было царство изящной словесности, наук и искусств...»<sup>32</sup>

Как уже отмечалось, возможностью познакомиться с памятниками мусульманской Испании Марк Твен пренебрег, и потому можно лишь домысливать, как он воспринял бы древности мавританской Андалусии. А вот его впечатления о мусульманской Турции можно суммировать следующей фразой: «повсюду грязь, копоть и мрак; повсюду следы седой древности, но она не трогает сердца, не прельщает взора», а потому «на улицы Константинополя стоит поглядеть один раз в жизни, но не более»<sup>33</sup>. При описании Турции Твен не пользуется еще термином «империя зла», но это определение напрашивается из тех оценок, которые даются всему, живому и неживому, что попадает на глаза и на страницы «Простаков за границей». Во всяком случае, посмотрев во время посещения Парижской выставки на султана Абдул Азиса, проезжавшего по улицам вместе с французским императором, писатель несколько патетически отметил, что этот человек занимает «трон империи, позорящей землю»<sup>34</sup>.

Необходимо учитывать, что Ирвинг описывал почти исключительно древнюю исламскую цивилизацию, арабскую культуру периода ее расцвета, а Твен писал о том, что наблюдал в мусульманских странах того периода, когда они переживали кризисный этап своего развития.

Что касается присутствия в рассматриваемых книгах «живых достопримечательностей», то есть знаменитостей и власть при-

<sup>31</sup> Там же. С. 200.

<sup>32</sup> Ирвинг В. Указ. соч. С. 270, 277.

<sup>33</sup> Твен М. Указ. соч. С. 352, 349.

<sup>34</sup> Твен М. Указ. соч. С. 155.

держащих, то тут сопоставление проводить сложнее. Ирвинг упоминает и кратко характеризует эмиров, королей и императоров давно минувших дней, но эти исторические фигуры окружены неким романтическим флером, они часть легенды, их функции основателей (Мухаммед Ибн аль-Ахмар), создателей (Юсуф Абуль Хаджи), завоевателей (Изабель и Фердинандо), побежденных (Боабдил-Чико) почти исчерпывают их характеристики. Их деятельность служит лишь дополнительными штрихами к портрету Альамбры, главной героини книги Ирвинга.

В путевых заметках Марка Твена нашлось место для набросков к портретам нескольких лиц, обличенных властью. Без особой симпатии, но, отдавая должное политическим дарованиям, пишет он о французском императоре Наполеоне III. Созданный им режим видится мимолетному гостю из-за океана прочным, стабильным и достаточно справедливым, при котором «все граждане вполне свободны, но не настолько, чтобы мешать и досаждать друг другу»<sup>35</sup>.

Краткий визит на территорию Российской империи, включивший посещение Одессы и Севастополя, любопытен прежде всего рассказом о визите в царскую резиденцию – Левадию. Как тут не вспомнить Б. Шоу, который несколькими десятилетиями позднее напишет: «Аристократия состоит из идолов, а демократия – из идолопоклонников». Сквозь маску самоиронии в левадийских сценах отчетливо просматривается жадный интерес к живым воплощениям неограниченной власти. Американцам император и его семья очень понравились – простотой и доброжелательностью поведения. Судя по другим свидетельствам, эти качества у представителей императорского семейства действительно были. Интереснее другое, Твен, подчеркивая эти качества российского самодержца, предвосхитил один из расхожих штампов «положительного» образа носителя власти, утвердившегося в эпоху демократизации общества.

Подводя итог предпринятой попытке анализа, следует отметить, что в основе различий двух вариантов «взгляда из-за океана» лежат несколько моментов: различие культурно-исторических периодов, когда создавались исследуемые работы, различие задач, которые ставили авторы при их написании, разница писательских темпераментов и той теоретической базы, которая лежала в основе творчества каждого из них. Необходимо признать, что статья задумывалась как демонстрация общности подходов представителей одной культуры во взглядах на другую, а получилось нечто неожиданное.

<sup>35</sup> Там же. С. 156.



Суммируя впечатления, возникающие при чтении «Альгамбры», можно составить достаточно определенное представление о том, какими оценочными критериями руководствовался автор. Он искал возможности познакомиться с миром «чужих», принимая с сочувственным интересом любые проявления непохожести, неординарности (с точки зрения человека Запада) наблюдаемого им мира. Его привлекали приметы древности, напоминающие о другой жизни, других нравах, других людях. Именно в непохожести заключалось для него очарование увиденного, и это он старался передать в своей книге, представляющей собой своеобразную смесь путевых заметок с собранием легенд и сказаний – их объединяет общее романтически-идеализированное восприятие прошлого вообще, и культуры мусульманского Востока в первую очередь.

Из всего отмеченного Марком Твенем, можно выделить несколько четко прослеживаемых критериев, которыми руководствуется писатель в своих оценках. Красивым признается все новое, свежее, ухоженное. На красоту может претендовать то, чей «возраст» скрывает ночной мрак или расстояние. Не подвергается сомнению красота природы. Хотя и тут сказывается зависимость от тех стереотипов, которые автор постоянно ниспровергает: красоту пустынных ландшафтов Палестины он не может признать Красотой, отвечающей нормам традиционных представлений, и для обоснования признания их достойными описания апеллирует к их исторической ценности. Другими словами, Марк Твен одобрял в открывшемся ему Старом Свете то, что было или казалось родственным привычному, родному для него самого.

Категоричность оценок заметно смягчается изрядной долей иронии, которую автор распространяет и на собственную персону. Прикидывая, какое впечатление производит их «племя» со стороны, он отметил преобладание «истинно индейского самодовольства и невозмутимого невежества».

Статья не является попыткой анализа творчества двух крупнейших американских писателей XIX века. В центре внимания отношение двух поколений представителей одной ветви западной культуры на другую ее ветвь. В данном случае два поколения соответствуют двум эпохам западной культуры. Если иметь в виду общемировоззренческие установки каждой из этих эпох, то можно назвать их соответственно эпохой романтизма и эпохой «положительных ценностей».

Д.В. Михель (Саратов)

## НАРОДНАЯ И УЧЕНАЯ КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТЕ БОРЬБЫ С ЭПИДЕМИЯМИ НА ВОЛГЕ НА РУБЕЖЕ XIX И XX ВВ.

Возникновение общественной медицины в России в последней трети XIX в. положило начало регулярному диалогу *ученой медицинской культуры и народной культуры* российского города и деревни. Местом осуществления этого диалога стала сеть участковых больниц и земских врачебных участков, являвшихся в то же время «надежной опорой проведения санитарных мероприятий»<sup>1</sup>.

Особой проблемой *социального порядка* в России и, в частности, на Нижней и Средней Волге в эту эпоху оказались эпидемии опасных заразных заболеваний – холеры и чумы, а, кроме того, и в не меньшей степени, тифа, дифтерии, сибирской язвы и др. Размышляя о необходимости «оздоровления Поволжья», Николай Федорович Гамалея, стоявший на позициях санитарно-профилактического направления в российской медицине, называл наиболее неблагополучными в санитарном отношении городами именно волжские города – Астрахань, Царицын, Саратов и Самару<sup>2</sup>. Причинами этого санитарного неблагополучия назывались, с одной стороны, близость к азиатским странам, откуда по Волге в Россию заносились многие опасные инфекции, а с другой – нерадивость властей, их привычка прибегать к полицейским мерам и экономить на здоровье народа.

Вместе с тем, по мере все большего участия государства и органов местного самоуправления в борьбе эпидемиями значительная часть медиков стала считать главным условием распространения заразных заболеваний в народной среде *культурно-гигиенические практики* самого народа, главным образом, неустроенный быт, пьянство, сексуальную распущенность, несоблюдение правил гигиены. В медицинской литературе возобладали такие, например, суждения: «Борьба с эпидемиями есть собственно борьба с народным невежеством и потому требует и продолжительного времени и соответствующих средств»<sup>3</sup>. По этой причине

---

<sup>1</sup> Мирский М.Б. Медицина России XVI-XIX веков. М., 1996. С. 318.

<sup>2</sup> Гамалея Н.Ф. Собр. соч. Т. 3. С. 171.

<sup>3</sup> Зейлигер Д. Хроника земской санитарии // Гигиена и санитария. 1911. № 21-22.

основной стратегией борьбы с эпидемиями стало, с одной стороны, санитарно-гигиеническое просвещение народного сознания, а с другой стороны, вмешательство в те культурные практики, которые считались связанными с распространением инфекций.

### 1. Народ как аудитория гигиенистов

В медицинской периодике рубежа XIX и XX вв. многие авторы часто повторяли известное выражение Николая Ивановича Пирогова о том, что гигиена как профилактическая медицина должна и может стать источником успехов медицины ближайшего будущего<sup>4</sup>. При этом популяризация личной и общественной гигиены многими медиками рассматривалась и как наиболее эффективное средство предупреждения эпидемий опасных инфекций. Русские гигиенисты, пропагандируя новые знания о причинах возникновения эпидемий и мерах предотвращения их, имели перед собой несколько типов аудиторий, соотносящихся с классовой структурой российского общества. Наиболее массовой и потому наиболее важной для решения задач медицинского просвещения была аудитория, состоящая из представителей городских низов и деревенских жителей, т.е. «народ». Характерной чертой этой аудитории была ее преобладающая неграмотность, поэтому дело просвещения народа не могло свестись лишь к распространению печатной литературы гигиенического содержания. Принимая к сведению это обстоятельство, отечественные врачи использовали оригинальные средства распространения гигиенических знаний и информации, предупреждающей о причинах заразных болезней.

К их числу относились *публичные лекции*, которые проводились, как правило, в деревнях, а также передвижные *гигиенические выставки* и *кинематографические сеансы*, которые вошли в моду в годы, предшествующие Первой мировой войне, и часто разворачивались в уездных городках и даже некоторых деревеньках. В случае противочумной просветительской работы большую роль играли *плакаты* и *листовки*. Нередкими оказывались случаи, когда лекция на гигиенические темы и даже простое появление в деревне врача вызывало у населения нежелание вступать с ним в контакт, поскольку народ видел в нем всего лишь еще одну разновидность государственного чиновника, от которого нечего ждать чего-то хорошего. Подобное имело место, как правило, в старообрядческих поселениях. В этом случае возникал вопрос о налаживании обще-

---

<sup>4</sup> Например, см.: *Розанов С.П.* Земская передвижная выставка по разным болезням в Петровском уезде Саратовской губернии // *Врачебно-санитарная хроника Саратовской губернии.* 1913. № 2. С. 109.

ния, для чего нужен был прецедент удачного излечения кого-либо из больных. Поскольку такие визиты в деревни чаще всего разворачивались в период очередной эпидемии того или иного заразного заболевания, то возможностей для применения успешной терапии было достаточно. Во многих случаях первыми пациентами врача и его спутников становились самые малозащищенные члены местного сообщества, многодетные вдовы и беспросветные бедняки. Положительные результаты в лечении, достигаемые благодаря применению изоляции больных и обеззараживанию их жилищ, влекли за собой возможность дальнейшего налаживания общения врача с местными жителями, в том числе и чтения лекций о причинах возникновения болезней и мерах их профилактики.

Преобладающие темы публичных лекций были связаны с холерой, сибирской язвой, сифилисом, туберкулезом, а также чумой, которой уделялось внимание преимущественно в засушливых регионах Астраханской губернии. Наряду с этим лекторы и организаторы гигиенических выставок обращали внимание на вопросы правильного ухода за детьми, поддержания чистоты в жилищах, хранения пищи и питьевой воды, а также содержание колодцев, пристаней, конюшен, коровников, мастерских и т.д. Разнообразие предлагавшейся информации указывает на пестрый характер народной аудитории гигиенистов, присутствие в ней мужчин и женщин, крестьян и рабочих, молодежи и пожилых людей.

В отчетах о проводившихся лекциях с определенной долей удовлетворения указывалось на благочестивое молчание народа в ходе публичных лекций. Народ представлялся как особая безмолвная материя, которой слово лектора было призвано придать новую, благородную форму. Между тем, как следовало из последующих отчетов, эта материя часто продолжала оставаться грубой и невежественной, поскольку многие рекомендации врачей, например правила приема лекарств, нарушались.

Этот образ просвещенного врача и безмолвно-благочестивого народа, рисуемый в санитарно-медицинских хрониках волжских губерний, разумеется, был натяжкой. К тому же, народная аудитория приезжих лекторов, как и посетители гигиенических выставок, не представляла собой аморфной массы. В ее среде выделялись лица, готовые к действенному сотрудничеству с санитарными организациями, и, безусловно, лица, равнодушные к по отношению к ним. Из числа первых в дальнейшем назначались активисты, которым предписывалось осуществлять санитарный надзор в пределах селения и информировать власти о случаях заразных заболеваний среди местных жителей. В отчетах противочумных съездов 1920-х гг., проводившихся в Саратове, такие активисты обозначались как

санитарные надзиратели. При этом подтверждалось, что сам институт надзирателей был создан еще в дореволюционные времена. В 1925 г. труд санитарных надзирателей в поволжских деревнях оплачивался из расчета от 75 коп. до 1 рубля в месяц. В их число включались «сельские исполнители», «представители местной интеллигенции» и так называемые «деревенские лодыри», обязанностью которых был ежедневный обход деревни на предмет выявления больных. Еще одной формой участия населения в поддержании санитарного порядка на местах были доносы<sup>5</sup>. Таким образом деревенские санитарные надзиратели и доносчики образовывали активную часть аудитории гигиенистов.

В медицинской периодике тех лет обращалось внимание на всякий факт готовности местного населения сотрудничать с врачами и стремление слушать советы гигиенического характера. Наиболее часто отмечались те случаи, когда само население или определенные группы его, в частности духовенство, обращались к врачам за помощью и были готовы распространять информацию об эпидемиях на более широкую аудиторию. Так, орган Самарского губернского земства «Холерный листок» в 1907 г. опубликовал сообщение о том, как братия Николаевского мужского монастыря пригласила доктора и фельдшерицу в монастырский поселок для оказания помощи местному населению, в то время как сами монахи провели разнообразные санитарные мероприятия в округе своей обители. В той же хронике сообщалось о распространении приходским братством при церкви Святого Алексия Митрополита в Самаре листовок, содержащих информацию гигиенического характера, насыщенную характерной религиозной метафорикой.

«Сын мой! Не пресыщайся всякою сластиею, и не бросайся на разные снеди.

Ибо от многоядения бывает болезнь, и пресыщение доводит до холеры.

От пресыщения многие умерли, а воздержанный прибавит себе жизни.

Почитай врача честию по надобности в нем, ибо Господь создал его. И от Вышнего врачевания и от Царя получает он дар.

Господь создал врачевства, и благоразумный человек не будет пренебрегать ими»<sup>6</sup>.

После революции сообщения о положительных фактах сотрудничества медиков и духовенства на Нижней и Средней Волге исчезают. Но понятие о деревенском активе остается. В тени этой категории остается та часть, которую следовало бы назвать пассивом. Ее состав также оказывается пестрым и вполне очевидным.

<sup>5</sup> Труды 5-го противочумного краевого совещания. Саратов, 1926. С. 30.

<sup>6</sup> Хроника // Холерный листок. Издание Самарского губернского земства. 1907. № 3. С. 66.

Это прежде всего детское население, наиболее подверженное опасности инфицирования, и старики, чье сознание демонстрирует консерватизм и приверженность к культурным практикам, идущим вразрез с требованиями санитарно-медицинского просвещения.

## 2. «Не прикасайтесь к сусликам!»:

### опасная связь людей и животных

Особой приметой народной культуры неизменно считалась ее тесная связь с природой, с ландшафтом, на котором раскинулись крестьянские поселения, с животными, к которым народ, казалось бы, прикипел всей душой. Отечественная литература и философия XIX века подчеркивали эту связь, почитая ее как надежную основу святости русского народа. Короче говоря, до определенного исторического момента просвещенное сознание признавало *естественность* народного быта или, по крайней мере, готово было терпеть ее. Борьба с эпидемиями, поставленная на основу новых научных знаний, заставила многих, прежде всего врачей, увидеть в этой естественности источник опасности для всего общества, в том числе и для самого народа.

Ключевыми элементами опасной естественности народного быта стала, с одной стороны, близость народных масс к естественным водоемам, служившим источниками питья, а с другой стороны, близость к животным. В случае близости к естественным водоемам – рекам, прудам и даже колодцам – речь стала вестись об угрозах заражения холерными вибрионами и распространении малярии, дизентерии, брюшного тифа и пр. Связь с животными выдвигала на повестку дня вопрос об опасностях заражения сибирской язвой, сыпным тифом, туляремией и, конечно, чумой.

Угроза заражения посредством загрязненной воды, при всей сложности этого вопроса, приобрела важное политическое значение еще в конце XIX в., когда под влиянием гигиенистов гражданские и военные власти и само население стали прилагать разнообразные усилия по созданию водопроводов, поддержанию в чистоте общественных колодцев, снабжению кипяченой водой учреждений и пр. В широком смысле сдвиг в народном сознании здесь произошел раньше, чем были созданы технические условия для решения этой проблемы. Об этом свидетельствуют в том числе и тексты прошений, адресуемых властям рабочими небольших пригородных поселков, желавших иметь возможность пользоваться качественной (т.е. водопроводной) водой<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Холерный листок. Издание Самарского губернского земства. 1907. № 2. Приложение. С. 5.

Угроза распространения заразных болезней, вызванных близостью к животным, имела более сложную конфигурацию, поскольку сами связи с животными были более динамичными и ситуативными. Открытие механизма передачи опасных микробов через посредство цепочки носителей, среди которых выделялись вши, мухи, крысы, суслики, тарбаганы, песчанки, а также больные домашние животные, со всей остротой поставил вопрос о необходимости отделения людей от реальных и потенциальных переносчиков опасных инфекционных заболеваний. В случае со вшами, мухами и крысами проблема сводилась к простому расширению требований гигиены и заботе о чистоте. С другой стороны, ситуация с больными и падшими животными, чье мясо могло употребляться в пищу, подталкивала к необходимости распространения ветеринарии и опять-таки пропаганде требований гигиены питания. Самую большую сложность представлял вопрос о *полевых грызунах*, поскольку их связь с человеком, наиболее долго оставалась за пределами санитарно-медицинского восприятия. Все же уже в дореволюционной России этот вопрос был поставлен и приобрел особую остроту для общественной медицины, став в определенный момент в один ряд с самыми значимыми политическими вопросами.

Суслики и тарбаганы на рубеже двух веков были одним из предметов традиционных промыслов в засушливых регионах Поволжья. Шкурки этих животных использовались для пошива одежды, а мясо часто шло в пищу, особенно в голодные годы. Промышляли добычей этих зверьков в основном дети, но взрослые также были причастны к их добыче и обработке шкур.

С 1 по 8 марта 1914 г. в Самаре под председательством Самарского губернатора Н.В. Протасьева состоялся первый областной съезд, специально посвященный проблемам борьбы с чумой и сусликами<sup>8</sup>. В постановляющей части съезда звучали фразы о гигантских масштабах опасности, разносимой полчищами сусликов по всему Юго-Востоку России, включающему в себя Астраханскую, Ставропольскую, Саратовскую, Оренбургскую, Симбирскую и Уфимскую губернии, а также Уральскую, Донскую и Тургайскую области. Съезд квалифицировал сусликов не только как истребителей диких и культурных полевых растений, но и как разносчиков чумных микробов. Утверждалось, что «борьба с сусликом во всех отношениях должна быть отнесена к задачам госу-

---

<sup>8</sup> Постановления Самарского областного по борьбе с чумой и сусликами съезда // Врачебно-санитарная хроника Саратовской губернии. 1914. № 4. С. 400–428.

дарства и принята на средства Государственного казначейства, при посильном участии в расходах местных учреждений»<sup>9</sup>.

Рассматривая сусликов в качестве конкурентов за пищевые ресурсы, а также установив их естественную причастность к распространению чумных эпидемий, власть объявила сусликам и иным полевым грызунам беспощадную войну, которая, однако, была временно прервана вследствие начала войны между ведущими мировыми державами, а затем вспыхнувшей в России гражданской войной. Но уже сразу после установления мира между народами и внутри страны война полевым грызунам была объявлена вновь.

Поиск и выявление сусликов-разносчиков чумы должны были взять на себя органы управления здравоохранением, в частности, Наркомздрав, а массированное уничтожение сусликов посредством распашки земель на местах их гнездования предписывалось органам управления земледелием – Наркомзему. Материальные и технические ресурсы последнего в первой половине 1920-х гг. были недостаточны. Поэтому массированная распашка земель на Волге началась позже фактического начала войны с сусликами. В этих условиях основная задача по предупреждению чумной опасности выпала органам здравоохранения.

Основным инструментом профилактики чумной опасности в начале 1920-х гг. вновь стало медицинское просвещение. Однако оно столкнулось с серьезным препятствием в лице нового рыночного механизма, который поощрял промысел сусликов и сбыт их шкурок. В это самое время органы потребительской кооперации в Поволжье проводили массовую закупку у населения шкурок сусликов и тарбаганов. Противочумные совещания в Саратове, проводившиеся на базе созданного в 1919 г. противочумного института «Микроб», обратили внимание на этот факт и потребовали от правительства прекратить поощрение данных народных промыслов. Проблема, таким образом, переводилась в правовую плоскость.

Одновременно с этим массовыми тиражами издавались листовки, адресованные населению степных районов Поволжья, в которых говорилось об опасностях заражения чумой от сусликов. Во второй половине 1925 г. вышла листовка под названием «Кто и каким образом заражается чумой?» Она содержала серию рисунков, изображающих процесс передачи чумных микробов от сусликов к человеку. Жирными буквами были выделены следующие фразы:

«От сусликов заражаются чумой в наших степях!

Не прикасайтесь к сусликам! Боритесь с ними, затравливая их в норах сероуглеродом или ядовитыми газами.

<sup>9</sup> Там же. С. 423.



Продашь за три копейки сусликовую шкурку и в то же время заразишься от нее чумой и погибнешь.

Только от сусликов заражаются летом чумой в наших степях. Будьте осторожны с ними»<sup>10</sup>.

В той же листовке приводились примеры гибели *суслятников* — людей, заготавливающих шкуры сусликов. Все они были детьми.

Такие же листовки выходили и в 1923 и 1924 гг. Они публиковались как на русском, так и на арабском языке, понятном мусульманскому населению Поволжья<sup>11</sup>. Населению предписывалось избегать полевых грызунов и сообщать об их падеже властям и участковому врачу. Между народом и полевыми животными воздвигалась мощная символическая преграда.

### 3. Народный целитель сквозь призму санитарно-медицинского восприятия

В культуре любого народа существует особая область знаний и практик, ориентированных на сохранение здоровья, иначе говоря, особая область *народной медицины*. Традиционными разделами ее в большинстве случаев оказываются повивальное искусство, остеопатия и траволечение. На Нижней и Средней Волге к концу XIX в. существовал обширный мир народной медицины, представленный фигурами «бабушек», повитух, костоправов, знахарей, специализирующихся в той или иной области целительства. Никто из них не был связан с группой профессиональных дипломированных медиков, а значительная часть, по-видимому, даже не получила какого бы то ни было школьного образования. Их знания, передаваемые из поколения в поколение, представляли собой плод смешения спиритуализма и эмпиризма, поэтому в практиках целителей заговор соединялся с наложением рук, а использование трав с чтением молитв и т.д. Несмотря на недостаток дипломированного медицинского персонала в Европейской части России в конце XIX в., который сохранялся еще и первые два десятилетия Советской власти<sup>12</sup>, представители официальной медицины восприняли народных целителей как своих конкурентов у постели больного и повели с ними решительную борьбу.

В основу критики практик народной медицины была положена новая для того времени бактериологическая теория, позво-

---

<sup>10</sup> Труды 5-го противочумного краевого совещания. Саратов, 1926. Приложение.

<sup>11</sup> Труды 4-го противочумного краевого совещания. Саратов, 1924. Приложение.

<sup>12</sup> См. *Michaels P.A. Curative Powers: Medicine and Empire in Stalin's Central Asia*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2003. P. 25.

ляющая земским медикам предлагать особый взгляд на причины распространения заразных болезней и решительно утверждать превосходство своих методов лечения. Провозглашая ценность своей профессии, опирающейся на достижения науки, медики в то же время стремились представить своих оппонентов в резко негативном свете. Ареной для развития их критических описаний стали периодические медицинские издания, число которых на рубеже двух веков стремительно возросло. На их страницах очень скоро был выведен типичный портрет целителя как человека крайне невежественного, чьи методы врачевания крайне опасны для здоровья его пациентов. Характерно, что в свете этого пародийного образа и народ, обращавшийся за помощью к «шарлатану», выглядел столь же пародийно и весьма жалко.

Доктор Г.И. Дембо, главный редактор «Врачебной газеты», распространявшейся по всей территории России, приводил в 1910 г. следующее описание фигуры целителя, занятого борьбой с холерой в Воронежской губернии. Предложенный им образ в чем-то сродни сказочному:

«Беспомощность, некультурность, можно сказать, даже дикость и суеверие проявляют в народе склонность прибегать ко всякого рода знахарству. Проходимцы и шарлатаны в годину бедствия находят обильную пищу. Так, в одной из слобод нашелся выживший из ума бывший воин русско-турецкой компании с удивительно бессмысленным способом лечения холеры. Его способ заключался именно в подрезании языков. Вооружившись куском стекла от пивной бутылки, оператор направо и налево перерезывал вены под языком, вытирая стекающую кровь грязною тряпкой. Казалось бы, что подрезывание языков ничего не имеет общего с холерой, а между тем легковверный народ валил к нему толпой, чтобы только найти спасение от холеры. Старик, не сознавая, что своими грязными манипуляциями прививает холеру, считался во всем околотке целителем и святым и, когда его арестовали, то целые толпы мужиков и баб хотели спасти целителя. Удивляться нашему некультурному мужику нечего, но никто не поверит, что нашлась одна учительница, которая подверглась этой операции и привила себе холеру, от которой и скончалась»<sup>13</sup>.

Санитарный врач И.А. Добрейцер, бывший регулярным корреспондентом «Врачебно-санитарной хроники Саратовской губернии» первые два десятилетия XX в., а при большевиках возглавивший эпидемиологический отдел Наркомздрава, в одной из своих дореволюционных публикаций предложил не менее колоритные образы целителей-«шарлатанов» в Хвалынском уезде Саратовской губернии.

<sup>13</sup> Дембо Г.И. К истории борьбы с холерой в России в 1910 году // Врачебная газета. 1910. № 45. С. 1371.

«Для примера позволю себе привести способы «лечения» болезней, практикующиеся в одном из таких селений, приемы знахарей, с которыми мне пришлось познакомиться на днях, при объезде этих селений. При заболеваниях глотки приглашается старуха, которая «выдавливает нарывы» на миндалинах. Рук, разумеется, не моет и заражает других детей. Вылизывают языком попавшие в глаза соринки. При зубной боли дают вдыхать пары белены. При женских болезнях сажают «на ртуть»: в кадку опускают горячие камни, обливают их водой, сюда ставят жаровню с горячими углями, женщина садится на корточки, укрывается и дышит, пока сил хватает, парами воды и ртути. Ртуть дается и внутрь в виде приготовленных знахарями пилюль.

Один мужчина-знахарь лечит баней: с женщинами, раздетыми до гола, этот знахарь проделывает в бане какие-то манипуляции. Популярность его велика. К нему идут толпами, ждут очереди. И этой очереди ждут не только отдельные лица, но и целые селения: ходоки из соседних селений идут к нему просить к себе. Селениям назначается очередь. Последней ждут, не дождутся.

Другой знахарь – также мужчина – лечит довольно оригинально зубную боль: он трет своей щекой о щеку больного или больной. Популярность его большая, народу к нему идет много. Говорят, помогает. Ему платят, так как он принимает на себя боль других»<sup>14</sup>.

Не имея возможности прибегнуть к запретительным мерам и покончить с целительством как особым социальным институтом, российские медики вплоть до 1920-х гг. прибегали именно к журнальной критике, формируя негативное мнение о целителях среди своих коллег дипломированных медиков. Успех борьбы с целительством и целителями тот же доктор Добрейцер в 1914 г. связывал не с возможной государственной политикой против народной медицины, а с просвещением народного сознания.

«Покуда население не усвоит себе хотя бы в общих чертах основ физиологических и патологических процессов организма, до тех пор указанные приемы знахарства будут продолжаться»<sup>15</sup>.

В санитарно-медицинском восприятии всякий представитель народной медицины на Нижней и Средней Волге на рубеже XIX и XX вв. выступал как человек, лишенный научных знаний о причинах болезней и рациональных методах лечения их. Что касается заразных болезней, в основе которых лежал тот или иной механизм инфицирования человеческого организма, то в этом вопросе целители квалифицировались как однозначно ничего не смыслящие. Таким образом, микробы выступали своеобразными союзниками просвещенных врачей в их борьбе со своими профессиональными

<sup>14</sup> Добрейцер И.А. Опыт организации чтений в Хвалынском уезде (К вопросу о распространении гигиенических знаний) // Врачебно-санитарная хроника Саратовской губернии. 1914. № 5. С. 541-542.

<sup>15</sup> Там же. С. 542.

конкурентами, а заодно и бесценным орудием перевоспитания невежественного народа, столь слепо доверявшего «шарлатанам». Мириады опасных микробов, кишевших на немытых руках деревенского знахаря, с точки зрения медика, выступали наиболее верным символом отсутствия цивилизованности в поволжской глубинке.

### Заключение

В первые годы XX века в Нижнем и Среднем Поволжье стал формироваться особый санитарно-медицинский порядок, оплотом которого стала разветвленная сеть медицинских учреждений и связанных с ними бактериологических станций, игравших роль институтов, где непосредственно производились достоверные знания о природе опасных инфекций. Этот порядок был в известном смысле наложен на существующую систему социальных связей и культурных практик и представлений. Идея предупреждения опасности эпидемий заразных болезней привела к необходимости планомерного вмешательства в самую толщу народной жизни. Просвещение народного сознания было дополнено мерами, направленными на то, чтобы оторвать само тело народа от его естественного окружения. Этому способствовало не только производство вакцины против некоторых опасных инфекций, но и меры по изменению самой экологии существования поволжского населения.

Первая мировая война и гражданская война ослабили интенсивность борьбы с эпидемиями. Однако уже с 1918 г. советское правительство возобновило ее с еще большей силой, создав для этого эффективный механизм – Наркомздрав, ставший в данном вопросе преемником царского министерства внутренних дел<sup>16</sup>. Во второй половине 1920-х гг. произошел коренной переворот в жизни сотен тысяч русских, казаков, калмыков, «киргизов» и других народов Поволжья. Не в последнюю очередь он был вызван массивной распашкой земель, которая велась в том числе и для того, чтобы покончить с полевыми грызунами-разносчиками чумы. Сельское население двинулось в города, вынужденное осваивать новые формы быта и культуры. В этих условиях прежние формы борьбы с эпидемиями были дополнены конструированием нового, социалистического быта. С позиций санитарно-медицинского восприятия первых лет советской власти народная культура продолжала оставаться грубой материей, требующей отлития в новую форму.

---

<sup>16</sup> Weissman N.B. *Origins of Soviet Health Administration*. Narkomzdrav, 1918–1928 // *Health and Society in Revolutionary Russia*. Ed. S. Gross Solomon and J.F. Hutchinson. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1990. P. 98.

И.В. Ведюшкина

## ПЕТР ГУГНИВЫЙ И ПЕТР МОНГ

Автор Повести временных лет проявляет осведомленность о существовании двух различных конфессий в христианстве уже в рассказах о прибытии проповедников к князю Владимиру, в отzyвах об этих миссиях греческого философа и в рассказе о посольствах самого Владимира для «испытания вер». Есть в Повести и объяснение того, когда и почему религия «немцев» и «греков» перестала быть единой.

Согласно летописи, после крещения Владимиру был преподан православный Символ веры<sup>1</sup>. К его тексту присоединялся краткий рассказ о Семи Вселенских Соборах. Далее следовало особое предупреждение о необходимости остерегаться развращенного учения «латинян» и новый перечень Вселенских Соборов, призванный показать, что первоначально Римская кафедра действовала заодно с четырьмя патриархами Востока и помогала блюсти правую веру. Таким образом, раскол Востока и Запада вследствие «развращения» Рима косвенно датируется в Повести промежутком времени между Седьмым Вселенским Собором (787 г.) и началом тех усилий миссионеров и самого князя Владимира, которые в 988 г. увенчались принятием Русью христианства от Византии.

Виновником прекращения церковного общения между Римом и патриархами Востока, согласно летописному преданию, стал Петр Гугнивый:

«...по сѣмь же сворѣ. Петръ Гугнивыи со инѣми шедъ в Ридиѣ. и прѣлъ въсхвятивъ. и разъверати върѣ. штвергъса шт прѣла Ирлика. и Фликсандрьскаго и Црѣграда. и Фитиахнискаго въздутиша Италию всю. сѣиуше оученне свое разное. шви во попови шдиною женою. шжинѣвъса служать. а друзии до сѣмье жинты понмакуи служать иуже властисна оученныа. працають же грѣхи на дару. еже есть злѣе всего...»<sup>2</sup>.

Ни византийские, ни какие бы то ни было другие источники (кроме древнерусских) не знают римского папы с таким именем и прозвищем и, соответственно, не связывают с ним возникнове-

<sup>1</sup> ПСРЛ. Т. 1. Стб. 112–113.

<sup>2</sup> ПСРЛ. Т. 1. Стб. 115–116.

ние «латинских» заблуждений. Зато исследователями давно уже было отмечено<sup>3</sup>, что «Петр Гугнивый» – точный славянский эквивалент имени и прозвища александрийского патриарха конца V в. Петра Монга (Πέτρος ὁ Μόγγος), встречающийся как в древнейших славянских переводах Кормчих книг, так и в древнерусском переводе Хроники Георгия Амартола. Таким образом, в древнерусской книжности имя «Петр Гугнивый» относится к двум разным иерархам.

В Ефремовской кормчей (рукопись XII в.) по изданию В.Н. Бенешевича<sup>4</sup> о Петре Монге упоминается в связи с ложным учением т. н. «безглавных», оставшихся без своего ересиарха в результате принятия Петром Монгом объединительного послания («Энотикона») императора Зинона:

	Безглавныици		Ἀκέφαλοι
Безглавныици	иже	Ἀκέφαλοι, οἵτινες τῷ	
единициемъ	Зинона	Ἐνωικῷ Ζήνωνος τοῦ βασιλέως	
небръгъше тако не		μὴ ἀρεσθέντες, ὡς μὴ	
изгънавъшии стго	събора	ἐκβάλλουσι τὴν ἀγίαν τῶν ἐν	
иже въ калхидонѣ	оць	Χαλκηδόνι πατέρων σύνοδου,	
отъвръгъшася	отъ Петра	ἀπέσχισαν ἑαυτοὺς ἀπὸ Πέτρου τοῦ	
Гугъниваго	приницъшаго	Μογγοῦ τοῦ δεξαμένου	
таково единство	посемъ же и	τὸ τοιοῦτον Ἐνωικόν· εἶτα καὶ	
раздѣлиша на южата распръ-		ἐπιδηρέθησαν εἰς ἀλλότρια σχίσματα,	
гаже соуть процаи	отъ сих	ἅπερ εἰσὶν τὰ ἐφεξῆς ἐνταῦθα	
соуцаи		κείμενα.	

У Амартола о Петре Монге говорится вскользь и лишь в связи с тем, что его имя было вычеркнуто из диптихов (церковного поминовения) патриархом Евфимием:

«Евфимии ютеръ прозвочтеръ и нищепитатель Новаго града, прилѣжа въ Анапѣ, поставленоу юмоу на юпъство Костантина града, коупно с поставленьемъ, юци не вшедъшу на престолъ, отъ стхъ диптихъ сътре Петрово имя Гугъниваго своимъ роукама, потомъ же на юпъствемъ престолѣ сѣде. съ

<sup>3</sup> См.: Попов А.Н. Историко-литературный обзор древнерусских полемических сочинений против латинян (XI–XV вв.). М., 1875. С. 16–20 (здесь же содержатся ценные ссылки А.Н. Попова на предшествующую ему историографию, в частности, на труды Г.А. Розенкампа, Хергенрёттера и А.И. Лилова); Павлов А. С. Критические опыты по истории древнейшей Греко-русской полемики против латинян. СПб., 1878. (Критический разбор сочинения А. Н. Попова). С. 8–26. Та же совокупность представлений и в новейшей работе: Летописец Еллинский и Римский. Т. 2. СПб., 2001. Комментарий и исследование – Творогов О. В. С. 103, 184, 187.

<sup>4</sup> Бенешевич В. Н. Древнеславянская кормчая XIV титулов без толкований. СПб., 1907. Т. 1. Вып. 3. С. 731 [лист 285а].

же Гоугънивыи въ Александрии въ ѱѣпъ и юрѣтикъ же злыи. Юуфинии во ревнителъ въ простославныа въры, ...»<sup>5</sup>.

Многочисленные попытки исследователей объяснить, каким образом и почему «вымышленная личность»<sup>6</sup> римского папы получила имя реального патриарха Александрии, в основном сводятся к следующим соображениям, наиболее полно высказанным в работе А.С. Павлова:

«Перенесение имени Петра Гугнивого на мифическое лицо римского папы IX–XI вв. объясняется обычным приемом византийской полемики (устной и письменной) – противопоставлять священным и церковным авторитетам, на которых утверждалось опровергаемое учение, известных древних ересиархов *того же имени*. Таким образом, говорили, например: “Это учение не Апостола Павла, а Павла Самосатского”. Латиняне в своей полемике с греками, как известно, всего чаще ссылались на авторитет Апостола Петра, – и им отвечали: “Нет, ваш учитель не Апостол Петр, а Петр Гугнивый”. ... Много значил уже самый сатирический смысл прозвища, какое носил греческий еретик V века –  $\delta$  Моугъос или Моугъос = гугнивый, особенно если предположить, что византийцы, большие охотники до игры созвучиями, переиначивали в это прозвище латинский эпитет Апостола Петра – Magnus, который через легкую перестановку букв (Magnus) звучал как Моугъос»<sup>7</sup>.

Приведенные здесь, а также дальнейшие рассуждения А.С. Павлова во многом основываются на убеждении уважаемого исследователя в том, что источником летописного сказания о Петре Гугнивом послужила Толковая Палея, которую он, в духе историографии своего времени, считал переводным памятником исключительно византийского происхождения, не допуская мысли о возможном влиянии летописи на палею или о параллельном использовании ими несохранившегося славянского или древнерусского источника. Таким образом, фактически отрицалась вероятность древнерусского происхождения предания, дошедшего до нас исключительно в составе памятников древнерусской книжности.

На наш взгляд, нелепость перенесения имени реального александрийского патриарха конца V века на вымышленную фигуру римского папы, повинного в отпадении Рима от православия после Семи Вселенских соборов, почти полностью закрыла для исследователей возможность увидеть в данном фрагменте летописного текста не вы-

<sup>5</sup> *Истрин В. М.* Книги временныа и вбразныа Гевргия Мниха. Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе. Текст, исследование и словарь. Т. 1: Текст. Пг., 1920. С. 409. 19–24.

<sup>6</sup> *Попов А. Н.* Историко-литературный обзор. С. 16.

<sup>7</sup> *Павлов А. С.* Критические опыты. С. 24.

мысел, а плод исследовательской реконструкции, основанной на реальном совпадении весьма существенных для истории Церкви обстоятельств жизни и деятельности двух персонажей.

Дело в том, что именно во времена Петра Монга и, формально, во многом из-за него, произошел первый крупный разрыв между Римом, с одной стороны, и Константинополем и патриархами Востока, с другой, – т. н. Акакианская (или Акакиева) Схизма (484–519 гг.). Попытки императора Зинона и патриарха Акакия предотвратить отпадение после Халкидонского собора (451 г.) богатейших восточных провинций империи, где традиционно влиятельны были монофизиты, сохранив церковное общение путем издания и подписания Энотикона<sup>8</sup>, предпринимаемые параллельно с усилиями по утверждению патриаршего статуса константинопольской кафедры<sup>9</sup>, привели к энергичным протестам пап Симплиция (468–483 гг.) и Феликса III (II) (483–492 гг.). Одним из основных поводов для разрыва стали как раз требования о прекращении общения с Петром Монгом, чему способствовали и жалобы предшественника последнего по александрийской кафедре Иоанна I Талаи, бежавшего в Рим.

Таким образом, автор Повести временных лет совершенно прав в том, что начало противостояния Рима и патриархатов Востока было положено при участии Петра Гугнивого. Очевидно, в его распоряжении был какой-то источник, освещавший историю Церкви конца V в. подробнее, чем Георгий Амартол, но допускавший на основании своего текста логические реконструкции о времени жизни этого ересиарха и его места в церковной иерархии.

---

<sup>8</sup> Грацианский М.В. Акакианская Схизма // Православная энциклопедия. М., 2000. Т. 1 (А – Алексей Студит). С. 362; о. Дегурский В. Акакиева Схизма // Католическая энциклопедия. М., 2002. Т. 1 (А – З). Стб. 122. В этих же изданиях см. списки основных источников и литературы.

<sup>9</sup> Мнения о том, что главной причиной Схизмы были не догматические, а церковно-иерархические противоречия, придерживался, в частности Т.В. Барсов: Барсов Т.В. Константинопольский патриарх и его власть над Русской Церковью. СПб., 1878. С. 89 – 110.



**А.В. Свешников, В.П. Корзун, М.А. Мамонтова**

**«ЖИЗНИ НАШИ... ПРОТЕКЛИ... ВРОЗЬ»**

**(к истории личных взаимоотношений**

**И.М. Гревса и С.Ф. Платонова)**

Статья представляет собой первую попытку рассмотрения взаимоотношений между двумя крупными петербургскими историками конца XIX – начала XX в. С.Ф. Платоновым и И.М. Гревсом. В научной литературе оба названных ученых характеризуются как крупнейшие представители петербургской исторической школы рассматриваемого периода<sup>1</sup>, создавшие собственные школы («генетического типа»<sup>2</sup>): первый – в изучении отечественной истории, второй – средневековой истории стран Западной Европы. Но в то же время в отечественной историографии нет работ, посвященных рассмотрению личных взаимоотношений между учеными. В силу этого довольно сложно сейчас создать целостную картину, претендующую на полноту охвата темы. Для первого подхода представляется возможным на фоне параллельного рассмотрения жизненного пути ученых, ограничиться выделением «узловых моментов» во взаимоотношениях между ними, т.е. периодов, когда эти взаимоотношения становились наиболее интенсивными, и эта интенсивность, в свою очередь, определяет полноту источниковой базы. Взаимоотношения между историками в прочее время рассматриваются в данной статье в силу ее предварительного характера «курсивом», в качестве контекста для анализа «узловых моментов». Фоновую функцию выполняет и нарочитая параллельность жизненных путей. Предполагается, что подобное допущение вполне возможно и имеет под собой определенные основания.

---

<sup>1</sup> *Ананьич Б.В., Панях В.М.* О петербургской исторической школе и ее судьбе // Отечественная история. 2000. № 5. С. 105–114. Хотя сам тезис о существовании единой школы, объединявшей специалистов и по отечественной и по всеобщей истории, на наш взгляд, нуждается в уточнении.

<sup>2</sup> *Каганович Б.С.* Петербургская школа медиевистов в конце XIX – начале XX в. Автореферат на соиск. учен. степ. к.и.н. Л., 1986. С. 3.

Основным источником являются письма И.М. Гревса С.Ф. Платонову, хранящиеся в архиве последнего в Отделе Рукописей Российской Национальной Библиотеки (Ф. 585).

Важным фактором, определяющим отношения между учеными, должно было стать то, что они являлись ровесниками. Оба родились в 1860 г. в провинции (Гревс – 4 мая (по новому стилю – 18 мая) в имении отца под Орлом, Платонов – 16 июня в Чернигове)<sup>3</sup>, оба заканчивали гимназию уже в Петербурге, только Гревс, потерявший год с переездом, позже, в 1879 г. Соответственно, с разницей в один год (Платонов на курс старше) они поступают и на историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета. Следует отметить, что университет, по воспоминаниям обоих историков, написанным позднее, произвел на них схожее впечатление<sup>4</sup>. Он вызвал определенное чувство недоумения и разочарования. Только ко второму курсу у обоих молодых людей появляется интерес, оба находят себе научного руководителя и определяют собственную профессиональную специализацию, определяют, кстати сказать, на всю оставшуюся жизнь. Гревс специализируется под руководством В.Г. Васильевского по кафедре всеобщей истории, занимаясь преимущественно периодом перехода от античности к средним векам. Платонов выбирает полем своей научной деятельности отечественную историю, а научным руководителем – К.Н. Бестужева-Рюмина.

За этой внешней формой мемуары позволяют ухватить и определенное различие, вызванное, как представляется, в первую очередь характером молодых людей. Гревс воспринимал Васильевского, по своему собственному выражению, не только как «учителя науки», между ними складываются теплые человеческие отношения, которые сохранились до самой смерти Васильевского в 1899 г.<sup>5</sup> Платонов, формально специализируясь у К.Н. Бестужева-Рюмина,

<sup>3</sup> Наиболее подробное рассмотрение биографий ученых см. *Брачев В.С.* Русский историк С.Ф. Платонов. Ученый. Педагог. Человек. СПб., 1997; *он же.* С.Ф. Платонов: (о жизни и деятельности историка, 1860–1933) // *Отечественная история.* 1993. № 1. С. 111–128; *Шмидт С.О.* Сергей Федорович Платонов // *Шмидт С.О.* Путь историка: Избранные труды по источниковедению и историографии. М., 1997. С. 495–553; *Скржинская Е.Ч.* Иван Михайлович Гревс. Биографический очерк // *Гревс И.М.* Тацит. М.–Л., 1946. *Каганович Б.С.* И.М. Гревс – историк средневековой городской культуры // *Городская культура средневековья и начала нового времени.* Л., 1986.

<sup>4</sup> *Платонов С.Ф.* Несколько воспоминаний о студенческих годах // *Дела и дни.* 1921. Кн. 2. С. 107–114; *Скржинская Е.Ч.* Указ. соч. С. 227.

<sup>5</sup> *Гревс И.М.* Василий Григорьевич Васильевский как учитель науки. Набросок воспоминаний и материалы для характеристики // *ЖМНП.* 1899. № 8.

по собственному признанию, считал своими настоящими учителями многих профессоров университета. Например, к преподавателям, оказавшим на него определенное влияние, он относил профессоров-юристов А.Д. Градовского и В.И. Сергеевича. Большое влияние на формирование исторических взглядов Платонова оказали «Боярская Дума древней Руси» и литографический курс лекций по русской истории В.О. Ключевского. Кроме того, он отмечает и влияние В.Г. Васильевского, которого относит к числу своих учителей. Особенно важны были семинарии Васильевского, где студенты «вступали в самый процесс ученого исследования и творчества и начинали понимать завлекательную прелесть успешного научного труда»<sup>6</sup>. Не менее важной школой были, впрочем, и лекции Васильевского. Подводя итоги воспоминаниям о годах студенческой учебы, Платонов говорит: «Я учился сперва у Бестужева и Градовского, а затем у Васильевского и Ключевского»<sup>7</sup>, выстраивая тем самым определенную иерархию (став взрослее и умнее, учился у Васильевского). О взаимоотношениях Платонова с Бестужевым-Рюминым можно сказать, что «к любимым ученикам Бестужева Платонов не относился»<sup>8</sup>. Сам Платонов впоследствии отмечал, что «прекрасно читавший лекции профессор оказался “холоден” в смысле научного руководства, ... “забота” профессора дальше того, что он давал студенту тему, или же одобрял выбранную самим студентом, не шла...»<sup>9</sup>. С определенной долей иронии Платонов отмечал: «Не берусь судить, был ли это продуманный прием отношения к учащимся, или же просто недостаток приема»<sup>10</sup>.

Оба молодых человека, Платонов и Гревс по окончании университета (соответственно в 1882 и 1884 гг.) были оставлены при кафедрах «для приготовления к профессорскому званию». Оба помимо подготовки к сдаче магистерских экзаменов и работы над диссертациями преподают в гимназиях, в первую очередь с целью заработка. Оба принимают участие в работе студенческого Научно-литературного общества<sup>11</sup>. Платонов даже относился к инициаторам

<sup>6</sup> Платонов С.Ф. Несколько воспоминаний ... С. 121.

<sup>7</sup> Платонов С.Ф. Автобиографическая записка // Академическое дело. 1929–1931 гг. Вып. 1. СПб., 1993. С. 262.

<sup>8</sup> Брачев В.С. Русский историк ... С. 49.

<sup>9</sup> Там же. С. 54.

<sup>10</sup> Платонов С.Ф. Автобиографическая записка... С. 261.

<sup>11</sup> Ростовцев Е.А. А.С. Лаппо-Данилевский и С.Ф. Платонов (К истории личных и научных взаимоотношений) // Проблемы социального и гуманитарного знания. Вып. 1 СПб., 1999. С. 128–129. Следует отметить, что в силу близости А.С. Лаппо-Данилевского с И.М. Гревсом, указанная статья содержит ряд принципиально важных для нашей работы положений.

его создания<sup>12</sup>. Характеризуя отношения между будущими учеными в период их формирования, пожалуй, трудно говорить о тесном общении между ними и уж тем более о личной близости. Это связано не столько с разницей в курсах, сколько с различием во взглядах и определяемом этим даже в пределах университета круге общения.

Гревс, по его собственным словам, в эти годы имел репутацию «радикала»<sup>13</sup>. В 1884 г. он привлекался СПб. жандармским управлением «к дознанию по обвинению в принадлежности к так называемой «рабочей группе партии Народная Воля»»<sup>14</sup>, но в дальнейшем дело было прекращено. П.Н. Милюков в своих воспоминаниях отмечает, что уже в 1890-е гг. Гревс был первым, кто дал ему в руки «запретного Герцена»<sup>15</sup>. В 1884–85 гг. формируется круг близких друзей Гревса, связанный с Научно-литературным обществом и так называемым «Приютинским Братством»<sup>16</sup>. В него входили С.Ф. и Ф.Ф. Ольденбурги, Д.И. Шаховской, А.А. Корнилов, В.И. Вернадский, очень близок к ним был и А.С. Лаппо-Данилевский. В научной литературе этот кружок принято было рассматривать как «один из центров формирования идейных основ русского либерализма конца XIX – начала XX в.»<sup>17</sup>. В тесном общении с друзьями меняются и взгляды самого Гревса. Его ученица, О.А. Добиаш-Рождественская впоследствии скажет: «Как общественный деятель Гревс примыкал к кругам, из которых вышло движение «Союза Освобождения» и сложилась конституционно-демократическая партия»<sup>18</sup>. В целом Гревс оставался верен либеральным взглядам на протяжении всей своей долгой жизни.

Репутация Платонова в студенческие годы тоже была небезукоризненна. В начале 1880-х гг. Платонов находился под надзором полиции в связи, как он считал, с принадлежностью к университет-

<sup>12</sup> Платонов С.Ф. Несколько воспоминаний... С. 126–127.

<sup>13</sup> Гревс И.М. В годы юности // Былое. 1918. № 12.

<sup>14</sup> Каганович Б.С. И.М. Гревс ... С. 218.

<sup>15</sup> Милюков П.Н. Воспоминания. М., 1991. С. 111.

<sup>16</sup> См. Гревс И.М. В годы юности // Былое. 1918. № 12; Ростовцев Е.А. Указ. соч. С. 129–130.; Корзун В.П. Образы исторической науки на рубеже XIX–XX вв. (анализ отечественных историографических концепций). Екатеринбург; Омск, 2000; Шаховской Д.И. Письма о братстве. Публикация Ф.Ф. Перченка, А.Б. Рогинского, М.Ю. Сорокиной // Звенья. Исторический альманах. М.; СПб., 1992. Вып. 2.

<sup>17</sup> Каганович Б.С. Вокруг «Очерков из истории римского землевладения» И.М. Гревса // Политические структуры эпохи феодализма в Западной Европе VI–XVII вв. Л., 1990. С. 199.

<sup>18</sup> Добиаш-Рождественская О.А. И.М. Гревс // Новый энциклопедический словарь СПб., 1913. Т. 14. Ст. 777.

ской читальне, а 23 марта 1883 г. после убийства Александра II он даже подвергся обыску. Однако, эти события только оттолкнули молодого Платонова от политической деятельности. Все свои студенческие и послеуниверситетские годы Платонов посвящает преимущественно научной работе, сторонясь «всякой партийности и кружковщины»<sup>19</sup> (что впрочем для университетской жизни того времени уже само по себе являлось политической позицией). «Во время университетского курса, – вспоминает В.Г. Дружинин, – С.Ф.П. держался в стороне от всяких студенческих дел»<sup>20</sup>. В последующие годы, по словам В.С. Брачева, отношение Платонова, получившего репутацию консерватора и государственника, к либеральным кругам было достаточно негативным. Наиболее близким кругом общения Платонова с 1881 г. становится так называемый «кружок русских историков», окончательно оформившийся к январю 1884 г. В него входили такие известные впоследствии фигуры как В.Г. Дружинин, И.А. Шляпкин, С.М. Середонин, Н.Д. Чечулин<sup>21</sup>.

Характеризуя отношения Платонова с либеральными профессорами, С.О. Шмидт пишет: «Платонова, разночинца и по происхождению и по жизненным навыкам, настораживали эти аристократы по воспитанию: их привычки к разговору на иностранных языках, склонность к философской и политической тематике фразеологии, и догматическая нетерпимость к инакомыслию.., можно полагать, – и трудность выделиться в среде этих блистательных и образованнейших интеллектуалов. И они, отдавая дань незаурядным талантам Платонова – ученого, педагога, организатора, так же не склонны были принимать его в свой круг»<sup>22</sup>. Подобная оценка базируется, судя по всему, на письме А.Е. Преснякова своей матери, в котором ученый так передает рассуждения самого Платонова о различии двух научных кружков: «кружки – его и Лаппо-Данилевского различаются 2-мя признаками: те – дворяне по воспитанию, с хорошим домашним воспитанием, с обширными научными средствами, демократы по убеждению и по теории, люди с политическими стремлениями, с определенным складом политических взглядов, в которые догматически верят и потому нетерпимы к чужим мнениям; они же, т.е. Платоновцы, разночинцы, люди другого общества, др. воспитания, с меньшим запасом научных

<sup>19</sup> Платонов С.Ф. Несколько воспоминаний ... С. 113.

<sup>20</sup> РГАЛИ. Ф. 167. Оп. 1. Д. 7. Л. 238.

<sup>21</sup> См. Ростовцев Е.А. Указ. соч.; Бухерт В.Г. С.Ф. Платонов и кружок русских историков // АЕ за 1999 г. М., 2000; Брачев В.С. «Наша университетская школа русских историков» и ее судьба. СПб., 2001.

<sup>22</sup> Шмидт С.О. Указ. соч. С. 509.

сил, очень разнородные по убеждениям, только личной дружбой, а не к.-н. общим *credo* связанные между собой»<sup>23</sup>.

1880-е гг. оказались для обоих ученых периодом активного вхождения в научное сообщество. Целеустремленный Платонов в этом безусловно более преуспел, прохождение «обязательных степеней роста» давалось ему быстрее и, кажется, легче. Во многом это было связано с благоприятной для научной карьеры обстановкой, сложившейся на кафедре русской истории СПб. университета. Так, с 1883 г. в связи с болезнью Бестужева-Рюмина Платонов активно включается в преподавательскую деятельность сначала на Высших Женских курсах, деканом историко-филологического отделения которых он был в 1885–89 гг.<sup>24</sup>, а с 1886 г. в Александровском лицее. С 1883 г. начинается публикация научных работ Платонова. В этом году в «Журнале Министерства народного просвещения» появляется его статья о земских соборах, а в 1887–88 гг. – магистерская диссертация «Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII века как исторический источник». После сдачи в 1885 г. магистерского экзамена Платонов 11 сентября 1888 г. успешно защищает магистерскую диссертацию. В том же году он становится приват-доцентом университета, а в 1890 г. профессором кафедры русской истории. Последнее назначение было связано не только с успехами научной работы Платонова, но и с болезнью Е.Е. Замысловского, преемника Бестужева-Рюмина по кафедре русской истории. Поддержку Платонову в этом оказал и В.Г. Васильевский, сделавший его кроме того своим помощником в редакции «Журнала Министерства народного просвещения». С 1891 г. разворачивается и активная публикаторская деятельность Платонова в Археографической Комиссии.

В 1884 г. в том же «Журнале Министерства народного просвещения», редактором раздела истории в котором был В.Г. Васильевский, выходит и первая научная статья Гревса. Но долгое время она оставалась единственной. В сравнении с Платоновым, срок «аспирантуры» (говоря современным языком) Гревс затянул. Только в 1889 г. он сдал магистерские экзамены, прочитал пробную лекцию и написал клаузурную работу. Но специфика подготовки историка-всеобщника в данном случае привела к необходимости заграничной командировки для продолжения научной работы. С 1889 по 1892 г. Гревс, собирая материал для диссертации, посетил Францию, Италию, Германию и Австрию. В 1890 г., в перерыве

<sup>23</sup> СПб. ФИРИ. Ф. 193. Оп. 2. № 2. Л. 26 об–27.

<sup>24</sup> Санкт-Петербургские Высшие Женские (Бестужевские) Курсы 1878–1918 гг. Л., 1973. С. 84.

между поездками, Гревс был утвержден приват-доцентом Петербургского университета, с 1892 начал преподавать на Высших Женских Курсах. С 1894 г. Василевский, видевший в Гревсе своего преемника, передал ему чтение общего курса истории средних веков.

Итак, Платонов и Гревс стали коллегами, и с этого времени отношения между ними вступают в новую стадию развития. Инициатором сближения, судя по всему, выступил Платонов. Первое из сохранившихся в архиве Платонова писем Гревса датировано 19 октября 1892 г. В этом письме Гревс благодарит Платонова за приглашение «на чтение и разбор реферата» на ВЖК и просит уточнить время<sup>25</sup>. Гревс в письме от 17 марта 1893 г. также приглашает Платонова на свои семинарские занятия для чтения и обсуждения рефератов. В письме к матери, датированном сентябрем 1892 г., А.Е. Пресняков надеется встретиться с Гревсом в квартире Платонова<sup>26</sup>. Посещения, похоже, становятся постоянными и взаимными, но в близкую дружбу не переходят. В письме от 23 марта 1893 г., высказывая соболезнования Платонову по поводу смерти сына, Гревс пишет о том, что в тяжелую минуту скорби «не решился беспокоить... своим личным посещением»<sup>27</sup>.

Во многом дистанция между учеными сохранялась, как представляется, в силу различия в статусах. Защитив в 1899 г. докторскую диссертацию, Платонов успешно продвигался по лестнице административной карьеры. Его талант администратора и организатора науки был нарасхват. С 1890 г. вплоть до ухода на пенсию по выслуге лет в 1913 г Платонов занимает кафедру русской истории в университете, а с 1893 г. он становится секретарем историко-филологического факультета СПб. университета, в 1900–1905 гг. – его деканом. У Платонова складываются особые отношения с Императорским Домом. С 1895 г. его пригласили преподавать русскую историю великому князю Михаилу Александровичу и великой княгине Ольге Александровне, а в 1903 г. становится директором женского Педагогического института, созданного под покровительством Великого князя Константина Константиновича.

В связи с Курсами «учебно-организационная» тема постоянно присутствует в переписке. Гревс неоднократно обращается к Платонову по учебным делам как к непосредственному начальнику. Это вопросы о согласовании расписания<sup>28</sup>, об оставлении при

<sup>25</sup> ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ед. хр. 2714. Л. 1

<sup>26</sup> СПб ФИРИ Ф. 193. Оп. 2. Д. 1. Л. 92 об.

<sup>27</sup> ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ед. хр. 2714. Л. 4.

<sup>28</sup> Там же Л. 5-5 об.

Курсах талантливых выпускниц, за которых ходатайствует Гревс<sup>29</sup>. Встречаются в письмах Гревса этого периода и просьбы извинить за невозможность выполнить то или иное дело к назначенному сроку<sup>30</sup>. Нельзя сказать, что Гревс производит впечатление безукоризненно дисциплинированного.

В это время Гревс, опубликовав в «ЖМНП» ряд статей по аграрной истории Рима, заканчивает работу над магистерской диссертацией. В 1899 г. она была опубликована отдельной монографией «Очерки из истории римского землевладения (преимущественно во времена империи)». В 1900 г. успешно прошла защита. В ходе ее подготовки 20 февраля 1900 г. Гревс обратился с письмом к Платонову как секретарю факультета об оформлении необходимых для защиты документов<sup>31</sup>. Казалось бы, после успешной защиты, период вхождения в университетскую корпорацию близок к завершению. Но судьба неожиданно наносит Гревсу два болезненных удара.

В 1899 г. Гревс как «неблагонадежный», приказом министра народного просвещения, был уволен из университета и с Высших женских курсов. Свою роль тут сыграла и его репутация либерала, и сочувствие студенческим волнениям. В течение ряда лет Гревс преподает историю в частных гимназиях. Свое отстранение Гревс воспринял довольно болезненно. Он начинает хлопоты по восстановлению в должности, и, по-видимому, активную поддержку ему в этом оказал С.Ф. Платонов. Пожалуй, эти годы (1901–1902) - период наибольшего сближения между учеными. В трудную минуту Гревс обращается за помощью и советом к Платонову как надежному человеку и, что немаловажно, опытному администратору. И Платонов, надо отдать ему должное, помогает Гревсу советом и поддержкой. Общение по переписке дополняется и личными встречами.

«Не могу еще раз не высказать Вам свою благодарность за Ваши хлопоты по моему делу. Вполне одобренный после пережитых очень тяжелых трех лет доверием ко мне факультета, я спокойно пойду на конкурс, о котором вы говорили в надежде на поддержку своих прежних товарищей и с желанием работать в качестве профессора только при их выборе»<sup>32</sup>, — пишет Гревс 31 мая 1901 г.

Платонов является, пожалуй, одним из главных доверенных лиц Гревса по вопросам восстановления:

«Согласно совету Вашему я был сегодня у Министра и о результатах разговора с ним хотел бы переговорить с Вами. Если можно, позвольте мне

<sup>29</sup> Там же. Л. 7.

<sup>30</sup> Там же. Л. 10.

<sup>31</sup> Там же. Л. 11.

<sup>32</sup> Там же. Л. 12.



прийти к Вам завтра (в воскр.) вечером (в тот час, который вы назначите). ...Извините, что беспокою Вас, но нужно посоветоваться с Вами»<sup>33</sup>.

Платонов, судя по всему, рекомендовал обратиться к попечителю учебного округа, и в следующем письме Гревс отчитывается о результатах этой встречи:

«Обсудив вопрос, я решаюсь последовать указанию Попечителя, хотя, конечно, для меня было бы несравнимо приятнее подать просто прошение ректору, который, дав ему ход, дал бы мне поддержку факультета; вместо этого я теперь принужден обращаться уединенно прямо к Министру. Не могу, впрочем, осложнять вопроса и причинять собой беспокойство коллегам. Мне лично достаточно знать через Вас и Фаддея Франц. о добром желании факультета помочь мне возвратиться. ...Прошение Министру подам на днях (отправлю по почте... в собственные руки)»<sup>34</sup>.

Задержка с ответом из канцелярии министра вызывает дополнительные волнения:

«Свою докладную записку Ванновскому я закончил просьбой вызвать меня через канцелярию для объявления мне ответа по моей просьбе (для чего приложил по закону к бумаге две марки по 60 к.). Сделано это было около 1 ноября. До сих пор никакого ответа я не получил; приписываю я такое обстоятельство обыкновенным канцелярским проволочкам. Во всяком случае... идти вновь к Министру за справкой мне казалось неудобным, да и в общем сам по себе я не хотел этого делать. Я даже начал склоняться к мысли, что просьбу мою просто "замалчивают" по какой-нибудь причине и подумывал уже о том, что дело постигло новую таинственную неудачей.

Но на днях я узнаю со слов Ф.Д. Батюшкова (хоть не от него лично, но от достоверного человека) будто Раев сообщил ему, что Министр лично заявил ему, что не нашел со стороны министерства никаких препятствий для возвращения моего в состав Профессоров высших Женских Курсов. Раев просил Батюшкова передать это мне, говоря, что ему самому "неловко" сделать это, на что Бат., кажется ответил, что ему следует это сделать лично. М.б., подобное заявление сделано Министром и ректору, и он так же почему-то не считает удобным довести о том до моего сведения. Находясь в состоянии недоумения в вопросе, конечно, очень близко меня касающемся и сердечно меня волнующем, я обращаюсь к Вам с искренней просьбой узнать что-либо об этом в университете, если это не составит для Вас беспокойства и затруднения»<sup>35</sup>.

Письмо датировано третьим декабря. Платонов рекомендует Гревсу не торопиться и подождать. В ответ на это в письме от 9 декабря Гревс благодарит за совет и извиняется за причиненное беспокойство. Судя по всему, взволнованный своим неопределенным

<sup>33</sup> Там же. Л. 13.

<sup>34</sup> Там же. Л. 14-14 об. Под Фаддеем Францевичем имеется в виду профессор Ф.Ф. Зелинский.

<sup>35</sup> Там же. Л. 15-15 об.

положением, он просто нуждается в поддержке и участии. Интенсивная переписка идет на фоне регулярных личных встреч в основном в ходе посещений Гревсом квартиры Платонова. Следует отметить, что на отношения между учеными в этот период влиял и тот факт, что Гревс был гимназическим учителем 15-летней дочери Платонова Нины. Упоминания о ней неоднократно встречаются в переписке. Например, в письме от 2 марта 1902 г.: «Радовался вчера, увидев в классе Нину и (?узнал от нее), что не только она, но и другие Ваши дети спаслись от скарлатины: я неверно понял Вас, мне показалось, что осталась нетронутой болезнью только она»<sup>36</sup>.

Рассмотрение дела о восстановлении Гревса в качестве преподавателя сдвинулось с мертвой точки в феврале 1902 г., и известил об этом Гревса именно Платонов. Гревс благодарит за это известие Платонова и вновь спрашивает совета о том, что же ему дальше предпринять. Последние мартовские проволочки связаны с «политическим» прошлым Гревса, но и они в конце концов оказались преодолены («надеюсь ... что отношение к делу того учреждения, о котором Вы мне говорите как о задерживающей силе, уже покончено»<sup>37</sup>). В марте дело решилось окончательно.

«Только что получил, вернувшись домой поздно вечером, Вашу телеграмму. Душевно благодарю Вас за доброе внимание и радостную для меня весть. Хотя при открывшейся перспективе вернуться в Университет невольно ощущаю на себе трудно поправимую рану, нанесенную почти трехгодовым перерывом в правильных научных занятиях, и хотя горизонты профессорские выглядят... покрытыми тучами, но все-таки чувствую известную бодрость и подъем духа, когда появляется надежда еще раз попробовать на любимом поприще свои умственные и нравственные силы»<sup>38</sup>.

В апреле Гревс уже получил официальное уведомление, в июне подал заявление на должность приват-доцента университета, а в сентябре приступил к занятиям. 21 сентября состоялась его первая лекция после возвращения. Само возвращение Гревса в университет осуществилось благодаря поддержке влиятельного в столичных кругах декана историко-филологического факультета С.Ф. Платонова. И сам Гревс, конечно, прекрасно это понимал.

В это же время Гревс работает вместе с Платоновым в «подкомиссии» исторического знания. Это основная тема переписки между учеными осенью 1902 г. Судя по письмам, общая занятость Гревса не всегда позволяла ему исправно посещать заседания комиссии. Отсюда просьбы о переносе заседаний или извинения

<sup>36</sup> Там же. Л. 19 об.

<sup>37</sup> Там же. Л. 19.

<sup>38</sup> Там же. Л. 22.

за их пропуск. Не всегда Гревс сдает в срок методические материалы. В то же время Платонов обращается к Гревсу с просьбой указать зарубежную литературу по методике преподавания истории (в первую очередь средневековой) в школе. Подобное обращение можно расценить как высокое признание Платоновым профессиональных качеств Гревса. Письмо с ответом на этот вопрос – единственное, в котором сохранились пометки Платонова, сделанные им при чтении. Историк отмечал для себя названия наиболее заинтересовавших его работ из списка, составленного Гревсом. Порой, высказывая те или иные соображения, Гревс обращается к Платонову как к единомышленнику<sup>39</sup>.

Но, начиная с 1903 г. взаимоотношения между учеными, безусловно, пошли на спад. Меняется, становясь более официальным тон переписки, резко сокращается ее интенсивность, деловыми отношениями ограничивается и тематика. Можно предположить, что это охлаждение вызвано целым комплексом причин.

Во-первых, усиливающееся различие социального статуса. Карьерное продвижение Платонова продолжается вполне успешно. 12 августа 1905 г. он переизбран на новый срок деканом историко-филологического факультета университета, правда в сентябре уже подает в отставку. В мае 1905 г., согласно высочайшему указу, его ученые заслуги приносят потомственное дворянство детям. В 1912 г. за выслугу лет он получает звание заслуженного профессора и соответствующую пенсию. Наконец, в том же 1912 г., по циркулирующим в столице слухам, Платонов получает предложение поста министра народного просвещения, но от должности благоразумно отказывается. Да и в целом после этого, оставляя кафедру, а в 1916 г. Женский педагогический институт, уходит на покой от хлопотной административной деятельности, мечтая об обеспеченной старости и спокойных научных занятиях. Гревс, отказавшись от завершения докторской диссертации в связи с тем, что работа по подобной теме была только что опубликована немецким ученым О. Гиршфельдом<sup>40</sup> (это и было вторым ударом судьбы, пережитым ученым в это время), тем самым создал новые трудности для своей профессиональной карьеры. Перенеся теперь свои научные интересы из античности в средние века, Гревс фактически должен был начинать заново. Реализует же он себя, в

<sup>39</sup> Там же. Л. 34–34 об.

<sup>40</sup> См. *Hirschfeld O. Der Grundbesitz der römischen Kaiser // Klio, 1902. Bd. 2. S. 45–72, 284–315.* Сам Гревс неоднократно сетовал на то, что Гиршфельд невольно «предвосхитил» тему его исследования (ОР РНБ. Ф. 1148. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1 об.)

первую очередь, в преподавании, став в это время одним из самых популярных профессоров университета и ВЖК. Это – период наибольшей популярности Гревса. На короткое время он становится деканом историко-филологического факультета ВЖК. Одна из слушательниц ВЖК тех лет Е.Н. Чехова впоследствии вспоминала: «На его лекциях и семинарах воспитывались целые поколения молодежи в духе высокого гуманизма, высоких идеалов, в преклонении перед идеей прогресса, перед культурными ценностями. Вряд ли можно найти имя, которое сыграло большую роль, пользовалось большей популярностью среди молодежи»<sup>41</sup>.

Во-вторых, в условиях общественных волнений 1905 г. актуализируются различия в политических взглядах между государственнымником Платоновым и либералом Гревсом. Гревс выступает за демократизацию высшего образования, принимая участие в работе съездов всероссийского союза профессоров и комиссии по выработке нового университетского устава<sup>42</sup>. Платонов, придерживаясь принципа «университет – для науки», осуждает вмешательство политики в университетскую жизнь. Еще в 1901 г. он, как член образованного в университете «Особого совещания», был причастен к увольнению студентов, протестовавших против «Временных правил»<sup>43</sup>. В 1905 г. он в числе семнадцати преподавателей университета выразил протест против вовлечения студенчества в политическую борьбу и прекращения занятий. Это, по мнению В.С. Брачева, определило негативное отношение к нему «революционной партии» и либеральной профессуры Университета<sup>44</sup>, к числу которой относился и И.М. Гревс.

В-третьих, активное формирование в этот период вокруг каждого из ученых собственной научной школы, выкристаллизовывающейся из кружка учеников, делает очевидным конфликт учительских методов, применяемых профессорами. «Платонов достаточно жестко относился к своим ученикам, уже с первых шагов приучая их к самостоятельности. «Кормить с ложки» – давать советы, наставления было не в привычках С.Ф. Платонова. Он не любил, когда студенты приходили к нему «на консультации», и тот, кто не справлял-

<sup>41</sup> Цит. по Рутенбург В.И. Встречи Гревса с Италией // Россия и Италия. М., 1992. С. 309.

<sup>42</sup> Скржинская Е.Ч. Указ. соч. С. 239.

<sup>43</sup> Ананьич Б.В., Панеях В.М., Цамутали А.Н. Сергей Федорович Платонов. Биографический очерк // Академическое дело. 1929–1931 гг. Вып. I. СПб., 1993. С. LXVII.

<sup>44</sup> Брачев В.С. Жизнь и труды С.Ф. Платонова // Платонов С.Ф. Сочинения в 2-х тт. Т. 1. СПб., 1993. С. 25.

ся самостоятельно с подбором литературы по теме и разработкой общей концепции доклада, рассматривался им как «балласт»<sup>45</sup>. Платонов, называя себя «технарем», считал первостепенной задачей профессиональной подготовки обучение технике критики и анализа исторического источника, довольно скептически при этом относясь к всевозможным глобальным теориям и концепциям. Также на периферии внимания Платонова-профессора оставались «идейные и политические» соображения<sup>46</sup>. Гревс же, напротив, стремился быть в первую очередь «учителем жизни». Стремясь к неформальному общению с учениками, именно в формировании мировоззрения видел Гревс свою главную задачу как профессора. «Пропаганда» определенного идеала и вытекающих из него ценностей так или иначе проявлялась в любом учебном занятии Гревса. Одна из его учениц этих лет А.И. Хоментовская отмечала, что Гревс, «историк с религиозно-философским уклоном», был больше «учителем», чем «исследователем»<sup>47</sup>. Обязательной предполагалось и наличие целостной концепции исторического процесса или по крайней мере изучаемого периода. Многочисленные воспоминания, оставленные учениками Гревса, свидетельствуют, что профессору было «не лень возиться» с учениками, более того именно в этом он видел свою главную задачу. Для семинариев Гревса была характерна особая «духовная атмосфера», что впрочем, ничуть не принижало уровень профессиональной подготовки прошедших через них студентов.

Похоже, что к противоположным выбранным им методам обучения оба ученых относились весьма скептически. По крайней мере, ироничное отношение Платонова к «атмосфере» гревсовского круга зафиксировал в своих письмах А.Е. Пресняков<sup>48</sup>. Он отмечает, что Гревс «утонул» в «социальной истории Римской империи»<sup>49</sup> и, говоря далее о необходимости первостепенной разработки «специальных» вопросов, безусловно воспроизводит мнение платоновского кружка.

В целом именно в этот период обоим ученым удастся подготовить из числа своих учеников много известных в будущем специалистов, создав тем самым настоящие научные школы, принесшие славу отечественной исторической науке. Так, среди учеников Пла-

<sup>45</sup> Брачев В.С. Русский историк ... С. 54.

<sup>46</sup> Там же. С. 55.

<sup>47</sup> Хоментовская А.И. Латинская гуманистическая эпитафия. СПб., 1992. С. 231.

<sup>48</sup> Кан А.С. Историк Георгий Васильевич Форстен и наука его времени. М., 1979. С. 83.

<sup>49</sup> СПб ФИРИ. Ф. 193. Оп. 2. Д. 1. Л. 160 об.

тонова этого периода можно назвать С.В. Рождественского, П.Г. Васенко, Н.П. Павлова-Сильванского, А.Е. Преснякова. Семинар Гревса посещали О.А. Добиаш-Рождественская, Л.П. Карсавин, Н.П. Оттокар, А.И. Хоментовская, Г.П. Федотов.

Представляется, что различие в организации занятий связано не только с методологическими взглядами, хотя эту сторону, безусловно, нельзя сбрасывать со счетов. В значительной степени различия вытекают из психологических особенностей каждого из профессоров. Если попытаться на основании имеющейся источниковой базы реконструировать «психологический портрет» Платонова, то он предстанет человеком довольно закрытым, замкнутым, осторожным, тщательно продумывающим в тактическом и стратегическом плане каждый жизненный шаг. Человек высокой внутренней дисциплины и самоорганизации, ставивший «работы» выше всего и к тому же не лишенный честолюбия, он прекрасно подходил для административной карьеры, которую в целом вполне удачно и сделал. Гревс в сравнении с ним предстает человеком открытым, искренним, эмоциональным, порой не всегда организованным, в чем-то наивным, склонным к глубоким переживаниям и не всегда обдуманным до конца поступкам. Иронии Платонова противостоит «верность принципам» и постоянная их пропаганда Гревса. Платонову-«реалисту» противостоит Гревс-«идеалист».

«В общении с подчиненными и вообще малознакомыми людьми С.Ф. Платонов, как правило, вел себя сдержанно. Но это не было выражением недоверия к собеседнику, а обычной манерой ученого "держать себя застегнутым на все пуговицы"<sup>50</sup>. «В общении с людьми С.Ф. Платонову была свойственна некоторая ирония, которую не всегда можно было уловить в словах, но которая чувствовалась в каждом взгляде профессора... Этим он внушал определенную робость общавшимся с ним студентам. Что касается профессуры, особенно левой, то многие, по свидетельству С.В. Рождественского, не любили С.Ф. Платонова, считая его человеком неискренним, скрытным и тщеславным»<sup>51</sup>.

П.Н. Милюков отмечал, что житейская премудрость Платонова казалась «врожденной», а до «сердечной теплоты» в общении с ним добраться было крайне «нелегко»<sup>52</sup>. Доброжелательный в своих воспоминаниях к Платонову В.Г. Дружинин отмечает:

«... в отношениях с людьми он был очень корректен и щепетилен, но сам был очень чувствителен к разного рода их словам и часто видел в их словах обидные для себя намеки и выражения, почти без всякого

<sup>50</sup> *Брачев В.С.* Русский историк ... С. 57.

<sup>51</sup> Там же. С. 57–58.

<sup>52</sup> *Милюков П.Н.* Два русских историка: (С.Ф. Платонов и А.А. Кизеветтер) // *Современные записки.* Париж, 1933. № 51. С. 314.

на то повода со стороны говоривших. Это происходило, по-видимому, от болезненно развитого в нем самолюбия. Я как-то намекнул ему на это и выразил предположение, что это вероятно и для него тяжело. Он ответил, что чувствует это, но не может совладать с собой»<sup>53</sup>.

Хотя при этом, Дружинин указывает на доброжелательность и открытость Платонова для близких друзей, его «доступность и общительность»<sup>54</sup>. А.Е. Пресняков в письмах матери признается, что ему кажется, что Платонов вполне возможно «иногда притворяется»<sup>55</sup>.

Поведение Гревса, и, соответственно, его восприятие было диаметрально противоположным. «Еще на 1-м курсе Иван Михайлович говорил нам, что кафедра часто отгораживает профессора стеной от его слушателей. Он пригласил интересующихся его курсом прийти вечером побеседовать с ним на заинтересовавшие нас темы»<sup>56</sup>. «Padre» называли Гревса его ученики. Особую «духовную» атмосферу семинария Гревса отмечали и те, кто относился к ней довольно скептически. По воспоминаниям того же Н.П. Анциферова, его гимназический учитель так характеризовал манеру профессорской работы Гревса: «Вам... следовало бы поработать у Гревса. У него в семинарии такое "благорастворение воздушей". Это будет в Вашем вкусе»<sup>57</sup>.

Ситуацию противостояния друг другу двух различных профессорских кружков, к которым принадлежали историки, нашла наиболее полное отражение в письмах А.Е. Преснякова матери. Написанные в период с 1894 по 1901гг. письма содержат немало собственных и платоновских рассуждений (подмеченных Пресняковым) о характере кружков и взаимоотношениях между ними. Показательно и то, что описание кружкового противостояния идет на фоне отдаления Преснякова от кружка Платонова. Это определяет изменение в даваемых оценках. Изначально, кружок, в который входили И.М. Гревс, Н.И. Кареев и А.С. Лаппо-Данилевский воспринимался Пресняковым как чужой. Особенно негативной фигурой выступает Кареев. «Кареев – чванное животное»<sup>58</sup>, - говорится в письме от 16 ноября 1892 г. «Факультетскому расколу»<sup>59</sup> полностью посвящено письмо от 22 марта 1894 г., и Платонов в нем выступает в качестве миротворца. Но отношение меняется. Платонов по словам Преснякова (в письме 21 марта 1896 г.) переживал,

<sup>53</sup> РГАЛИ. Ф. 167. Оп. 1. Д. 9. Л. 26 об-27.

<sup>54</sup> Там же. Л. 26.

<sup>55</sup> СПб. ФИРИ Ф. 193. Оп. 2. Д. 1. Л. 126.

<sup>56</sup> Анциферов Н.П. Из дум о былом: Воспоминания. М., 1992. С. 171.

<sup>57</sup> Там же. С. 165.

<sup>58</sup> СПб. ФИРИ Ф. 193. Оп. 2. Д. 1. Л. 125 об.

<sup>59</sup> Там же. Д. 2. Л. 25-29 об.

«что ему не сыграть роли Форстена или Гревса»<sup>60</sup>, т.е., как можно предположить по контексту письма, роли «учителя», окруженного и любимого учениками. А осенью 1899 г. Пресняков не одобряет иронию кружка Платонова по отношению к уволенным из университета И.М. Гревсу и Н.И. Карееву. «Его кружок – всякие Чечулины, Середонины и Кс – совсем чужды нам»<sup>61</sup>, «их интеллигентность не очень высокого полета» и «учиться у них – нечему»<sup>62</sup>.

Вполне возможно, что на сохранение дистанции между Платоновым и Гревсом повлияла и близкая дружба последнего с А.С. Лаппо-Данилевским. А между Лаппо-Данилевским и Платоновым, как полагает специально занимавшийся рассмотрением этой темы Е.А. Ростовцев, фактически существовала конкуренция в борьбе за неформальное лидерство среди столичных историков, исследователей российской истории<sup>63</sup>.

Представляется показательной краткость упоминаний о Платонове в мемуарах, оставленных людьми гревсовского круга. Мимоходом упоминается Платонов в воспоминаниях Н.И. Кареева, А.И. Хоментовской, Н.П. Анциферова (в последних фигура Платонова актуализируется только при описании Академического дела), а ведь он являлся одной из наиболее крупных фигур историко-филологического факультета начала XX века.

Число писем, написанных в период с 1903 по 1917 гг. в целом невелико, и посвящены они в основном мелким повседневным хлопотам. Гревс просит урегулировать учебное расписание<sup>64</sup> или помочь в комплектовании библиотеки исторического семинария<sup>65</sup>, ходатайствует за различных людей, рассказывает о последствиях тяжело перенесенной болезни (январь-февраль 1904)<sup>66</sup>, извещает о ходе своей поездки в Италию, подготовке магистерского диспута Б.М. Панченко<sup>67</sup>. В связи с уходом Платонова на пенсию дважды в 1911 и 1914 гг. Гревс обращается с просьбой не прекращать чтение лекций на ВЖК<sup>68</sup>. Исчезают упоминания о взаимных домашних визитах. И все это было бы вполне нормально, но в одном из писем конфликт выходит «на поверхность».

---

<sup>60</sup> Там же. Д. 3. Л. 8 об.

<sup>61</sup> Там же. Д. 4. Л. 78.

<sup>62</sup> Там же. Л. 69.

<sup>63</sup> См. *Ростовцев Е.А.* Указ. соч.

<sup>64</sup> ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ед. хр. 2715. Л. 11-12.

<sup>65</sup> Там же. Л. 15.

<sup>66</sup> Там же Л. 5-6.

<sup>67</sup> Там же Л. 9-10.

<sup>68</sup> Там же. Л. 14, 19.



В письме от 3 ноября 1905 г. Гревс пишет: «Простите, что долго не отвечал Вам: ужасно неприятно и тяжело возобновлять речь об этом деле. В конце концов прошу считать вопрос поконченным: время уже прошло, истину в полном виде все равно не восстановишь, а занимать других своей личностью для меня в высшей степени тягостно. Во всяком случае не думайте, что я сохранил против Вас какое-нибудь неудовлетворение и обиду. Это было бы неверно»<sup>69</sup>.

Не совсем понятно, о чем в данном письме идет речь, но и по содержанию, и по тону конфликт очевиден. А вся последующая переписка уже несет на себе отпечаток произошедшего конфликта.

События 1917 г. вновь изменили отношения между двумя историками, да и в целом изменили их жизнь, кардинально разрушив надежды Платонова на обеспеченную спокойную старость и Гревса на продолжение преподавания средневековой истории в университете. В 20-е гг. Платонов, который уже не мог спокойно почитать на лаврах в новых условиях, возвращается к активной административной научной деятельности, Гревс, напротив, в 1923 г. вынужден оставить университет.

С декабря 1918 г. Платонов становится председателем Археографической комиссии, с 1918 по 1923 гг. занимает должность директора Археологического института и в это же время заведует Петроградским отделением Главархива. В апреле 1920 г. он избирается в действительные члены Академии наук, а в апреле 1923 г. одновременно является председателем археологического отделения ФОН Петроградского университета, Археологического общества, Союза архивных деятелей, комитета по изучению древнерусской живописи, заведующим ученой комиссией по истории труда в России, наконец, главным редактором «Русского исторического журнала». С 1922 г. он руководит постоянной исторической комиссией АН, в 1925–29 гг. почти одновременно возглавляет Пушкинский Дом и БАН (уходит в сентябре 1928 г.). 7 марта 1929 г. на общем собрании Академии наук он избирается академиком-секретарем отделения гуманитарных наук.

Основным местом деятельности Гревса после 1923 г. становится Петроградский (затем Ленинградский) экскурсионный институт и центральное бюро краеведения. Активизируется деятельность «кружка» бывших учеников, собиравшихся на квартире у Гревса<sup>70</sup>. В эти годы Гревс выпускает серию статей по теории и методике экскурсионного дела, краеведения и методике преподавания. Кроме

<sup>69</sup> Там же. Л. 4.

<sup>70</sup> Ананьич Б.В., Панях В.М. Указ. соч. С. 108.

того, Гревс активно сотрудничает в издательстве Брокгауза и Ефрона в качестве редактора и автора научно-популярных работ.

Оба в целом негативно относились и к марксизму как научной теории, и к практике идеологического давления советской власти на историческую науку, но должны были «приспосабливаться» к новым условиям. И это создает определенные предпосылки для нового сближения.

В 1922 г. после восьмилетнего перерыва Гревс возобновляет переписку. Он обращается к Платонову с просьбой написать книгу об Иване Грозном для редактируемой Гревсом в издательстве Брокгауза и Ефрона серии «Образы человечества». Гревс обещает, как редактор серии, предоставить «максимальные из практикующихся ныне» условия<sup>71</sup>. После отказа Платонова Гревс вновь настойчиво повторяет свою просьбу, видимо, заинтересованный в авторе. А привлечь Платонова к сотрудничеству он старается за счет материальных условий: «Как редактор, я прилагаю все усилия к тому, чтобы добиться от издательства хороших гонораров. Это не всегда легко, но для данной биографической серии мне казалось, что удалось достигнуть удовлетворительных результатов. В Петербурге я даже не слышал о более высокой плате в больших издательствах»<sup>72</sup>. Анонс книги Платонова в серии «Образы человечества» становится поводом для возобновления личных домашних визитов.

Именно в это время 20 июля 1925 г. Гревс пишет Платонову письмо, которое в какой-то степени можно рассматривать как попытку отрефлексировать отношения друг с другом, и на основании этой рефлексии перевести эти отношения в новую стадию (хотя, учитывая возраст ученых – обоим по 65 лет – рефлексии эту можно рассматривать и как подведение итогов). В силу важности этого письма для нашей темы, мы приводим его текст почти полностью.

«Сожалею очень, что не застал Вас: хотелось Вам сказать откровенно то, что уже довольно давно лежит у меня на сердце. Меня очень печалит, что жизни наши (Ваша и моя) протекли так врозь, и теперь я решительно не вижу, чтобы для этого были серьезные основания. Отлично могли бы мы во многом – и в учебной, и в научной работе – постоянно и согласно общаться. Кто виноват или что виновато в этом трудно определить в полном смысле. Но одно мне ясно, что много напортила наша склонность (в интеллектуальном обществе) разделяться на партии и кружки, в них замыкаться и враждовать с инакомыслящими, преувеличивая расхождения, перетолковывая и искажая мотивы действия. И еще одна всегда была у нас склонность – непременно подмечать в другом (разногласящем) какой-нибудь кажущийся острым и центральным недостаток, возводить его в

<sup>71</sup> ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ед. хр. 2715. Л. 21.

<sup>72</sup> Там же. Л. 22.

квадрат, строить на нем характеристику личности и отталкиваться от человека. Между тем и недостаток... этот часто определяется неверно, оценивая неправильно – да и не в недостатках, а в достоинствах чаще всего открывается суть человека (по крайней мере многих людей). Жизненный опыт привел меня к такому убеждению.

Во всяком случае теперь для меня ясно, что большая часть того, что разделяло нас, было признаком или результатом недоразумений, или нежелания разбираться с фактами и беспристрастно относиться к себе и к другому. Горячо жалею, что слишком поздно пришло такое сознание (хотя у меня оно далеко не сейчас случилось, только высказать как то не удавалось, должно быть из напрасного стеснения), но ведь лучше поздно, чем никогда.

То, что мне в прошлые годы казалось в Ваших действиях или словах направленным против меня, чистосердечно забыто или понято, как неверно мною прежде истолковывающееся; от души хотелось бы, чтобы тоже произошло и в Вас, если я (что весьма возможно и наверно было) причинял Вам неприятное.

По отношению к Вам во мне живет не только признание крупного дара..., который Вы превосходно вырастили трудом и любовью..., но и просто искренне доброе чувство к человеку. Примите то, что я здесь говорю не за "старческую сентиментальность", а за справедливый вывод продуманного и прочувствованного опыта.

От души желаю Вам всего лучшего, дай Бог благополучия Вам и всем Вашим, которым... искренний привет.

Искренне Вас уважающий и душевно преданный Вам старый собрат по учению и учительству (прим.- Мы ведь с Вами впервые встретились почти 45 лет тому назад и родились мы в одном и том же году, причем я даже... (имею) над Вами около месяца старшинства) Ив. Гревс.

Если захотите что-нибудь ответить мне (я не претендую на это, только рад буду) то пошлите письмо в Старый Петергоф, Оранжерейную ул., д. 14, Ушаковой. Еду туда на месяц оправиться. Надеюсь твердо, что письмо мое не вызовет в Вас ничего неприятного: может быть я что-то неудачно сказал – трудно выразить сложный вопрос в нескольких словах»<sup>73</sup>.

Таким образом, мы видим, что Гревс подтверждает существование напряженных, можно сказать конфликтных, отношений между собой и Платоновым, вызванным в первую очередь различием «кружковых» интересов. По мнению Гревса, в новых жизненных условиях этих причин больше не существует или они потеряли свое первостепенное значение. Показательным является то, что при всей своей склонности к искреннему задушевному общению Гревс обращается с подобным письмом к Платонову после очевидных сомнений, с некоторой робостью и извинениями. Учитывая общую направленность письма, не совсем удачным представляется упоминание о старшинстве. Письмо Гревса, безусловно, является демонстративным и в то же время искренним жестом

<sup>73</sup> Там же. Л. 24-25.

(он, действительно, хотел поставить все точки над «и» и «примириться»), но, пожалуй, ученые находились уже в таком возрасте, когда трудно было рассчитывать на кардинальное изменение характера взаимоотношений, складывавшихся годами.

Центральной темой последних писем, написанных Гревсом Платонову, является работа его дочери, Екатерины Ивановны, в Библиотеке Академии наук. Гревс просит не увольнять его дочь при сокращении «внештатных» сотрудников библиотеки:

«Я долго колебался, писать Вам или нет, ведь тяжело ходатайствовать за близкого человека, боишься своего небескорыстия. Но в конце я решился, что имею на то нравственное право, и твердо надеюсь, что Вы отнесетесь к моей просьбе с вниманием и пониманием»<sup>74</sup>.

Следующее письмо, датированное 5 сентября 1929 г., содержит просьбу помочь переходу Е.И. Гревс в число штатных сотрудников библиотеки. И это письмо было последним. Как известно с октября 1929 г. набирает оборот маховик «Академического дела»<sup>75</sup>. Осенью начались первые аресты, а в январе 1930 г. был арестован и С.Ф. Платонов. После почти двухлетнего пребывания в заключении С.Ф. Платонов был отправлен в ссылку в Самару, где и умер 10 января 1933 г.

Судьба Гревса сложилась иначе. С восстановлением исторических факультетов в университетах в 1934 г. он был привлечен для работы с аспирантами кафедры истории средних веков ЛГУ. Судя по архиву, активизируется его научная работа. В 1940 г. в университете публично отмечалось восьмидесятилетие Гревса. Скончался он 17 мая 1941 г. не дожив одного дня до 81-го года. В 1946 г. вышла из печати его последняя работа – биография Тацита.

---

<sup>74</sup> Там же. Л. 32.

<sup>75</sup> См.: Академическое дело...; Брачев В.С. «Наша университетская школа русских историков» и ее судьба...

О.В. Воробьева (Липецк)

## ИСТИНЫ И ПАРАДОКСЫ АРНОЛЬДА ТОЙНБИ

Есть удивительные тексты. Они захватывают с первых строк и не отпускают даже тогда, когда перевернута последняя страница. Сила их воздействия на читателя – не только в их буквальном содержании. Они содержат нечто большее – загадку, интригу, подлинные тем, что порой неощутимо живут за строками и между строк в хороших книгах и заслуживают большого раздумья.

Сказанное в полной мере относится к публикуемым здесь воспоминаниям английского историка А. Тойнби о своей встрече с Гитлером, произошедшей за неделю до ре-оккупации немецкими войсками Рейнской зоны. Читая их, трудно отделаться от ощущения, что что-то бежит, возвращается, и ты понимаешь, что это что-то – время. Все три измерения исторического времени – прошлое, настоящее и будущее – играют здесь, как возрасты жизни, как в янтаре – напластования веков. И ты бережно, шаг за шагом вскрываешь эти пласты, чтобы увидеть то, что скрыто от поверхностного взгляда. Ты ищешь *ключ* – ту единственную фразу, те немногие емкие слова, которые наиболее полно объясняют и человека, и время. В любом тексте, будь то научная статья или художественное произведение, есть такой ключ. Есть он, несомненно, и в данном тексте. И отыскать его можно только так, как находят при помощи замедленной съемки ускользающее от наблюдения в естественном ритме. Но все по порядку.

Вот Тойнби объясняет причины своего визита в нацистскую Германию и – главное – своей неожиданной встречи с Гитлером. Могла ли она быть случайной? Как следует из текста, сам Тойнби не склонен был рассматривать ее как результат хорошо спланированной и продуманной политической игры. Между тем, факты свидетельствуют о другом. В середине 1960-х гг., а именно тогда писались эти воспоминания, Тойнби не мог, во-первых, не знать о том, что его беседа с Гитлером нельзя отнести к разряду эксклюзивных, во-вторых, не рассматривать ее в контексте общественно-политической ситуации в Европе начала 1936 г. Попробуем рассмотреть оба аргумента во взаимосвязи и ретроспективе.

Хорошо известно, что к этому времени баланс сил в Европе находился на грани коренных перемен. Италия, несмотря на все усилия западных держав, продолжала свое сближение с Германи-

ей. Франция, более других опасавшаяся этого сближения, только что ратифицировала договор с Советским Союзом. Германия, не встречая должного противодействия нарушениям версальских военных постановлений, превращала свою армию в одну из самых грозных сил в Европе. Воспользовавшись проводимой западными державами политикой умиротворения, Гитлер решает на ре-оккупацию западного побережья Рейна, демилитаризованного Версальскими (1919) и Локарнскими (1925) соглашениями. Чрезвычайно обеспокоенный рискованностью задуманного им шага (программа вооружений на тот момент была далека от завершения, и на случай, если французам удастся организовать отпор, был даже разработан секретный план отступления), Гитлер принимает шаги по усыплению бдительности стран-соперниц.

Первая попытка повлиять на общественное мнение этих стран состоялась 20 февраля 1936 г., когда Гитлер согласился дать частное интервью французскому публицисту Бертрану де Жувенелю (*Bertrand de Jouvenel*), призвав в ходе него к окончанию франко-германского соперничества<sup>1</sup>. Неделий позже для аналогичной частной встречи был выбран А. Тойнби – крупнейший историк, видный общественный деятель, принимавший ведущее участие в подготовке «Обзоров международных событий», которые издавались Королевским институтом международных отношений. Вероятно, Гитлер (или кто-то из его окружения) счел Тойнби достаточно влиятельной фигурой, с помощью которой можно убедить англичан в своих «искренних намерениях» в поддержании мира в Европе и заинтересованности в тесной дружбе с Англией. Все это дает основание определить тойнбианскую трактовку этих событий, по меньшей мере, как одностороннюю и неполную.

Тойнби умалчивает еще об одной важной детали встречи, вернее, ее последствиях – о собственной попытке повлиять на британское общественное мнение через подготовленный им секретный меморандум. Интересно отметить, что в отличие от Жувенеля, чей отчет об интервью с Гитлером появился в *"Paris-Midi"* уже 28 февраля 1936 г., Тойнби не спешил делиться своими впечатлениями с прессой. Вместо этого он подготовил специальный меморандум, который адресовал тогдашним премьер-министру Великобритании Стэнли Болдуину и министру иностранных дел Энтони Идену.

Справедливости ради следует сказать, что идея подготовки меморандума принадлежала не Тойнби, а бывшему секретарю Кабинета министров и доверенному лицу Болдуина Томасу Джон-

<sup>1</sup> Информацию об этой встрече можно найти в редактируемых Тойнби «Обзорах». См.: *Survey of International Affairs*, 1936. L., 1937. P. 257.

су, присутствовавшему на ужине в ресторане «Астория», во время которого Тойнби рассказывал о своем визите в Германию<sup>2</sup>. Этот документ, хранящийся вместе с другими тойнбианскими бумагами в Bodleian Library, датируется 8 марта 1936 г. с уведомлением о получении его Иденом 11 марта, т.е. уже после немецкого вторжения в Рейнскую зону (7 марта) и первой реакции британского правительства на него (8 марта). Из этого следует, что тойнбианский меморандум не мог внести в действия британского правительства существенных коррективов. Но он вполне мог усилить готовность Болдуина и Идена пойти Гитлеру на уступки в дальнейшем. Заслуживает внимания тот факт, что именно в день получения меморандума Болдуин заявил в парламенте буквально следующее: «Мы ничего так не желаем, как сохранения мира и спокойствия в Европе... и продолжения усилий по сближению Франции и Германии при сохранении дружеских отношений с нами»<sup>3</sup>.

Анализ меморандума интересен во всех отношениях. Во-первых, он содержит информацию о тех моментах встречи, которые сознательно или по забывчивости были опущены Тойнби в воспоминаниях. Например, откровения Гитлера по поводу того, что, хотя «фундаментальным принципом национал-социализма является создание Рейха исключительно на национальной основе», «Австрия рано или поздно присоединится к нам». Или другой пассаж: «Если вы, англичане, захотите дружить с нами, вы можете назвать ваши условия – включая условия относительно Восточной Европы»<sup>4</sup>.

Во-вторых, меморандум является индикатором собственных взглядов Тойнби, которые не всегда совпадают с его послевоенными интенциями. В частности, в документ вставлено следующее замечание историка: «У меня сложилось впечатление, что в отношении этой насущной проблемы (речь идет о мирных намерениях Гитлера в Европе – О.В.) Гитлер был абсолютно искренен со мной». Свою точку зрения он аргументировал следующим образом:

«Слабость гитлеровской позиции заключается в том, что ранее он всегда играл драматическую роль... лидера в борьбе с большевизмом. Если он по-прежнему намерен играть эту роль, то трудно предсказать, как он сможет избежать военного столкновения с русскими... Мне показалось, что он начинает осознавать опасность этого предприятия... и полон страстного желания изменить этой роли и стать "добрым европейцем" и "союзником Англии" – позволяя своей антирусской роли отойти на задний план. Это могло бы стать альтерна-

<sup>2</sup> Подробнее об этом см.: Jones T. A Diary with Letters, 1931–1950. London, 1954. P. 181.

<sup>3</sup> Survey of International Affairs, 1936. P. 276.

<sup>4</sup> Цит. по: McNeill W.H. Arnold J. Toynbee: A Life. London, 1989. P. 172.

тивным способом поднятия его собственного престижа внутри страны, который он все равно должен укреплять тем или иным способом. В случае благоприятного исхода, это может привести к миру вместо войны, и, я уверен, одновременно чрезвычайно ослабить его.

Мне кажется, что любое предложение англичан найдет встречный отклик у Гитлера»<sup>5</sup>.

Иную трактовку гитлеровских намерений мы находим в воспоминаниях. Тойнби пишет о том, что, несмотря на предпринятые Гитлером ухищрения, германскому лидеру так и не удалось убедить его в мирных намерениях нацистского правительства. Откуда эта потребность выдать желаемое за действительное? Думается, дело не только в ретроспективном характере воспоминаний. Причину тойнбианского «лукавства» невозможно объяснить без обращения к еще одному «контексту» – персоналистическому. Поскольку именно он, на наш взгляд, способен многое прояснить в поведении Тойнби. Рассмотрим его подробнее.

Август 1914 г. стал первым и, вероятно, самым резким водоразделом в судьбе Тойнби. Избежав мобилизации, молодой ученый никак не мог отделаться от преследовавшего его чувства вины перед воевавшими на фронтах первой мировой войны соотечественниками. Чтобы как-то решить эту нравственную дилемму, он решает посвятить себя делу предотвращения и искоренения войны другими средствами. Это и приводит его на службу в Чатем-Хаус, в Британский (с 1926 г. – Королевский) институт международных отношений.

«Существуют способы борьбы за мир на земле более непосредственные, чем мой, – напишет он спустя многие годы. – Вместо того, чтобы потратить тридцать три года на написание "Обзоров международных событий", я мог бы, например, работать в Лиге Наций. Веря всей душой, что интеллектуальная работа есть необходимая основа для действия, не говоря уже о присущей ей ценности как таковой, я всегда чувствовал, что, занимаясь "Обзорами", я не просто помогаю разоблачать главное зло нашего времени (да, собственно, и всех времен и народов), но я помогаю попыткам других людей подавить это жестокое изобретение прежде чем оно уничтожит нас, его создателей»<sup>6</sup>.

С тех пор любая неудача на этом поприще воспринималась Тойнби как личная несостоятельность и сопровождалась острыми мировоззренческими кризисами. Один из них пришелся как раз на 1934–36 гг., когда возможность мирного урегулирования назревавшей катастрофы становилась все более затруднительной и проблематичной. Однако можно смело утверждать, что вплоть до

<sup>5</sup> Ibid. P. 172–173.

<sup>6</sup> Тойнби А.Д. Пережитое // Тойнби А.Д. Цивилизация перед судом истории. М., 1995. С. 254.



апреля 1936 г. Тойнби не расставался с верой в действенность тех средств предотвращения и разрешения конфликтов, которые были связаны с принципами Лиги Наций и пропаганде которых он посвятил более десяти лет своей жизни.

Так, когда Лига Наций впервые подняла вопрос об итальянской агрессии в Эфиопии (1935–37), он был уверен, что итальянцев скоро остановят. «Что касается меня, то я предпочел бы закрыть (Суэцкий – О.В.) канал и вызвал бы Италию на войну с нами. Я полагаю, что мы не можем терпеть, допуская эту ужасную войну в Восточной Африке, если в состоянии остановить ее в любую минуту»<sup>7</sup>. Три месяца спустя его настроение все еще оставалось оптимистическим. Он знал, что в Стразе, куда 11 апреля 1935 г. съехались делегаты Англии, Франции и Италии, была достигнута договоренность принять «все надлежащие меры против какого бы то ни было одностороннего расторжения договоров, могущего создать опасность в Европе». Но он не мог тогда знать о том, что слова «в Европе», как впоследствии писал в своих мемуарах английский консервативный деятель Л. Эмери, были включены по инициативе Муссолини; при этом «Лаваль улыбнулся, а наши представители промолчали. Это только подтвердило мнение Муссолини, что Англия не собиралась чинить препятствия его действиям в Эфиопии»<sup>8</sup>.

Надежда на сохранение мира не покидала Тойнби до самой последней минуты. В ситуации второй половины 1930-х гг. это означало возможность достижения своего рода компромисса между гитлеровской Германией и странами-победительницами в первой мировой войне. Тойнби был уверен, что наказание, наложенное на Германию Версальскими соглашениями, несправедливо, и обвинял Францию в отказе пойти на уступки. Даже после прихода Гитлера к власти он продолжал верить, что пересмотр германских границ на Востоке и возвращение прежних колониальных владений в Африке могут умиротворить германское общественное мнение и стать противоядием гитлеровскому фанатизму. Более того, после своего визита в Германию в 1934 г., в ходе которого он обсуждал «мирные намерения» фашистов с главным нацистским идеологом Альфредом Розенбергом, Тойнби ошибочно заключил, что Гитлер более опасен в своей стране, нежели за рубежом<sup>9</sup>.

Двумя годами позже, в феврале 1936 г., он вновь посетил Германию и помимо Гитлера встретился с представителями академических кругов в Бонне, Гамбурге и Берлине. Выступая в Ака-

<sup>7</sup> Цит. по: McNeill W.H. Op. cit. P. 169.

<sup>8</sup> Эмери Л. Моя политическая жизнь. М., 1960. С. 394.

<sup>9</sup> McNeill W.H. Op. cit. P. 171.

демии немецкого рейха, он, в частности, заявил: «Мы в Англии начинаем всерьез задумываться о возможных путях и средствах достижения мирного соглашения между "имущими", лагерь которых возглавляем мы сами, и "неимущими"»<sup>10</sup>. Он имел в виду возвращение бывших немецких колоний нынешней администрации Германии – шаг, трактуемый им как «дело чести».

Следует отметить, что до этого времени представления Тойнби не шли вразрез с политикой правящих кругов Британии. Не секрет, что попытки экономического умиротворения Германии со стороны западных держав прослеживаются вплоть до весны-лета 1939 г., причем они предпринимались параллельно с шагами по достижению политического согласия<sup>11</sup>. Однако тойнбианский оптимизм улетучился намного быстрее, чем иллюзии некоторых представителей британского истеблишмента.

Когда в марте 1936 г. Лига Наций обратилась, наконец, к рассмотрению проблемы нарушения Германией Рейнского гарантийного пакта, Тойнби еще надеялся на генеральную ревизию Версальских соглашений. «Ситуация может измениться к лучшему гораздо с большей вероятностью, чем можно было ожидать десять дней назад, – писал он 20 марта 1936 г. – Я надеюсь и верю, что результатом переговоров может быть что-то вроде созыва новой мирной конференции, на которой достигнутые в ходе обсуждения договоренности придут на смену тем, которые навязывались силой»<sup>12</sup>. Эти наивные надежды рухнули только после того, как Британия и Франция окончательно отказались от эффективных санкций против Италии. «Все это настолько инфантильно и порочно, что я болею от одной мысли об этом»<sup>13</sup>.

Британское предательство принципов Лиги Наций не могло не отразиться на личном и профессиональном самочувствии историка и стало вторым важным водоразделом в тойнбианском мировоззрении. Поскольку авторитеты Чатем-Хауса не были приучены к критике британского правительства, а некоторые открыто симпатизировали проводимой им политике, тойнбианское «прозрение» превратило дальнейший выпуск «Обзоров» в деликатную проблему. Руководство Чатем-Хауса решило приостановить выпуск II тома «Обзоров» за 1935 г. (посвященного, в том числе, анализу итало-эфиопского конфликта) и возобновило его лишь после

---

<sup>10</sup> Ibidem.

<sup>11</sup> См., например: *Bell P.M.H. The origins of the Second World War in Europe*. L.–N. Y., 1987. P. 148–149.

<sup>12</sup> Цит. по: *McNeill W.H. Op. cit.* P. 173.

<sup>13</sup> Ibid. P. 169.

того, как Тойнби согласился поместить в предисловии следующую фразу: «Другие честные люди думают иначе»<sup>14</sup>. С этого времени сердце Тойнби больше не принадлежало «Обзорам». Они все больше стали напоминать простую хронику событий, без оценки действий властей и без тех удивительных вспышек интуиции и охватывающих все времена и пространства сравнений, которыми Тойнби украшал свои предшествующие выпуски.

Его реакция на возвращение Чемберлена из Мюнхена была амбивалентной. С одной стороны, он хватался за последнюю соломинку: «Конечно, возможно, что политика Чемберлена – ошибка... Но я все-таки надеюсь, что произойдет нечто значительное и причиненное зло заставит власти повернуться, наконец, в сторону переговоров»<sup>15</sup>. С другой стороны, спустя всего две недели, в эссе «После Мюнхена» Тойнби открыто заявляет о предательстве британских властей и дает понять, что отныне война практически неизбежна:

«Сегодня мы, англичане, носим медаль с выбитым на ней словом "мир". Но эта медаль мира имеет несколько планок, и если присмотреться внимательно, то можно увидеть, что на верхней планке выгравировано слово "Маньчжурия", на других – "Абиссиния", "Испания", затем – "Китай" и "Чехословакия". Пока что все планки на нашей медали мира выбиты из монет других народов». И далее: «Я верю, что в ближайшее время Германия собирается сделать в точности то же самое, что было ею сделано в 1914 г.»<sup>16</sup>.

Сказанное позволяет понять отношение Тойнби к этим событиям в послевоенное время, когда возникла потребность рассказать о них в воспоминаниях. В чем-то его реакция была типична для западной интеллигенции тех лет, в чем-то, как теперь очевидно, зависела от фактов его личной и интеллектуальной биографии.

Вместе с другими представителями западной интеллектуальной культуры весь предвоенный период Тойнби провел в предощущении и наблюдении той страшной внутренней самоубийственной мутации в европейской культуре, которую суммарно определяют словом «фашизм». Скорость утраты позиций высокой культуры поражала интеллектуалов, вызывая разные социокультурные реакции и практики. Одной из них была иллюзорная надежда на то, что возможно мирное преодоление разногласий со странами-агрессорами

<sup>14</sup> Ibid. P. 169–170.

<sup>15</sup> Ibid. P. 173. В статье «Первые впечатления о сентябре 1938 г. и после него», он отмечает: «Принцип самоопределения наций сегодня, наконец, равно обращен на благо тех наций, которые в 1918–1921 гг. были потерпевшей стороной». – Ibidem.

<sup>16</sup> *Toynbee A.J. After Munich: The World Outlook // International Affairs. 1939. Vol. XVIII. 1. P. 15.*

путем частичных, второстепенных уступок. У некоторых – к ним следует причислить и Тойнби – пелена стала спадать с глаз только после того, как попытки разрешения споров с помощью политических и экономических средств оказались связаны с отрицанием принципов коллективной безопасности, неделимости и взаимозависимости мира, с готовностью принести в жертву интересы других государств. Когда война закончилась, в общественном сознании многих европейцев возникло чувство вины (впервые оно обозначилось на Нюрнбергском процессе) за то, что не смогли сдержать натиска иррациональных сил, порожденных феноменом массовой культуры, авторитарными и тоталитарными режимами. Причем впервые эта вина трактовалась как вина каждого оставшегося в живых человека.

Для Тойнби, чья служба в Чатем-Хаусе была своего рода сублимацией чувства вины, возникшего после первой мировой войны, крах системы международной безопасности и начало второй мировой войны были еще и личной трагедией. Как считает его биограф, скрытая от посторонних глаз личная ненависть к войне сделала реакцию Тойнби на атаку Муссолини в Эфиопии почти апокалиптической<sup>17</sup>. Даже начало второй мировой войны не взволновало его так сильно, как события в Эфиопии. Впоследствии когда начнется паника, связанная с Мюнхенской конференцией, он заявит: «Разочарования – в прошлом: самые мучительные моменты были пережиты в 1935–1936 гг.; все, что случилось потом, является лишь закономерным эпилогом тех событий»<sup>18</sup>. Не удивительно, что когда по прошествии многих лет ему вновь пришлось обратиться к этим мучительным воспоминаниям, его сознание – случайно или намеренно – породило ряд причудливых аббераций. А теперь – ключ:

*«Если вы склоняетесь к тому, чтобы осудить хорошего и способного человека, позволившего себе попасться на эту удочку, задайте себе два вопроса: оказывались ли вы когда-нибудь в подобном положении и, если нет, то уверены ли вы, что поступили бы лучше, столкнувшись с такой сложной этической проблемой?»*

Это ведь Тойнби не только о Дикхофе написал – он написал это прежде всего о самом себе. Тойнби не мог не понимать, что с временной дистанции в тридцать и более лет их надежды не могут не казаться наивными, а сами они – слишком доверчивыми и оптимистичными. Но он понимал и другое: перечитывая эту мрачную страницу в летописи современной цивилизации, будущие поколения найдут много поучительного и в тех ее разделах, которые содержат трагические уроки и ошибки.

<sup>17</sup> McNeill W.H. Op. cit. P. 168–169.

<sup>18</sup> Ibid. P. 170.

А. Дж. Тойнби

### ЛЕКЦИЯ, ПРОЧИТАННАЯ ГИТЛЕРОМ\*

Я был приглашен прочитать лекцию на очередном заседании Национал-социалистского союза юристов (*Nazi Law Society*)\*, которая должна была состояться в Берлине в феврале 1936 года. Я принял это приглашение, чем заслужил упрек со стороны моего старого друга Чарльза Вебстера. Он утверждал, что своим согласием на эту лекцию я потворствую нацистским зверствам. Я оправдывался, подчеркивая, что изучение нацистов является важнейшей частью моей работы в Четем-Хаусе. Мог ли я изучать их, не встречаясь с ними? В то же время я не мог встречаться с ними, не вступая в некотором роде в человеческие отношения. Как бы то ни было, я принял приглашение и сдержал свое слово.

Естественно, что во время своего визита в Берлин я не собирался встречаться исключительно с нацистами. Когда изучаешь государство, разделенное на враждующие группировки (как и было в то время в Германии), правило *Audi alteram partem*\*\* является обязательным. Вот почему я прибыл в Берлин за неделю до назначенного срока и, как полагал, *incognito*. Вся эта неделя ушла на встречи с представителями антифашистской оппозиции, в том числе с католическим епископом в Берлине и моим старым другом Кюнцером (*Kuenzer*). После этого в назначенный день и час я появился в офисе помощника Риббентропа Фрица Бербера (*Fritz*

---

\* В 1967 г. была опубликована книга видного английского историка и общественного деятеля Арнольда Джозефа Тойнби «Встречи» (*«Acquaintances»*). В числе других состоявшихся на протяжении своей жизни важных встреч Тойнби рассказывает о беседе с Гитлером, произошедшей в феврале 1936 г., незадолго до повторной оккупации гитлеровскими войсками демилитаризированной Рейнской зоны. Рассказ об этом событии, озаглавленный им как «Лекция, прочитанная Гитлером» (*«A Lecture by Hitler»*), представляет интерес как с точки зрения тойнбианского видения предвоенной ситуации в Европе, так и в качестве индикатора типичных настроений европейской и, в частности, британской интеллигенции тех лет. На русском языке публикуется впервые.

\*\* Союз был основан в 1928 г. как партийная организация, но с 1933 г. фактически превратился в государственную структуру – *здесь и далее прим. пер.*

\*\*\* Следует выслушать и другую сторону (*лат.*)

*Berber*) (который и передал мне приглашение Национал-социалистского союза юристов, и с которым с тех пор я состоял в переписке) – так, как будто бы только что сошел с поезда. Не успел я и рта раскрыть, как Бербер тихо сказал мне: «Господин фон Риббентроп точно знает, с кем Вы виделись за последнюю неделю, и он не в восторге от этого». После некоторой паузы он добавил еще тише: «Несмотря на то, что Вы прибыли в Берлин не сегодня утром, я приехал именно сегодня. Я догадался, что именно Вы намереваетесь делать, поэтому вплоть до настоящего момента предусмотрительно находился вдали отсюда, в Гамбурге».

Бербер был для меня загадочным человеком. Он был (и продолжал оставаться) квакером. (Он был обращен в эту веру после первой мировой войны британскими членами Общества друзей, находившимися в послевоенный период на работе в Германии.) В момент прихода Гитлера к власти Бербер являлся секретарем Высшей школы политических наук (*Hochschule für Politic*) в Берлине, представлявшей собой аналог Свободной школы политических наук (*École Libre des Sciences Politiques*) в Париже и Лондонской школы экономики и политических наук (*London School of Economics and Political Science*). Подобно этим заведениям, берлинская Школа была оплотом либерализма и посему подлежала уничтожению нацистами, что они и сделали вскоре после того, как пришли к власти. Все члены преподавательского состава были уволены, а некоторые из них даже были вынуждены бежать из страны. Бербер был единственным, кто уцелел. К февралю 1936 года он уже не только писал речи для Риббентропа, но и возглавлял Институт по изучению международных проблем в Турнунд-Таксис-Хаусе (*Thum and Taxis building*) в Гамбурге. В годы Веймарской республики директором этого Института был Мендельсон-Бартольди (*Mendelssohn-Bartholdy*). Теперь гамбургский Институт был нацифицирован, директор находился в изгнании, и его сменил Бербер. Таким образом, Бербер умудрялся занимать сразу две важные должности при нацистах. Выражение «умудрялся занимать должность» лучше всего передает род его занятий. Бербер как-то рассказал мне, что когда ему приходилось читать лекции в Гамбурге по дискуссионным вопросам текущей политики, он писал их, компилируя цитаты из книг и речей Гитлера. Вырванные из первоначального контекста и перегруппированные, слова Гитлера могли получить совершенно иное по сравнению с первоначальным смыслом значение. Пустяки! Сомневающиеся в берберовской лояльности и просто домогавшиеся его места нацисты никогда бы не посмели критиковать его за неправильное истолкование или злоупотребление гитлеровскими фразами. Ставить под

сомнение слова фюрера, даже выхваченные из первоначального контекста, было столь рискованно, что никто в Германии тех лет не отважился бы на это. Бербер предвидел это и сыграл на этом.

Бербер был хитрым и двуличным человеком; его суждения о Гитлере и национал-социализме, высказываемые в разговоре со мной, полностью совпадали с моими. Полагаю, это были истинные взгляды и чувства Бербера, ибо, сообщая их мне, он ничего не выигрывал. И хотя он мог быть наверняка уверен, что я не выдам его нацистам, все же было непонятно, зачем такой осмотрительный игрок в столь опасной игре идет даже на такой незначительный риск безо всякой на то необходимости. Что побуждало Бербера вести себя подобным образом со мной и со своими нацистскими нанимателями, которым он старался быть столь полезным? Логично было бы разоблачить его как временщика и лицемера; тем не менее я уверен, что он был искренен, хотя и не могу гарантировать, что в чем-то он не обманывал сам себя, ведь я никак не могу объяснить, как он мог, являясь исключительно умным человеком и кватером, оправдывать свое двойственное поведение перед самим собой и тем более — перед собственной совестью?

Тем утром, когда Бербер поведал мне о том, что Риббентропу известно о моих встречах с представителями оппозиции, у него был припасен для меня еще один сюрприз, и гораздо более удивительный, чем первое сообщение. После очередной паузы он таким же ровным, как и прежде, голосом сказал мне: «Вы увидите с Гитлером». Вот это действительно была новость! Она взволновала меня. Неожиданно у меня появился шанс узнать о национал-социалистском движении, что называется, из первых рук. Одновременно я был озадачен. Какой резон Гитлеру тратить свое время на встречу со мной? Зачем ему это? И это после того, как я получил неодобрение его соратника Риббентропа?! Бербер держался невозмутимо и оставил меня в недоумении. До встречи он не собирался давать мне никаких объяснений.

Я должен был встретиться с Гитлером в здании Рейхканцелярии на Вильгельмштрассе. (Оставалась неделя до гитлеровской ре-оккупации Рейнской зоны.) Мы с Бербером прибыли в назначенный час, и нам предложили подняться в комнату, в которой уже находились Риббентроп, Нойрат (*Neurath*), Дикхоф (*Dieckhoff*) и личный переводчик Гитлера Шмидт (*Schmidt*). Тогда, в первые годы гитлеровского правления, первые трое являлись ведущими деятелями в области международных отношений. Нойрат (эдакий респектабельный консерватор) был при Гитлере министром иностранных дел, Риббентроп — послом по особым поручениям. Что же касается Ганса Дикхофа, то, находясь в тот момент на посту

заместителя министра иностранных дел, он являлся гражданским лицом. Кроме того, Дикхоф был моим старым другом, а поскольку жены Риббентропа и Дикхофа приходились друг другу родными сестрами (они были родом из Швеции), к тому времени я уже был знаком и с Риббентропом. Присутствие на встрече этих трех высокопоставленных чинов свидетельствовало о ее важности.

Гитлер вошел практически следом за мной и Бербером, отдал салют и следом так быстро протянул мне руку для рукопожатия, что я не успел смутиться от незнания того, что именно ожидал он в ответ на собственное приветствие. Это было тактично с его стороны, и с самого начала я понял, что Гитлер пытается произвести на меня благоприятное впечатление. Зачем?..

Нуждаюсь ли я в услугах д-ра Шмидта? Я отказался от них. Перевод вдвое сократил бы отведенное на беседу время (если это должна была быть беседа) и создал бы психологический барьер. К тому времени я уже достаточно хорошо мог понимать и говорить по-немецки, чтобы осмелиться беседовать с Гитлером без переводчиков. Получилось так, что способность понимать немецкий (более легкая задача при изучении этого языка) оказалась намного важнее, чем умение говорить на нем (что на самом деле гораздо сложнее).

Вслед за этим Гитлер начал разговор. «Почему вы столь дружески расположены к России?» (На протяжении всей беседы он адресовал мне это «вы», как будто бы я являлся Его Величеством Британским Правительством или воплощением электората Соединенного Королевства). Гитлер не ждал от меня ответа, он сам собирался отвечать. «Я знаю почему. Вы боитесь Японии. Но если вы нуждаетесь в союзнике для борьбы с Японией, почему им должна быть Россия? Почему я не могу быть вашим союзником? Конечно, если бы я стал вашим союзником, я потребовал бы возвращения своих колоний. И если бы вы сделали это, а затем вступили в противоборство с Японией в Сингапуре, я мог бы дать вам 6 дивизий и несколько военных кораблей. (Названная им тогда точная цифра «6» отпечаталась в моей памяти. Когда в 1941 году Сингапур пал, я с интересом отметил, что захватившая базу японская армия состояла именно из шести дивизий. Было ли это совпадение случайным? Думаю, нет. Мне кажется, что проконсультировавшись со своими военными советниками, Гитлер прекрасно знал, каково должно быть максимальное число дивизий для ведения успешных действий на оконечности Малайского полуострова).

Это стремительное вторжение в область современной международной политики оказалось только преамбулой. За ней последовала лекция по истории, посвященная роли Германии как



вечного гаранта восточных ворот Западного мира от «желтой угрозы». Гитлер начал с VI века, с отпора Меровингов аварам. Возможно, авары и были желтыми, так как все-таки были выходцами из Центральной Азии, однако вскоре из гитлеровской трактовки всемирной истории стало ясно, что главным претендентом на роль поборника «желтых» является Россия. Коммунисты, возможно, и не отказались бы от той роли, которую прочил для России Гитлер. Разве не Ленин призвал к объединению коммунистического и антиколониального движений в Единый фронт против капиталистического и империалистического Запада? И разве это не означает претензию России на руководство желтым, коричневым и черным большинством человечества? Возможно, Сталин и примирился бы с цветом, в который его выкрасил Гитлер. Но как бы на это отреагировал Мао? А, впрочем, что мог бы сказать Мао, если сегодня он сам занимается тем, что сдирает со своих русских коллег их парадные мундиры, чтобы показать предательски открывающуюся под ними американоидную белую кожу?

Начав с VI века, Гитлер довел свое повествование до современного момента истории. (Здесь он остановился, вероятно, задумавшись, то ли он говорит, и не дав мне ни малейшего намека на тот сенсационный отрезок истории, который он собирался сотворить в течение недели). Лекция вроде была исчерпывающей, но я заметил, что он ухитрился ни разу не упомянуть Италию. В то время Гитлер, несомненно, имел виды на Италию, которая к тому моменту поссорилась с Великобританией из-за своего вторжения в Эфиопию и уже навела там свои порядки, в то время как Великобритания и другие члены Лиги Наций уклонялись от наложения на Италию нефтяных санкций. В феврале 1936 года Италия для Гитлера была слишком деликатной темой, и он искусно избежал упоминания о ней. Впрочем, вся лекция была подана не менее искусно. Она продолжалась 2 часа 15 минут минус 5 минут или около того, которые были потрачены на единственный вопрос, который я осмелился задать Гитлеру, и ответ на него. За эти два с лишним часа Гитлер ясно и последовательно раскрыл тему. Я не могу припомнить ни одного академического лектора, из тех, кого мне довелось когда-либо слышать, который мог бы говорить так долго, не теряя нити рассуждений. Когда встреча закончилась, и Гитлер, снова отдав нацистский салют и так же быстро пожав руки, покидал комнату, слушавшие его специалисты делились своими впечатлениями: «Мы даже не подозревали, что он это знает». Все это время боковым зрением я наблюдал за присутствовавшими на аудиенции пятью немцами. Все они скромно сиде-

ли, сложа руки на коленях, напоминая хорошо вышколенных школьников, слушающих урок строгого учителя.

Большую часть времени я следил за руками Гитлера. У него были удивительные руки. Он сопровождал свою речь жестами одновременно изящными и красноречивыми. К моему удивлению у него оказался приятный человеческий голос, который менялся, как только он начинал говорить о России. Стоило слову «Россия» слететь с его губ, как голос его начинал резать слух, доходя до сипящего визга – визга, от которого содрогался всякий, кто слушал его нервные демагогические речи по радио. Не думаю, что это было специально. Меньше всего в этой ситуации Гитлеру хотелось бы свести на нет произведенное на меня ранее благоприятное впечатление демонстрацией другой своей ипостаси. Я уверен: как только он начинал думать или говорил о России (а он не мог долго молчать об этой болезненной для него теме), в тот момент он действительно становился сумашедшим. Сопровождавшие всю его лекцию периодические вспышки русофобии напомнили мне поведение обезьяны из моего детства, которая была одним из развлечений в лондонском зоопарке. В обычном состоянии эта обезьяна была спокойна, но стоило в ее присутствии произнести слово «полицейский», как она немедленно приходила в ярость, пронзительно визжа и тараторя. Очевидно, слово «полицейский» задевало ее душу за живое точно так же, как слово «Россия» – Гитлера.

Когда более чем двухчасовая лекция Гитлера подошла к концу, он спросил, не хочу ли я задать ему какой-нибудь вопрос. Свой вопрос я начал с констатации того, что расположенные к западу от Германии страны обеспокоены возможной войной Гитлера с Россией. «Мы полагаем, – продолжал я, – что в поединке с Россией победителем скорее всего окажется Германия. Мы также считаем, что ее победа может оказаться столь внушительной, что она сумеет аннексировать Украину и Урал с их огромными сельскохозяйственными и минеральными ресурсами. В этом случае Германия, подобно Соединенным Штатам, вырвется в разряд супердержав, тогда как мы, ее западные соседи, окажемся в тени и будем задавлены этим широко раскинувшимся Третьим Рейхом. Мы окажемся в его власти, и такое будущее нас не прельщает».

Гитлер умело парировал. Прежде всего, он сказал, что оценил содержащийся в моем заявлении комплимент по поводу того, что Германия должна выйти из русско-немецкой войны победительницей. Хочет ли он (поскольку я заявил, что он может) использовать победу над Россией для аннексии Украины и Урала? «Во-первых, я не хочу включать этих недоразвитых людей в свой Рейх, а во-вторых, если бы я аннексировал эти территории, мне

пришлось бы держать 600 тысяч молодых немцев в постоянной боевой готовности, а у меня есть лучшее применение немецкой молодежи. В любом случае, если Вам не нравится нарисованная Вами перспектива, можете ли Вы предложить альтернативное видение будущего Германии?».

Гитлер ловко уклонился от ответа на поставленный мною вопрос. Я попытался прощупать его намерения, так как верил – и верю до сих пор – что мой зондаж был сделан в верном направлении. Мое предположение, что истинными целями Гитлера являлись Украина и Урал, подтвердилось после его нападения на Советский Союз в 1940 г.\* – бессмысленного шага, имевшего губительные последствия для Германии и самого Гитлера. Однако моя встреча с Гитлером проходила в феврале 1936 г., всего за неделю до повторной оккупации Гитлером Рейнской зоны. В тот момент у него не было намерения раскрывать свои карты, и хотя его ответ на мой выпад не ослабил моих подозрений, ему удалось облечь его в такую форму, что он не создавал дополнительных поводов для подозрений.

«Теперь, – сказал мне Бербер, когда после окончания моей аудиенции с Гитлером мы возвратились в его офис, – я собираюсь рассказать Вам, почему Гитлер захотел этой встречи». Произнеся это, Бербер достал с полки экземпляр Четем-Хаусского «Обзора международных событий» за 1934 год – последнего на тот момент тома в этой серии. Открыв его на заложенной странице (это была 325 стр.), он указал на приведенный на ней следующий пассаж: «Потрясение западноевропейской общественности от событий 29–30 июня 1934 г. было разнообразным. Одни были шокированы, увидев главу государства – даже несмотря на то, что он являлся лидером недавно победившего революционного движения, – расстреливающим своего собственного соратника подобно американскому гангстеру...».

Теперь, конечно, я вспомнил то, о чем только что напомнил мне Бербер. Именно это я писал по поводу жестокой ликвидации Гитлером руководства штурмовых отрядов СА. Но если бы в тот момент я писал «Обзор» за 1934, а не за 1935 год (над которым я тогда уже работал), я все равно не изменил бы ни слова в этом неприятном пассаже.

«Так вот, – продолжал Бербер, указывая на ряд стоящих на его полке книг, – я всегда покупаю тома Вашего "Обзора" по мере их появления. В мои обязанности входит отслеживание всего, что

---

\* В тексте у Тойнби стоит именно 1940, а не 1941 год. Трудно сказать, ошибка это или опечатка.

пишется о Германии при существующем режиме за ее пределами. Этот том появился уже после того, как я отправил Вам приглашение от имени Союза юристов, и Вы приняли его. Помните ли Вы дату публикации? (Я забыл ее точно так же, как сам обличающий пассаж). Когда, просматривая книгу, я дошел до этой страницы, я был шокирован. Я был организатором Вашей лекции. Я уже условился с Вами о дате, и она была публично заявлена. Было слишком поздно отменять лекцию, не создавая при этом серьезного инцидента. Я был в опасности. Я напрямую был ответственен за Ваше приглашение, а теперь Вы пишете такое о Гитлере! Что мне было делать? Должен ли я был пойти к моему руководству и чистосердечно во всем признаться? Или мне следовало хранить молчание в надежде, что этот оскорбительный пассаж не привлечет ничье внимание, кроме моего? Я решил молчать. Насколько я понимал, в администрации Гитлера я был единственным человеком, регулярно изучавшим Ваши "Обзоры". Если я буду хранить молчание, — сказал я сам себе, — существует один шанс из тысячи, что тойнбианский выпад против Гитлера привлечет внимание кого-то, кто может хотеть моей крови».

«Мне не повезло, — продолжал Бербер. — Случилось так, что из-за появившейся в шведской прессе критики нацистского режима у шведского правительства возникли неприятности во взаимоотношениях с гитлеровской администрацией. Шведские власти были заинтересованы в том, чтобы свести возникшие по этому поводу трения к минимуму. Они решили смягчить последствия произошедшего в шведской прессе инцидента принятием постановления, отныне запрещающего шведской прессе публикацию провокационной критики зарубежных правительств. Шведские газетчики были в ярости из-за того, что им затыкают рты. Они детально изучили закон в поисках лазеек и нашли, что законодатель забыл оговорить запрет на цитирование появляющейся в зарубежной печати критики. Они и воспользовались этим правом критиковать нацистов "чужими устами". Когда появился том Вашего "Обзора", этот пассаж лишь лил воду на их мельницу. Они перевели его дословно, сопроводив едкими комментариями. "Посмотрите, — писали они, — даже в такой старой лакейской монархии, как Англия, людям дано право публиковать подобные вещи о Гитлере, а нам в свободной демократической республике теперь это запрещено. Разве это не возмутительно?"».

Вернувшись назад в Четем-Хауз, я проверил слова Бербера о факте использования шведской прессой материалов моего «Обзора». В нашем архиве по прессе была подборка вырезок по этому вопросу. Получив подобную подборку от собственного отдела

по газетно-журнальным вырезкам и просмотрев ее, Бербер ужаснулся. Хотя он и был единственным человеком в администрации Гитлера, кто читал мои «Обзоры», оставались те, кто читал шведскую прессу. И действительно через несколько часов ему позвонил по телефону разгневанный фашистский босс: «Вы пригласили этого англичанина выступить у нас, – кричал он на Бербера в трубку, – послушайте только, что он написал о фюрере».

После этих слов Бербер подумал, что он погиб, впрочем, у него оставалась последняя надежда. Он был одним из тех немногих чиновников в администрации Гитлера, кому дано было право просить его об аудиенции. Бербер немедленно воспользовался этим правом и, получив разрешение и захватив том моего «Обзора», отправился на встречу. «Мой фюрер, – сказал он. – Я сознаю свою вину и прошу Вашего прощения. Я пригласил англичанина прочитать у нас лекцию, и, после того как мы условились об этом, он опубликовал о Вас кое-что неприятное. Я не мог предвидеть этого, но я искренне сожалею о случившемся». «Переведите, что именно написал этот англичанин обо мне», – попросил Гитлер, и Бербер перевел ему этот ужасный пассаж. «Это нечестно, – ответил Гитлер. – Американские гангстеры в отличие от меня делают это за деньги. Пригласите его ко мне, когда он появится». Бербер был спасен, а я за свое обвинение Гитлера был вознагражден возможностью взять у него это интервью.

Каков был ход рассуждений Гитлера? Я полагаю, что ключом к разгадке является его нюх на все, что связано со сферой общественных отношений – дар, о котором будет рассказано ниже, в истории с Хансом Дикхофом. «Этот англичанин, – по-видимому, размышлял Гитлер, – выпускает "Обзоры международных событий" каждый год. Пока что не в моей власти помешать этому. До тех пор, пока я буду не в состоянии остановить его, оказывая давление на его правительство, он может выпустить полдюжины, а то и более таких томов. Возможно, они смогут оказать воздействие на общественное мнение в англоязычных странах. Если я и впредь намерен двигаться к назначенной цели, важно не позволять, насколько это возможно, британцам и американцам становиться по отношению ко мне более враждебными. Возможно, если этот англичанин встретится со мной, я смогу изменить его представление обо мне, и он не будет больше писать столь отвратительные вещи. В данном случае будет лучше, если я уделю ему два с небольшим часа своего времени».

Моя лекция в Национал-социалистском союзе юристов была назначена на следующий день после встречи с Гитлером. Я читал ее по-английски, но, чтобы удивить слушателей, привел один пас-

саж по-немецки. Министерство иностранных дел заранее распространило перевод всей лекции на немецком языке. После этого я вместе со своими слушателями отправился на ланч в Берлинскую Ратушу (*Rathaus*). Во время лекции я, как только мог, поддразнивал публику цитатами св. Павла. (Нацисты не почитали никого из христианских святых, но я знал, что святой Павел был апостолом, которого они особенно ненавидели.) В банкетном зале в Ратуше высоко над морем фашистских униформ, нарукавников и флагов я заметил большую картину. На ней был изображен Бисмарк, бросившийся вперед навстречу Дизраэли с протянутыми в приветственном жесте руками во время прибытия на Берлинскую конференцию 1878 г. Это было типичное произведение искусства периода второго немецкого Рейха.

— Какая неожиданная оплошность, — сказал я сидевшему рядом со мной нацисту. — Вы оставили картину с изображением еврея в столь заметном общественном месте. (Мой собеседник пришел в замешательство). А помните ли Вы, что сказал Бисмарк о Дизраэли? — спросил я.

— Нет.

— Он сказал: «Этот старый еврей — настоящий человек». Да, да, Вы не ослышались, это сказал Бисмарк, это его слова.

Бисмарк теперь уже не мог пострадать за то, что отдал должное Дизраэли, но интересно, как долго эта картина провисела в Ратуше после того, как я раскрыл тайну ее юдофильства.

Этим же вечером я должен был ужинать с одним из высокопоставленных нацистских чиновников, ответственным за пропаганду (сегодня я уже не помню, с кем именно), чтобы посмотреть фильм о последнем сборище нацистов в Нюрнберге. Фильм длился три часа без перерыва. За эти три часа я пришел в ярость. Представляю как расстроился бы этот чиновник, если бы знал в тот момент, какой мощный антифашистский эффект произвела на меня его пропаганда. Но я полагаю, он даже не подозревал, что его пропагандистские усилия вызвали обратную реакцию. Когда я собрался уходить, хозяин дома произнес:

— Слышал, Вы вчера видели фюрера.

— Да, — ответил я, — он был столь любезен, что принял меня.

— А кто еще, кроме Вас, был у него?

— О, г-н Риббентроп, барон Нойрат, г-н Дикхоф и, конечно, д-р Шмидт. Ах, да, еще г-н Бербер, — с этими словами я покинул его, не подозревая тогда, что этот разговор мог иметь какое-либо значение.

Дело в том, что между обедом и ужином этого дня Фриц Бербер принес мне свои извинения:

— Я не смог вчера присутствовать на Вашей лекции, — сказал он, — но это не моя вина. Я был занят с тем человеком, с которым Вы вечером будете ужинать. Когда он узнал, что Вы собираетесь на встречу с Гитлером, он счел за честь профинансировать Вашу лекцию. Поскольку он обладает большей властью, чем я, он вырвал мое согласие, а мне самому прислал третьесортный билет на галерку. Воспользуйся я им, я был бы публично унижен, чего, собственно говоря, он и добивался.

— Забудьте об этом, — ответил я, — мы можем быть друзьями, не посещая лекций друг друга.

Но на следующий день, когда я позвонил Берберу в его офис, он рассказал мне следующее: «Этим утром произошло нечто странное, что я не в состоянии объяснить. Я только собрался встать с кровати, как в дверь позвонили, и высокий человек в роскошной униформе передал мне букет цветов и письмо от человека, с которым Вы ужинали вчера вечером. Вы помните, это тот самый человек, который взялся полностью профинансировать Вашу лекцию? Письмо было написано им собственноручно. "По необъяснимой и досадной ошибке, — говорилось в письме, — мой помощник послал Вам на лекцию г-на Тойнби третьесортный билет. Мы, конечно, зарезервировали для Вас билет первого класса в первом ряду. Пожалуйста, примите это письмо, как знак моего искреннего сожаления, а эти цветы как знак того, что Вы не держите на меня зла за ошибку, которая могла быть воспринята Вами как намеренное неуважение". Я ничего не понимаю, — сказал Бербер. — Это так не вяжется с его предыдущим поведением».

В ответ на это я разразился хохотом: «На этот раз мы поменялись ролями: есть нечто, над чем Вы ломаете голову, а я могу Вам это объяснить. Когда вчера вечером я покидал дом этого человека, он спросил, кто присутствовал на моей встрече с Гитлером, и я ответил, упомянув в том числе и Вас. Вероятно, это привело его в шок: "Бербер был там! Значит, он входит в круг посвященных! Он один из тех, кто стоит прямо у подножия трона! Может случиться так, что в следующий раз, когда он будет находиться рядом с фюрером, он попросит его подать мою голову на блюде, и, если фюрер согласится, моя голова полетит с плеч. Я должен сделать все возможное, чтобы умиротворить Бербера до того, как он придет завтра утром в свой офис. Если он когда-нибудь сочтет необходимым уничтожить меня, я пропал"». Бербер согласился, что я полностью прояснил случившееся. Теперь мы смеялись вместе.

Как уже было сказано, одним из присутствовавших на моей встрече с Гитлером немецких сановников был Ганс Дикхоф, принадлежавший к разряду моих немецких друзей, по отношению к

которым я испытывал особое расположение и уважение. Во время своих визитов в Берлин я всегда старался находить возможность встретиться с ним в его офисе; кроме того, он и его жена имели обыкновение приглашать меня к себе домой в Далем.

Ганс Дикхоф был пронизательным экспертом-международником. Например, во время моего визита в феврале 1936 г. он в максимально корректной форме высказал мне свое отношение к реакции британцев на события в Эфиопии\*. Он полагал, что с психологической точки зрения британцы нашли самый подходящий способ выразить свое возмущение итальянской атакой в Эфиопии, принудив свое правительство отклонить план Хора-Лавалья (*Hoare-Laval*)\*\* и заставив сэра Самюэля Хора добровольно уйти в отставку. «Теперь, – продолжал Дикхоф, – когда они сделали из Хора козла отпущения, я думаю, мы станем свидетелями отсутствия дальнейших действий в этом направлении. В результате, судьба Эфиопии будет намного хуже, чем вызвавшие в Британии такую бурю возмущения предложения Хора. Если бы они были переданы Муссолини и приняты им, Эфиопия отделалась бы потерей небольшой части своей территории. Эта потеря была бы болезненной, т.к. отделяемые куски были бы достаточно велики, но остатки Эфиопии сохранили бы при этом статус независимого суверенного государства. Если же все пойдет по-прежнему, мы станем свидетелями полного завоевания и аннексии этого государства Муссолини. И я думаю, что британцы не предпримут никаких шагов в ответ на это. Хор, как мальчик для битья, дал вам выпустить пар, и теперь у вас нет никакого желания сохранять Эфиопию и разбираться с Муссолини». Последовавшая через несколько недель печальная развязка событий в Эфиопии показала, что если бы Дикхоф не был дипломатом, он вполне мог бы быть психоаналитиком.

Подобно Берберу, Дикхоф был откровенен со мной при осуждении фашистского режима. Незадолго до начала войны – это было уже после ре-оккупации Германией Рейнской зоны – Дикхоф поделился со мной одним случаем из своей жизни, что-

---

\* Речь идет об итало-эфиопской войне 1935–37 гг.

\*\* 9 декабря 1935 г. в Париже министры иностранных дел Великобритании (С. Хор) и Франции (П. Лаваль) подписали секретное соглашение об англо-американском посредничестве в войне между Италией и Эфиопией. Суть «посредничества» сводилась к тому, что Эфиопия должна была передать Италии треть своей территории. Фактически она становилась итальянской колонией. Все эти маневры помогли Италии весной 1936 г. завершить захват Эфиопии.



бы заставить меня осознать всю опасность сложившейся к тому времени ситуации.

В течение нескольких недель, последовавших за вторичной оккупацией Рейнской зоны, Дикхоф вместе с Риббентропом постоянно курсировали между Берлином и Лондоном, работая (и в конечном счете довольно успешно) над тем, чтобы извлечь максимальную для Германии пользу из последнего и на тот момент самого рискованного предприятия Гитлера, не вызвав при этом немедленного начала войны, к которой Гитлер не был готов до тех пор, пока вдоль франко-прусской границы напротив линии Мажино не была создана линия Зигфрида). В наиболее напряженный период проводившихся вокруг этого переговоров в Лондоне, было решено, что в назначенный день Риббентроп и Дикхоф должны прилететь вечером из Лондона в Бад-Годесберг на Рейне, чтобы доложить Гитлеру результаты этого решающего дня в Англии. Местом встречи был выбран Бад-Годесберг, потому что согласно расписанию Гитлера он собирался приехать сюда вечером из Дюссельдорфа, где до этого должен был выступить с речью. Оба посредника в переговорах и Гитлер прибыли в Бад-Годесберг в назначенное время (было еще не слишком поздно для позднего ужина) и встретились в номере любимого отеля Гитлера. «Сейчас мы отчитаемся, — подумали Дикхоф и Риббентроп, — и отправимся ужинать». (Этот день был особенно напряженным и беспокойным; они еще не обедали и буквально валились с ног).

Однако вместо расспросов о Лондоне Гитлер начал рассказывать о Дюссельдорфе. Он посетовал, что не посетил этот город намного раньше. По его словам, было глупо откладывать этот визит, но он делал это только потому, что не чувствовал поддержки населения города. Даже после того, как он, наконец, решился на эту встречу, он сильно волновался. Он заранее решил, что первые десять рядов в зале будут заполнены рабочими, в общении с которыми он меньше всего должен чувствовать неловкость. И все-таки первые десять минут ему было трудно, но потом, глядя аудитории в глаза, он почувствовал, что все, что он говорит, близко и понятно им; после этого все пошло хорошо. Рассказывая это, Гитлер ежеминутно уходил в технические детали профессионального ораторского искусства. Когда он, наконец, закончил, мы подумали, что теперь, облегчив свою душу, он попросит нас рассказать о сегодняшних переговорах в Лондоне. Однако в этот момент в комнате появился директор Кельнского оперного театра. Оказалось, Гитлер и с ним условился встретиться сегодня вечером в Бад-Годесберге. С появлением директора лицо Гитлера просветлело, и они начали оживленную дискуссию о путях повышения

уровня спектаклей в Кельнской опере. Этот разговор занял еще больше времени, чем рассказ Гитлера о сегодняшнем выступлении в Дюссельдорфе.

Наконец, после того как Гитлер подробно обсудил с ним все вопросы, директор удалился. Только тогда Гитлер повернулся к Дикхофу и Риббентропу и посмотрел на них вопросительно: «Вы сегодня были где-то по зарубежным делам, не так ли?». Они подтвердили. «Ну, что ж, тогда расскажите мне об этом». Они исполнили его просьбу; их отчет тоже занял некоторое время, которое, однако, не шло ни в какое сравнение с продолжительностью первых двух актов разыгранной этим вечером комедии. Тем не менее, когда они закончили, было уже около 3 часов утра. «Вы уже обедали сегодня? – по-отечески спросил их Гитлер. – Нет?» – Он тут же позвонил, и тотчас был подан обед из трех блюд для них и яблоко со стаканом воды для Гитлера. После того как все это было съедено и выпито, все трое отправились спать.

«Смысл этой истории, – подытожил Дикхоф, – в том, что она показывает шкалу приоритетов Гитлера. Во-первых, Гитлер – демагог. Его способность управлять аудиторией – ключ к его власти, поэтому отношения с аудиторией принимают для него характер жизненной необходимости. Вот почему он рассказал нам о своем выступлении в Дюссельдорфе прежде, чем обратился к рассмотрению других дел. Во-вторых, он – демагог с артистическим темпераментом, а поскольку он еще и австриец, его интерес к искусству имеет характер культурной традиции. Это помогает ему расслабиться и одновременно восстанавливает его силы. Вот почему он заставил нас ждать до тех пор, пока не переговорил с директором Кельнского оперного театра; это его второй приоритет. Международные отношения? – Третий приоритет, и в этом как раз и таится опасность», – заключил Дикхоф. Таково было его мнение.

Бедный Ганс Дикхоф. Его карьера при нацистах развивалась по типу постепенно разворачивающейся трагедии. Фашисты оценили его способности по достоинству и не хотели терять такого специалиста. Но Дикхоф был честным и благородным человеком либерально-гуманистической ориентации, а политическая проницательность заставила его задуматься о катастрофе, к которой Гитлер вел страну (с решимостью лунатика, как он однажды сам выразился в приступе самоанализа), задолго до того, как она разразилась. Размышляя вслух в моем присутствии, Дикхоф не раз задавался вопросом о том, не пора ли ему уйти в отставку. Но каждый раз, когда он думал об этом, он приходил к мысли, что надо остаться, так как если бы он ушел в отставку, нацисты наверняка нашли бы ему на замену такого человека, который помог

бы Гитлеру еще быстрее привести Германию к катастрофе. В конце концов, занимаемая им должность постоянного секретаря в Министерстве иностранных дел была столь важным и ответственным постом, что личность того, кто ее занимал, не могла не оказывать существенного влияния на характер и направление развития взаимоотношений Германии с другими государствами.

Все мы более преуспеваем в искусстве психоанализа других, чем самих себя. Я уверен, что Дикхоф искренне верил, что, решая каждый раз остаться на этом посту, он из двух зол выбирал меньшее. Его служение нацистам, а они эксплуатировали его с дьявольским мастерством, помешало ему посмотреть правде в глаза. Фашисты избегали ситуаций, которые заставили бы Дикхофа колебаться. Казалось, не было ничего такого, из-за чего между ними мог бы произойти разрыв. Но каждый раз, когда он прощал некоторые из совершаемых ими преступлений, которые сам он осуждал, он вступал на путь глубокого компромисса с самим собой до тех пор, пока совсем не запутался. Если вы склоняетесь к тому, чтобы строго осудить хорошего и способного человека, позволившего себе попасться на эту удочку, задайте себе два вопроса: оказывались ли вы когда-либо в положении Дикхофа и, если нет, то уверены ли вы, что поступили бы лучше, столкнувшись с такой сложной этической проблемой?

Чем дольше Дикхоф оставался с фашистами, тем менее они с женой находили оснований думать о режиме плохо; да тут еще и случай сыграл на руку нацистам. У супругов Дикхоф был только один ребенок, к которому они были сильно привязаны. Причиной, по которой они оставались в Далеме, была школа, которая, по их мнению, идеально подходила для ребенка. Пришло время, и их дочери пришлось вступить в «Союз немецких девушек» (*Hitler-Mädels*), о чем родители думали с содроганием. Каких девушек предстояло ей встретить в местных отрядах СНД, и какая женщина будет руководить ими? В их власти было выбрать девочке школу, но не личный состав отряда. Отряд, в который она попала, был абсолютно вне сферы их контроля. Однако, когда их девочка уже была зачислена в отряд, все обернулось как нельзя лучше. Стало ясно, что их дочери очень полезно пообщаться с самыми разными девушками. Это сделало для нее то, чего не смогла сделать тщательно подобранная школа: избавило от крайностей угрожавшей ей идиосинкразии единственного ребенка. Более того, руководившая отрядом женщина оказалась далека от нацистского доктринерства и фанатизма. Она была таким человеком, который прекрасно подошел бы на такую же должность в британской или американской организации девушек-скаутов. В их стремлении ду-

мать о нацизме хорошо супруги Дикхоф ухватились бы и за соломинку, а тут судьба кидала им спасательный круг. Я уверен, что успешный опыт их дочери в «Союзе немецких девушек» оказал решающее влияние на их отношение к режиму в целом, и неудивительно, если это так и было, ведь мы – всего лишь люди. Благополучие ребенка было самой важной вещью в их жизни. Вопреки ожиданию, зачисление дочери в СНД способствовало ее становлению как личности. Иррационально позитивный опыт одного ребенка был перенесен на весь режим в целом. Явный случай выдачи желаемого за действительное? Возможно, но если вы склонны осудить Дикхофа за это, можете ли вы быть уверены, что имеете право первым бросить в него камень?

Драматическая история Ганса Дикхофа неминуемо должна была закончиться трагически. Перед самым началом второй мировой войны он был назначен послом в Вашингтон, что, как я полагаю, стало кульминацией его служебной карьеры. В то время не могло быть более важного поста для немецкого дипломата. После войны некоторые из депеш Дикхофа, входящие в коллекцию немецких дипломатических документов, были опубликованы победителями и их союзниками. Они свидетельствуют о том, что, верный своим принципам, он откровенно докладывал, что в случае очередной мировой войны, немцы должны учитывать, что Соединенные Штаты Америки рано или поздно выступят против Германии, как это уже было в 1917 г. Эти донесения – свидетельство мужественного выполнения своего профессионального долга. Вероятно, Риббентроп не принял их во внимание; что же касается Гитлера, то я сомневаюсь, что донесения Дикхофа когда-либо попадались ему на глаза. Гитлер обратил на это внимание только тогда, когда случившиеся в ноябре 1938 года в Третьем Рейхе погромы спровоцировали волну возмущения в США. По странному мнению Гитлера, Дикхоф должен был предотвратить это. Посол не справился со своими обязанностями, и Дикхоф был отправлен в отставку. Как будто Дикхоф мог уговорить американцев не обращать внимания на самые возмутительные за всю историю человечества проявления антисемитизма.

Я рад перейти, наконец, к более приятным вещам. Во время одного из карнавалов в Бонне, проходившего уже после реоккупации Рейнской зоны, но еще до начала второй мировой войны, я был приглашен к тому самому директору Кельнского оперного театра, который в феврале 1936 года беседовал с Гитлером «вне очереди», в то время как Риббентроп и Дикхоф ждали, когда фюрер, наконец, заговорит с ними. «Я виноват, – сказал директор, и я наострил уши. – Вскоре после того, как я занял свой пост,

один молодой человек попросил меня назначить ему испытательный срок в качестве певца. По прошествии трех недель я сказал ему: «Г-н Геббельс, Вы никогда не добьетесь успеха на этом поприще. Мой Вам совет: уходите отсюда и попробуйте себя в качестве журналиста»». Вот как бывает!

При ретроспективном рассмотрении нацистской главы немецкой истории она выглядит не менее ужасно, чем тогда, когда все эти шокирующие события разворачивались перед нашими глазами. Из каких глубин человеческой психики поднялась наверх эта лава абсолютного зла? И когда произошло ее извержение, каким образом шайка бандитов сумела встать во главе одной из великих наций Западного мира – нации, которая к тому времени уже 11–15 веков исповедовала христианство, начиная с принудительного обращения континентальных саксов до добровольного обращения салических франков? Как удалось нацистам с их преступными намерениями мобилизовать все материальные и человеческие ресурсы Германии? Если немцам не удалось устоять перед Гитлером в XX веке христианской веры, то могут ли другие народы мира – христиане, мусульмане, евреи, буддисты или индусы – быть уверенными, что в один прекрасный день они не повторят опыта немцев? Катастрофа, которая ликвидировала гитлеровский Рейх менее чем за двенадцать лет его существования, не убавила однако энтузиазма у фанатиков других стран последовать примеру нацистов. Должно быть, существует что-то вроде первородного греха в человеческой природе, к которому как магнитом притягиваются идеи Гитлера. Мораль заключается в том, что человеческая цивилизация никогда и нигде стопроцентно не защищена. Она всего лишь тонкая корочка традиций над кипящей лавой пороков, в любой момент готовой вырваться на свободу. Цивилизацию никогда нельзя воспринимать как должное, цена за нее – вечная бдительность и непрерывные духовные усилия.

Почему немцы так легко пошли за Гитлером? Почему они оказались столь послушным инструментом в его руках? Я полагаю, дело здесь в том, что всегда и везде большинство людей уклоняется от сознательного противостояния злу насилия. Что касается в этом плане немцев, то, находясь в фашистском ярме, они создали если не целую армию «благородных мучеников», то, по крайней мере, когорту замечательных людей. Например, я вспоминаю двух моих друзей, Кюнцера и Бернсторфа (*Bernstorff*).

Во время прихода Гитлера к власти Бернсторф занимал пост советника посла в Германском посольстве в Лондоне. Бернсторф всегда открыто говорил на публике, что он думает по поводу нацистского режима, заплатив за свою откровенность сначала сме-

щением с должности, затем заключением в тюрьму и, в конце концов, смертью. Советник был не единственным человеком в штате этого посольства при нацистах, кто имел мужество открыто высказывать свои мысли. Однажды утром, в то время как Риббентроп еще не был немецким послом при Сент-Джеймском дворе, но уже был при Гитлере послом по особым поручениям, я прочел в «Таймс» сообщение о том, что он только что прибыл в Лондон. В Берлине незадолго до этого Риббентроп хлопотал по поводу меня и был достаточно гостеприимен. (Няньки и детские коляски в его загородном доме под Берлином напомнили мне сцены из моего детства в Кенсингтонских садах, где меня самого катали в такой же колясочке на закате Викторианской эпохи). Домашняя жизнь Риббентропа поразительно не вязалась с его преступной общественной деятельностью и с его жизненным финалом (который он, по-моему, заслужил).

Теперь я хотел ответить Риббентропу любезностью, поэтому в тот день во время ланча решил прогуляться от Четем-Хауса до немецкого посольства, которое тогда располагалось в Карлтон-Хаус-Террас (*Carlton House Terrace*), в первом доме к западу от резиденции герцога Йоркского. Я позвонил. Мне открыл дверь серьезного вида дворецкий, и я протянул ему свою визитную карточку:

– Я хотел бы оставить ее для г-на Риббентропа.

– Мы ничего не знаем о нем, сэр, – с ехидцей ответил мне дворецкий.

– Но я прочитал сегодня утром в «Таймс», что он в Лондоне в качестве чрезвычайного посла рейхканцлера.

– Я ничего не знаю об этом, сэр.

Я, должно быть, выглядел растерянно, а дворецкий, должно быть, был добросердечным человеком. Он смягчился и сказал, указывая рукой на Лоуа-Риджент-стрит (*Lower Regent Street*) в направлении отеля «Карлтон»: «Сэр, Вы можете попробовать поискать его там». Я попытался – ошибиться было невозможно: Риббентроп снял целый этаж отеля для себя и своего многочисленного штата. Вряд ли этот дворецкий заплатил жизнью за свою откровенность, точно так же как Бернстоф – за свою. Но я также сомневаюсь в том, что он долго оставался на работе в посольстве после того, как там обосновался Риббентроп. Я очень надеюсь, что бесстрашный дворецкий дожил до того дня, когда его вновь приняли на это место – уже после того как, спустя годы, была провозглашена Западногерманская республика и в Лондоне вновь появилось немецкое посольство.

## ХРОНИКА

---

### **Всероссийская научная конференция «Методологический синтез в истории и социальные теории»**

В условиях нарастающей специализации, усложнения методов аналитического рассмотрения конкретных сюжетов и самого характера гуманитарного знания синтез становится жизненной необходимостью сохранения профессии историка.

27–29 мая 2003 г. в Томском государственном университете прошла Всероссийская научная конференция «Методологический синтез и социальные теории». Ее работа была организована в рамках четырех секций: «Современные социальные теории и междисциплинарный поиск: теория и практика конкретных исследований», «Историческое познание в контексте междисциплинарных поисков современных гуманитарных дисциплин», «Трансформация методологических оснований ремесла историка на современном этапе: ресурсы и проблемы исследователя в контексте синтеза методологий» и «Социальные теории и междисциплинарный подход: историографическая "картина мира"». На секциях также обсуждались проблемы, поставленные на пленарном заседании.

Открывая работу конференции, Б.Г. Могильницкий (Томск) отметил, что тенденцией развития исторической науки последних десятилетий, несмотря на динамизм и неустойчивость, неопределенность, характерные для современного гуманитарного знания, является некий здоровый синтез преемственности и новаций: с одной стороны, проявляется отказ от радикальных разрывов и поворотов, на какой бы критической платформе эти повороты не базировались, и стремление к продуктивному использованию и развитию опыта прошлого. С другой стороны – возрастание внимания к внутреннему миру человека в истории, то, что принято обозначать как «антропологический поворот» в современном гуманитарном знании. Деятельность людей в самых разных аспектах находится под влиянием различного рода факторов, но не определяется ими полностью. В связи с этим именно с человеческой личностью и связана напрямую уникальность исторического факта, которую историк призван изучать во всем его многообразии. Докладчик предостерег от недооценки теоретической историей значения уникального факта и несводимой к общим социальным процессам человеческой

личности в истории. Вместе с тем ученый отметил, что при несомненной интеллектуальной привлекательности ряда положений постмодернизма негативную реакцию вызывает экстремистский пафос, с каким эти идеи подаются. В целом же, по его мнению, ситуацию в современном историческом знании можно охарактеризовать словами «идет нормальный процесс развития науки», когда задача каждого исследователя «просто делать свое дело».

Л.П. Релина (Москва) посвятила свой доклад анализу различных вариантов методологического синтеза в новых версиях социальной истории. По мнению докладчика, во-первых, следует говорить не о синтезе методологий, каждая из которых целостна сама по себе, а о методологическом синтезе в историческом исследовании, базирующемся на сложном понимании объекта исследования. Во-вторых, анализ историографической практики показывает, что продуктивное исследование должно быть с необходимостью теоретичным. Теоретический аспект проявляется в первую очередь в формулировании гипотезы, от которой отталкивается ученый, приступая к анализу конкретного материала. Необходимым условием продуктивного исторического исследования является постоянное «челночное движение» от теории к конкретному материалу и обратно. Это возвращение «назад» должно защитить от опасности «подгонки» конкретно-исторических реалий под шаблонные схемы. Логический алгоритм исследования выглядит следующим образом: подходя к анализу конкретного материала, ученый формулирует гипотезу и определяет методы работы, затем соотносит теоретический конструкт с эмпирическим материалом, и с результатом этого соотнесения «возвращается» на теоретический уровень, корректируя теоретические ожидания, тем самым развивая теорию. Теория, таким образом, оказывается необходимым профессиональным инструментом для осмысления конкретно-исторической реальности во всей ее полноте. А историческое познание, по словам Э.П. Томсона, «движется вперед через несоответствие модели и действительности». Для развития «нормальной науки» это несоответствие оказывается, таким образом, весьма продуктивным. Далее, докладчик рассмотрел различные варианты реализации подобной модели исследования в романской (франко-итальянской), англо-американской и германской научных традициях.

Е.И. Кирсанова (Томск), говоря о смене теорий в истории исторической мысли, обратила внимание на необходимость выявления их ядра. В связи с этим ею была поставлена задача исследования традиций русской историографии, связанных с ее стремлением к созданию глобальных систем. Осмыслению проблемы методологического синтеза в истории на материале русской исто-



риографии посвятили свои выступления томские исследователи Н.И. Ашурова, Ю.В. Мельникова, Л.А. Соломеина; французской – Т.И. Зайцева и Н.В. Трубникова, немецкой – С.Г. Ким.

В.А. Шкуратов (Ростов-на-Дону) в своем докладе заявил о необходимости определять специфику каждой науки «по объекту», что должно помочь понять глубинную интенцию ее как формы знания. В этом случае историческая наука оказывается в первую очередь «наукой о времени» и кардинальным образом отличается от социологии как «науке о пространстве». Следовательно, историк в своей работе должен постоянно иметь в виду эту интенцию, и только ориентируясь на нее позволять себе привлечение наработок, сформировавшихся в поле иных наук. Они должны ему помочь решить его собственную, сугубо историческую задачу. Аналогичным образом, решая свои задачи, должен поступать и социолог. А.В. Юревич (Москва), исходя из структурно-типологического единства науки, как формы познания и социальной практики, предложил рассмотрение роли теории в развитии науки на основании наработок современного науковедения. Он предположил, что история в общих чертах должна соответствовать «модели науки», и при подобном рассмотрении специфику ее можно оставить за скобками.

Н.С. Розов (Новосибирск) заявил, что в условиях «всеобщей усталости от постмодернизма», вновь возрастает потребность в строгом, верифицируемом, законообразном, объективном историческом знании – знании рациональном, логичном, свободном от излишнего субъективизма и связанной с ним игровой безответственностью, способном генерировать рациональные прозрачные концепции того или иного исторического явления. Возможно и, по мнению докладчика, даже необходимо возвращение к классическому идеалу научности. Одним из вариантов подобного возвращения является так называемая «теоретическая история в узком смысле этого слова». Под ней понимается «научная дисциплина, направленная на изучение закономерностей качественно-количественных изменений в истории через заимствование из других наук и создание новых теорий и моделей, сопоставимых с данными эмпирической истории». Автор считает возможным выработать рациональную стройную концепцию познания социальных процессов. Обратной стороной этой теории оказывается критика других моделей синтеза, как постмодернистских, так и «чересчур» исторических. «Ситуация осложняется, когда историки достигают понимания необходимости привлечения теоретических результатов социальных наук. В результате появляется направление методологического синтеза, несколько расплывчатое в концептуальном и методическом плане, но выдерживающее четкую

политическую линию: разрешить дозированные вливания социальных теорий в исторические исследования, но под строгим надзором самих историков и при обязательном подчеркивании верховенства истории над остальными науками». По мнению докладчика, жесткая демаркационная линия между историей и макросоциологией только мешает продуктивному развитию первой. Понятно, что основная претензия, предъявляемая в ходе обсуждения Н.С. Розову, сводилась к тому, что теоретическая история игнорирует принципиальное многообразие уникального конкретно-исторического факта и то, что это многообразие напрямую связано с деятельностью человеческой личности.

Проблеме соотношения понимания и объяснения в историческом познании было посвящено выступление Ю.Б. Вертгейм (Новосибирск), вопросу о пределах структурного анализа в интерпретации текстов – доклад М.А. Мисик (Томск), проблеме возможности синтеза элементов теории модернизации и теории «риторической культуры» – выступление А.В. Свешникова (Омск).

Е.Б. Рашковский (Москва) предпринял попытку показать идеологическую сущность и направленность марксистской теории. Он говорил о том, что в условиях индустриализации общества марксизм предложил тоталитарную утопию и сделал ставку на социокультурный маргиналитет. Докладчик охарактеризовал исламизм как «душеприказчика марксизма», поскольку жившая в марксизме идея «священной войны» легко перешла на религиозный уровень. С.П. Рамазанов (г. Волжский) в своем докладе отметил, что стремление современной отечественной историографии к преодолению марксистской методологии характеризует ее состояние кризиса. Итогами реализации этого стремления наряду с серьезными позитивными достижениями отечественной исторической мысли стали положительные оценки результативности иррациональных способов познания прошлого, постепенное исчезновение из методологических рассуждений историков понятия объективной истины и нарастающие сомнения в способности исторической науки к теоретическому осмыслению своего предмета или прямое отрицание такой способности. При этом некоторые историки все беды современного положения отечественной исторической науки усматривают в продолжающемся воздействии на нее марксистской теории и методологии и призывают к полному преодолению марксизма. Однако для осознания характера и направленности современного кризиса отечественной историографии несравненно более важным представляется, во-первых, обращение к опыту кризиса исторической науки в России начала XX века, который развивался на основе баланса новаций и традиций, а, во-вторых, разъединение идеологической и

методологической составляющих марксистской теории и критический анализ слабых и сильных сторон последней.

В ходе развернувшейся дискуссии И.Ю. Николаева (Томск) заметила, что на создаваемой Марксом теории отразилась его собственная принадлежность к маргиналитету. В.А. Шкуратов связал коренной порок марксистской теории с отсутствием в ней живого индивида. А.В. Юревич обратил внимание на то, что наше понимание марксизма на 90% возникло после Маркса. Б.Г. Могильницкий настаивал на необходимости уйти от политизированного подхода к марксизму. Характеризуя значение марксизма для развития исторической науки, ученый обратил внимание на то, что его вызов в 1950-60-е гг. определил становление новой научной истории, и при этом евромарксизм, с которым было связано целое направление в историографии, не был тождественен склеротическому истмату. Подводя итоги этой дискуссии, Л.П. Репина выразила мнение, что судить о марксистской историографии можно только по ее результатам. Вместе с тем, она указала на необходимость отделения методологии и идеологии в марксизме.

Ю.Л. Троицкий (Москва) в своем докладе попытался обосновать новые принципы исторической дидактики, основанной на отказе от традиционного диктата «готового знания». Новый подход к обучению истории должен выработать у учащихся навыки самостоятельного исторического мышления. Это строится во многом и на отказе от традиционного текста учебника, содержащего готовую информацию для запоминания в форме классического исторического нарратива. Учащийся должен создать итоговый нарратив как результат самостоятельной работы. Докладчик не просто попытался теоретически обосновать эти принципы, но и поделился собственным опытом преподавания ряда исторических дисциплин, который следует рассматривать в качестве практического воплощения заявленного подхода.

И.Ю. Николаева (Томск) подчеркнула, что при всей установке на междисциплинарность, «необходимой предпосылкой научно-плодотворного осуществления методологического синтеза в историческом исследовании является ведущая роль исторической науки». Такой синтез предполагает введение в описание и интерпретацию изучаемого исторического факта в качестве необходимого фактора человеческую субъективность. Те или иные условия влияют на поведение человека, но в рамках любых социокультурных полей и практик есть зазор, складывающийся во многом благодаря сложному характеру взаимодействий этих практик в тех или иных конкретных условиях. Поведение же не всегда оказывается отрефлексируемым. В этой связи на первый план, выходит про-

блема бессознательного. На создание сложной модели, позволяющей анализировать бессознательное тех или иных социокультурных практик, и должны быть направлены усилия исследователя. «Томский вариант» такой синтетической методики исторического исследования строится на основании использования наработок теории бессознательного школы Д. Уизарда, теории идентичности Э. Эриксона, теории социальных и политических полей П. Бурдьё, теории социального характера Э. Фромма, теории политических взаимодействий М. Вебера и Р. Барта, смеховых теорий Л. Карасева и С. Аверинцева. При необходимости предложенная модель вносится в контекст теорий модернизации. Подчеркивалось, что речь идет о теоретическом инструменте, позволяющем интерпретировать исторические события. При всей вариабельности теории (в зависимости от задач конкретного исследования и специфики материала) важнейшей оказывается установка на сохранение ее антропологической направленности. И.Ю. Николаева не просто предложила описанную модель, но и попыталась продемонстрировать ее продуктивность на примере интерпретации одного исторического казуса, произошедшего в русской деревне в середине XIX в. И хотя многие выступавшие отмечали некоторый разрыв между теоретической и конкретно-исторической частями интерпретации и недостаточность «постоянных челночных движений» от теории к конкретике, интерпретация практики «снохачества» при помощи предложенного докладчиком теоретического инструментария вызвала большой интерес аудитории.

На конкретно-историческом материале проблему методологического синтеза пытались решить многие выступающие: И.Н. Ионов (Москва) и Э.С. Кульпин (Москва) – на основе исследования генезиса ценностей цивилизации; Н.В. Карначук (Томск) – посредством анализа механизма власти в раннеабсолютистской Англии; Н.А. Сайнаков (Томск) – через исследование образа врага в Московском царстве. Ряд томских ученых сосредоточился на применении различных антропологических методов исторического исследования к анализу конкретно-исторических ситуаций. С.В. Карагодина предложила сравнительный анализ «смехового поведения» Козимо Медичи и Ивана Грозного как проявления различных моделей властных отношений. Доклад О.Н. Мухина был посвящен реконструкции смеховых аспектов поведения Петра I, значимых, по мнению автора, так же при рассмотрении их в контексте процесса российской модернизации. О.Н. Папушева провела, основанную на материале плутовских романов, реконструкцию социокультурного образа испанского пикаро, рассматривая его как результат модернизационных процессов, протекавших в испанском обществе начала

нового времени. Доклад А.Ю. Соломеина был посвящен некоторым аспектам становления эссе как феномена интеллектуальной европейской культуры нового времени. Большой интерес вызвал доклад Г.А. Орловой (Ростов-на-Дону) о становлении положительной идентичности в советской официальной культуре 20-30-х гг. Доклад А.В. Бочарова (Томск) был посвящен применению методов дискретной математики в качестве регулирующего механизма при построении синтетических моделей исторического исследования. Предметом доклада В.М. Мучника (Томск) выступила «Евразийская симфония» Х. Ван Зайчика как проявление традиционалистского исторического дискурса в условиях постмодернистской культуры.

Подводя итоги трех дней конференции и отмечая проявившуюся на ней плодотворность подходов к решению проблемы методологического синтеза, Б.Г. Могильницкий вместе с тем выразил убеждение, что «методологический синтез вообще невозможен». Он указал на достоинство работ И.Ю. Николаевой и ее учеников, в которых на конкретно-историческом материале разрабатывается возможность различных исторических стратегий.

*С.П. Рамазанов, А.В. Свешников*

## ЧИТАЯ КНИГИ...

---

**Н.Н. Алеврас (Челябинск)**

### ОБРАЗЫ ИСТОРИКОВ В ИХ ПЕРЕПИСКЕ

Эпистолярное наследие в любом исследовании дает уникальную возможность «остановить» мгновение истории, увидеть изучаемые явления или личность в их повседневности. Будучи непосредственным «остатком» той или иной жизненной коллизии, переписка, как никакой другой источник, является носителем сиюминутного выражения авторского *ego* и потому позволяет уловить широкую палитру свойственных человеку, как рассудочных мотиваций своего поведения, так и эмоциональных порывов, идейных настроений, эстетических пристрастий. Еще полнее человек раскрывается, если в распоряжении исследователя имеется эпистолярная коллекция, позволяющая воспроизвести диалоги современников. В таком случае историк имеет основание проникнуть в мир взаимоотношений интересующих его личностей и раскрыть широкое поле культурной среды в ее коммуникативном движении.

Письма ученых-историков, давно вошли в источниковое пространство историографии, но только в последние годы осознанно применяются в границах особого методологического режима историографических исследований. Лишь сравнительно недавно, в условиях антропологической волны в отечественном историознании, переписка историков стала менять свой познавательный статус: из иллюстративного материала она превращается в доминантную разновидность источникового комплекса историографии, представляя одновременно значимое явление науки и культуры. Новые акценты в методологии истории исторической науки, с 80-90-х гг. XX в. устремленной к созданию целостных образов историков, ориентированы на преодоление ограниченности прежней, сциентистской модели историографии. Деятельность историка воспринимается в современном историографическом знании как творчество, протекающее в пространстве его собственного экзистенциального опыта, сопряженного со всем многообразием жизненной практики социокультурной среды, к которой он принадлежит. Мир личного опыта каждого историка обладает способностью

генерализации и потому преобразуется в явление коллективной памяти в науке. Этим и определяется актуальность индивидуального творческого потенциала, передающегося в виде научного и, одновременно, культурного наследия последующим поколениям.

С позиций подобного восприятия задач и жанровых особенностей современной историографии особо значимым становится новационное понятие «историографический быт»<sup>1</sup>, обеспечивающее ученых методикой коммуникационного анализа. В этой связи весь комплекс источников личного происхождения приобрел первостепенное значение в изучении творческой деятельности историков. Именно мемуаристика (воспоминания, дневники, эпистолярная, эссе, некрологи и т.п.) позволяет сбалансировать антропологические и науковедческие принципы историографических исследований.

Предлагая ученому сообществу переписку виднейших представителей российской науки С.Ф. Платонова и П.Н. Милюкова<sup>2</sup>, создатели рецензируемой публикации имели возможность опереться на аналогичный опыт<sup>3</sup>. Однако еще одно издание в подобной серии публикаций не просто пополняет замечательную коллекцию эпистолярных памятников исторической науки, но имеет свое неповторимое лицо. Его авторы в составе В.П. Корзун, инициатора и руководителя проекта, составителей М.А. Мамонтовой и А.В. Свешникова, представляя омскую школу современных историографических исследований, хорошо известны в научной среде. Им уже приходилось представлять свою научную продукцию как в виде документальной публикации отдельных фрагментов перепис-

---

<sup>1</sup> См.: *Троицкий Ю.Л.* Историографический быт эпохи как проблема // *Российская культура: модернизационные опыты и судьбы научных сообществ. Материалы Второй всероссийской научной конференции.* Омск, 1995. Т. 2; *Умбрашко К.Б.* М.П. Погодин и «историографический быт» в России в середине XIX века // *Там же; Корзун В.П.* Научная школа в интервью «историографического быта» (В.О. Ключевский, П.Н. Милюков, С.Ф. Платонов, А.С. Лаппо-Данилевский) // *Научные сообщества в социокультурном пространстве России (XVIII–XX вв.). Материалы Третьей всероссийской научной конференции.* Омск, 1998. Т. 1.

<sup>2</sup> *Письма русских историков (С.Ф. Платонов, П.Н. Милюков)* / Под ред. проф. В.П. Корзун. Омск: ООО «Полиграфист», 2003. 306 с.

<sup>3</sup> См.: *Ключевский В.О.* Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М., 1968; *Богословский М.М.* Историография, мемуаристика, эпистолярная. М., 1987; *Переписка Н.П. Павлова-Сильванского с А.Е. Пресняковым // Павлов-Сильванский Н.П.* Феодализм в России. М., 1988; *Переписка С.Б. Веселовского с отечественными историками.* М., 1998.

ки историков<sup>4</sup>, так и в качестве исследовательских материалов, опирающихся на мемуаристику, в том числе, переписку<sup>5</sup>.

Рецензируемая публикация отличается целостностью археографического замысла: она ознакомит читателя с полной коллекцией сохранившихся писем виднейших русских историков в двух фондах – ОР РНБ и ГАРФе, представленных в издании разделами «Письма П.Н. Милюкова С.Ф. Платонову» и «Письма С.Ф. Платонова П.Н. Милюкову». Оригинальность публикации определяется высокой степенью значимости самих авторов эпистолярных комплексов в российской историографии. Оба историка в период переписки (в основном 90-е годы XIX в.) представляли молодых, но уже признанных ученых. С.Ф. Платонов только защитил магистерскую диссертацию и строил планы дальнейшей научной деятельности, П.Н. Милюков активно работал над диссертационным исследованием. Публикация писем историков зафиксировала, к тому же, переломный период отечественной историографии, долгое время определявшийся как «кризис исторической науки». Он совпал и с началом смены поколений историков. Переписка сохранила атмосферу этого сложного времени, когда переплелись между собой и проблемы методологических поисков в науке, и жизненно важные для профессиональной и личной судьбы задачи самоидентификации историков в социокультурном пространстве того времени. Наконец, авторам издания через переписку двух историков удалось «поймать» уникальный момент диалога основных историко-научных школ – Московской и Петербургской, что позволяет улавливать не только их различия, но и общность российского контекста «историографического быта», характерного для конца XIX в.

Сквозь основные сюжетные линии переписки, связанные, главным образом, с работой П.Н. Милюкова над магистерским сочинением и попытками устройства его дальнейшей карьеры в Петербурге, хорошо просматриваются различные побочные темы, которые собственно и создают основу представлений о стиле научного и дружеского общения, а также типичных чертах повседневных забот в научной среде. Перед читателем раскрывается характерная культура взаимоотношений ученых того времени и напряженный ритм жизни российских историков, готовящих научные труды,

<sup>4</sup> См.: Мир историка. XX век / Под ред. А.Н. Сахарова. М., 2002.

<sup>5</sup> См.: Корзун В.П. Московская и Петербургская школы историков в письмах П.Н. Милюкова к С.Ф. Платонову // Отечественная история. 1999. № 2; Она же. Образы исторической науки на рубеже XIX–XX вв. Екатеринбург–Омск, 2000; Мамонтова М.А. С.Ф. Платонов: поиск модели исторического исследования. Автореф. дис. к.и.н. Омск, 2002.



читающих лекционные курсы в университетах и других учебных заведениях, занятых сотрудничеством в издании научной периодики, обсуждающих вопросы преподавания истории в высшей и средней школе и решающих бытовые проблемы жизни. Хотя лейтмотив писем сосредоточен на решении проблем научной сферы интересов каждого из корреспондентов, но обсуждаются они в атмосфере заинтересованного диалога, направленного на узнавание друг друга, а также традиций научной жизни двух столичных университетов, ранее мало связанных личностными контактами.

Личное общение С.Ф. Платонова и П.Н. Милюкова и их переписка стали знаковым явлением, поскольку их система взаимоотношений положила начало разрушению былой разобщенности двух центров исторической науки и содействовала формированию общего культурного поля, не устраняя, впрочем, своеобразия каждого из них. Наполненные именами как признанных авторитетов-историков двух столиц, так и малоизвестных в современной историографии фигур, дружеские по характеру письма С.Ф. Платонова и П.Н. Милюкова со всей ясностью позволяют реконструировать смысл и подоплеку откровенных оценочных суждений корреспондентов относительно своих коллег. На основе переписки вполне возможно выстроить своеобразную иерархическую лестницу историков, представленную через ценностные подходы представителей молодого поколения ученой среды. Их взгляд, конечно, не лишен субъективности, но отличается свежестью восприятия и корректирует угол зрения на научное сообщество, разрушая стереотипные оценки своего времени.

Письма наполнены «научными» слухами и сплетнями, циркулировавшими в сообществе историков, собственными догадками, заочной полемикой, касаются обсуждений книжных новинок и диссертационных диспутов. Все это составляло эмоционально-психологический фон историографической субкультуры того времени. «Раскройте мне секрет», спрашивал С.Ф. Платонов П.Н. Милюкова, пытаясь угадать, «кто в 1886 г. в «Русской мысли» писал рецензию на полемическую книжку Иловайского о начале Руси? Ключевский ли?» (с. 247). Подобного рода предположения постоянно мелькают в письмах. Дружеский характер переписки сделал возможным появление в одном из писем П.Н. Милюкова откровенно критической характеристики В.О. Ключевского (уже хорошо известной, благодаря упоминанию этого фрагмента в одной из статей В.П. Корзун)<sup>6</sup>, проникнутой пессимизмом неверия в творческий потенциал уставшего от жизни учителя (с. 64–65). Она

<sup>6</sup> См.: Корзун В.П. Московская и Петербургская школы...

появилась в период нарастающей напряженности взаимоотношений, что, отчасти, и заставило П.Н. Милюкова ставить в переписке вопрос о возможности своего переезда в Петербург.

Переписка актуальна и в свете роста интереса к scholarly проблематике, поскольку отражает принципиально позитивное отношение корреспондентов к явлению школ в науке как обязательного атрибута научной культуры. Любопытно в этой связи одно из писем С.Ф. Платонова. Он сообщал П.Н. Милюкову о «казанском магистранте» Фирсове, предлагая ему при встрече обратить внимание на «отпечаток безшколия, который на нем лежит» (с. 247). Подтекст письма дает основание говорить, что сами корреспонденты соотносили себя с определенными историографическими культурами и, возможно, выстраивали на будущее стратегии создания собственных традиций в форме научных школ. Вероятно, не случайно сюжет о Фирсове дал повод С.Ф. Платонову сообщить П.Н. Милюкову о том, что он собирается оставить при университете некоего «способного юношу». Но одновременно он же признавался, что обеспокоен отсутствием и в Петербурге «школы» по русской истории. «А раз за собою не чувствуешь силы вышколить человека, страшно толкать на науку, будить надежды и плодить работников "без руля и без ветрила"», – резюмировал он (с. 247). Подобные сюжеты писем – ценнейшие крупницы опыта развития отечественной историографии, отражающие процесс самопознания и самоидентификации научного сообщества в конце XIX в.

Подчеркивая содержательность переписки и актуальность ее издания, нельзя не обратить внимания на авторскую презентацию публикуемой коллекции. Вводная статья книги «Историк в собственных письмах: зеркало или мир зазеркалья?», ставящая задачу раскрыть специфику писем историков в качестве историографического источника, предлагает оригинальную версию понимания авторами эпистолярного дискурса. Частная переписка ученых рассматривается с позиций феноменологического и социологического подходов, как явление-«текст», в котором личность выражает себя в многообразии тех социальных ролей, которые ей приходится выполнять в социокультурной и научной практике. По мысли авторов, письма, выступая способом самовыражения создающей их личности, являются одновременно и индикатором ее самопознания: «Осмысливая события, автор выстраивает текст... и воспринимает себя как образ этого текста» (с. 13). Ситуация «зазеркалья» определяет воздействие самообраза на мотивацию и стереотипы поведения личности, заданные, таким образом, дискурсом собственных писем. Эпистолярные образы историков формирующиеся, по наблюдению авторов, в результате профессионального самоопреде-

ления, не совпадают с восприятием самих себя «за пределами текста», то есть в иной временной практике и дискурсивной традиции, например, в воспоминаниях. Сопоставление, в частности, писем П.Н. Милюкова с его собственными мемуарами позволило авторам публикации утверждать наличие многовариантности самообразов историка, воспринимавшего себя в период создания воспоминаний иначе, чем в момент переписки с С.Ф. Платоновым. Современным историкам, использующим эпистолярное наследие дореволюционных ученых, необходимо учитывать этот немаловажный вывод и решать для себя, какой из образов, сформировавшихся в различных источниковых комплексах, будет фигурировать в том или ином исследовании. Исходя из наблюдений авторов публикации писем, каждый представитель исторической науки, как, собственно, и любая личность, оказывается многоликим в различных ситуациях своего жизненного и творческого пути.

Вместе с тем, вероятно, каждому ученому свойственны определенные жесткие культурно-психологические и этические установки, позволяющие сохранять целостность своей личности. Переписка двух историков дает основание полагать, что стержневые свойства их личностных и деловых качеств складывались, в первую очередь, в процессе профессиональной деятельности и являлись определенным результатом коммуникативной культуры русской историографии, частью которой являлась и предлагаемая переписка. Таким образом, эти письма можно рассматривать в качестве аутентичных источников, воплотивших в себе непосредственный процесс становления различных типов историков в персональном ряду исторической науки конца XIX в. На этапе переписки, при всем различии дальнейших судеб историков, корреспондентов объединяло одно: квинтэссенцию их жизненных помыслов составляла научная стезя и творческая деятельность.

Авторы вводной статьи, характеризуя переписку и обращаясь к различным ее сюжетным линиям, подчинили свои наблюдения главному – созданию тонких историографических зарисовок знаменитых историков на этапе их профессионального созревания, а на этой основе – представлений о типичных чертах взаимодействия двух ведущих школ русской исторической науки. В пространстве жизнедеятельности российской корпорации историков сама переписка выступает в качестве неотъемлемого элемента образа жизни ученых конца XIX века.

Нельзя не отметить высокий археографический уровень публикации писем и тщательно составленные комментарии к ним. Справочный аппарат издания дополняет именной указатель. Лишь один недочет оформления нарушает почти идеально вы-

полненную работу. В оглавлении издания авторы неверно датировали комплекс писем С.Ф. Платонова: последнее письмо историка к П.Н. Милюкову было отправлено в 1892 г., а не в 1900 г., как указано здесь. Эта оплошность, конечно, не меняет высокой оценки вышедшей книги.

Публикация писем С.Ф. Платонова и П.Н. Милюкова, несомненно, является большой удачей авторов издания. Нельзя не подчеркнуть, что оно явилось результатом многолетних архивных изысканий и глубокого погружения создателей книги в мир творческих судеб авторов писем. Рецензируемая публикация не только заполняет явный источниковый пробел в области историографических исследований и потому отвечает информационным запросам специалистов-гуманитариев широкого профиля, но предлагает также – через вводную статью – оригинальные историографические наблюдения и исследовательскую методику вхождения в систему ценностей научной культуры российских историков и понимания их индивидуальных образов. Без сомнения, данное издание настраивает заинтересованных историографов на волну культурно-антропологического изучения истории исторической науки и открывает тему историографического источниковедения.

Г.П. Мягков (Казань)

**КАК СОЕДИНИТЬ НЕСОЕДИНИМОЕ:  
ОПЫТ «КОНСЕРВАТИВНОГО ЛИБЕРАЛИЗМА» В.И. ГЕРЬЕ  
В ОЦЕНКЕ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИОГРАФИИ**

Одним из существенных результатов последнего десятилетия в отечественной историографии можно считать преодоление того общего «склероза» советского обществоведения, который со всей определенностью диагностировался в СССР к концу 80-х гг. прошлого века на всех этапах общественного сознания. При этом стало ясно, что в числе его причин была и *прямолинейная* реализация в практике научного познания и в преподавательской деятельности ортодоксальных положений о теоретических источниках господствовавшего марксистско-ленинского учения. Фактически отсекалось то, что не вписывалось в «прогрессивную» линию развития социального познания, представленную в троичной ипостаси: немецкой классической философией, английской политэкономией, французским утопическим социализмом и дополненной отечественными «истоками» – русским утопическим социализмом. Тем самым предопределялась интеллектуальная самоизоляция советской обществоведческой науки как от современных немарксистских «западных» учений, так и от отечественного историко-философского наследия. Из грандиозной, веками копившейся духовной казны народов России нам, по образному выражению В. Белова, «как бы выдавали по рублю», отмеряя идеологически выверенные «порции».

Естественно, когда рухнуло господство моноидеологии и начались преобразовательные процессы в российском историознании был запущен механизм восстановления преемственности, началось «извлечение» все новых и новых «рублей» из названной «казны». При известной противоречивости и ряде издержек («востребованным» методом публицистики стала смена знаков при оценке явлений прошлого) в кратчайший исторический срок было сделано исключительно много. Спустя многие десятилетия читателю *вернули* историософские труды Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева, Л.И. Мечникова, работы историков Г.В. Вернадского, Н.И. Кареева, Л.П. Карсавина, М.М.Ковалевского, А.А. Кизевет-

тера, Д.И. Иловайского, А.С. Лаппо-Данилевского, П.Н. Милюкова, С.П. Платонова, Ф.И. Успенского, философов Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, И.А. Ильина, К.Н. Леонтьева, Н.О. Лосского, В.В. Розанова, К.П. Победоносцева, Вл.С. Соловьева, И.Л. Солоневича, П.Б. Струве, Л.А. Тихомирова, Е.Н. Трубецкого, С.Н. Трубецкого, Г.П. Федотова, П.А. Флоренского, С.Л. Франка, Л. Шестова, Г.Г. Шпета, социологов П.А. Сорокина, Д.А. Столыпина, правоведов Б.А. Кистяковского, П.И. Новгородцева, Л.И. Петражицкого и многих других. Нетрудно заметить: на протяжении всего советского периода труды большинства из перечисленных авторов клеймились как реакционные и идеологически вредные. Потому более сложной, а возможно, и значимой задачей стало не столько расширение поля изучения отечественной мысли прошлого, сколько переосмысление укоренившихся представлений и интерпретаций. Иными словами, развернулась работа по «огранке» и известных, и тем более «неизвестных» «алмазов» нашей духовной «казны».

Оказалось, что описываемый процесс подчинен известным колебаниям, подтверждающим правило, что те или иные «алмазы» «подбираются» и «обрабатываются» в соответствии с запросами конкретного времени. Изучение этого процесса, постижение его сущности еще впереди, но нельзя не заметить его взаимосвязь с социополитической эволюцией постсоветского общества: исследователи и публицисты то внимательнее присматриваются к либеральным традициям, идеям и учениям (первая половина 1990-х гг.), то начинают более обращать взоры к деятельности и творчеству мыслителей, склонных к консерватизму (с середины 1990-х гг.)<sup>1</sup>; рубеж столетий оказался отмечен повышением внимания к осмыслению проблемы сопряженности двух моделей общественного развития – консерватизма и либерализма, конкретно – к анализу процессов генезиса, формирования и эволюции российского либерального консерватизма<sup>2</sup>.

Выявленная тенденция сама объясняет один примечательный факт современного историографического процесса. Он, как представляется, обрел статус казуса, поскольку позволяет понять

---

<sup>1</sup> «В сегодняшней политике, так же как и в науке, – констатирует А.В. Репников, – наблюдается взлет интереса к русскому консерватизму и его представителям. ... Можно говорить о том, что “мода” на консерватизм постепенно вытесняет “моду” на либерализм». – Репников А.В. Русский консерватизм: вчера, сегодня, завтра // Консерватизм в России и в мире: прошлое и настоящее. Воронеж, 2001. С. 15.

<sup>2</sup> См.: Либеральный консерватизм: история и современность. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. М., 2001.

некие «фазовые» переходы, происходившие (или, наоборот, не произошедшие, несмотря на, казалось бы, их предопределенность) в интеллектуальном поле России на рубежах завершившегося столетия. Речь идет о творчестве и наследии ученого, имя которого никем не вспоминалось ни на волне перестроечной эйфории, ни во времена перемен эпохи «обмена номенклатурной власти на собственность»<sup>3</sup>, но «вдруг» начавшийся XXI век разглядел «выдающегося русского историка»<sup>4</sup>. Речь идет об историке, политическом деятеле, члене-корреспонденте Петербургской Академии Владимире Ивановиче Герье (1837–1919).

Случайна ли приведенная характеристика? Дело же не только и не столько в восстановлении некоего объективного статуса историка, а в принципиальном отношении к проблеме роли и места В.И. Герье в духовной жизни российского общества, о возможной роли его научного наследия в новых исторических условиях.

Было бы неправильно и несправедливо считать, что советская историография избегала или игнорировала творчество В.И. Герье. Московский профессор в период 20–50-х гг. XX в. характеризовался как «буржуазный реакционный историк», «историк-идеалист», с начала 60-х гг. его имя возвращается из забвения: В.И. Герье признается талантливым педагогом, крупным деятелем народного просвещения и организатором науки<sup>5</sup>. Но «идеалистические взгляды ученого на историю», его «борьба с материалистическими тенденциями в историографии», призывы к «возрождению гегельянства», политические симпатии к октябристам, поддержка аграрной политики Столыпина и т.п.<sup>6</sup>, выводили ученого из числа тех, кого относили к числу «разрешенных», «прогрессивных». Пожалуй, только в дискурсивном пространстве Томской методологической школы, начиная с конца 1960-х гг., был

<sup>3</sup> Вряд ли изменяло картину помещение небольшого отрывка из статьи ученого «О конституции и парламентаризме в России» в хрестоматии по истории российской общественной мысли XIX и XX вв. (См.: В поисках своего пути: Россия между Европой и Азией / Сост. Н.Г. Федоровский. М., 1997. С. 434–437). Показательнее то, что творческий портрет В.И. Герье не оказался включенным в издания, призванные, по замыслу, проследить линии преемственности в исследовании проблем отечественной и зарубежной истории и представить фигуры историков, определявших лицо отечественной науки. См.: *Историки России. XVIII – начало XX века*. М., 1996; *Историки России XVIII–XX веков*. Вып. 1–5. М., 1997–1998; *Портреты историков: Время и судьбы*. Т. 2. Всеобщая история. М., 2002 и др.

<sup>4</sup> См.: [Аннотация] // *Герье Н. Блаженный Августин*. М., 2003. С. 2.

<sup>5</sup> См.: *Гутнова Е.В.* Историография истории средних веков. М., 1974. С. 261.

<sup>6</sup> См.: СИЭ. М., 1963. Т. 4. С. 422.

найден особый ракурс, позволивший в некотором смысле преодолеть жесткий монизм советского марксизма и открывший новое мыслительное пространство, в котором историческое познание рассматривалось в контексте социально-политических, культурных, гносеологических координат<sup>7</sup>. Еще в 1980-е гг., когда в советской историографии о В.И. Герье было принято говорить только как о «фигуре второго ряда», к тому же находившейся в конфронтации с прогрессивными течениями в русской исторической науке, начала свои исследования Е.С. Кирсанова<sup>8</sup>.

Но, повторим, только в начале XXI в., спустя десятилетие после того, как развернулся процесс переоткрытия перечисленных выше официально отторгнутых и запрещенных имен и произведений русских мыслителей XIX – первой половины XX вв., имя и труды В.И. Герье выходят из забвения: изданы его курс лекций «История римского народа», книга «Блаженный Августин» – первая в трилогии «Зодчие и подвижники Божьего Царства»<sup>9</sup>, опубликован развернутый очерк Д.А. Цыганкова о его жизни и деятельности<sup>10</sup> и др.

В контексте описанного не может не привлечь внимание вышедшая в 2003 г. монография Е.С. Кирсановой «Консервативный либерал в русской историографии: жизнь и историческое мировоззрение В.И. Герье»<sup>11</sup>. Это первое системное исследование жизни, мировоззрения и творчества русского историка. В книге обобщены результаты многолетней работы. Автор не прокламирует цель восстановить справедливость в отношении ученого, который на протяжении трети века возглавлял в Московском университете кафедру всеобщей истории, стоял у истоков научной школы, работы пред-

---

<sup>7</sup> См.: Соломеин А.Ю. Дискурсивное пространство Томской методологической школы // Наука и власть: научные школы и профессиональные сообщества в историческом измерении. М., 2002. С. 101.

<sup>8</sup> См.: Кирсанова Е.С. 1) Историзм В.И. Герье // Вопросы методологии, историографии и источниковедения. Томск, 1980; 2) В.И. Герье о политической функции исторического знания // Методологические и историографические вопросы исторической науки. Вып. 15. Томск, 1982; 3) Некоторые проблемы генезиса западноевропейского феодализма в лекционном курсе В.И. Герье (1870/71 г.) // Средние века. Вып. 45. М., 1982 и др.

<sup>9</sup> См.: Герье В.И. 1) История римского народа: Курс лекций, читанных ординар. проф. В.И. Герье на Моск. высш. жен. курсах в 1887 г. / Ввод. ст. А.В. Лубков, П.Ю. Савельев; подгот. текста и коммент. А.В. Юдин. М., 2002; 2) Блаженный Августин. М., 2003 (издание продолжается).

<sup>10</sup> См.: Цыганков Д.А. Профессор Московского университета В.И. Герье (1837–1919) // Новая и новейшая история. 2002. № 5.

<sup>11</sup> См.: Кирсанова Е.С. Консервативный либерал в русской историографии: жизнь и историческое мировоззрение В.И. Герье. Северск: Изд-во СГТИ, 2003. (209 с., тираж 500 экз.).



ставителей которой стали достоянием мировой историографии, был первым председателем Российского исторического общества, организатором первых в России Высших женских курсов, — эта цель имплицитно присутствует в качестве доминанты всего исследования.

В первой части монографии, посвященной жизненному пути Герье, вводится много материалов, позволяющих полномасштабно осветить те стороны деятельности историка, о которых прежде в историографической литературе или говорилось вскользь (вклад Герье в развитие высшего женского образования в России, участие в политической борьбе в годы первой русской революции), или не говорилось вовсе (участие в борьбе за университетскую автономию, работа в Московской городской думе и др.). На страницах, посвященных педагогической деятельности Герье, его личности как учителя и человека, автору удалось избежать чрезмерной идеализации ученого (в работе отмечаются недостатки лекций историка и его знаменитых исторических семинаров, автор не проходит мимо очень уж сложного характера своего героя и т.п.). С другой стороны, в полной мере раскрыты те личностные свойства профессора Герье и его педагогического таланта, которые притягивали к нему многочисленных учеников и коллег. Яркими красками изображено трагическое одиночество Герье как ученого и человека в последние годы жизни. Давая объяснение конфликту Герье с большинством учеников и сподвижников, автор достаточно убедительно проводит мысль о том, что вопреки мнению его учеников (А.А. Кизветтера, П.Н. Милюкова, Ю.В. Готье и др.), все-таки не скверный характер Герье, а именно его непреклонные до ригоризма политические и исторические воззрения, казавшиеся быстро левеющей русской профессуре ретроградными, стали главной детерминантой личного разрыва Герье и его воспитанников.

Вторую, центральную часть монографии отличает широта теоретического подхода к исследуемым историографическим проблемам. Историко-теоретические взгляды Герье рассматриваются в контексте философских и методологических дискуссий конца XIX — начала XX в. Концептуальное ядро этого подхода — гипотеза, согласно которой именно Б.И. Герье был в русской историографии наиболее последовательным защитником идей идеалистического историзма, служивших методологической основой европейской исторической науки первой половины XIX века. По мнению автора, размышления Герье о предмете и функциях исторической науки, об исторической закономерности, критериях истинности исторического знания, границах субъективности историка явились реакцией на гносеологическую критику основ идеалистического историзма

со стороны философских течений второй половины XIX в. (в первую очередь, позитивизма и экономического материализма). Проводится параллель между размышлениями Герье и методологической рефлексией, предпринятой представителями современной ему немецкой историографии (Г. Зибель, И. Дройзен и др.). Отметим как несомненно положительный факт широкое использование автором в ходе реконструкции методологической концепции В.И. Герье его переписки с учениками, в которой позиция историка по некоторым вопросам теории исторического познания высвечивалась в более отчетливой форме, нежели в его опубликованных произведениях. Это тем более интересно, что эпистолярное наследие его эпохи отмечено такими откровенностью и свободой мысли, о коих в последующем оставалось только мечтать<sup>12</sup>.

Особое место во второй части монографии занимает авторская аргументация идеи об органическом единстве исторических взглядов Герье и его политической позиции. В отличие от традиционного похода, акцентирующего влияние политических взглядов на исторические воззрения и творчество историков, автор, анализируя мировоззрение Герье, стремится показать обратную зависимость: политических предпочтений ученого от его исторического мировоззрения. Страницы монографии, посвященные данной проблеме, равно как и мысли автора о сущности консервативно-либерального мировоззрения и об идеалистическом историзме как его парадигмальном ядре, наверное, нельзя признать бесспорными. Но они, безусловно, заслуживают обсуждения, причем не только в чисто историографическом контексте, но и в форматах философском и политологическом. Проблема консерватизма и консервативного либерализма на исходе XX в. стала одной из самых дискуссионных в социальной философии и политологии, и, потому любой нетривиальный взгляд на нее, а тем более взгляд, аргументированный посредством обращения к историко-научным сюжетам, представляет несомненную ценность в координатах академической науки. И не в этой ли плоскости лежит ответ на обнаруженную выше особенность, а именно, относительно позднее «включение» наследия В.И. Герье в современные идейно-политические дискуссии? Автор предоставляет достаточно материала, чтобы утверждать: причинами непонимания В.И. Герье как политического мыслителя (сам автор показывает, что он являлся

---

<sup>12</sup> См.: Корзун В.П., Свешников А.В., Мамонтова М.А. Историк в собственных письмах: зеркало или мир зазеркалья? (Несколько замечаний о специфике писем русских историков XIX–XX веков в качестве историографического источника) // Письма русских историков. Омск, 2003.

«одним из наиболее последовательных консерваторов в русском либерализме») было то, что и политическая элита, и интеллигенция в России оказались невосприимчивы к импульсам консерватизма, предпочтя им более радикальные политические идеи. Влияние ученого на историческую науку также оказалось ограниченным в силу слабой рецепции последней консервативно-либерального мировоззрения. В ней доминировали конструктивистски мыслящие историки, которые переосмысливали прошлое с позиций современных социально-политических доктрин, а потому «подчиняли» историю «зlobe дня».

Следует отметить, что рецензируемая монография дает пищу для размышлений о многих вопросах, которые и во времена В.И. Герье, и сегодня находятся в центре внимания специалистов в области теории социально-исторического познания, социальной философии, философии истории. Это «извечные» вопросы о предмете исторической науки, о ее методах, функциях, познавательных возможностях, влиянии пристрастий и предпочтений историка на результаты его исторических исследований.

Благодаря реконструкции методологических воззрений В.И. Герье достоянием сегодняшнего дня становятся его оригинальные гносеологические и философско-исторические идеи, которые не были востребованы в свое время, но которые сегодня, возможно, подтолкнут философов и историков к новым подходам в решении дискуссионных проблем. К таким идеям, несомненно, относится детально охарактеризованная в монографии концепция В.И. Герье о философской культуре историка как фундаменте его профессионализма. При чтении страниц монографии, посвященных этой концепции, невольно задумываешься о нереализованных возможностях развития русской исторической науки. Скажем, окажись взгляды Герье среди доминирующих идей историознания... Ведь именно нигилистическое отношение большинства русских историков второй половины XIX века к философии, и особенно к ее метафизическим теориям, предопределило вначале их увлечение примитивным эмпиризмом, а затем обусловило признание позитивистско-марксистской точки зрения на исторический процесс и историческое познание в качестве истины в последней инстанции.

Естественным логическим завершением монографии является аналитическое рассмотрение некоторых аспектов конкретно-исторического творчества Герье, которое, по мнению автора, может служить примером последовательной реализации философско-теоретических взглядов ученого. В качестве предмета рассмотрения в монографии взяты не известные работы Герье о

Французской революции (некоторые выводы этих работ анализируются во второй части монографии), а творчество Герье-медиевиста: рукописные конспекты лекций по истории раннего средневековья, читавшихся в Московском университете в начале 1870-х гг. (автором проведена тщательная текстологическая работа с этим архивным источником) и работы историка последнего периода его творчества о средневековом мировоззрении. И в том, и в другом сюжете Е.С. Кирсановой удалось не только проиллюстрировать влияние методологии историка на его конкретно-историческое творчество, но и дать объективную оценку вклада В.И. Герье в развитии отечественной медиевистики. Хотелось бы обратить внимание на оценку автором, в этой связи, исследований В.И. Герье в области истории средневекового мирозерцания. В монографии справедливо отмечается, что данный аспект творчества Герье представляет собой одну из первых в русской науке попыток применить в историческом исследовании подход, который в будущем станут называть культурологическим. Учитывая сегодняшнюю актуальность проблемы междисциплинарного синтеза, выскажем пожелание автору сделать это замечание отправной точкой специального исследования.

Хотелось бы отметить высокий уровень исследовательской культуры Е.С. Кирсановой, нацеленность на научные обобщения; довершает картину логическая стройность и внятное изложение.

Для рецензента, как впрочем и для любого придирчивого читателя научной работы, имеющей ярко выраженный творческий характер, естественно замечать авторские недочеты. К ним, думается, следует отнести, узость круга персоналий (С.М. Соловьев, Б.Н. Чичерин), которые фигурируют, наряду с В.И. Герье, как историки консервативно-либерального направления в русской историографии. Неясно, почему в этот круг не включены ученики Герье М.С. Корелин и П.Н. Ардашев. Актуальность монографии, безусловно, можно было усилить, развернув в ее основной части заявленную в заключении работы мысль о поучительности судьбы творчества русских историков консервативно-либерального направления для осмысления современного состояния исторической науки в России и ее влияния на сознание общества.

Впрочем, можно с уверенностью предположить, что рецензируемая монография будет с интересом прочитана и теми, кто уже давно занимается исследованием историографических проблем, и теми, кто только приступает к знакомству с историей русской исторической науки и общественно-политической мысли.

[Рец.]: Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М.: Изд-во ЭКСМО, 2003. 1024 с.

Труд Н.И. Костомарова, написанный в XIX веке интересен как для работающих в биографическом жанре, так и для всех, кто готов отказаться от классового подхода к оценке личности, что было свойственно марксизму, для которого происхождение потребности быть личностью определялось «законами истории и имело очевидный, классовый характер»<sup>1</sup>.

Книга начинается с жизнеописания князя Владимира. Автор убежден, что в это время совершился переход от «варварства» к цивилизации, составной частью которого было принятие христианства, когда русский народ «получил действительные и прочные основы для дальнейшей выработки гражданской и государственной жизни – основы, без которой, собственно, для народа нет истории»<sup>2</sup>. Княжение Ярослава Мудрого автор считает продолжением начатых Владимиром нововведений. «Он собрал, – пишет историк, – знатоков и поручил переводить с греческого на русский язык разные сочинения духовного содержания»<sup>3</sup>. Далее автор углубляется в религиозную тему. В жизнеописании Феодосия Печерского он затрагивает историю русского монашества, идеалом которого становится отшельник, человек, стремившийся угодить Богу «добровольными лишениями, страданиями, отречением от земных благ»<sup>4</sup>. Однако Н.И. Костомаров осуждает тот способ спасения, который «удобнее одинокому, оторванному от людей затворнику» (в отличие от Евангелия, провозглашавшего обращение к людям) и в результате которого вскоре монастыри «наполнились жалкими самоистязателями, а более всего згоистами, тунеядцами и лицемерами, надевавшими на себя личину святости»<sup>5</sup>.

Переходя к жизни Владимира Мономаха, историк говорит о расширении влияния христианства, когда вместе «с единою верою входил в Русь и единый письменный язык и одинаковые нравствен-

---

<sup>1</sup> Петровский А.В. Вопросы истории и теории психологии. Избр. труды. М., 1984. С. 284.

<sup>2</sup> Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М., 2003. С. 5.

<sup>3</sup> Там же. С. 9.

<sup>4</sup> Там же. С. 18.

<sup>5</sup> Там же. С. 24.

ные, политические и юридические понятия»<sup>6</sup>. Итак, можно заметить, что Костомаров вводит в свои жизнеописания фактически два основных фактора цивилизационного подхода: роль религии и нравственные ценности, определявшие политическую и гражданскую жизнь людей и общества.

Тему православия историк продолжает в биографии Преподобного Сергия. Личность исторического деятеля связывается с ролью христианства и церкви в истории России. В дальнейшем автор переходит к более подробному описанию характеров своих героев в непосредственной связи с историческими событиями.

С именем Ивана III ассоциируется объединение Руси. Костомаров описывает сложность и противоречивость его природы: «Он был человеком крутого нрава, холодный, рассудительный, черствый сердцем, властолюбивый»<sup>7</sup>. Однако главной чертой, приведшей его к успехам, была «неуклонность в преследовании избранной цели»<sup>8</sup>. Автор подчеркивает, что князь действовал с постепенностью и даже медлительностью, он «не отличался ни отвагою, ни храбростью, зато умел пользоваться обстоятельствами, никогда не увлекался, но действовал решительно, когда видел, что дело созрело до того, что успех несомненен»<sup>9</sup>. Таким образом, историк прослеживает весь процесс принятия политического решения, в котором князь неизменно проявлял осторожность.

Н.И. Костомаров не только дает характеристику личности Ивана III, но и показывает его характер в развитии. По мере усиления могущества князя возрастала «жестокость его характера»<sup>10</sup>. Он действовал смелее и решительнее в расширении пределов своего государства и укрепления единовластия. Он научился также выбирать надлежащие средства для достижения целей. Однако князь не укреплял свое единовластие «чувством законности». В результате, как замечает Н.И. Костомаров, «сила его власти переходила в азиатский деспотизм, превращающий всех подчиненных в боязливых и безгласных рабов»<sup>11</sup>. В итоге мы видим неординарную личность правителя, впитавшую в себя все противоречия эпохи.

Еще более значительной фигурой предстает в жизнеописаниях Костомарова царь Иван Васильевич Грозный со своим окружением. Говоря о его детстве, историк отмечает дурное воспита-

---

<sup>6</sup> Там же. С. 25.

<sup>7</sup> Там же. С. 145.

<sup>8</sup> Там же.

<sup>9</sup> Там же.

<sup>10</sup> Там же. С. 162.

<sup>11</sup> Там же. С. 180.

ние, в высшей степени нервный темперамент и впечатлительное воображение. Итогом явилось появление у Ивана уже с юношеских лет самых диких наклонностей. Костомаров указывает и на такие черты характера, как злость, лживость, наглость, бессердечие, «в его сердце не было ни привязанности, ни сострадания»<sup>12</sup> Большой царь то предавался прежней необузданности, то падал духом, молился, раздавал щедрые милостыни, приказывал кормить нищих и пленных, выпускал из темниц заключенных<sup>13</sup>. Это проливает свет на оценку действий царя до болезни и после нее. Автор приводит яркий пример, как патологическая личность могла оказывать воздействие на ход государственных дел.

Следующее жизнеописание царя Алексея Михайловича автор не относит к светлым эпохам русской истории. Царь представлен в описании как привлекательный мужчина: «белый, румяный, крепкого телосложения, с кротким выражением глаз, добродушный»<sup>14</sup>. Веселый, не вспыльчивый, он был, как свидетельствует Костомаров, чрезвычайно благочестив, любил читать священные книги, был проникнут поэтически чувством к природе и не способен к злобе и ненависти. Он дорожил своей царственной властью и самодержавным достоинством. Однако биограф вновь возвращается к мысли о том, что в уважении подданных к его достойной персоне сквозило не сыновнее чувство, не сознание законности его власти, а рабский страх, который проходил, как только предоставлялся случай. Такой уже была основа самодержавной власти на Руси.

Попутно Костомаров вновь затрагивает религиозную тему жизнеописанием патриарха Никона, известного своими реформами церкви. Костомаров усматривает связь между его характером и характером реформ: «властолюбивый и отличающийся твердостью он был лишен благоразумия и осторожности»<sup>15</sup>. Его упорство и горячность, по мнению автора, а также ошибки являлись причиной главных событий, приведших к расколу русской церкви.

Самая интересная характеристика дана личности Петра I. Она не часто цитируется в учебниках и исторических исследованиях. Характер Петра был совсем не похож на характер его отца: он смолodu еще во времена правления своей сестры Софьи проявил твердость и бесстрашие, что, к сожалению, согласно Костомарову, «оказало печальное влияние на его характер»<sup>16</sup>. Воспитание Петра

<sup>12</sup> Там же. С. 227.

<sup>13</sup> Там же. С. 263.

<sup>14</sup> Там же. С. 420.

<sup>15</sup> Там же. С. 472.

<sup>16</sup> Там же. С. 619.

было заброшено, он не получил хорошего образования, еще с отрочества усвоил крайнюю несдержанность и грубые привычки окрестящего его общества. Все это, по утверждению историка, привело в конечном итоге к появлению в его гениальной натуре зародыша жестокости и свирепости, хотя у Петра были и положительные черты, в частности, любознательность и трудолюбие. Одаренный богатыми способностями, он занялся своим самообразованием, питал уважение к наукам, но, увлекшись всем иноземным, он отвергал дедовские обычаи.

Костомаров пытается понять драму личности царя, который, несмотря на свои великие свершения, предстал перед русским народом «противником благочестия и доброй нравственности», пренебрег не только «религиозными предрассудками, но и более существенными нравственными понятиями»<sup>17</sup>. Костомаров называет личность Петра «своеобразным явлением не только в истории России, но и в истории всего человечества всех веков и народов»<sup>18</sup>. Петру повиновались как самодержавному государю, однако, по мысли Костомарова, нельзя человека делать счастливым против его собственной воли и, так сказать, «насиловать его природу»<sup>19</sup>. И, действительно, нельзя не согласиться с мнением Костомарова, что насильственными способами Петр «не мог привить в России ни гражданского мужества, ни чувства долга, ни той любви к своим ближним, которая выше всяких материальных и умственных сил и могущественнее самого знания». Историк подчеркивает, что Петру было не свойственно относиться к своему народу «сердечно», он своей личностью мог бы быть образцом для управляемого и преобразуемого народа только по своему безмерному, неутомимому трудолюбию, но никак не по нравственным качествам своего характера»<sup>20</sup>. И все же, несмотря на отрицательные стороны личности, все нивелирует преданность Петра идее, которой он всецело посвятил свою душу в течение своей жизни – идее величия России.

Будучи не только русским, но и украинским историком, Н.И. Костомаров представляет некоторых украинских политических деятелей. Среди них Иван Степанович Мазепа. Костомаров убежден в его чрезвычайной лживости. Мазепа демонстрировал просто-сердечие, свойственное украинцам, отвращение к коварству и хитрости. Добродушно веселый, он производил впечатление, будто у

---

<sup>17</sup> Там же. С. 633.

<sup>18</sup> Там же. С. 763.

<sup>19</sup> Там же. С. 765.

<sup>20</sup> Там же. С. 766.



него «душа нараспашку». При всем этом он был чрезвычайно набожен, покровительствовал церквам и духовенству, раздавал милостыню. Однако, по замечанию Костомарова, чисто внешние проявления личности Мазепы носили на себе «характер той внутренней лжи», которая была заметна во всех его поступках<sup>21</sup>.

Из близкого окружения Петра историка заинтересовал еще один его ближайший сподвижник – Александр Данилович Меншиков. Какие черты характера позволили ему находиться так близко от царя? Это – чрезвычайная понятливость, любознательность, большая исполнительность. Когда царь стал все перестраивать на западный лад, Меншиков «с жадностью готов был походить на западного европейца, в то время как другие роптали и боялись грозившего России господства иноземцев»<sup>22</sup>. Петр к нему привязался, потому что он схватывал на лету его желания<sup>23</sup>. Таким образом, роль Меншикова на всем протяжении царствования Петра сводилась к тому, что он был главным исполнителем его замыслов.

Итак, можно заключить, что в работе Костомарова есть ряд находок, касающихся личности и характера исторических деятелей. Автор, в частности, ставит в центр внимания человека, вопросы нравственности и религиозные ценности, отрицает социальную детерминацию поступков людей, которая лишает их свободной воли и свободного выбора решений.

Тем не менее, его изыскания нельзя назвать полностью посвященными именно жизнеописаниям. На фоне исторических событий автор анализирует лишь отдельные сведения и некоторые источники. Современники подвергали данный труд критике за непоследовательное использование первоисточников и художественный вымысел. Но по существу именно писательское мастерство сделало эту книгу интересной для многих поколений читателей.

*Н.Г. Зими́на (Саратов)*

---

<sup>21</sup> Там же. С. 787.

<sup>22</sup> Там же. С. 800.

<sup>23</sup> Там же. С. 800.

**Человек и война. XX век: Проблемы изучения и преподавания в курсах отечественной истории. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Омск. 14–15 мая 2002 г. Омск: Омский гос. университет, 2002. 196 с.**

Материалы рецензируемого сборника отражают особенности развития сравнительно нового направления отечественной историографии – военно-исторической антропологии. Организатором конференции выступил Омский государственный университет совместно с Институтом российской истории РАН, другими вузами Омска и местным отделением межрегионального общества интеллектуальной истории. В работе конференции приняли участие исследователи из 12-ти городов России.

Тематически материалы конференции разбиты на три блока. В рамках первого раздела, авторы, обратившись к многомерному феномену войн XX века, представили свое видение методологии военно-антропологических исследований, репрезентативной и адекватной задачам изучения проблемы «Человек и война», источниковой базы, используемого понятийного аппарата. В ряде статей раздела затрагивается тема сохранения и трансляции исторической памяти, рассматриваемая на примере деятельности региональных поисковых отрядов и увековечения подвига советского солдата в воинских мемориалах и памятниках. Е.С. Сенявская (Москва), один из «пионеров» российской военно-исторической антропологии, оценила итоги исследований в этой сфере в российской историографии 90-х гг XX в. как качественный прорыв, ставший возможным как благодаря радикальным переменам в обществе, так и влиянию на отечественную историографию новых тенденций в мировой исторической науке.

Источниковедческие аспекты проблемы «Человек на войне» представлены в сообщениях Е.Н. Гусевой, Л.И. Огородниковой, Л.Г. Ермолиной, Г.И. Евсеевой (все – Омск), Л.А. Паутовой (Курган). Подверглась анализу информационная база антропологически ориентированных исследований, сконцентрированная главным образом в источниках личного происхождения. Весьма удачным представляется опыт интерпретации Л.А. Паутовой воспоминаний жительницы Кургана Л. Семериковой, зафиксировавших корректировку образа врага под влиянием личного опыта.

Во втором разделе сборника сгруппированы материалы, касающиеся повседневности и культуры в условиях войн. Психопатология гражданской войны в России, связанная с резкой деваль-

вацией ценности человеческой жизни, нашла освещение в статьях В.А. Шулдякова и С.П. Звягина (Омск). Гендерный аспект повседневной культуры российской солдатки в период русско-японской войны 1904–1905 г. рассматривается в сообщении П.П. Щербинина (Тамбов). Ряд материалов (Е.И. Боле, В.Г. Рыженко, В.Ш. Назимова) дополняют традиционную область изучения психологии участника боевых действий анализом бытовой культуры, настроений беженцев и эвакуированных Первой мировой и Великой Отечественной войн.

Третий раздел посвящен проблемам пропагандистского обеспечения войн и его преломлению в массовом сознании, фигурирующим в научных изысканиях и практике вузовского преподавания. О.С. Поршнева поделилась опытом разработки и чтения специального курса «Ментальная история Первой мировой войны» на историческом факультете Нижнетагильского педуниверситета, указав на трудности, возникающие у студентов при освоении рассматриваемой проблематики. Г.А. Котвицкая (Омск) проанализировала установки российского массового сознания на восприятие Первой мировой войны, закрепившиеся в фольклоре и на страницах печати. А.Л. Посадсков (Новосибирск), изучив печатную продукцию пропагандистского аппарата белых армий в Сибири, адресованную своим военным служащим, выявил типичные языковые, психологические и визуальные приемы информационного воздействия. Оценивая степень пропагандистского воздействия на умы колчаковских солдат и офицеров, автор дифференцированно трактует его результативность. Н.М. Игнатова (Сыктывкар), реконструировала противоречивый спектр настроений спецпереселенцев, размещенных в годы Великой Отечественной войны на территории Коми АССР.

В целом представленные методологические наработки, успешно апробированные на конкретно-историческом материале, позволяют говорить об утверждении антропологического подхода в изучении и преподавании истории военных конфликтов XX века.

*В.В. Миронов (Тамбов)*

## SUMMARIES

---

**V.V. Noskov**

**"Metahistory" by Waiden White**

**(the Russian translation of the book)**

The author deals with a Russian translation of the most important work by a contemporary American philosopher H.V. White, his "Metahistory: Historical Imagination in Nineteenth Century Europe" (the translation has been recently published in Ekaterinburg). It is shown that the first English edition of the book (Baltimore: Johns Hopkins UP, 1973) generated one of the most promising developments of contemporary intellectual history. The article presents the analysis of the text and the authors' criticism of White's concepts.

**N.A. Selunskaya**

**In search of lost microhistory**

The author asks the question: does microhistory exist now as a trend in historiography? She deals with theoretical principles of microhistory, and theoretical adequacy of its premises; she also specifies the characteristic features of this trend. The article is focused on the development of humanities in Russia. It is shown that microhistory was accepted by Russian scholars, although they were aware of its limitations and conventionality.

**Yu.Ya. Vin, A.Yu. Gridneva, D.E. Kondratiev, O.V. Tikhonova,**

**The Concept of the Semantic Field of a Historical Source:**

**A Research project**

The authors of the project aim at the study of the structure and the system of notions and terms of historical source. In a text concepts and terms are represented as a hierarchical structure and a system of distribution. Its semantic field is reconstructed by the definition of logical and syntactic relations of the authentic notions and terms of a historical source. The authors of the Project propose the algorithm to analyze the power of affinity concerning the notions and terms of different contexts.

**D.S Kon'kov**

**The problem of power in Celtic kingdoms of Ireland in recent**

**English-language scholarship**

The author analyses numerous sources on the history of Ireland (including monastery chronicles, 'The book of conquests of Ireland', legends, law codes, advices to future rules – for example, Audacht Morainn, - as well as a number of studies on Celtic history, coronation rites in Ireland and Merovingian Gaul, and the monographs published in series 'New history of Ireland'. The author concludes that Celtic sources show the political life of a sophisticated Indo-European culture, unique in its integrity.

**A.A. Sal'nikova (Kazan')****The language of the revolution of 1917 in 'children's' texts**

The author analyses four groups of 'children's' texts with revolutionary semantics, which were produced in 1917–20. Children's memories are compared with adult memories of childhood in order to demonstrate differences in contents and appreciation as well as in the language of the texts. The changes in the children's language were preconditioned not only by the development of a child's vocabulary, but also by the evolution of the language itself. It is shown that the joining in the world of adults and their 'difficult' language during the period of Russian revolution forces a child to search answers to too complicated questions, which could lead to substitution of the reality by 'imagination and 'romantic understanding of reality'. Children were forced to deal with a 'foreign' language, and they adopted and appropriated it in order to use it in their own manner.

**A.Yu. Seregina****Myths on the conversion of England in the religious controversies of the late 16<sup>th</sup> century**

The article analyses the functions of historical examples in polemical writings of the late 16<sup>th</sup> century. It deals on the controversy between Protestant pamphleteers Francis Hastings and Matthew Sattcliffe and their Catholic opponents, Roberts Parsons and Thomas Fitzherbert (1598–1604). The author's attention is focused on the use of medieval stories of Britain's conversions into Christianity (by Joseph of Arimathea or by the King Lucius) in the context of polemics. It is shown that the ways of construing the narratives of conversions, and the interpretations of particular events were predetermined by the polemicists' views on the nature of the Church and their attitude toward the 'Roman' stage in its history.

**I.K. Mironenko-Marenkova****From church-porch to asylum ...****(the history of 'God's fools' in the 19<sup>th</sup> century)**

The author deals with the life of Ivan Yakovlevich Koreysha (1770–1861) who had a reputation of a saint, or a charlatan. The author analyses the behaviour of a 'God's fool' (as it was considered in the 19<sup>th</sup> c.) and the attitude of contemporaries towards it. The article describes various popular views on 'God's fools' in the 19<sup>th</sup>-century Russia. It is demonstrated that Russian religious culture has changed in the 19<sup>th</sup> c. Elite and the people saw the attempts to follow the Scripture's message directly not as a norm of Christian behaviour but as a deviation if not a mental illness.

**T.N. Gella****William Pitt Senior in the view of Lord Rosebury, a politician and biographer of the late 19<sup>th</sup> – early 20<sup>th</sup> centuries**

The author analyses the biography of William Pitt Senior, a mid-18<sup>th</sup> century British statesman, written by Lord Rosebury, a liberal politician of the late 19 – early 20<sup>th</sup> cc., the prime minister of Britain in 1894–95. The study is focused on Lord Rosebury as a biographer, on his priorities, goals and interests, style and

interpretations of events. The article explores the motives that made Lord Rosebury to write the biography of William Pitt, as well as the attempts to explain his acts and decisions.

**V.V. Romanov**

**"Pax Anglo-Americana" by Walter Page**

The article is focused on the presidency of Woodrow Wilson (1913–1921) whose administration included intellectuals of that time. Among them was Walter Page, a journalist who became an American ambassador in Great Britain. The author analyses Page's views of American foreign policy and their influence on the decision making. It is concluded that "Pax Anglo-Americana" by Page was not absolutely identical to the concept of foreign policy by President Wilson.

**V.V. Kiryushkina**

**Ancient ideas of the nature of creativity and the esthetics by I.W. Goete: an analysis of distortion**

The author demonstrates the ambiguity of Goete's views that made scholars to argue what major stylistic trends the poet belonged to (Classicism, Romanticism etc.). She proposes a way to create more adequate image of Goete by revealing most stable compounds of his world view: his rationalism, his idea of self-sufficient, valuable and free human being, and his adherence to the esthetics of Classicism with its basic concepts

**L.Yu. Limanskaya**

**The magic of memory: Ancient sources of creative introspection**

The article is devoted to the analysis of cultural-historical functions of memory in formation creative introspection. Antique representations about time convertibility of the mythological past allocated memory with magic properties. The author of article traces, how the plastic and verbal embodiment of a myth designated his "present" or "real presence" at creative consciousness of the artist.

**V.V. Petroff**

**Kinnor, cithara, psaltery in iconography and texts (to an interpretation of an Anglo-Saxon gloss)**

This is a continuation of the historical-musicological essay published in the previous issue. It traces the evolution of lyre and harp in the Middle Ages and provides an interpretation for a gloss attributed to Archbishop Theodore of Canterbury. The author argues that both "cynera" and "nablum" of the gloss should be treated as lemmas requiring elucidation. Hence, "cithara" explains the word "kinnor" and "psaltery" does the same to "nabel". It is suggested that "cithara" of a gloss is the instrument close the one represented in the *Vespasian Psalter*. "Psaltery" is the stringed instrument of a kind depicted in the *Vivian Bible*, a small harp-trigon with an upper sounding-board, most plausibly having a prototype among Byzantine models.

**G.A. Mukhina****Chateaubrien and Leontiev – the 19<sup>th</sup> – century romanticists**

The article deals with Chateaubrien and Leontiev who were divided by time and space, but united by their aristocratic romanticism and the sense of the ruin of civilization. It shows how the industrialization of Europe influenced the lives of the two philosophers; how they tried to resist the process of unification and atomization of society, and wanted to prolong the cultural life of their social group by insisting on the preservation of a structured society.

**N.S. Krelenko****Two views of the Old World from the ocean**

The author of the article deals with the formation of the view on "the other", and "the foreigner", on other cultures. She compares the characteristics of the same object (the Mediterranean region) produced by two representatives of the same cultural context: by Washington Irving, and Mark Twain who wrote 'Alhambra' and 'Traveling with the innocents abroad' accordingly. It is shown that both writers had attracted attention to the co-existence of Christian and Islamic cultures in the region.

**D.V. Mikhel'****Popular and elite cultures in the context of the struggle against epidemics In Volga region in the late 19<sup>th</sup> – early 20<sup>th</sup> centuries**

The article is dedicated to the dialogue of medical and popular cultures in the 19<sup>th</sup> century Russian towns and villages. It took place in local hospitals that were to deal with sanitary regulations. It is shown that the idea of preventing the spread of infectious diseases and epidemics led to systematic interference of medical culture in the life of people.

## СОДЕРЖАНИЕ

---

### *Вместо Предисловия*

*Л.П. Репина*

Социальная память и историческая культура  
средневековой Европы (к итогам работы над проектом).....5

### *К Юбилею Петрарки*

*Мирелла Феррари (Милан)*

2004 год, 700 лет со дня рождения Франческо Петрарки  
(перевод с итальянского В. Беляева).....20

*Н.И. Девятайкина (Саратов)*

Дом-музей Петрарки в Арква:  
штрихи к портрету поэта и гуманиста.....30

### *Теория, методология, историография*

*В.В. Носков (Санкт-Петербург)*

«Метаистория» Хейдена Уайта.....41

*Н.А. Селунская*

В поисках утраченной микроистории.....70

*Ю.Я. Вин, А.Ю. Гриднева, Д.Е. Кондратьев, О.В. Тихонова*

Концепция семантического поля исторического источника.....84

*Д.С. Коньков (Томск)*

Проблема власти в Кельтских королевствах Ирландии  
(по материалам современной англоязычной историографии).....100

### *История и идеология*

*А.А. Сальникова (Казань)*

Язык революции 1917 года в «детских» текстах.....117

*А.Н. Назаров*

Отражение «реальности»  
в советских хроникальных кинофотодокументах 1930–40-х годов.....136

### *История, религия, культура*

*А.Ю. Серегина*

Мифы о крещении Англии  
в религиозной полемике конца XVI века.....144

*И.К. Мироненко-Маренкова*

С паперти в Безумный дом...  
(из истории юродства в XIX столетии).....156

### *Интеллектуалы во власти*

*Т.Н. Гелла (Орел)*

Уильям Питт Старший глазами лорда Розбери,  
политика и биографа рубежа XIX–XX вв.....166

*В.В. Романов*

“Pax Anglo-Americana” Уолтера Пейджа.....184



**Эстетика и творчество**

- В.В. Кирюшкина (Саратов)*  
 Античные идеи о природе творчества и эстетика И.В. Гете:  
 опыт анализа искажений.....206
- Л.Ю. Лиманская*  
 Магия памяти: об античных истоках творческой интроспекции.....214
- Юрген Кляйн (Германия)*  
 Эстетика холодности: Оскар Уайлд.....226

**Артефакты в истории**

- В.В. Петров*  
 Киннор, кифара, псалтерий в иконографии и текстах:  
 к истолкованию одной англо-саксонской глоссы (окончание).....243

**Диалог культур в историческом контексте**

- Г.А. Мухина (Омск)*  
 Шатобриан и Леонтьев – романтики XIX века.....272
- Н.С. Креленко (Саратов)*  
 Два взгляда на Старый Свет из-за океана.....282
- Д.В. Михель (Саратов)*  
 Народная и ученая культура в контексте борьбы  
 с эпидемиями на Волге на рубеже XIX и XX вв.....298
- И.В. Ведюшкина*  
 Петр Гугнивый и Петр Монг.....309

**Публикации**

- А.В. Свейшников, В.П. Корзун, М.А. Мамонтова (Омск)*  
 «Жизни наши... протекли... врозь»  
 (к истории личных взаимоотношений И.М. Гревса и С.Ф. Платонова)..313
- О.В. Воробьева (Липецк)*  
 Истины и парадоксы Арнольда Тойнби.....333
- А.Дж. Тойнби. Лекция, прочитанная Гитлером*  
 (перевод с английского О.В. Воробьевой).....341

**Хроника**

- Всероссийская научная конференция  
 «Методологический синтез в истории и социальные теории».....359

**Читая книги**

- Н.Н. Алеверас (Челябинск)*  
 Образы историков в их переписке.....366
- Г.П. Мягков (Казань)*  
 Как соединить несоединимое: опыт «консервативного либерализма»  
 В.И. Герье в оценке новейшей историографии.....373
- [Рец.]: Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях  
 ее главнейших деятелей. М.: ЭКСМО, 2003. (Н.Г. Зимина).....381
- [Рец.]: Человек и война. XX век: Проблемы изучения и преподавания  
 в курсах отечественной истории. Омск: ОГУ, 2002. (В.В. Миронов).....386
- SUMMARIES.....388
- Содержание.....392

## CONTENTS

---

*L.P. Repina*

Social memory and historical culture of Europe in the Middle Ages  
(the results of a research project)..... 5

### *Petrarcha's Jubilee*

*Mirella Ferrari (Milano)*

2004 – Francesco Petrarca's 700-years jubilee..... 20

*N.I. Devyataikina (Saratov)*

The Museum of Petrarcha in Arqua: details of the portrait of  
the poet and the humanist..... 30

### *Theory, Methodology, Historiography*

*V.V. Noskov (St Petersburg)*

"Metahistory" by Hayden White..... 41

*N.A. Selunskaya*

In search of lost microhistory..... 70

*Yu.A. Vin, A. Yu. Gridneva, D.E. Kondratiev, O.V. Tikhonova*

A concept of the semantic field of a historical source..... 84

*D.S. Kon'kov (Tomsk)*

The problem of power in Celtic kingdoms of Ireland in recent  
English-language scholarship..... 100

### *History and Ideology*

*A.A. Sal'nikova (Kazan')*

The language of the revolution of 1917 in 'children's' texts..... 117

*A.N. Nazarov*

A reflection of "reality" in Soviet photos and documentary films  
in 1930-40s..... 136

### *History, Religion, Culture*

*A. Yu. Seregina*

Myths on the conversion of England in the religious controversies  
of the late 16<sup>th</sup> century..... 144

*I.K. Mironenko-Marenkova*

From church-porch to asylum  
(the history of 'God's fools' in the 19<sup>th</sup> century)..... 156

### *Intellectuals and Power*

*T.N. Gella (Orel)*

William Pitt Senior in the view of Lord Rosebury, a politician and  
biographer of the late 19<sup>th</sup> – early 20<sup>th</sup> centuries..... 166

*V.V. Romanov*

"Pax Anglo-Americana" by Walter Page..... 184

**Esthetics and Creativity***V.V. Kiryushkina (Saratov)*

Ancient ideas of the nature of creativity and the esthetics by I.W. Goete:

An analysis of distortion.....206

*L. Yu. Limanskaya*

The magic of memory: Ancient sources of creative introspection.....214

*Ürgen Klein (Germany)*

The esthetics of coldness: Oscar Wilde.....226

**Artefacts in History***V.V. Petroff*

Cinnor. Cithara, Psalterius in iconography and texts:

to an interpretation of an Anglo-Saxon gloss (the II part).....243

**A Dialogue of cultures in historical context***G.A. Mukhina (Omsk)*Chateaubrien and Leontiev – the 19<sup>th</sup> – century romanticists.....272*N.S. Krelenko (Saratov)*

Two views of the Old World from the ocean.....282

*D.V. Mikhel' (Saratov)*

Popular and elite cultures in the context of the struggle against epidemics

in Volga region in the late 19<sup>th</sup> – early 20<sup>th</sup> centuries.....298*I.V. Vedyushkina*

Peter Gugnivy (Mongos).....309

**Publications***A.V. Sveshnikov, V.P. Korzun, M.A. Mamontova (Omsk)*

"Our lives ... passed ... separately"

(personal relations between I. M. Grevs and S.F. Platonov).....313

*O.V. Vorobieva (Lipetsk)*

Truths and paradoxes by Arnold Toynbee.....333

*A.J. Toynbee* A Lecture delivered by Hilter

(trans. from English by O.V. Vorobieva).....341

**Chronicle**

The Conference

"Methodological synthesis in history and social theories".....359

**Reading Books***N.N. Alevras (Chelyabinsk)*

Images of historians in their correspondence.....366

*G.P. Myagkov (Kazan')*

An impossible combination: the "conservative liberalism" by

*V.I. Ger'ye* in recent scholarship.....373

[Review]: Kostomarov N.I., Russian History biographies of

its most important persons: (Moscow, 2003). (by N.G. Zimina).....381

[Review]: People and war in the 20<sup>th</sup> century: Problems of research

and teaching Russian History (Omsk, 2002). (by V.V. Mironov).....386

SUMMARIES.....388

Contents.....392

## Издательство УРСС

специализируется на выпуске учебной и научной литературы, в том числе монографий, журналов, трудов ученых Российской Академии наук, научно-исследовательских институтов и учебных заведений.



### Уважаемые читатели! Уважаемые авторы!

Основываясь на широком и плодотворном сотрудничестве с Российским фондом фундаментальных исследований и Российским гуманитарным научным фондом, мы предлагаем авторам свои услуги на выгодных экономических условиях. При этом мы берем на себя всю работу по подготовке издания — от набора, редактирования и верстки до тиражирования и распространения.

Среди вышедших и готовящихся к изданию книг мы предлагаем Вам следующие:

**Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории.** Вып. 1–11. Ред. *Репина Л. П.*

#### История России

*Зинченко А. В.* История России (IX–XX вв.) в таблицах и схемах.

*Ильичев А. Т.* Справочник по русской истории. Киевская Русь.

Очерки феодальной России. Вып. 1–7. Под ред. *Кустерева С. Н.*

*Зубов В. П.* Русские проповедники: Очерки по истории русской проповеди.

*Юртаева Е. А.* Государственный совет в России (1906–1917 гг.).

*Рудницкая Е. Л.* Поиск пути. Русская мысль после 14 декабря 1825 года.

*Хорошкевич А. Л.* Русь и Крым: От союза к противостоянию. Конец XV — начало XVI вв.

Архив гостей Панкратьевых XVII — начала XVIII в. Т. 1. Под ред. *Тимошиной Л. А.*

*Амосов А. А.* Лицевой летописный свод Ивана Грозного.

*Пономарев А. Л.* Деньги Золотой Орды и Трапезундской империи.

*Гришин И. В., Клецинов В. Н.* Каталог русских средневековых монет времени правления царя Михаила Федоровича (1613–1645 гг.).

*Абрамзон М. Г., Фролова Н. А., Горлов Ю. В.* Клады античных монет на юге России.

*Голубчиков Ю. Н.* География человека.

*Ковалевская С. В.* Воспоминания детства. Нигилистка.

#### Мировая история

Французский ежегодник. 2000–2003. Вып. 1–4. Под ред. *Чудинова А. В.*

*Генифе П.* Политика революционного террора 1789–1794.

*Зинченко А. В.* Ядерная политика Франции.

*Строганов А. И.* Страницы истории Латинской Америки. XX век.

*Шрадер О.* Сравнительное языковедение и первобытная история.

*Порцёв В.* Членение индоевропейской языковой области.

*Щапова Ю. Л.* Византийское стекло. Очерки истории.

*Рыбин А. И.* Атлантида как реальность. Исследование легенды.

Индия: страна и ее регионы. Под ред. *Ваниной Е. Ю.*

*Варьяш И. И.* Правовое пространство Ислама в христианской Испании XIII–XV вв.

*Журавлев И. В.* Подготовка воинов Аллаха (VI–XIII вв.).

По всем вопросам Вы можете обратиться к нам:  
**тел./факс** (095) 135–42–16, 135–42–46  
или **электронной почтой** URSS@URSS.ru  
Полный каталог изданий представлен  
в **Интернет-магазине:** <http://URSS.ru>

**Издательство УРСС**

Научная и учебная  
литература



## Представляет Вам свои лучшие книги:

### История культуры

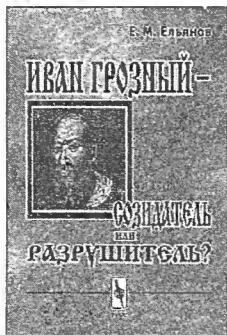
- Анисимов А. В.* Венеция. Архитектурный путеводитель.  
*Попадюк С. С.* Неизвестная провинция. Историко-архитектурные исследования.  
*Витрувий.* Десять книг об архитектуре.  
*Лебедева Г. С.* Новейший комментарий к трактату Витрувия.  
*Михаловский И. Б.* Теория классических архитектурных форм.  
*Кириллов В. В.* Архитектура Москвы на путях европеизации.  
*Мурашева В. В.* Древнерусские ремешные наборные украшения (X—XIII вв.).  
*Бодэ А. Б.* Поэзия Русского Севера.  
*Штейн А. Л.* История испанской литературы.  
*Штейн А. Л.* Дон Кихот — вечный спутник человечества.  
Голоса индийского средневековья. Под ред. *Серебрякова И. Д., Ваниной Е. Ю.*  
*Лалу Р.* История французского стиха (IX—XVI века).  
*Петров М. К.* Язык, знак, культура.  
*Фриче В. М.* Социология искусства.  
*Хренов Н. А.* Культура в эпоху социального хаоса.  
*Мазаев А. И.* Искусство и большевизм (1920—1930-е гг.).  
*Майданов А. С.* Тайны великой «Ригведы».  
*Преображенский П. Ф.* Курс этнологии.

### История науки

- Судьбы творцов российской науки. Под ред. *Сурина А. В., Панова М. И.*  
Российская научная эмиграция. Под ред. *Бонгарда-Левина Г. М., Захарова В. Е.*  
*Реньи А.* Диалоги о математике.  
*Тодхантер И.* История математических теорий притяжения и фигуры Земли...  
*Архимед, Гюйгенс, Лежандр, Ламберт.* О квадратуре круга.  
*Ожигова Е. П.* Развитие теории чисел в России.  
*Гнеденко Б. В.* О математике.  
*Гнеденко Б. В.* Очерк по истории теории вероятностей.  
*Орем Н.* О соизмеримости или несоизмеримости движений неба; *Зубов В. П.* Трактат Бравардина «О континууме».  
*Богуш А. А.* Очерки по истории физики микромира.  
*Харгиттаи И.* Откровенная наука. Беседы со знаменитыми химиками.  
*Золотов Ю. А.* Химики в других областях или на других Олимпах.  
*Есаков В. А.* Очерки истории географии в России как науки. XVIII — начало XX века.  
*Соколов В. В.* От философии Античности к философии Нового Времени.  
*Соколов В. В.* Средневековая философия.  
*Зубов В. П.* Аристотель. Человек. Наука. Судьба наследия.  
*Койре А.* Очерки истории философской мысли.  
*Кондрашов Н. А.* История лингвистических учений.  
*Томсен В.* История языковедения до конца XIX века.  
*Аплатов В. М.* История одного мифа: Марр и марризм.



Представляет Вам свои лучшие книги:



*Ельянов Е. М.*

## **Иван Грозный — создатель или разрушитель?**

*Исследование проблемы субъективности интерпретаций в истории*

В книге доходчиво изложено содержание исследования проблемы субъективности интерпретаций в истории в зависимости от мировоззрения историков. Автор проводит анализ исторических оценок и интерпретаций основных проблем правления Ивана IV Грозного, сделанных десятью крупнейшими исследователями истории Русского государства второй половины XVI века — от Карамзина до Кобриня. В первой главе представлены мировоззренческие портреты историков. В заключении даны практические рекомендации для преподавания истории и редактирования учебников истории в историографическом аспекте.

Книга адресована широкому кругу изучающих и преподающих историю: старшеклассникам, абитуриентам, студентам, преподавателям и учителям истории, редакторам издательств, а также всем интересующимся историей.

*Робертс Дж.*

## **Победа под Сталинградом**

**Битва, которая изменила историю**

60 лет назад битва за Сталинград определила исход всей Второй мировой войны и развитие Европы на всю оставшуюся часть XX века.

Настоящая книга в сжатом виде излагает историю стратегии и вооруженного противоборства сторон в битве, развернувшейся на берегах Волги. Победа, доставшаяся Красной Армии дорогой ценой, не позволила Гитлеру продолжать войну на протяжении еще последующих десяти лет. Советская победа сорвала также нацистский план «окончательного решения» еврейского вопроса — полного истребления всех евреев, проживающих в Европе, начавшегося одновременно с «войной на уничтожение», которую Гитлер развернул против Советского Союза.

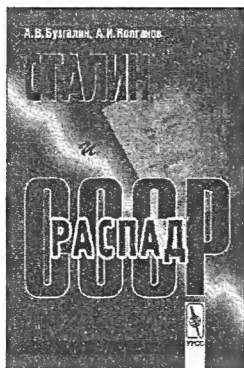
Джеффри Робертс рассматривает битву в контексте противоборства двух могущественных держав: столкновения их взглядов на окружающий мир и самих лидеров государств. Он показывает, что настоящая история о битве за Сталинград должна затрагивать и вопрос о том, почему Советскому Союзу не удалось достигнуть своей самой большой и амбициозной цели: нанести по германской армии такой сокрушающий удар, который бы непосредственно вел Красную Армию к победному и быстрому окончанию войны.

Такая достаточно провокационная оценка событий представляет собой новый взгляд на историю советской победы и побуждает еще раз пересмотреть те мифы, которые окружают как саму битву, так и людей, осуществлявших ее планирование и проведение.





Представляет Вам свои лучшие книги:



*Бузгалин А. В., Колганов А. И.*

## **Сталин и распад СССР**

Настоящая книга является ответом авторов — известных ученых и активных участников социалистического движения — на бурно развертывающуюся в нашей стране кампанию по возвеличиванию Сталина (причем не столько личности Иосифа Джугашвили, сколько «вождей» великой державы). Поэтому главное в работе — анализ причин и последствий, внутренних противоречий сталинского периода в развитии нашей Родины — СССР. В книге обосновывается по сути одна главная идея: причины формирования той модели экономики и общества в СССР, которую часто называют «сталинской», и причины конечного распада этой модели (сохранявшей, при всех модификациях, свои родовые признаки) суть одни и те же. «Сталинская», в принципе не реформируемая мутация социализма и есть глубинная причина кризиса «реального социализма» и распада СССР — такова основная теза авторов.

Серия «Академия фундаментальных исследований»

*Тарле Е. В.*

## **История Италии в средние века**

Эта книга написана выдающимся российским историком, академиком АН СССР Евгением Викторовичем Тарле (1874–1955), автором многих замечательных работ по истории Европы и России. В ней рассматривается история Италии со времен падения Западной Римской империи до начала XIV века, представляющая собой, по мнению автора, летопись чужеземных вторжений и завоеваний. Подробно излагая события политической истории, автор в то же время не упускает из виду как экономические отношения, так и факты культурной жизни, также составляющие содержание истории средневековой Италии.



*Митрофанов П.* История Австрии.

*Лависс Э.* Очерки по истории Пруссии.

*Добиаш-Рождественская О. А.* Эпоха крестовых походов. Общий очерк.

*Погодин А. Л.* Краткий очерк истории славян.

*Шрадер О.* Индоевропейцы.

*Нейгебауер О.* Точные науки в древности.

*Юревич В. А.* Астрономия доколумбовой Америки.

*Крачковский И. Ю.* Над арабскими рукописями.

*Петрушевский Д. М.* Очерки из истории средневекового общества и государства.

*Петрушевский Д. М.* Очерки из истории английского государства и общества в средние века.



Представляет Вам свои лучшие книги:

Серия «Bibliotheca Scholastica». Под общ. ред. *Апполонова А. В.* Билингва: параллельный текст на русском и латинском языках.

Вып. 1. *Бозций Дакийский. Сочинения.*

Вып. 2. *Фома Аквинский. Сочинения.*

Вып. 3. *Уильям Оккам. Избранное.*

Вып. 4. *Роберт Гроссетест. Сочинения.*

Серия «История языков народов Европы»

*Борковский В. И., Кузнецов П. С.* Историческая грамматика русского языка.

*Бах А.* История немецкого языка.

*Бруннер К.* История английского языка. Т. 1, 2.

*Ярцева В. Н.* Развитие национального литературного английского языка.

*Доца А.* История французского языка.

*Мейе А.* Основные особенности германской группы языков.

*Бурсье Э.* Основы романского языкознания.

*Льюис Г., Педерсен Х.* Краткая сравнительная грамматика кельтских языков.

*Калыгин В. П.* Язык древнейшей ирландской поэзии.

*Королев А. А.* Древнейшие памятники ирландского языка.

*Вольф Е. М.* История португальского языка.

*Макаев Э. А.* Язык древнейших рунических надписей.

*Стеблин-Каменский М. И.* Древнеисландский язык.

*Стеблин-Каменский М. И.* Грамматика норвежского языка.

*Шишмарев В. Ф.* Очерки по истории языков Испании.

*Григорьев В. Ф.* История испанского языка.

*Гуйер О.* Введение в историю чешского языка.

*Ананьева Н. Е.* История и диалектология польского языка.

История письма

*Фридрих И.* История письма.

*Фридрих И.* Дешифровка забытых письменностей и языков.

*Дирингер Д.* Алфавит.

*Чегодаев М. А.* Папирусная графика Древнего Египта.

**Издательство  
УРСС**

**(095) 135-42-46,  
(095) 135-42-16,  
URSS@URSS.ru**

**Наши книги можно приобрести в магазинах:**

«Библио-Глобус» (м. Лубянка, ул. Мясницкая, 6. Тел. (095) 925-2457)

«Московский дом книги» (м. Арбатская, ул. Новый Арбат, 8. Тел. (095) 203-8242)

«Москва» (м. Охотный ряд, ул. Тверская, 8. Тел. (095) 229-7355)

«Молодая гвардия» (м. Полянка, ул. Б. Полянка, 28. Тел. (095) 238-5083, 238-1144)

«Дом деловой книги» (м. Пролетарская, ул. Марксистская, 9. Тел. (095) 270-5421)

«Старый Свет» (м. Пушкинская, Тверской б-р, 25. Тел. (095) 202-8608)

«Гнозис» (м. Университет, 1 гум. корпус МГУ, комн. 141. Тел. (095) 939-4713)

«У Кентавра» (РГТУ) (м. Новослободская, ул. Чайнова, 15. Тел. (095) 973-4301)

«СПб. дом книги» (Невский пр., 28. Тел. (812) 311-3954)